

ВАЛЕНТИН
ПИКУЛЬ



Каждому
свое

**ВАЛЕНТИН
ПИКУЛЬ**



ВАЛЕНТИН ШИКУЛЬ



Москва
«Современник»
1993

ВАЛЕНТИН ШИКУЛЬ



*КАЖДОМУ
СВОЕ*



*ПАРИЖ
НА ТРИ
ЧАСА*

Москва
«Современник»
1993

ББК 84Р7
П32

Пикуль В. С.
П32 **Каждому свое. Париж на три часа: Романы.— М.:
Современник, 1993.— 464 с.
ISBN 5-270-01704-0**

Романы «Каждому свое» и «Париж на три часа» показывают наполеоновскую Францию. «Париж на три часа» рассказывает о событиях 1812 года, происходящих в Париже, когда под руководством генерала Мале была свергнута на три часа власть тирана Наполеона. «Каждому свое» — роман, посвященный жизни французского якобинца генерала Моро, который в рядах русской армии сражался против Наполеона.

П 4702010201-006
М106(03)-93
ISBN 5-270-01704-0

ББК 84Р7

© В. Пикуль (наследники), 1992

КАЖДОМУ СВОЕ

Роман

*Антонине Пикунь — верной подруге,
разделившей мое одиночество, посвя-
щаю с любовью.*

Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Гражданин Моро

Не честолюбие увлекло меня в среду воинов свободы, но уважение к правам народов: я сделался солдатом, потому что я был гражданином!

Генерал Жан Виктор Моро

ПЕРВЫЙ ЭСКИЗ БУДУЩЕГО. КРОВЬ ЛЬЕТСЯ В ЛОНГВУДЕ

Весной 1818 года двухмачтовый бриг «Рюрик» завершал кругосветное плавание. Набрав свежей воды в Капе (ныне Кейптаун), корабль, гонимый ветром, вышел в Атлантику. 24 апреля по курсу была усмотрена земля — почти вулканический конус, поднимающийся из глубин океана. Отто Евстафьевич Коцебу, начальник экспедиции, окликнул лейтенанта Шишмарева:

— Глеб Семеныч, душа моя, отметьте в журнале: за пятьдесят миль к норд-вестовому румбу открылся остров Святой Елены. Стоянка возможна лишь на грунте Джемстоуна!

В тесной клетушке офицерской кают-компании, естественно, возник разговор о Наполеоне... Шишмарев сказал:

— Вот вернусь на родимую Тихвинщину, порадую жену с детками, а ведь до самой смерти не прошу себе, ежели нонеча проплывем мимо Елены, не повидав знатного узника.

Того же мнения был и Адельберт Шамиссо, ботаник и зоолог корабля, славный немецкий лирик, переводчик русских поэтов; он сказал, что заточение Наполеона на острове — это волшебная тема для будущих поэтических озарений.

— Англичане — просвещенные мореплаватели, и нам, не менее просвещенным, они не откажут в желании видеть славного завоевателя в его заточении.

— Резон есть! — согласился Коцебу.— Российский же комиссар на острове будет рад передать депеши о Наполсоне не английскою почтой, а прямо в Петербург через наши руки...

Перед островом их задержала британская брандвахта. На «Рюрик» явился офицер королевского флота. Сопровождая его в каюту, Коцебу услышал внятный шелчок взведенного курка пистолета, упрятанного в рукаве мундира.

— К чему ваша пиратская деликатность? — возмутился Коцебу.— Или собираетесь стрелять мне в спину?

Пистолет из рукава переместился в карман.

— Русский бриг вошел в запретные воды, где мое королевство охраняет интересы мира в Европе...

Коцебу объяснил, что мир не вздрогнет, если они примут почту для канцлера Румянцева, на личные средства которого и образована научная экспедиция «Рюрика».

— Научная?..— недоверчиво хмыкнул англичанин.— Именем короля предупреждаю, чтобы вы не вздумали ночью соваться в Джемстоун, а я доложу своим адмиралам и русскому комиссару о вашем неожиданном появлении возле острова...

Ночь провели в дрейфе. Утром завиднелись прижатые к скалам домишки Джемстоуна, над ними нависали крутые горы, неприступные с моря. Шишмарев внимательно огляделся:

— Здесь будто в Гибралтаре или на Мальте, но возня с фортификацией не закончена. Вижу, как из траншей вылетает земля, а солдаты тащат пушки на горные вершины.

Первое ядро пронеслось над гафелем, никого не испугав, только удивив моряков, а на борт резво поднялся со шлюпки офицер линейного корабля «Конкерор»; он сразу заявил, что батареи гарнизона стреляют, очевидно, по ошибке.

— Наш губернатор, сэр Гудсон Лоу, содержит остров в безопасности, и Бонапарту, этому извергу рода человеческого, не улизнуть отсюда, как это случилось на Эльбе, после чего он и принял от нас горячую ванну под Ватерлоо.

Пышная тирада была прервана огнедышащим брандскугелем, а перепуганный гость заторопился обратно к трапу:

— Опять ошибка! Но сейчас все выяснится...

После его отбытия ядра посыпались гуще и плотнее. Лейтенант Шишмарев скомандовал канонирам на пушку:

— Заряжай! Коли по ошибке стреляют, по ошибке и гопят. А мы не таковские... Клади, ребята, первую!

«Конкерор» многопушечной массой надвигался на маленького «Рюрика» — как толстокожий носорог на жалкого кролика. Коцебу крикнул Шишмареву, что каждый благосклонный прием нуждается в самой высокой благодарности:

— Ну-ка, залепи им, сукиным детям!..

— Первая пошла... — доложили канониры.

— Клади вторую! Не хотят Наполеона показывать, так мы ихней милости все фонари и стекла перекалечим... Клади!

Отстреливаясь, «Рюрик» наполнил паруса ветром, снова растворяясь в безбрежии океана. Через три месяца корабль «бросил якоря на Неве, пред самым домом государственного канцлера, графа Николая Петровича Румянцева». Благожелательный к наукам вельможа, он долго осматривал привезенные для Академии наук восточные коллекции, с большим вниманием выслушал рассказ о кошмарном визите в Джемстоун.

— Аглицким разбоем на морях уже по горло мы сыты... Я давно склонен к мысли, что Лондону прискорбно ежегодно тратить *восемь миллионов* на охрану Наполеона, держать вдаль от метрополии образцовую пехоту с артиллерией и две посменные эскадры адмиралов Малькольма и Пампейна.

— Вы их... подозреваете? — спросил Коцебу.

— Англичан все подозревают. Дабы избавить Сити от лишних расходов, они будут рады избавиться и от Наполеона. Сейчас все зависит от его здоровья, а после русского похода именно здоровьем император не может похвастать.

— Каков же его недуг, ваше сиятельство?

Румянцев приложил ладонь к левому боку, затем медленным жестом перевел ладонь в область желудка:

— У него боли... вот тут! Об этом Петербург извещен от российского комиссара на острове Святой Елены...

Этим комиссаром был граф Александр Антонович де Бальмен: служебный формуляр его испещряли отметки об исполнении тайных поручений в лагере наполеоновской коалиции или в странах, подвластных турецкому султану Селиму III. Кажется, уже тогда его глаза стали заполнять мутные катаракты, вызванные неумеренным употреблением подзорной оптики, что грозило де Бальмену полной слепотой. 80 000 франков, получаемые для представительства на острове Святой Елены, не сделали его богачом, хотя комиссар был еще холост, а жил очень скромно. В эту пору Бальмен свел знакомство с О'Меара, врачом британской эскадры,

который сумел завоевать личное доверие Наполеона. Гудсон Лоу, между прочим, третировал врача, он фальсифицировал бюллетени о здоровье императора и даже утверждал, что Наполеон... притворяется: «На самом же деле нет человека здоровее его, и безбожный злодей переживет всех нас!» Явная клевета губернатора, подхватываемая лондонскими газетами, обретала официальный тон. Но врач остался верен клятве Гиппократу, хотя он и знал беспощадность королевской юстиции. Однажды за выпивкой в доме русского комиссара он честнейше заявил графу де Бальмену:

— Если бы я точно исполнял инструкции Лондона, генерала Бонапарта давно бы не было в живых. Надеюсь, это признание останется между нами. Вам нет смысла губить меня.

...Русская публика узнала об этом лишь в 1869 году.

«Кровь льется в Лонгвуде», — сообщал де Бальмен. Высокобразованный человек гуманного толка, он оставил по себе славу ловкого агента секретной службы, его имя сохранилось и в дипломатии. Джавахарлал Неру в своих трудах по истории не забыл упомянуть и де Бальмена... Наполеон писал в завещании: «Я умраю преждевременной смертью как жертва английской олигархии и ее наемных убийц». Много позже, когда в Петербурге де Бальмена спрашивали, винит ли он Англию за жестокость, граф отвечал английскою же поговоркой:

— «Англия всегда права, даже в том случае, если она не права». Однажды я завел перед Гудсоном Лоу речь об ослаблении режима в Лонгвуде, на что Лоу ответил мне так: «Каждый англичанин знает, что он может быть повешен... Значит, могу быть повешен и я!» Судите об этом сами, дамы и господа...

.....

Джемстоун — гарнизонный поселок, в котором были даже лавки и прачечные, поддерживалось жалкое подобие европейской цивилизации. Но англичане заперли Наполеона подальше от людей — в ущелье Лонгвуда, где бревенчатый дом загнивал от дождей, долину окутывали влажные туманы, а дыхание Африки иногда копило в низине духотищу, невыносимую даже для негритянской прислуги. Губернатор Лоу посылал в Лонгвуд разрозненные листы газет, парочку путая их пагинацию и хронологический порядок, дабы Наполеон еще больше ощущал свою полную изоляцию от мира... Император расплачивался с англичанами беспардонной грубостью выражений, в общении с адмиралом Маль-

кольмом позволял себе разоблачать самые сокровенные тайны британской политики.

— Бросьте нахваливать благородство своих кумиров! Я ведь не забыл, как ваш посол Чарльз Уитворт, когда я был еще первым консулом,— уже тогда! — клятвенно заверял, что Лондон сделает меня королем, если я откажусь от Мальты. Вы решили, что я слабоумный. Англия, не пролив ни капли крови, укрепилась бы в Ла-Валлетте, а меня с титулом короля парижане уже тащили бы за волосы до ближайшей уличной гильотины...

С адмиралом они всегда препирались, ибо упрямый британец постоянно именовал Наполеона генералом Бонапартом.

— Я перестал быть генералом Бонапартом после Египетского похода... Я отрекся лишь от престола Франции, но я не отрекался от титула императора, который обрел не милостью божьей, как иные монархи, а завоевал его кровью...

Вокруг него в Лонгвуде сам по себе сложился «двор», пусть далекий от прежней пышности Сен-Клу, но с прежними повадками, включая женские интриги, лакейское злоречие мужчин, острое желание каждого урвать долю ласки от сердитого повелителя. Многие добровольно последовали за ним в ссылку — с женами и детьми. А замыкал фалангу придворных пай Пионтковский, который так долго воевал за чужую «свободу», что и сам не заметил, как очутился в конюшнях Лонгвуда со своим неизменно ласковым «пше проше пане».

— Дальше этого острова,— мудро изрекал он,— нам спешить уже некуда. Это как раз та самая последняя станция на планете, где всем подают экипажи с траурным флером...

Если кто из англичан выражал сочувствие Наполеону, его немедленно отсылали в метрополию. На вопросы комиссаров о здоровье Наполеона Гудсон Лоу хамски отвечал: «Он существует, и этого вам достаточно». Ежедневно офицер-надзиратель в Лонгвуде требовал появления Наполеона. При этом император выглядывал в окно или выходил на веранду.

— Нет, я еще не убежал,— говорил он, привычно складывая на груди руки.— Можете в своем рапорте для губернатора особо указать, что вся эта комедия — позор для Англии, и образованная Европа никогда не простит глумления надо мною. Теперь я глубоко сожалею, что доверился вашей мерзкой нации, а не угодил в плен к диким русским казакам.

Англичане охотно беседовали с Наполеоном.

— Попадись вы казакам, и пьяные русские бояре заморозили бы вас в Сибири до состояния прозрачной со-сульки.

— Чепуха! — огрызнулся Наполеон. — Я проживал бы в лучших дворцах Петербурга как знатный гость русской на-ции...

Гудсона Лоу он не пускал к себе. Не возникло у него от-ношений и с комиссарами. Бережливый король Пруссии, эконо-мя пфенниги даже на пиве, отказался иметь посла для надзора за императором. Королевская Франция направила на остров маркиза Монтеню, Австрию представлял недалекий барон фон Штюрмер... Никого из них Наполеон видеть не желал.

— Париж прислал паралитика-маркиза, которого я, жалею, не повесил раньше — как уличного попрошайку. А кого представляет здесь Штюрмер? Только моего тестя, императора Франца, который два раза отдавал мне свою сто-лицу, а потом отдал и свою дочку. Мне бы следовало же-ниться на русской великой княжне Екатерине, и тогда Европа была бы у меня в шляпе. Я, — говорил Наполеон, — желаю теперь общения только с русским комиссаром, но Гудсон Лоу, этот жалкий ублюдок, не позволяет встреч с графом де Бальменом, пока я не приму в Лонгвуде высоко-рожденного воришку Монтеню заодно с венским олухом Штюрмером... Как тут быть?

Однажды к Бальмену, гулявшему по единственной улоч-ке Джемстоуна, подошла нарядная девочка — Бетси Баль-комб.

— Что тебе, дитя мое? — спросил комиссар.

— Бони сказал, что хотел бы видеть вас в Лонгвуде... не как комиссара, а просто гостем в его доме.

— Кто такой Бони?

— Так я зову императора Наполеона

— И он не обижается?

— Нет, он смешной и добрый...

Недавно стало известно, что часть золотых сервизов На-полеон превратил в лом, желая обратить их в звонкую мо-нету. В частной беседе с Лоу граф де Бальмен удивился столь быстрому обнищанию Лонгвуда, но губернатор высме-ил его домыслы:

— Очередной фарс генерала Бонапарта, желающего вы-звать жалость европейцев к своей персоне. Мы знаем, что он еще способен ворочать миллионами. А корежит сер-визы нарочно, дабы не открылись адреса его тайных капита-лов, на общей сумме которых можно образовать целую ар-

мию, чтобы затем повторить весь покер сначала — от Маренго до Ватерлоо...

Наполеон то впадал в меланхолию, то вдруг, оживленный, звал камердинера:

— Маршан, надеюсь, ты не забыл, что я указывал тебе вчера о моих сегодняшних удовольствиях?

Маршан вчера загулял и ничего не помнил.

— Помню, ваше величество,— бодро ответил он, а потом спрашивал у графа Бертрана: — Что ему от меня понадобится?

— Глупец,— отвечал генерал,— своди императора на курятник, и пусть он перережет наших кур, оставив Лонгвуд без единого яичка к завтраку. Если уж его величество заговорил об удовольствиях, значит, он хочет крови.

Бертран во Франции был заочно приговорен к смертной казни, но англичане почему-то не выдали его на расправу.

.

Лонгвуд всю ночь поливали дожди. В доме потрескивали ветхие паркеты. Наполеон бродил по комнатам в турецком тюрбане, держа бильярдный кий. Толчками этого кия он открывал скрипучие двери. Утром состоялось бритье в присутствии Бертрана и Монтолона, двух приближенных.

— Граф Бертран, как моя левая щека?

— Идеально, ваше величество.

— Граф Монтолон, а как с этой стороны?

— Превосходно! Будто вас побрил сам генерал Моро...

— Зачем вы вспомнили этого человека?

— Только потому, что он любил это занятие и к нему в походный шатер солдаты шлялись, как в бесплатную парикмахерскую. Простите, ваше величество. Упоминанием о Моро я никак не желал доставить неудовольствие вашему величеству.

— Хорошо. Пусть подадут одеваться

— Какой костюм изволите сегодня?

— Сегодня, пожалуй, охотничий...

Он сам застегнул пуговицы, изображавшие головы рысей кабанов, лисиц, волков и зайцев. Завершив туалет, Наполеон проследовал на кухню, где с утра орудовал повар.

— Я ничего уже не хочу,— сказал император, присаживаясь возле горячей плиты.— Но по опыту жизни знаю: как бы мало ни съел человек, все равно ему будет много... Непостижимо! — вдруг воскликнул он, громко шлепнув себя по жирным ляжкам.— Я столько лет сражался с Англией и, оказывается, всегда имел о ней неверное представление...

Какое утонченное коварство! Запереть меня здесь. В этом ущелье. На этой кухне.

Повар назвал англичан нацией торгашей, чем и выказал знакомство с экономическими трудами Адама Смита.

— Джентльмены торгуются с Маршаном из-за бутылки уксуса или фунта потрохов с таким апломбом, будто они закатились прямо на Венский конгресс и речь идет о престиже их поганого королевства... Так я вам сделаю баранью отбивную?

— Только с косточкой,— напомнил узник Европы.

На кухне появилась графиня Монтолон, которая под конец войны нашла четвертого мужа в свите Наполеона, почему теперь и «блистала» на самых задворках мира.

— Я не выдержу! всю ночь в моей спальне бегали крысы. Опять дожди, дожди... А у меня что-то с печенью.

— У меня тоже,— вяло отозвался Наполеон.— Я жду О'Меара и скажу ему, чтобы он прописал вам каломель... Сегодня на рассвете я слышал далекий гул пушечных выстрелов.

— Да,— ответила женщина,— кажется, это стреляли корабли. Маршан уже поехал за брюквой в Джемстоун, уж этот пройдоха как следует вынюхает там все новости...

Во время обеда придворные были счастливы предложить ему салфетку или убрать пустую тарелку, а Наполеон принимал ухаживания так, будто родился в колыбели Бурбонов или Габсбургов. При этом оставался внимателен даже к пустякам.

— Бертран, ваша поза может нравиться только вам.

— Извините. Я нечаянно прислонился к стене.

— Я вас уважаю, но сидеть позволяю лишь в том случае, когда я лежу. А когда я сижу, все обязаны стоять. Это золотое правило подтверждено практикою монархов всего мира...

После обеда он мурлыкал песню нищих итальянских лаццарони. За этим занятием его и застала радостная Монтолон.

— Маршан вернулся,— сообщила она.— Джемстоун гудит с утра, словно улей. Оказывается, вчера русский бриг просил свидания с де Бальменом, который, будучи извещен об этом с эскадры, всю ночь не спал, составляя реляции для своего царя. А утром англичане, не успев отмолиться, палили по бригу с «Конкерора» из пушек, и теперь Гудсон Лоу клятвенно заверяет Бальмена, что «Конкерор» отогнал залпами лишь бродячее судно. Русских же кораблей у острова вообще не бывало...

— А! Как я рад этому скандалу... Наконец-то мои тюремщики оскорбили не только меня, но задели и честь царя Александра в лице его уполномоченного... Прелесть моя, — нежно произнес Наполеон, — позовите ко мне своего мужа.

После секретной беседы с императором Шарль Тристан Монтолон навестил в Джемстоуне русского комиссара. Бальмен проявил любопытство к ртутным препаратам, которыми О'Меара лечил от «завалов» больную печень Наполеона.

— Скажите императору, что пожар Москвы не будет забыт русским народом, но в нашем образованном обществе уже складывается искреннее сочувствие к его трагической судьбе.

— Пожар Москвы, — подхватил Монтолон, — многое повернул в ложную сторону. Теперь мой император признает, что, вступив в Вильно, ему не надо было двигать армию на Смоленск, ему следовало из Вильно диктовать условия мира...

Монтолон ранее возглавлял французскую разведку в Германии, и теперь им, двум конспираторам, вроде бы и не стоило притворяться. Все уже давно ясно, как и этот вопрос:

— Что привело вас ко мне, граф Монтолон?

— Распоряжение императора. Он составил обширное письмо для Александра и просит вас найти верный и тайный способ переправить его в Петербург — лично в руки царя...

Бальмен ответил, что комиссаров Европы обязали присягою каждую строчку Наполеона показывать прежде Лоу.

— А каков Лоу педант, в Лонгвуде извещены достаточно...

Монтолон еще не закончил своей прелюдии:

— Вы и сами, конечно, знаете, что в Тильзите и Эрфурте мой император с вашим говорили о будущей политике мира не только то, что вошло в протоколы, а из протоколов механически перейдет в историю. Между ними возникло, я бы сказал, немало интимных политических связей, которые не должны быть известны истории. Раскрытие же этих тайн повлекло бы за собою *некоторые осложнения* для русского кабинета...

Желтый попугай, соскочив с жердочки, пролетел над столом и уселся на отставленный палец русского комиссара.

— Вы меня, кажется, шантажируете?

— Нисколько, — поклялся Монтолон.

— Но ваши слова...

— Они ведь тоже не для протоколов!

— Иначе говоря, — констатировал де Бальмен, — свер-

женный император желает вступить в официальную, но сугубо секретную переписку с российским кабинетом... Ради чего?

Этот вопрос графа Монтолона не смутил:

— Я думаю, еще не все потеряно... Еще возможны всякие конвульсии в политике. Но история нашего века не будет дописана, если Бонапарты не вернутся на престол Франции.

— Возможно,— кивнул комиссар.— Но вряд ли при нынешних обстоятельствах может возникнуть политическая ось: ПЕТЕРБУРГ — ЛОНГВУД... Это было бы просто смешно!

— Я не все сказал,— вкрадчиво произнес Монтолон.— Вы возьмите письмо, и Наполеон согласен отсчитать для вас миллион золотом. Потом можете просить еще... миллион!

Подозрения Лоу о нераскрытых источниках богатств династии Бонапартов, кажется, подтверждались. Бальмен задумчиво гладил хохолок на головке умного попугая.

— У себя на родине я не считаюсь богатым. Но слышу за честного человека. Иначе, согласитесь, меня в эту «дыру» и не послали бы... Оставим миллионы в покое! Но возьми я письмо Наполеона, и это грозит мне крахом судьбы.

— Да, крахом,— отвечал Монтолон.— Мой император предвидел ваши опасения и просил успокоить вас: наказание будет условным, затем последует небывалый взлет вашей карьеры. Над затухающими головешками Москвы именно вы объедините пожатия двух великих монархов и сердца двух примиренных наций... За вами последнее слово, граф!

— Мое последнее слово таково: все, что здесь было сказано, я никогда не оставлю в тайне от Петербурга...

Наполеон после этого опустошил курятник, безжалостно расстрелял в упор ласковую козочку графини Монтолон, своей последней в жизни фаворитки. Когда женщина разрыдалась от горя, он грубо накричал на нее:

— Перестаньте лить слезы, мадам! Не сидеть же мне тут без дела. Должен же я кого-нибудь убивать...

И опять за окнами Лонгвуда вечерело. Наполеон блуждал вокруг громадного бильярда, бессмысленно передвигая шары руками. Доктор О'Меара стоял, и не было еще такого случая, чтобы знаменитый пациент предложил ему сесть. Конечно, император догадывался, что О'Меара (и не только он!) ведет регулярный учет его обращениям к прошлому, чтобы потом — на основании этих бесед — сложить книгу. Доктор, хорошо изучивший внутренний мир своего больного, наводя

шими вопросами провоцировал Наполеона на откровенность; он знал, что император, подобно всем корсиканцам, всегда был страшно суеверен, боялся разбитых зеркал, цифры «13» и буквы «М». Наполеон говорил:

Все исполнилось! Нельзя мне было в пятницу покидать Сен-Клу перед походом в Россию, а в канун Ватерлоо я видел осколки зеркала. Москва начинается с роковой буквы «М», я боялся даже людей с фамилиями на эту букву. Судите сами: Мале, выбравшись из бедлама, три часа управлял Парижем в мое отсутствие, а генералы Мортье и Мармон подписали позорную капитуляцию Парижа перед русскими...

— Ваш любимый шурин Мюрат, король Неаполя?

— Петух, которого я разукрасил орлиными перьями. Боясь за свой престол, он предал меня — и сразу погиб.

— Наконец, ваш славный маршал Массена?

— Да, этот негодяй был талантлив, но мошенник, каких мало. Массена воевал ради добычи, не стыдась обворовывать своих же солдат. Армия дважды бунтовала — из-за него...

Доктор деликатно напомнил о Моро, и при этом имени Наполеон нервным движением руки поправил на лбу челку.

— Моро был отличным полководцем. Но я ставлю его ниже Клебера, Дезе и даже Сульта... Моро недоставало огня! Для воодушевления Моро требовалось, чтобы вокруг стали падать мертвецы. Тогда он раскуривал свою трубку и залезал в самую гущу драки. Впрочем, — добавил Наполеон, — Моро имел очень добрую душу, он любил смешить людей. Вся беда в том, что ему попала одна вертлявая креолка, которой он подчинился, прельщенный ее красотой и юностью. Она и вертела им как хотела... Я уже не помню, — поморщился Наполеон, — когда мы с Моро не могли поделить Францию.

Он молча обошел бильярд, вынул из лузы шар номер «13» и неожиданно заявил доктору:

— Франция должна забыть Моро! Пусть он сохранится в памяти русских историков, и то лишь потому, что сражался с Суворовым... Но я до сей поры не знаю, как светило бы мне солнце судьбы, если бы Суворов дожил до Аустерлица!

1. ПРОТИВ СУВОРОВА

В пасмурных долинах Ломбардии ржали усталые кони, дымили походные кузницы, пахло перегнившей соломой и острой лошадиной мочой. Италия встретила русских холодными дождями, дороги развезло от грязи...

Была ранняя весна 1799 года.

Мосты через Адду, kloкочущую от обилия дождей, были взорваны отступившими французами. Суворов проснулся в четвертом часу ночи, велел подавать щи. Адъютант Кушников задернул полог шатра, чтобы ветер не гасил свечи.

— Ну,— спросил Суворов,— нашли жирную свинью?

— Одно сало! Казаки бросили ее в Адду, она даже хрюкнуть не успела, так и закрутило... Вечная хрюшке память.

— Скверно,— огорчился Александр Васильевич...

Из всех животных лучший пловец — свинья, и уж если даже она потонула — значит, нельзя пускать вплавь и конницу. Тут появился напыщенный секретарь Егор Фукс, сообщивший, что ночью из Милана вернулся лазутчик с новостью:

— Парижская Директория поручила управлять армией в Италии новому командующему — генералу Моро, а он из разжалованных, ему по делу Пишегрю чуть было голову не спесли.

— Моро... Моро...— призадумался Суворов, напрягая память.— Не тот ли это Моро, который насмешил всю Европу, когда его *кавалерия* захватила *флот* у голландцев?

— Да, история не знала подобного: Моро атаковал флот в гавани, его гусары Лагюра въехали на палубы кораблей и саблями изрубили все снасти такелажа.

— Каков храбрец! При косе Кинбурнской я пускал казаков морем в воде по брюхо, но корабли брать... не додумался. Егор Борисыч,— распорядился Суворов,— пошлите Моро мое приветствие по случаю его назначения.

— Слушаюсь,— отвечал Фукс с поклоном.

Кушников по газетам знал: Моро — из якобинцев, сейчас ему тридцать пять лет а слава его викторий гремит по всей Франции.

— У них все гремит. Неужто он и Бонапартия злее?

— Не осмелюсь сравнивать. Но Бонапартия и Моро французы под масть на один шесток садят. После сих имен в Париже почитаются еще свирепые генералы — Дезе и Жубер.

— Ладно. Славных бить — больше славы! Жаль, что Бонапартий запропал в Египте под сенью пирамид фараоновых. Я ведь за его горячками давно с вожделием надзираю...

Итальянская кампания началась успешно. Россия стояла в альянсе с Австрией, под знаменами Суворова сражались итальянские волонтеры. Армия форсировала Адду по зыбким понтонам. На другом берегу генерал Моро ворвался прямо в казачью «линию» — вжик! — уже отсекли

поводья, но Моро четкими ударами сабли избавил себя от неизбежного плена.

— Узнаю повадки гусара! — сказал Суворов.

За рекою простерлись дороги на Милан; дожди разом схлынули, напала адова жарыща. Среди солдат слышалось:

— А пельцынов-то не видать. Сначала грязюка, быто в России, ныне сухота эка, а кады ж пельцыны созреют?..

Суворов окликнул донского атамана Денисова:

— Адриан Карпыч, открой ворота в Милане...

Было воскресенье: на улицах Милана царил оживленный карнавал, нарядные кавалеры жеманно танцевали с прекрасными синьорами и синьоринами. Нищие жители предместий весело обозревали неведомых людей с курчавыми бородами, поначалу приняв казаков за русских... монахов:

— *Sarucini Russi!* — кричали в толпе.

Атаман Денисов растолковал как умел:

— Добрые миланцы! Не попы мы московские, а казаки с тихова Дону... Не верьте афишам парижским, будто мы младенцами кормимся да женок чужих задираем. Не хотим мешать и веселью вашему. Танцуйте далее себе в забаву, а мы, квартир ваших не беспокоя, на мостовых выспимся... Дадите соломки постелить — спасибо, не дадите — бог с вами!

Когда Суворов въезжал в Милан, балконы домов были украшены коврами и шаями, женщины бросали цветы под копыта русской кавалерии. Фельдмаршал укрывался внутри возка (спасаясь от жары, он разделся до исподнего). Подле кареты ехал верхом в пышном мундире важный секретарь Фукс, которого миланцы ошибочно сочли за великого полководца:

— Виват Суворов — избавитель Италии!

Фукс охотно принимал поцелуи красавиц, часто кланялся из седла публике. Вечером ему было сказано:

— Ну, Егор Борисыч, спасибо — *выручил*.

— За что благодарность вашего сиятельства?

— Да уж больно хорошо за меня кланялся...

Вечером в миланском «Ла Скала» божественная Джузеппина Грассини пела для русских офицеров, но Суворов в театр не поехал. Фельдмаршал развернул карту перед Багратионом.

— А что, князь Петр? — сказал он любимцу. — Генерал-то Моро выявился неплох... Немало у него в голове всякой мебели, да и чердак свой он, видать, исправно проветривает.

Чую, разгадал он меня, старика, но я все-таки понял его лучше...

У безвестной деревни Маренго Багратион напал на войска Моро; французы, хотя их было меньше русских, сражались превосходно, на место битвы прискакал Суворов — с укором:

— Ах, князь Петр! Упустил ты Моро, упустил...

Моро отвернул в сторону Генуи, Суворов — к Турину. Но всюду русские ощущали тактическое мастерство противника, Моро удивлял Суворова гибкостью блистательных маневров.

— Генерал искусных ретирад! Пожалуй, никто еще столь ловко не увертывался из моих объятий, как этот жакобинец...

В сражении у Треббии русские одержали победу, а в июне адъютант Кушников доложил полководцу:

— Директория во главе с Баррасом отзывает Моро в Париж для оправдания в ретирадах перед нами. На его место директор Сийес шлет задиристого генерала Жубера...

— Жаль! — отвечал Суворов. — Мне жаль Моро, который, вопреки мнению парижских бездельников, сражался с нами хорошо... даже очень хорошо! Что подарить ему на прощание? Велю пленных офицеров-французов отпустить обратно к Моро... Да, хватит на них наши макароны переводить!

.....

Поспешая в Италию, генерал Бартелеми Жубер завернул в провинцию, где томилась его невеста. Гремя шпорами и растревожив сельскую идиллию звоном сабли, всегда неотразимый, излучая бешеную энергию, Жубер суматошно взывал к перепуганным родителям обрадованной невесты:

— Свадьбу! Без промедления... Что вы копаетесь с посудой и перинами? Вы имеете дело с самим Жубером, а ему дорога каждая секунда — его ждет *сам* Суворов...

Утром он оставил счастливую жену:

— Ах, чудо мое, почему я не могу взять тебя в Италию, чтобы ты насладилась видом моего торжества?

— Чего не увижу, о том услышу, мой дорогой.

— Да! Мир еще содрогнется при этом имени — Жубер...

Моро был его давним приятелем, он сразу усадил Жубера перед собой и как следует наточил ужасную бритву.

— На худой конец, в отставке я могу ведь открыть цирюльню. А на вывеске изображу комету, летящую над крышами Парижа, и пусть комета станет символом той небывалой скорости, с какой я из волосатых дикарей произвожу людей... Готово!

— Как? Уже? — поразился Жубер.

— Да,— сказал Моро, вытирая бритву.

— Не выдумывай, Моро,— ответил Жубер.— К чему тебе скоблить чужую щетину, если ты готовился в адвокаты?

— Но предпочел сражаться за революцию... Мы с тобою проделали скорый марш, не правда ли? Два-три года в седле — и солдаты стали дивизионными генералами. А теперь я только гражданин Моро, проигравший кампанию... Мы посадили в Италии «деревья свободы», но свободы не дали. Напротив, мы разорили итальянцев, и без того нищих. Меня в Ривьере народ провожал свистом, а Суворов въехал в Милан по цветам...

— Ты отчаялся, Моро? Ты устал?

— Возможно. Но когда в Париже кричат о том, что Франция несет миру освобождение, я думаю, прежде надобно спросить у народов — хотят ли они такого «освобождения», когда их грабят, дабы насытить алчную Директорию?

Личная дружба с Жубером не позволила Моро страдать самолюбием, и он предложил себя в роли советника.

— Иного от тебя не ожидал,— обрадовался Жубер; давний соратник Бонапарта на полях битв, он верил только в наступление.— Этого, кстати, ждут от меня и в Париже!

Моро наклонил кувшин, разливая вино:

— Этого, кстати, ждет и армия Суворова.

— Так в чем же дело? — хохотал Жубер.— Если желания Суворова сходны с желаниями нашей Директории, так мы завтра же устроим здесь отличную потасовку...

Моро оставался чересчур рассудителен:

— Открыть сражение способен любой деревенский башмачник, но иногда и гений не может его закончить. Финалы битв опаснее их начала. Я не имею точной диспозиции боя, о котором ты говоришь с таким упоением. Зато я,— заключил Моро,— ясно вижу диспозицию к нашему отходу... в горы Овадо!

Это признание возмутило пылкого Жубера:

— О чем ты, Моро? Три года назад мы завоевали Италию, и французы не могут уйти домой, как провинившиеся дети, которых отсылают спать. Будь сейчас Бонапарт с нами, он бы уже утром свалился с гор на бивуаки русской армии...

Французы развели костры под городом Нови, что лежал к северу от Генуи. Жубер раскрыл походную кровать подле кровати друга. Главное еще не было сказано. Наконец он сознался, что перед отъездом из Парижа имел опасную беседу с директором Сийесом, который намекнул, что Франция настолько изнемогла от разврата Директории и голодания, что, появившись в Париже человек со шпагой, дерзкий и попу-

лярный в народе, он способен увлечь Францию к новой славе.

— Сийес сказал, что Бонапарт вряд ли уже выберется живым из Египта, его армию можно списать в убыток военных расходов, а человеком со шпагой могу стать я! — Жубер дунул на свечи, гася их, в темноте добавил: — Завтра я разобью армию Суворова, чтобы триумфатором вернуться в Париж, где и стану властелином всей Франции... Моро, ты станешь моим военным министром — моим Карно!

— Спокойной ночи, Жубер, — отозвался Моро...

Сражение при Нови открылось в четыре часа — на рассвете. Суворов навалился на левое крыло французов, союзники удачно смяли его, и это привело Жубера в бешенство.

— Коня! — крикнул он. — Я приехал сюда не наниматься в ученики Суворова, а русские не похитят моих лавров.

Роковая пуля выбила его из седла на полном скаку. Падая наземь, Жубер прохрипел последние в жизни слова: — Только вперед... честь, слава... Франция!

Моро снова принял командование армией:

— Не я бой открывал, но мне суждено заканчивать...

Он усилил левое крыло, ослабив правые фланги, и Суворов, заметив это, указал Милорадовичу с Багратионом:

— Обрушьте их правый фланг... с богом!

Багратион пошел в обход Нови, где засел Сен-Сир со своим войском, и на этом пути князь Петр чуть не сложил голову. Громадные ядра с тупым звуком сотрясали землю, отчего лошади разом вставали на дыбы, сбрасывая седоков, звенящих тяжелою амуницией... Милорадович возник из клубов порохового угара, в ярости он глубоко всадил в землю мерцающий палаш.

— Не пройти! — сказал он Суворову. — Можете расстрелять меня тут же, но таких свалок я еще не видывал...

Русские батальоны в который раз откатывались назад, уже раздерганные в рукопашных безумиях.

— Крепок француз севодни... крепок! — горланили ветераны. — Ничем его не возьмешь, хоть зубами грызи...

Нерушимы были стены Нови, и, как стены, нерушимы казались французы, умевшие презирать смерть, как презирали ее и русские... Наконец настал тот исключительный момент боя, которого ждал Суворов: генерал Моро уже распылил свои резервы, а Суворов их приготовил; почти спокойно фельдмаршал сказал:

— Начинаем все сначала... *надо* победить.

Шестнадцать часов длилось кровопролитие, и наконец французская армия была опрокинута. Моро был потрясен:

— Нам осталась одна дорога — в теснины Овадо...

С большими потерями он все-таки вывел из боя и втянул в ущелья остатки армии. В охотничьей горной хижине, сидя на вытертой козлиной шкуре, Моро снова обрел хладнокровие, каким неизменно славился. В убогое жилье собрались начальники сокрушенной армии. Моро велел своему адъютанту Рапателю поискать в седельных кобурах хотя бы огарок свечи.

С трудом он вглядывался в потемки хижины:

— Я не вижу всех генералов... Где Грушй?

— В плену,— отвечали ему подавленно.

— Периньон?

— Тоже.

— Вотрен?

— Мертв.

— Сен-Сир?

— Не знаем.

— Лагори?

— Я здесь. Меня сам черт не берет.

— Итак,— продолжил Моро,— мы оставляем Италию...

Рапатель, сумели вытащить Жубера из этой драки?

— Вытащили! Но он в лепешку растоптан копытами.

— Жубер только что женился,— сказал Виктор Лагори.— Надо отправить его в провинцию. Пусть юная вдова и хоронит.

Моро вдруг потерял спокойствие, крича:

— Нет, нет, нет! Что эта дурочка знает о нем? Одна-то ночь в жизни... Нет! Рапатель, отправь тело Жубера в Париж, и пусть директор Сийес устроит ему триумфальные похороны...

Из ущелий Овадо он переслал в Париж с оказией лишь одно частное письмо — для Жюльетты Рекамье. Между ними существовала давняя симпатия, которую они тщательно скрывали. В глазах парижского общества мадам Рекамье всегда оставалась целомудренна. Впрочем, женщина понимала, что Моро никогда не станет ее мужем, а Моро понимал, что Жюльетта никогда не оставит своего мужа... Уже в Провансе, по дороге в Париж, Моро настигло письмо актрисы Розали Дюгазон. «Приезжай! — молила она. — Ты застанешь меня святою...»

Моро запахнул плащ и шагнул в карету.

— Поехали дальше,— сказал он.

Спутникам Моро было странно слышать его слова:

— Если бы я не служил моей Франции, я хотел бы стать генералом российской армии...

.....

1799 год совместил в истории имена Суворова и Моро, а безжалостная смерть сблизила их могилы. Суворов лежит в самом конце Невского проспекта — на кладбище Александро-Невской лавры, а Жан Виктор Моро успокоился в оживленном центре Невского проспекта — в доме под номером 32/34, под которым ныне значится старинное здание римско-католической церкви. Суворову при погребении были отданы воинские почести как генералиссимусу, а Моро, его противник, был осенен почестями как фельдмаршал.

Это не бессмыслица: время имеет свою железную логику!

2. ВРАГИ НАРОДА

Тогдашние цены почти недоступны нашему пониманию, ибо люди, жившие в канун грозного XIX века, допускали в общении меж собою немыслимые сравнения. Говорили так:

— Письмо из Вены обошлось мне в шесть франков. На радостях я купил в Гомеле бутылку мозельского за восемь польских флоринов, а каждый флорин — пятнадцать венских крейцеров. Итого, друзья, я истратил всего полтора рубля!

На больших дорогах Европы грабили и убивали. Деньги переходили из рук в руки. К ночи дороги Франции пустели, движение возобновлялось под утро. Загрузив diligэнсы багажом и рассадив пассажиров по скамейкам, кучеры, влезая на козлы, обычно предупреждали:

— Приготовьте деньги, чтобы отдать их по первому свистку разбойников. А я остановлю лошадей сразу, ибо ради ваших кошельков riskовать жизнью не нанимался...

Въезд во Францию был тогда явлением подозрительным, а выезд из Франции почти преступен. Это каралось. Но умирать на эшафоте стало делом привычным, так и говорили:

— Э! Чихнем-ка мы в пыльный мешок...

С песней шли на эшафот якобинцы, с улыбкой, даже кокетничая, ложились под нож гильотины напудренные аристократки. Социальные различия были уравнены изобретением доктора Жозефа Гильотена, и теперь напрасно дворянин молил судей о дворянской казни — через повешение.

— Веревка? Много захотел. Теперь все равны...

Бытовали выражения: «друг народа» и «враг народа».

Враг народа граф Прованский (в эмиграции «де Лилль», будущий король Людовик XVIII) благополучно удрал из Франции, а после казни Людовика XVI объявил свету о своих наследственных правах на престол Бурбонов. Затем начались скитания... Его отовсюду изгоняли — из Турина и Венеции, из Австрии и Пруссии, короля грызли клопы на постоянных дворах, его обсчитывали в харчевнях, обворовывали на почтовых станциях; всюду презираемый, как бродячая собака, он нашел приют в Митаве, бывшей столице Курляндского герцогства... Замок герцогов Биронов был отделан изнутри с роскошью Зимнего дворца, здесь беглец и поселился с обнищавшей свитой, которая не гнушалась брать от местных «рыцарей» бочку салаки или воз подмороженной картошки. Этот курьезный «Версаль» в миниатюре имел даже своих послов — в Лондоне, Петербурге, Гамбурге и Неаполе. Придворные хроники сообщали о графе Прованском как о тупом обжоре, заядлом картежнике, который не способен даже на то, чтобы завести себе фаворитку. Совсем иначе выглядит король в истории международного шпионажа: выдающийся мастер разведки, энергичный руководитель секретной агентуры. Именно отсюда, с берегов тихой реки Аа, король раскинул тенета заговоров и провокаций. Роялистские оборотни, отлично подготовленные, не ведающие сомнений, маскировались бархатом аристократа или рубищем дровосека; их видели прелатами, писателями, бандитами, нищими, даже пламенными трибунами Конвента, зовущими народ к восстаниям. Людовик XVIII не был тряпкой: провалы переносил спокойно, никогда не падая духом. Он строил свои комбинации на *подкупе* политических лидеров, на *предательстве* популярных полководцев, способных увлечь армии под белые знамена с бурбонскими лилиями. Генералы Дюмурье и Пишегрю уже запутались, как мухи, в его липкой паутине, а теперь (кто бы мог поверить?) *сам* Баррас, глава Директории, тайно принял из Митавы почетные грамоты на имя «виконта де Барраса». Когда армия Суворова сражалась в Италии, митавский «Версаль» уже не сомневался, что 1799 год станет годом реставрации французской королевской монархии...

Был день как день. Обычный день — королевский.

В польской каплице была отслужена обедня, потом граф Прованский в голубом мундире прошелся до трактира «Тобаго», где скушал жирного угря, спровадив его в дальнюю дорогу кружкой черного курляндского пива. Он спросил:

— Не было ли сегодня газет из Франкфурта?

Франкфурт славился объективностью печати. Газеты сообщали, что армия Суворова уже взобралась на кручи Сен-Готарда, преследуемая генералом Массена, который при Цюрихе полностью уничтожил корпус Римского-Корсакова, а генерала Моро ожидает теперь в Париже по меньшей мере отставка...

— Все эти известия неприятны моему величеству!

Король вернулся в замок, где его ожидал личный секретарь, кавалер Анжу.

— Вы слышали новости, Анжу? Будем надеяться, что оставление Италии не изменит политических намерений русского кабинета, а Павел Первый останется прежним врагом республики негодяев... Теперь,— сказал Людовик XVIII,— следует подумать о нашем воздействии на генерала Моро.

Анжу плотоядно потер ладони:

— Сир, вы предвосхитили мои мысли. Именно сейчас, когда Моро ждет в Париже расправа, он не станет колебаться.

— Разложите мне его характер по шкафчикам.

— На войне Моро довольствуется пайком солдата. Строгих нравов. Пока холост. Его невеста Гюлло, дочь казначея с острова Бурбон, учится в пансионе мадам Кампан. Моро флегматик. Человек выдающейся храбрости. В битве при Флерюсе он в бельевой корзине, привязанной к воздушному шару, взлетал до облаков, с высоты наблюдая за маневрами противника. Моро хорошо образован. Он латинист. И даже... с юмором.

— Что смешного он мог придумать?

— При осаде Майнца, когда якобинцы доедали сапоги и ранцы, Моро устроил роскошный пир. К столу он подал громадного жирного кота, запеченного в духовке, вокруг кота он элегантно расположил двенадцать зажаренных мышат...

Людовик XVIII не улыбнулся. Он сказал:

— Моро я напишу сам. Очевидно, мадам дю Шансене самая подходящая фигура для того, чтобы вручить это письмо...

Дю Шансене, вдова казенного памфлетиста, была в Париже ценным агентом роялистов. Анжу горячо возразил:

— Она интимная подруга Жозефины Богарне, и мы не вправе подвергать ее лишнему риску, ибо наша игра с генералом Бонапартом еще только начинается, сир.

— Кончается! Из Египта ему не выбраться: Средиземное море перекрыто эскадрами Нельсона... Кстати, Анжу, как поживает мадам Бонапарт, бывшая виконтесса Богарне?

В Митаве знали: Жозефина придерживается монархических воззрений, и потому ее держали в плотном оцеплении роялистов. (В скобках добавим: Жозефина в эпоху Директории была платным агентом министра полиции Жозефа Фуше.) Через директора Барраса, своего любовника, эта женщина добывала шпионам Людовика XVIII легальные паспорта для пребывания их во Франции. Анжу отвечал королю, что поведение Жозефины далеко не безупречно, эта вульгарная креолка как бы сознательно афиширует все то, что иная женщина старается скрыть.

— И если Бонапарт вернется, ему предстоит черные дни испытания ревностью. Недавно на курорте в Пломбьере под Жозефиной обрушился балкон верхнего этажа, она сильно разбилась, но теперь снова танцует... Нам,— продолжил Анжу,— еще неясно, как поведет себя Моро, и потому, сир, побережем мадам дю Шансене, ибо ее связи с Жозефиной Бонапарт уведут нас далеко... очень далеко!

— Вы правы,— не возражал король.— Пусть с Моро повидается ваша невестка... как ее зовут сейчас?

— Ныне она затаилась под именем Блондель.

— Вот и отлично. Итак, любезный Анжу, я расставлю сети на Моро, а вы готовьте в дорогу барона Ги де Невилля...

Невилль, по мнению англичан, был образцовым конспиратором, менявшим Париж на остров Джерси, а Неаполь на Петербург с такой же завидной легкостью, с какой пассажиры из кареты пересаживаются в дилижанс, чтобы ехать далее.

— Да хранит вас бог! — сказал ему король.— Это письмо, заверенное мною, вы доставите на улицу Раве, дом восемь, мадам Блондель передаст его генералу Моро. Но при этом она обязана напомнить ему о судьбе генерала Пишегрю...

Павел I выделял на содержание двора Людовика XVIII «пенсию» в размере 200 000 рублей ассигнациями (что равнялось 600 000 французских ливров), но двор бедствовал, ибо все денежки вылетали на борьбу с революцией, а шпионы короля посыпали свои тайные тропы золотыми лундорами.

Все дороги Франции вели в Париж — дороги превосходные, по ним мчались желтые почтовые мальпосты, гащились возы с сеном, перегонялись табуны лошадей для «ремонта» кавалерии, босиком шагали галдящие войска. Путников поражало обилие яблоневых садов; но, сорвав яблоко, следовало съесть его не отходя от дерева, иначе тебя сочли бы вором. Поля засеивались мансом, считавшимся символом революции. Возле деревенских кузниц висели на шестах красные фригийские колпаки — в знак того, что кузнецы еще не потеряли веры в якобинские идеалы. Колокола Франции молчали; на дверях запущенных храмов висели ржавые замки, монастыри опустели, в них разместились различные депо (склады) или общественные клубы, которые никто не посещал. Годы беспощадного террора со знаменитым тезисом: «Щадить людей — вредить народу!» — эти годы вызвали во французах отвращение ко всякой политике. Народ, запуганный и обнищавший, просто *устал*.

— Нам теперь безразлично, — говорили люди, — кто будет занимать покои в Сен-Клу или в Люксембургском дворце, лишь бы эти горлопаны не мешали нам своими декретами...

Вандея, извечная житница Франции, была обескровлена. У крестьян отбирали скот, возвращали же хозяевам, когда они складывали оружие. Но, сложив оружие, шуаны получали с острова Джерси новое — от англичан, и кровавая «шуанерия» (партизанская война) продолжалась. Вожди Вандеи погибали в боях, их вешали, топили, калечили; Жорж Кадудаль, организатор восстаний, тоже свирепствовал... Мирно и безмятежно ворковали над Францией голуби со своими голубками!

Трудолюбивый и жизнерадостный народ, разбросавший камни Бастилии, теперь существовал впроголодь. Париж с ночи выстраивал очереди возле лавок, чтобы утром получить кусок хлеба. Зато неслыханно раздобрела буржуазия, имевшая от революции столько благ, сколько не могла бы иметь раньше. Они, эти буржуа, голосовали за казнь короля, они казнили аристократов, но потом сами становились хозяевами королевских угодий, делили меж собой дворянские замки и поместья. Теперь нувориши измывались над трагической нищетой рабочих предместий, а голодным женщинам кричали:

— Эй, вдова Робеспьера! Спляши карманьолю...

Куда же делись пламенные героини революции, зовущие мужей на подвиг? Неужели, высеченные в под-

воротнях, поникшие от стыда, они дежурят в очереди за хлебом? Теперь, на смену им, явилась новая героиня — бесстыжая Тереза Тальен в прозрачном хитоне, чтобы все видели ее сытое похотливое тело, и она цинично говорила владыкам Франции:

— Ах бедняжки! У вас была революция, был Робеспьер и террор, были славные победы, а теперь буду у вас... я!

Террор (сначала необходимый, затем бессмысленный) лишил Францию лучших, выдающихся людей. Уцелели изворотливые хамелеоны, менявшие убеждения ради собственной шкуры. Они-то и оказались теперь на Олимпе власти.

Но уже никакие ухищрения Директории не могли спасти Францию, да она и не собиралась ее спасти. Облаченные в малиновые тоги римлян, директора, эти пышные патриции Реакции, думали только о себе, о сворах гонимых собак, о конюшнях породистых лошадей, о своих любовницах, которыми они дружески обменивались, словно интересными книгами.

Поль Баррас открыто хвастал, что свои покои в Люксембургском дворце покрыл золочеными обоями:

— Заходите ко мне — вы сразу ослепнете!..

Полотна Рубенса из дворца давно похищены, статуи в Люксембургском парке ископаны, а роскошные покои отданы танцорам, делающим позы перед расколотым зеркалом, в которое когда-то смотрелась Мария Медичи... Здесь, в этом дворце, и воцарился Баррас — беспринципный хищник и циник, каких не знала мировая история. Что ему древность мира и эта пошлая дура Мария Медичи?

— Я вам уже рассказывал про свои обон? Короли не имели даже таких гобеленов, какие я имею обон. Мы победили, чтобы отнятое у врагов народа досталось друзьям народа...

Офицер Национальной гвардии, всю ночь дежуривший у заставы Пасси, с трудом отыскал в тупике улочки Раве старый дом со скрипучей лестницей.

— Мадам Блондель? С вас луидор. Моро — в Париже!

— Он один? — спросила женщина.

— С ним Лагори и Рапатель, но Лагори с гитарой пересел в наемный экипаж, а Рапатель остался с генералом. Кажется, они поехали в отель Шайо близ Елисейских полей...

Покинув свое убежище, мадам Блондель обратно уже

не вернулась. Так она поступала всегда, идя на смертельный риск, и потому десять лет оставалась неуловима. На этот раз она не заметила, что маляр, работавший на лесах соседнего дома, энергично постучал кистью по ведерку, после чего цветочница на углу Раве стала нюхать свои фиалки. Из соседнего переулка выехал старенький кабриолет, и вскоре на набережной Вольтера министр полиции Фуше уже знал, куда направилась мадам Блондель.

— Я это предвидел,— пробормотал Фуше...

3. ПХЕ, ПХЕ, ПХЕ...

Доминик Рапатель, по чину адъютанта командующего армией, носил на левой стороне груди бело-красную ленту. Моро был в сером сюртуке с медными пуговицами, на ногах — короткие кавалерийские сапожки с желтыми отворотами. Генерал и его адъютант заняли скромные комнаты в отеле Шайо. Наконец-то можно задвинуть в угол гремящие сабли, захлопнуть футляры с пистолетами. Рапатель от самой Савойи не смыкал глаз.

— Пожалуй, мне надо выспаться,— сказал он.— Я вам не нужен? Наверное, вы навестите улицу Единства?

На этой улице размещался девичий пансион Кампан.

— Вряд ли,— отвечал Моро.— Меня пугает даже мысль об Александрине Гюлло, столь изящной и юной. Я никогда, Рапатель, не трогаю за столом воздушное безе, боясь раскрошить его в огрубевших пальцах солдата... Иди спать, Рапатель.

Служанка принесла воду, свечи и белье.

— Что нового в Париже? — спросил ее Моро.

— Все старое. Ломбарды трещат от всякого хлама. Иные бедняки закладывают даже башмаки с ног, чтобы иметь су на хлеб. К мясу теперь и не подступиться — на кусок говядины люди глядят, как на знатную принцессу! А в подворотнях по утрам полно всяких подкидышей, в полиции им дают имена: мальчикам — Эгалите и Либерте, все девочки — Гуманы.

Моро остался один, размышляя: что-то с ним будет? Невольно припомнились те, кто головами расплатились за поражения: Кюстин, Гушар, Богарне... многие! Их отослали на гильотину, как отсылают загнанных лошадей на живодерню. Правда, Директория убрала гильотину с площади Революции, ее отвезли в сарай под замок, как отвозят на зиму косилку, ненужную до следующего уро-

жая... Моро даже не заметил, как на пороге появилась незнакомая, нарядная женщина.

— Я устал,— произнес Моро.— Оставьте меня.

— Вы напрасно решили, что я искательница интимных приключений. И не старайтесь угадать, кто я такая. Вам будет достаточно, если я назовусь — мадам Блондель.

Дама уселась поудобнее, всем видом показывая, что от нее не так-то легко будет избавиться.

— Все, что Наполеон Бонапарт три года назад завоевал в Италии, все разрушено дыханием северных вандалов.

Моро показалось, что она ему сочувствует.

— Да. Я разбит Суворовым в тех же краях, где в глубокой древности Ганнибал растоптал слонами легионы римлян...

— Исторические аналогии — утешение скверное. В несчастиях вашей кампании одни видят гениальность Суворова, другие вашу уступчивость... подозрительную! Граф Прованский из далекой Митавы следил за вашей титанической борьбой с русскими. Если мнение короля что-то еще значит для вас, то он, скажу, выражал свое восхищение вашим талантом. Но теперь все кончено. Ваша карьера остановилась, как изношенные часы. Но иногда,— сказала женщина со значением,— часы стоит лишь встряхнуть сильнее, и они застучат дальше.

— С чем же вы, мадам, пришли ко мне?

— С этим я и пришла — встряхнуть вас...

После словесных экзерциций мадам Блондель вручила ему письмо, в котором Людовик XVIII признавал громадные заслуги Моро перед Францией (пусть даже республиканской!); он писал, что эти заслуги плохо оценены Конвентом и Директорией; когда он, граф Прованский, вернется на престол, Моро сразу будет сделан и маршалом, и графом, и пэром королевства.

Генералу вдруг стало невыносимо скучно.

— Я ведь не просто генерал Моро — я еще и *гражданин* Моро! В вашем змеином клубке, очевидно, стало не хватать лишней извивающейся гадны, и в Митаве решили, что этой гадиной могу стать я! Вы не бойтесь,— спросил он,— что я сейчас позову адъютанта, дабы он арестовал вас?

Блондель проявила стойкое мужество.

— Пхе! — фыркнула она с презрением.— Жан Виктор Моро известен Франции за благородного человека, и он не

станет обижать женщину, как не станет и огорчать своего короля отказом от его предложений... На худой конец, мне легко доказать полиции, что вы замангли меня к себе, пытаетесь меня изнасиловать. Смотрите, как просто это делается...

Юбки полетели с нее, в глаза ударило ослепительной белизной женского тела. Моро, присев к столу, разложил бумаги.

— Оденьтесь, мадам... Если вам известна дорога от Митавы до Парижа, вы не заблудитесь и по дороге от Парижа до Митавы. Я буду просить короля не тревожить меня далее, ибо всегда останусь верен заветам нашей революции¹.

Он слышал за своей спиной, как женщина перед трюмо застегивала крючки корсажа. Пауза была нарушена ее словами:

— Вашей дерзостью король, пожалуй, и не будет слишком удивлен. Но зато вы очень удивите... *Пишегрю!* Это был выстрел в упор. Шарль Пишегрю, талантливейший полководец-республиканец, давний приятель Моро, был разоблачен в связях с роялистами-эмигрантами. Моро сказал, что на каторге Гвианы удивлениям Пишегрю пришел конец:

— А из Кайенны еще никто не бегал. Никто...

Тогда последовал второй выстрел, тоже в упор:

— Пишегрю *бежал!* Он сейчас в Лондоне. А кто предал его? Его предал генерал Моро, и Пишегрю знает об этом.

— Только теперь, мадам Блондель, наша беседа становится забавной. Но я не стану тревожить сон усталого адъютанта. Я не предавал Пишегрю! Документы, обличающие его связи с принцем Конде, я огласил лишь тогда, когда об измене Пишегрю генерал Бонапарт оповестил Директорию. Следовательно, я подтвердил лишь то, что стало известно от Бонапарта.

— Отчего такая снисходительность?

— Я не верил в измену Пишегрю, считая все клеветой завистников, желавших видеть талантливого человека без головы. Но Бонапарт не имел подобных сомнений. В армии тогда говорили, что он даже был рад избавиться от соперника.

¹ Ответ Ж.-В. Моро не сохранился, зато известна реакция Людовика XVIII на его отказ содействовать реставрации. 18 сентября 1799 г. он писал по этому поводу принцу Конде: «Дело было в очень хороших руках, но, судя по ответу генерала, я не имею более надежды на успех...» (Здесь и далее примечания автора.)

— Значит,— с усмешкою произнесла женщина,— Бона парт оказался более предан революции, нежели вы. Вас не страшит его прозорливая бдительность? Этот корсиканец и в случае с Пишегрю опередил вас... Не так ли, Моро?

— *Suim suique*,— отвечал Моро.

Юрист, он знал римское право: КАЖДОМУ СВОЕ. Только теперь роялистка собралась уходить.

— Вы еще о многом пожалеете, генерал Моро.

— Но всегда останусь гражданином Франции.

— Пхе, пхе, пхе...

.....
Он хотел разобраться с гравюрными увражами, вывезенными из Италии, но внизу вдруг возникла перебранка, и Моро вышел на лестницу. Швейцар гнал от дверей человека, явно желавшего проникнуть на кухню.

— У нас нет объедков! — визгливо кричал старик.— Все объедки с кухни мы доедаем сами.

— Погодите,— сказал Моро, спускаясь вниз...

Он увидел человека своих лет в ошметках мундира, рука его была обмотана тряпкой, лоб пересекал рубец от сабли; под кожей, едва затянувшей рану, пульсировал мозг.

— Судя по остаткам мундира, вы... русский?

— Честь имею — колонель Серж Толбухин.

— Где вас пленили, при Треббии или на Рейне?

— Под Цюрихом! Я из корпуса Римского-Корсакова.

— Вы, колонель, помрете,— сказал Моро.— Я опытный солдат и знаю: с такими ранами в голову не выжить.

— Но я уже смирился с этой дурной мыслью.

— В наше время дурные мысли недорого и стоят...

Моро предложил подняться к себе. Из походного кофра достал свежую рубашку. Несмотря на ужасные ранения, Толбухин ел и выпивал охотно. Охотно и рассказывал:

— Проклятые цесарцы! Они бросили наш корпус и удрали, тогда-то Массена и навалился на нас, словно дикий кабан на пойнтера. Теперь Суворов оставил Италию, и не знаю, как он перетащит артиллерию через Швейцарские Альпы?

— В горной войне пушки погребаются в могилах ущелий. По себе это знаю. А много ли вас, русских, во Франции?

— Тысяч пять-шесть... Пленные англичане и австрийцы имеют в Париже своих комиссаров, озабоченных их нуждами, их лечением. А мы разбрелись кто куда.

Я бежал из Нанси... пешком, пешком, как дергач! Император Павел объявил всех пленных изменниками. Возвращаться в Россию права не имеем. А потому, сударь, я мало озабочен дыркой в голове...

Все-таки пришлось потревожить Рапателя:

— Доминик, сейчас ты отвезешь русского полковника в военный госпиталь. Если там осмелятся не принять его, ты скажи — приказ дивизионного генерала Моро...

Сейчас он никого не хотел видеть. Однако пронырливый Сийес обнаружил его пребывание в отеле Шайо, встреча с директором состоялась. Высокомерный интриган, Сийес втайне жаждал личной власти над Францией и уже брал уроки верховой езды, дабы Париж видел его галопирующим перед войсками... Подбородок Сийеса утопал в кружевах пышного жабо.

— Я молчу о кампании, вами проигранной, но... Где же деньги? Неужели не смогли выжать из итальянцев больше одного миллиона? Что это за война, если она не приносит доходов? Бонапарт на вашем месте засыпал бы Директорию золотом. Ладно, прощаем... Отчего вы сами не явились ко мне?

Рушились режимы, искажались программы клубов, гильотины стучали, как станки на фабриках, поставляя продукцию для кладбищ, а Сийес снова и снова оказывался наверху власти, живой и невредимый, богатеющий дальше. Для Моро это оставалось загадкой... Он думал: «Что отвечать этому аббату?»

— Но я же не явился и к Баррасу, — сказал он.

— Баррасу плевать на вас и на ваши дела, — грубо ответил Сийес. — Этот плут помышляет только о том, как бы развязаться с одной шлюхой, чтобы срочно завести другую... Директория, Моро, потеряла в народе последние остатки доверия.

— Так кому же теперь я нужен? Одному вам?

— И... Франции! — ловко подметил Сийес. Вдруг он начал жалеть Жубера: — Такой молодой, красивый, талантливый... и пуля в сердце! Скажите, Моро: успел ли Жубер перед гибелью одарить вас дружеской искренностью?

Моро отлично распознал подоплеку ухищрений Сийеса, искавшего замену убитому Жуберу, и решил про себя, что Сийес вряд ли заслуживает точной исторической правды.

— В канун роковой битвы при Нови, — сказал он, — мы с Жубером так запьянствовали, что я ничего не помню.

Кажется, и такой ответ устраивал Сийеса.

— Значит, вы не слышали от Жубера, что Франция нуждается в человеке со шпагой, смелом и популярном? Сейчас вполне возможен крутой поворот в любую сторону — хоть в угол, хоть за угол... Но прежде всего нужна ваша шпага!

— Не слишком ли она коротка для ваших целей?

— Если коротка, сделайте фехтовальный выпад вперед, и тогда острие вашего оружия поразит любого...

Беседу прервало появление секретаря. Сийес предложил продолжить разговор вечером в Люксембургском саду.

— Вы там встретите немало общих знакомых, но... мадам Рекамье, должен вас огорчить, там не бывает.

Из шиньона аббата выпала гребенка с жемчужиной, и Моро не поленился поднять ее. Он знал, что его Жюльетта не унизит себя общением с распутной Директорией. Она лишь катается в открытой коляске в Лонгшоне, вызывая в публике восхищение. «Это мое царство! — говорила она как-то Моро. — И оно сразу закончится, когда я замечу, что даже грязные трубочисты не оборачиваются вослед мне...»

В саду звучала музыка Чимарозы, между деревьев феерично вспыхнули люстры, высветив потемки аллея. Моро казалось, что он попал на вернисаж, где элита Директории — буржуазия! — выставила напоказ свое богатство, свою пустоту, свои туалеты, свое невежество, свое бесстыдство. Лакеи королей в Версале, конечно, были одеты намного скромнее, нежели лакеи Директории, сновавшие среди публики в красных фраках с голубыми кушаками, а шляпы их украшали султаны — трех расцветок революционного флага... Скинув на руки одного из них плащ и треуголку, Моро сказал:

— Когда я уезжал в Италию, дамы в газовых платьях еще не забывали носить трико и закрывать грудь... Неужели не вернуться блаженные времена декольте, скромно укрытого веером?

Подле приятеля Бернадота сидела одноглазая Элиза Форстер, маскировавшая свое уродство пушистым локоном. Бывшая герцогиня Девонширская, она пила ликер из черной смородины, а генерал Бернадот мрачно насыщал себя гоголем-моголем.

— О! — воскликнула кривая красавица, увидев Моро. — Ты слышал новость? Твой друг вытащил из марсельского трактира какую-то девку, которая была невестой Бонапар-

га... ну, этого, что пропал в Египте! Бернадот, расскажи нам о ней.

С трудом друзья-генералы отвязались от пьяной женщины, у которой на большом пальце ноги красовался перстень с громадным бриллиантом. По этому поводу Бернадот сказал:

— Когда дура не знает, куда деть красивое перышко, она втыкает его себе в зад... Садись, Моро. Вчера в Манеже собирались старые бунтари, и Журдан говорил о гноей героической Итальянской армии... Как она сейчас?

— Я вывел ее во Францию босиком, без артиллерии, без обозов. Из всей амуниции остались одни лишь ранцы.

— Верю. Очевидно, тебе досталось?

— Да. Только при Нови подо мною рухнули три лошади, у четырех сабель вышибло клинки из эфесов.

— Представляю, какая была там свалка...

Жан Бернадот был давним другом Моро, их роднило прошлое революции. Моро спросил о трактирщице из Марселя — правда ли, что болтала о ней эта одноглазая шлюха Форстер?

— Дезире Клари была невестою Бонапарта, и он надавал ей столько клятв, что теперь она не верит моим словам. Оставим это, — попросил Бернадот. — Лучше скажи о Суворове...

Моро так часто спрашивали о Суворове, что его мнение, облеченное почти в формулу, сохранилось: «Что сказать о человеке, способном довести напряжение боя выше человеческих возможностей? Суворов скорее положит костями всю армию и сам ляжет с нею, чем отступит хотя бы на шаг. Его марш-марши — великолепны, они мне кажутся шедеврами воинского искусства...»

Бернадот спросил:

— Ты уже получил новое назначение?

— На плаху истории... за Италию!

Бернадот утешил: неудачи в Италии уравнились успехами Массена в Швейцарии, и этот успех представляется столь значительным, что Директория решила закрыть глаза на все погромы и грабежи, которые Массена обрушил на мирное население. Однако, продолжил Бернадот, после отхода армии Суворова, в Италию, словно воды вселенского потопа, хлынули венские войска, уничтожающие следы республиканства:

— По слухам, знаменитый Доменико Чимароза уже сошел с ума от пытки на огне... Скажи, ты любишь его мелодии?

В тени кустов Моро разглядел Жозефа Фуше, который издали ему кивнул (как якобинец якобинцу), а Бернадот указал на Жозефину Бонапарт: «мадонна Победы», как прозвали ее журналисты, с унижительным подострастием раскланивалась перед Терезой Тальен, названной «богородица Термидора».

— Жозефина выглядит великолепно,— сказал Моро.

— Никто не спорит,— согласился Бернадот.

— А кто вон там крутится с костьюем?

— Ты не узнал Талейрана? Мадам де Сталь слезно выпросила для него у Барраса портфель с иностранными делами. Впрочем, Талейран уже оставил этот портфель на столе в кабинете, и это верный признак того, что Директория издыхает.

— Послушай, дружище,— сказал Моро.— Париж это или не Париж? Куда делась суровая простота прежних нравов? Если революция уже «чихнула в мешок», так ради чего же мы, ее наследники, продолжаем посылать людей на явную смерть в атаках? Неужели ради вот этой гнусной толпы обезьян, которая отчаянно лорнирует, чтобы рассмотреть оттопыренные сосцы великолепной Терезы Тальен?..

Лакей вручил записку от Сийеса — тот ждал. В большой чаше искрилось мороженое. Моро, подогретый ликерами и зрелищем нравов Директории, от порога заявил директору:

— Кажется, вы пожелали, чтобы я свою честь и славу принес в жертву вашей политической феруле? Но я против разнузданной Директории, против и любой диктатуры, в какие бы приятные формы она ни облекалась.

— Нет лучше формы, чем форма республиканского генерала,— отвечал Сийес.— Франция знает вас, Франция пойдет за вами...

Сийес убеждал его долго, но Моро чувствовал, что где-то очень далеко (пусть даже в бесконечном пространстве будущего!) речь Сийеса обязательно должна сомкнуться с теми словами, которые он слышал от роялистки мадам Блондель.

— Если Франция, как вы утверждаете, пойдет за мною, то, скажите, за кем собираетесь идти вы? Или следом за Францией, идущей за мной, или... впереди меня? Хорошо,— сказал Моро, выхватывая шпагу,— я согласен уничтожить всю грязь, что налипла на колеса республики. Но при этом сразу договоримся: ни я, ни вы не будем хвататься за власть!

Это никак не входило в планы Сийеса:

— Если не нам, так кому же она достанется?

— Мы вернем ее... *народу!*— отвечал Моро.

— Вы были на улице Единства?— спросил Рапатель.

— Нет,— мрачно ответил Моро,— я не был на даче Клиши у мадам Рекамье, не был у бедной Розали Дюгазон, боюсь и притронуться к нежному безе в пансионе мадам Кампан... Ах, Рапатель, Рапатель! Ты думаешь, мне так легко забыть Жубера, его слишком коротенькое счастье?..

Утром Рапатель разбудил своего генерала:

— Только что «зеркальный» телеграф принял известие с юга: «Париж ликует — Бонапарт высадился во Фрежюсе и летит прямо сюда на крыльях новой славы...» Снова триумф!

Моро, как в бою, просил набить табаком трубку.

— Какой триумф? О чем ты говоришь? Если Бонапарт во Франции, то где же его армия? Вся армия? И если он оставил ее в Египте, какие же лавры могут осенить чело дезертира?..

4. ПОЖАЛЕЕМ СОБАЧКУ

Уильям Питт-младший, глава сент-джемского кабинета, полагал, что возвращение Бонапарта во Францию чревато для Англии худшими опасениями, нежели бы из Египта вернулась вся его армия. Адмирал Нельсон осаждал Мальту, крейсируя у берегов Франции, но блокада была прорвана: «Я спасен, и Франция спасена *тоже...*»— с этими словами Бонапарт ступил на берег. Никто у него не спрашивал, почему оставлена в Египте армия. Народные толпы выходили на дорогу, приветствуя его, французы уже привыкли к мысли, что Бонапарт является в самые кризисные моменты. Его героизм оведала фантастика Востока, всегда возбуждающего воображение европейцев, и маленький генерал, опаленный солнцем пустынь, казался пришельцем из иного, волшебного мира...

Лошади остановили свой бег в Париже возле особняка на улице Шантрен, Бонапарт отстранил от себя Жозефину:

— Я все знаю.

Он в шепки разнес обстановку комнат, двери кабинета захлопнулись за ним. Жозефина, рыдающая, билась о них головою, взывая к милосердию. Бонапарт молчал. Наконец, к дверям Жозефина поставила на колени своих

детей, Евгения и Гортензию Богарне, теперь и они, плачущие, умоляли отчима простить их беспутную мать... (Много позже, уже в Лонгвуде, император говорил о Жозефине: «Это была лучшая из женщин, каких я встречал. Она была лжива насковзь, от нее нельзя было услышать и слова правды. Но, исполненная самого тонкого очарования, она внушала мне сильную страсть. Жозефина никогда не просила денег, но я постоянно оплачивал миллионы ее долгов. Она покупала все, что видела. Правда, у нее были дурные зубы, но она умела скрывать этот недостаток, как и многие другие. Даже теперь я продолжаю любить ее».)

Двери открылись: все продумав, он... *простил!*

В самом деле, не смешно ли уподобляться жалкому роконосу, когда на него взирает сейчас вся Франция? Бонапарт держал себя скромно, со всеми любезный; его видели в саду, он гулял по улице с пасынком и падчерицей. Ни бушующий Мирабо, ни даже неистовый Робеспьер не удостоились при жизни, чтобы о них писали в газетах, а теперь любой француз в Гавре или Марселе читал о приятном загаре на лице Бонапарта, о короткой стрижке его волос, о том, что он сказал Сийесу и какой завтрак устроил ему Баррас... В чередe празднеств и банкетов Жозефина во всем блеске зрелой женственности, очаровывая, тонко интригуя, появлялась с мужем, умело скрашивая его угрюмость, и Бернадот однажды сказал Моро:

— Не пора ли нам арестовать Бонапарта?

— В чем ты его подозреваешь?

— В стремлении быть выше нас. Но разве я поступлюсь принципами равенства?— Бернадот обнажил грудь, на которой красовалась зловещая татуировка: голова Людовика XVI, прижатая ножом к доске гильотины, а внизу было начертано: «СМЕРТЬ КОРОЛЯМ».

— Да,— сказал Моро,— с такой вывеской на фасаде здания тебе осталось одно: жить и умереть республиканцем!

...Моро, сын адвоката, жил и умер республиканцем, а якобинец Бернадот, сын трактирщика, умер королем. Не всегда можно верить наружным вывескам.

.....
А флегма — тоже добродетель. Моро хладнокровно рассудил, что именно корсиканец способен вывести республику из тупика Директории. При встрече с Сийесом он сказал:

— Явился человек, которого вы искали.

— Боюсь, его шпага длиннее, чем требуется...

Потерпев крах с Жубером и Моро, директор даже не заметил, как и когда Бонапарт вовлек его в свои планы, а все выдумки Сийеса о создании новой конституции он отверг: «Я нуждаюсь не в словах, а в действиях...» Люсьен Бонапарт, брат героя, уже пролез в президенты Совета Пятисот, и этим Наполеон Бонапарт прикрыл оголенный фланг от нападения «избранников народа»... Он всюду утверждал, что отечество в опасности, а он прибыл из Египта — спасти его! В этом случае сами по себе отпадали обвинения в дезертирстве. Но Франции ничто не угрожало, спасать было нечего. Угроза отпала — значит, угрозу надо выдумать. Исполдволь Бонапарт и его сторонники сеяли всюду коварные слухи о заговоре против республики.

— Ни красных колапов якобинцев, ни красных каблучков аристократии не потерплю! — утверждал Бонапарт...

Его тайные происки не укрылись от бдительного Манежа, где еще уцелели головы, и генерал Журдан, ощутив тревогу, призывал Париж к оружию санкюлотов — к пикам:

— Смерть тиранам! Все на защиту республики... Франция не нуждается ни в Цезарях, ни в Кромвелях!

Журдана поддерживал генерал Пьер Ожеро — безграмотный храбрец, сын лакея, дезертир из трех армий (в том числе и русской); заносчивый фанфарон, всегда полупьяный, он осыпал Бонапарта и его «когорту» самой отъявленной бранью:

— Корсиканца — на Корсику! Конечно, Бонапарт не лишен способностей, но где ему угнаться за мною?

Это вывело из себя генерала Массена; невежественный и грубый, он часто моргал крохотными глазками:

— Что вы слушаете этого громилу? Разве Бонапарт или Ожеро могут сравниться со мною?.. А ты, Журдан, вообще иди к чертям: твоя слава — слава битого генерала!

В церкви святого Сюльплиция парижане устроили пир в честь Бонапарта, но Журдана и Ожеро там не было. Однако Бонапарт в эти дни нарочно повидался с Журданом.

— Ты, — заявил ему Журдан, — никогда не посмеешь тронуть священные принципы свободы, равенства и братства.

Обращение на «вы» презиралось, как отрывка аристократизма, в те времена даже солдаты говорили своим генералам: *ты!* Бонапарт, обнимая Журдана, успокоил его:

— Я рад, что в тебе не угас дух прежней свободной Франции, и ты, Журдан, будь уверен во мне. Я не пойду

за вами, за идеями Манежа, но все исполню в интересах народа...

Баррас считал себя хитрейшим человеком Франции, которого никому не обмануть, не провести. Нет, он своего не отдаст! После беседы с Талейраном Баррас сразу обрел спокойствие, уверенный, что ради его же будущих благ хлопчут с утра до ночи все эти убогие людишки — вроде Сийеса, Бонапарта и Талейрана... Между прочим, именно Сийес уже высказывал сожаление, что не удался стговор с Моро:

— Плод давно созрел. Я вам предлагал сорвать его с ветки, но вы не пожелали. Теперь плод достанется другим.

— О чем сожалеть?— смеялся Моро.— В наше время политика осуждена плестись за фургонами грандиозных армий. Стоя под знаменами Франции, я не думаю об автограх декретов...

Боевые дороги Моро и Бонапарта еще не пересекались. Моро никогда не заграждал Бонапарту его путей к славе, Бонапарт еще не видел в Моро соперника,— их слава хлопотала в одном кипящем котле, и потому первая встреча двух полководцев была самой сердечной... Моро, приветливый, сказал:

— Здравствуй, коллега Бонапарт! Я завидую твоей бодрости, я радуюсь твоим успехам...

Они пожали руки. За их спинами выросло «красное привидение»— недавние грозы над Францией, закаты кровавых штурмов, чудовищные поля битв. Гильотина убрала с пути самых талантливых полководцев, другие сами отошли в иной мир.

Бонапарт сразу отстегнул от пояса кривую саблю:

— С нею я прошел от пирамид фараонов до Палестины, и она ни разу не подвела меня. Моро, прими эту саблю мамелюкского бея, и пусть она станет залогом нашей приязни...

Для Моро не оставалось сомнений, терзавших Журдана, не было и тени зависти, мучившей Ожеро,— для него Бонапарт оставался единоутробным братом, рожденным из того же лона Революции, которое однажды породило и его, Моро! Но Бернадот, увидев дареную саблю, обвинил друга в предательстве:

— И ты предал Манеж за железную дешевку?

— Это дамасская сталь! Бонапарт же способен исполнить все то, чего не способен сделать я, не способен и ты...

Бернадотом вскоре занялся сам Фуше.

— Слушай, приятель, я ведь тоже из якобинцев. Глупый человек, куда ты лезешь? Сейчас все наше, пойми. А будет у нас еще больше. Или ты решил быть умнее других? Не лучше ли остаться живым и богатым аристократом, нежели больным и нищим якобинцем?.. Я никого не пугаю. Но двери вашего Манежа заколочу гвоздями. А твоя шея не крепче других...

Бернадот был парализован — угрозами и, наверное, страхом. Зато идеальным казалось состояние генерала Моро, безоговорочно примкнувшего к лагерю бонапартистов. А солдаты? Они-то уж точно радовались:

— За Бонапартом — спасти республику от тиранов! И буйствовала и гремела огненная «Марсельеза».

.....
Париж не был еще прекрасен. Елисейские поля уже существовали, но это был запущенный пустырь, кое-где заросший группами деревьев. Там, где позже воцарилась артистическая богема Монмартра, в ту пору была бедная деревня, жители которой трудились в каменоломнях. Отвратительная грязь покрывала закоулки древних улиц. Миллионы крыс населяли подвалы складов и подземелья кладбищ; иногда к водопою двигалась шуршащая и повизгивающая в тесноте фаланга; неистребимая, она злобно посверкивала красными воспаленными глазками. На центральных улицах Парижа колеса экипажей ломались среди ухабов. Богатых женщин переносили в портшезах (так было удобнее). Редкие фонари, висящие на веревках, едва рассеивали мрак переулков. Старинные здания, уцелевшие со времен Генриха IV, были очень красивы, но кучи мусора у подъездов и дурные лестницы могли испортить любое впечатление... Примерно таким был старый Париж, вступающий в день 18 брюмера, что означало 9 ноября.

Бонапарт, если в этот день у него и были колебания, упрятал их в глубине непроницаемой корсиканской души, наполненной честолюбием, презрением к людям и суевериями. Артиллерия еще с ночи была расставлена в дворцовых садах, заставы перекрыты, а курьерская почта задержана. Рано утром улицу Шантрэн заполнила толпа генералов. Бонапарт вышел к ним в статском платье (но при сабле):

— Какой я оставил Францию и какой я ее застал? Своими победами в Италии я добыл миллионы, а что увидел, вернувшись? Только нищету... Этот порядок не может продолжаться. Пора избавить нацию от болту-

нов адвокатов!— Бонапарт обратился лично к Моро:— Я буду в Тюильри, ты замкнешь Люксембургский дворец в осаде со всей его нечистью, и пусть в него входят, но никто уже из него не выйдет...

Кавалькада всадников в красочных мундирах промчалась в сторону Тюильри, а Моро явился в Люксембургский дворец.

— Закрывать все выходы,— велел гренадерам.

Баррас не сразу выразил свое недоумение:

— Почему никто не едет ко мне? Я не вижу депутатий народа. Меня никто в этот великий день не приветствует.

— А почему он великий, Баррас?

— Сегодня я стану *президентом* Франции.

— Это вспышка фантазии Талейрана?

— Но и сам Бонапарт меня в этом лично заверил...

Наконец до Барраса дошло, что Талейран, повивальная бабка 18 брюмера, ласково завернул его, Барраса, не в пеленки будущей славы, а закутал сразу в покойнический саван.

— Если так,— решил Баррас,— я... приму ванну!

Во дворец пробилась через охрану Тереза Тальен.

— Я должна видеть негодяя... Моро, где он?

— Отмывает с себя кровь своих жертв...

Он сопровождал «богородицу Термидора» до купальни, где Баррас при виде красавицы так сильно всплеснул руками, что окатил ее с головы до ног ароматной водою:

— Полезай ко мне, моя прекрасная наяда!

Тереза Тальен отпустила ему хорошую оплеуху:

— Подлец! Я думала, ты умираешь героем, а из вонючей воды торчат твои ослиные уши... Где же всемогущий Баррас, еще вчера пировавший, как Лукулл в термах Трапезонда? Твое имя уже оплевано Парижем, генерал Бонапарт в Тюильри вещает всем о твоём убожестве, а ты... ты...

Барраса трудно было вывести из прострации.

— Вечером мы увидимся в Опере,— решил он.

— Вы никогда не увидите,— вмешался Моро.

— Вот и первая новость, дорогая: вечером в Опере нас уже не будет, вечером в Оперу поедут другие...

Моро задержал убежавшую Тальен.

— Назад! Приказ — никого не выпускать.

— Надеюсь, меня-то ничьи приказы не касаются...

Но гренадеры Национальной гвардии перегородили двери штыками, и Тальен кинулась в ноги генералу:

— Моро! Отпусти меня... сжался. Хочешь любви моей? Я уже твоя. Назови любой дом в Париже — он уже твой дом... Отпусти! У меня же дети. Наконец, я снова... беременна.

— И снова от Барраса?

— На этот раз от банкира Уврара.. Сжался, Моро!

К воротам подкатила карета, запряженная шестеркой белых прекрасных лошадей. Мюрат отворил дверцы, из них выставилась наружу маленькая нога в лайковом сапоге. Это была нога Бонапарта, который легко спрыгнул на землю.

— У меня все отлично. А как твои дела?

— Никто и не пискнул.

— Пищать станут потом. Я никогда не забуду твоей услуги, Моро... благодарю! А где Баррас?

— Чисто вымытый, он покорился судьбе.

— Его бесстыжие глаза больше не увидят ни этого дворца, ни Терезы Тальен, ни Парижа. Он меня всегда считал протачком-провинциалом с Корсики. Но смеется только тот, кто стреляет последним. Пора этот навоз вывозить на свалку...

Баррасу объявили о пожизненной ссылке.

— Жаль!— сказал Баррас, оглядев стены своих интимных покоев.— Ведь я совсем недавно покрыл их такими обоями, каких не было даже у королей... Очень жаль!

Жалоба вписалась в протокол его политического ничтожества. Ни король Людовик XVI, бегущий из Версаля, ни сам Наполеон, которому суждено потерять великую империю, никто из них не стал бы сожалеть об искусном декоре стен.

Но только теперь Париж стал волноваться.

— А почему вдруг Бонапарт, а не Моро? Слава у них одинакова, но Моро — природный француз из Бретани, а Наполеон Буонапарте — корсикаец, жена у него — креолка с Мартиники. Откуда мы знаем, какие бабочки порхают у них в головах?

Перед воротами Люксембургского дворца, безучастная ко всему на свете, бедная женщина продавала замодельные вафли, возле ее подола зябко дрожала старенькая болонка.

— Я знаю, что меня уже не стоит жалеть. Но хотя бы ради собачки купите мои вафли... Пожалейте мою собачку!

5. СКРЕСТИМ ОРУЖИЕ

Об этих днях Моро позже вспоминал: «На меня смотрели с особенным вниманием и доверием... Мне предлагали раньше, и это всем известно, стать во главе движения, чтобы произвести переворот, какой был сделан 18 брюмера... Мое честолюбие, если бы его оказалось достаточно, было бы оправдано общей пользой нации и чувством любви к отечеству... но я — отказал!» Наверное, Моро отказал напрасно, и не в этом ли отказе заключалась очень сложная трагедия его жизни?

О событиях в Сен-Клу он узнал позже, увлеченный делами сердечными. В пляде славных, вернувшихся с Бонапартом из Египта, был и молодой еще генерал Луи Даву, с которым Моро встретился случайно.

— Слушай, Моро,— сказал Даву,— я не хочу вмешиваться в твои дела, но знай, что по тебе... плачут.

— Плачут? Кто? Где? Когда?

— Девушка Гюлло. Вчера в пансионе. Я навещал там свою прелестную Любу Леклерк. Неужели ты снова кипятишь остывший бульон с увядающей актрисой Дюгазон? Не смей нас, Моро... Александрина Гюлло знает, что ты в Париже. Учти,— предупредил Даву, очень сметливый,— у ее матери плантации сахарного тростника на Маскаренских островах, и я не пойму, что еще тебя, невежу, смущает?

— Чужие глаза. Чужое внимание. Чужие сплетни.

— Не дури, Моро! Сахар приносит большие доходы. Из-за морской блокады англичан цены на сахар подскочат еще выше. Чтобы не было сплетен, я не пользуюсь калиткой. Для чего же для нас, храбрецов, существуют заборы и окна?

Мысль о том, что он поступил несправедливо с наивным существом, влюбленным в него, была для Моро невыносима. Он посоветовался с адъютантом о наряде:

— Рапатель, я должен быть неотразим...

Он и без того умел нравиться. Держался прямо, с большим достоинством. Глаза большие, серые. Красивый изгиб рта. Жесты скупые, но выразительные. Моро натянул тесные замшевые панталоны. Доминик Рапатель собрал волосы в пучок на затылке генерала, перевязал их красивой ленточкой. Мундир украшало золотое шитье, с голенищ свисали длинные, вычурные кисти с бахромою. Генерал сел в карету.

— Квартал Сен-Жермен,— велел кучеру,— улица Единства, закрытый пансион мадам Кампан... прямо к калитке!

Писательница Жанна Кампан (из придворных дам казенной королевы), по сути дела, готовила в своем пансионе *жен*, давая им уроки кокетства, чтобы вернее пленять мужчин с завидным положением в обществе. Это ей удалось! Ни одна из учениц Кампан не стирала потом бельишко, не моталась по базарам с корзиной, вышивая луковичу подешевле и покрупнее. Весь выводок мадам Кампан впоследствии дружно расхватили маршалы и придворные Наполеона, делая своих жен герцогинями и маркизами... Кампан одобрила выбор Моро:

— Девушка Гюлло достойна вашего обожания. За благонравие она отмечена бумажною розой для ношения возле сердца. Я разрешаю Александрине выйти в сад для прогулки с вами. Но будьте благоразумны, генерал, с невинностью...

Наконец-то он увидел ее — застенчивую смуглую креолку — и снова поразился, как она молода, как она хороша. От девушки исходил нежный запах пачулей, напоминавший о родине, затерянной в Индийском океане.

— Вы жестокий... — упрекнула она его.

Наивная умиленность юного создания восторгала Моро, и генерал сочувственно ахал, когда Александрина, округлив глаза, сообщала ему:

— Сегодня за обедом мне стало дурно... Вы не поверите, генерал: в моем шпинате сидел паук, сидел и убежал...

За ними, отстав шагов на десять, чинно шествовала гувернантка и, поджав губы, на ходу довязывала длинный чулок. Моро шепнул девушке, что еще не потерял надежд на семейное счастье и одно лишь ее «да» может решить судьбу. Но при этом (осторожный, как все бретонцы) он предупредил, что торопить Александрину тоже не желает:

— В любой первой же атаке я могу оставить голову, а свою жену вдовою. Мысль о том, что вы с моим именем станете устраивать новое счастье, эта мысль невыносима для меня.

Александрина протяжно вздохнула:

— Мадам Кампан учит нас, что в любви самое приятное не любовь, а лишь признание в любви... Правда, генерал?

— Возможно. Но где же ваше «да»?

Положительный ответ прозвучал иносказательно:

— Я родилась на островах, о которых, как о рае земном, писал Бернарден в своих волшебных романах. И мальчика следует назвать Полем, а девочку — Виргинией...

Надзирательница, не сокращая приличной дистанции, проявила беспокойство.

— Мадемуазель Гюлло, не пора ли вам вернуться в свою келью и прочесть молитву? Вечер сегодня холодный.

— Пхе! — фыркнула с досадой девица.

Моро вздрогнул. Это резкое «пхе» сразу напомнило ему недавнюю встречу с роялисткой мадам Блондель...

Сен-Клу — загородная резиденция королей, в верхнем зале Марса собирался Совет Старейшин, в нижнем зале Оранжерей — Совет Пятисот с президентом Люсьеном Бонапартом. Все два этажа до предела насыщены возмущением: насилие над Директорией угрожало насилием и над депутатами.

— Нас окружают войсками и артиллерией, ссылаясь на заговор, о котором никто и ничего не знает.

— Директоры сами ушли в отставку, — убеждал Люсьен, — а Сийесу ничто не угрожает. Но подлая рука врагов народа уже протянута к горлу Франции, чтобы удушить священные права свободы... Спокойствие, граждане, спокойствие!

Перед Советом Старейшин с растерянным лицом, похожий на лунатика, предстал Наполеон Бонапарт, и его от самых дверей затолкали, выкрикивая в лицо ему проклятья, — он видел перекошенные от ярости рты депутатов, его рвали сзади за воротник мундира, чьи-то очень сильные пальцы пытались схватить за горло... Всюду слышалось:

— Для чего ты приносил Франции победы? Отвечай! Чтобы затем стать тираном Франции? Отвечай!

Бонапарт стал жалок в своем бормотании:

— Я только солдат. Пришел спасти... нет, я не Цезарь, нет, я не Кромвель... солдат... спасти Францию!

Его крутило в тесноте, в давке.

— Где ты видишь опасность? — спрашивали его.

Бормотания делались бессвязнее и глупее:

— Я рожден под сенью богини счастья... меня вел бог удачи. Я говорю вам о божестве... я вижу свою звезду!

Кто-то (преданный ему) шептал в ухо:

— Сумасшедший! Что ты несешь? Здесь не мамелюки Каира, а представители Франции... опомнись, глупец!

Бонапартисты, увидев, что их кумир заврался и уже не понимает, что мелет, выдернули его из этого зала. А в нижнем этаже Люсьен Бонапарт звонил в колокол, требуя тишины. Журдан надрывался в крике, что не потерпит деспотов:

— Лучше смерть! Бонапарта — вне закона...

Коридоры дворца наполнил грохот барабанов, в зал Совета Пятисот явился Бонапарт, а с ним — четыре гренадера.

— Вот он! Объявить его вне закона...

Шум, неразбериха, гвалт, вопли, звоны колокола. Уже вымстнулись кулаки, где-то блеснул кинжал.

— Резать тирана! Мы — свободные граждане...

Это был день 19 брюмера. Толпа скандировала:

— Вне за-ко-на... в Кайенну его, в Кай-енну!

На первом этаже было страшнее, чем на втором. Бонапарт вмиг потерял загар, обретенный в Египте, и упал в обморок. Гренадеры вынесли его на руках. Люсьен Бонапарт трясущимися руками слагал с себя инсигнии — знаки президентского достоинства. Рядом с ним бушевал Журдан:

— Нет, не удерешь, скотина! Прежде утвердим декрет о незаконности твоего братца, которого и сошлем завтра в Кайенну — на потеху кобрам, вампирам и москитам...

На улице Наполеон Бонапарт упал с лошади (обморок повторился). Люсьен проник в кабинет, где бледный Сийес прощался с жизнью. Сийес и сказал ему:

— Если не очистить зал, мы... мы погубим!

Выбежав на площадь, Люсьен обратился к войскам:

— Во дворце засели убийцы... агенты английской плутократии! Еще мгновение колебаний, и они убьют Бонапарта, моего родного брата и вашего доброго отца!

Войско не колыхнулось, и тогда Люсьен, выхватив кинжал, занес его над своим полуживым от ужаса братом.

— Клянусь! — возгласил он. — Я сам зарежу его, если он осмелился когда-либо нарушить права граждан!

По рядам солдат пробежал трепет, минута была решающей, и Мюрат понял, что промедление губительно.

— Я всех пошвыряю в окна! — обещал он.

Наполеона еще шатало. Глаза блуждали.

— Да, да, — велел он Мюрату, — не бойся колоть шты-

ками. Сегодня для Франции я должен стать божеством..

Люсьен спрятал кинжал и — шепотом:

— Дуралей, что ты опять бредишь о божестве?

За плечами Мюрата моталась пятнистая шкура барса. Двери палаты разлетелись настежь, выбитые ударом ноги:

— Эй вы, дерьмо! Вон отсюда, пока не поздно!

Виртуозная грубость выражения ошеломила депутатов. Увидев, как надвигаются ряды штыков, они бросились в окна.

— Помогите им прыгать,— указал Мюрат солдатам.— Хотя и невысоко, но я хочу слышать хруст их костей...

Через минуту зал опустел. Никто не задавал вопроса: «А если бы не хвостун Мюрат? Что было бы?..» Наполеон Бонапарт с трудом, еще бледный, взобрался на статную лошадь:

— Выдайте солдатам деньги и водку...

Он ехал молча. За ним шагали восемь тысяч гренадеров в мохнатых шапках и распевали «Марсельезу».

— Все в порядке!— кричали они прохожим.— Мы спасли своего капрала, а он спасет республику.

Обо всем, что произошло в Сен-Клу, генерал Моро узнал позже и уже в ином освещении, более героическом. Не довелось Моро присутствовать и при следующей омерзительной сцене, когда пьяный Ожеро явился на улицу Шантрен, где Бонапарт, уже свежий и бодрый, выдрал его за ухо:

— А, храбрец Ожеро! Теперь ты будешь паинькой, и передай крикуну Журдану, что Бонапарт всех прощает. Пора уже знать в Манеже, что я *выше* всех партий... Партия, к которой я принадлежу, состоит из одного человека — это я!

Вместо Директории было учреждено Консульство из трех консулов: Дюко, Сийеса и Бонапарта. Если власть завоевана, ее надо делить. Бонапарт сказал Сийесу:

— Я думаю, среди трех консулов кто-то из нас должен быть ПЕРВЫМ, дабы от имени нации воспринять всю полноту власти. Учитывая особые заслуги Сийеса перед революцией, именно ему и доверим назвать имя первого консула...

После такого деликатного предложения Сийес уже не мог показать на себя пальцем, он уступал власть Бонапарту:

— Я предполагал, что ваша шпага длиннее обычной.

— Дело не в шпаге! Тут надобна метла...

Под скромным титулом «первого консула» зарождается единоличная диктатура будущего императора. Он обещал:

— Мое правление будет правлением ума и молодости. Я ничего не желаю для себя, готовый служить народу...

Французы ждали порядка и — мира, мира, мира!

Настал 1800 год; в самом его начале английский король Георг III отверг мирные предложения Франции. Ответ из Лондона был грубым, бестактным, чудовищным. Главный смысл его был таков: мир в Европе невозможен, пока на престол Франции не вернутся Бурбоны... Бонапарт созвал генералов.

— Видит бог, как я хотел мира, но Францию снова принуждают к войне... Готовьтесь снова скрестить оружие!

Закончив одну войну, армия не расходилась по домам, ожидая второй и третьей. Ветераны, давно оторванные от семей и регулярного труда, изучили одно ремесло — воевать, и мир в Европе их уже не устраивал. Так постепенно солдаты буржуазной Франции превращались в профессионалов войны, ничего, кроме войны, не знавших и знать не желающих. В тихом Дижоне, вдали от посторонних глаз, генерал Бертье уже формировал резервную армию, о чем тогда догадывались немногие. Бертье был правой рукой Бонапарта, его мозгом, его канцелярией, даже его «чернильницей». Мундир этого человека оставался незапятнан. Когда Массена обчистил кладовки даже у папы римского, он хотел взвалить вину за грабеж на Бертье, на что Бертье спокойно отвечал: «Пусть он не врет...»

Бонапарт ожидал возвращения из эмиграции Лазара Карно, которого он и встретил щедрыми, великодушными словами:

— Для вас что угодно, когда угодно, сколько угодно...

Лазар Карно, ученый и математик, стал его военным министром. Он предупредил Бонапарта: закон воспрещает первому консулу водить армии. На это Бонапарт ответил:

— Я поручаю армию Бертье, а в законе не сказано, что первый консул лишен права находиться при армии...

Карно был автором доктрины революционных войн, именно он научил французов побеждать опытного противни-

ка с генералами-дилетантами и солдатами-недоучками. Моро и Карно были проповедниками будущего авиации, но, встретившись, они беседовали совсем о другом.

— Я всегда считал вас умным человеком,— начал Карно,— и мне не понять, отчего вы сгруппили 18 брюмера, пропустив Бонапарта впереди себя? Я ведь лучше вас знаю этого человека, в душе которого бушуют вулканы непомерного честолюбия и таятся бездны презрения ко всему человечеству...

Карно сам был членом Директории, знакомый с ее секретами. Он сказал, что Бонапарт, одерживая победы, слал в Париж кучи награбленного добра, не требуя отчета у Барраса, почему и Баррас не требовал отчета у Бонапарта.

— Это был, если хотите, негласный альянс двух матерых разбойников, и Директория, обставляя свои комнаты антикварными ценностями, расплачивалась с поставщиком ценностей нещадным воскурением ему фимиама... К чему мы пришли?— рассуждал Карно.— Теперь вместо прежнего братства с народами Европы явилось чувство превосходства над другими народами. Это упоение опасно для самих же французов! А тяга к военной добыче стала для генералов естественна — как желание есть, пить и спать. Я иногда с ужасом спрашиваю себя: чем это кончится? Завоевательная политика Франции сначала приведет к диктатуре армии над народом...

— Кажется, уже привела,— заметил Моро.

— А затем армия породит и диктатора — и над собою и над народом... Не думаю, чтобы Бонапарт мог быть человеком вроде Вашингтона, который, свершив необходимое для страны, отступил в тень инжирного дерева, наслаждаясь прохладой... Кстати, Моро! А какие у вас отношения с Бонапартом?

— Ни одного упрека за поражения в Италии от него я не слышал. Я принят в Мальмезоне, Бонапарт прост и любезен, а Жозефина крайне мила... Он покоряет, она обвораживает!

О войне старались тогда не думать, хотя Бонапарт все чаще уединялся с Бертье, раскладывая карты Италии:

— Придется снова отбирать у австрийцев все то, что Моро сдал русским, а русскими победами воспользовались в Вене. Бертье, где это дурацкое место, возле которого даже не Суворов, а князь Багратион всыпал Моро как следует?

— Это случилось у деревни Маренго, вот здесь.

— Именно здесь я разрушу австрийское могущество в Италии, Маренго войдет в МОЮ историю, а имя генерала Моро сохранится лишь в комментариях к этой битве...

При свидании с Карно первый консул велел:

— Распорядитесь, чтобы всех русских, плененных в Голландии и при Цюрихе, собрали в лагерях Милле и Камбре. Я не желаю ссориться с Петербургом, а война с Россией — это бессмыслица! Что она даст Франции, если нам с русскими нечего делить? Мальту я решил вернуть России, а из пленных составим два русских полка — это, считайте, уже готовый гарнизон для размещения его в фортах Ла-Валлетты...

Париж долго говорил о безумном расточительстве Талейрана, давшего в своем доме праздник в честь семьи Бонапарта. Гости были удивлены, когда хозяин с салфеткою через плечо, подражая лакею, появился с подносом, на котором шипел в бокале прозрачный орнад. Прихрамывая, этот инвалид протащился через зал, и Бонапарт принял от него напиток, а Талейран застыл перед ним в выжидательном поклоне. И тут все поняли, что Бонапарт для Талейрана — это не только первый консул, он для него что-то иное, что-то высшее...

Среди многочисленных гостей была и Жюльетта Рекамье. На ней не было никаких драгоценностей: красоту не украшают — красота сама по себе. Правда, в прическе женщины была скромная ленточка, но ее выдернул из волос Бернадот, сказавший, что это — ценный сувенир для его погибшего сердца.

Подвинувшись ближе к Моро, женщина шепнула ему:

— У Талейрана глаза мошенника, торгующего из-под полы фальшивым жемчугом, а руки красные, как у прачки, которая не успевает перестирывать чужое белье.

Моро был человеком наблюдательным:

— На тебя очень пристально глядит Бонапарт.

— Да. Я тоже это заметила...

Рекамье поникла с таким видом, будто хотела у всех мужчин выпросить прощения за свою красоту.

— Слишком любима всеми, — тихо сказал ей Моро, — способна ли ты любить только одного?

Через складки веера он услышал ее шепот:

— Я истосковалась в разлуке с тобою... приезжай. Я как раз обещала гостям показать Авейронского дикаря!

6. НЕТЕРПЕНИЕ

Утром грязный трубочист, спускаясь по веревке с крыши, заглянул в окно спальни Рекамье:

— Ку-ку! Я ведь тоже большой ваш поклонник...

Муж мадам Рекамье был старше ее на тридцать лет, а ранее — любовник ее же матери. Нет, он не женился по страстной любви. Банкиру требовалась отличная реклама для конторы, чтобы клиенты, увидев Жюльетту, стали покладистее в финансовых сделках. Парижане говорили, что муж оставался для нее только отцом, говорили, что у Жюльетты имеется один тайный телесный изъян, мешающий ей наслаждаться любовью. Банкир облицовывал комнаты жены громадными зеркалами, чтобы она никогда не забывала о своей красоте:

— Такой товар на тротуарах Парижа не валяется...

Доминик Рапатель пристально наблюдал за рассеянным поведением своего генерала. Осторожно спросил:

— Кажется, пора закладывать карету?

Моро назвал ему адрес — улица Мон-Блан.

— Карету подать к дому банкира Рекамье, где раньше жил банкир Неккер, отец Жермены де Сталь. Кучер знает, где надо остановиться. Запрягай не белых лошадей, а черных.

— Черных лошадей в черную карету?

— Согласен. Но лицо я не стану мазать сажей...

Но прежде он решил сделать то, что подсказывала ему совесть, и навестил Розали Дюгазон. Любящая женщина, она прошла по жизни достаточно сложный путь, и нельзя было обижать ее на прощание. Когда-то балерина, затем певица, потерявшая голос, она «скатилась» до жалкой драмы. Усталые глаза актрисы были расширены от множества чашек крепчайшего кофе, и они расширились еще больше, когда на пороге ее жилища появился генерал Моро... С жалобным криком, как подстреленная птица, Розали кинулась к зеркалам, чтобы скорее поправить на голове кружевной «фюшю».

— Так я и знала! Ты не мог не проститься со мною, ты не мог не прийти ко мне... правда?

Моро с нежностью всмотрелся в увядающее лицо.

— Ха! Ты ищешь морщины? Их нету, еще нету...

— Все морщины вот здесь.— Моро провел рукою по своему лбу.— Это после Треббии, это Нови, это ущелья Овадо.

— Но я была там вместе с тобою.— Розали показа-

ла ему газеты, в которых писалось о Моро и его армии.— Я собрала все. Даже то, что не следовало читать... в конце!

— В конце, дорогая, пишут только о мелочах.

— Да! Но для женщины мелочи — самое главное...

Моро огляделся. Нет жилищ печальнее на свете, нежели квартиры стареющих актрис. Какой безнадежной грустью веяло от лавров, полученных Дюгазон еще в ранней юности, когда она порхала Сильфидою с крылышками на плечах; тоска исходила от портретов, подписанных: «С любовью» — знатными музыкантами Буальдьё и Гретри... Куда делся ее волшебный голос?

Увы, он стал почти хриплым, трагическим.

— Все кончено, Моро, и мне давно пора задуматься о прощальном бенефисе. Любящая тебя, что оставляю тебе? Хочешь, изучу роль солдата — командуй мною, генерал Моро!

— Не играй,— сказал Моро.

— Я, кажется, смешна... Подмостки театра, к сожалению, не трибуна. Но как бы хотелось мне, брошенной тобою, объявить Парижу со сцены, что я любила Моро.

— Прошу тебя, Розали...

— Моро любил меня, а я люблю Моро и теперь!

Она была возвышенна, как в классической трагедии.

— О любви шепчут, Розали,— отвечал он.

— Неправда! Иногда надо кричать...

В этот момент (почему?) она показалась ему прекрасна, как никогда, и Моро вдруг вспомнил другую героиню своей безумной юности — легендарную Олимпию де Гуж, когда-то сказавшую: «Если женщина получила право кидаться под нож гильотины, кто откажет ей в праве всходить на трибуну?..»

Моро с любовью расцеловал забытую Розали.

Ее теплое плечо осыпали солнечные веснушки.

Она закрыла ему глаза, как покойнику:

— Ты больше никогда не увидишь меня.

— Так не бывает, Розали.

— Но так будет, Моро... Мир слишком жесток, а ты слишком добр. Я была только возлюбленной. Но теперь я хотела бы стать твоей матерью, чтобы спасти тебя.

— Надо ли спасать меня? О чем ты говоришь?

— Я внимательно изучила твои победы вначале, но увидела в конце твое поражение... Твою *гибель*, Моро!

.....
Моро прочел о себе в газете, что он посетил заведение мадам Кампан и имел счастье представиться благо-

воспитанным кузинам — Гортензии и Эмили Богарне; по слухам, которым редакция не осмеливается верить, генерал Моро выказал к одной из кузин *особое* внимание. Подобных сплетен он и боялся! Не об этих ли «мелочах» предупреждала его Дюгазон?

Первый, кого он встретил в салоне мадам Рекамье на улице Мон-Блан, был неустрашимый Даву, продолжавший лазать через заборы к несравненной и обожаемой мадам Леклерк... Газетная утка не произвела на Даву впечатления:

— Ну и что? Все газеты — гнилье, а Жозефина с Бонапартом будут рады иметь такого зятя, как ты... Говорил же я тебе об английской блокаде! Можешь забыть этот сахар... Есть в этом мире кое-что и послаще сахара!

Моро уклонился от Жермены де Сталь, очень любившей поговорить, никого не слушая (в отличие от своей подруги Рекамье, которая больше слушала). Среди гостей был и первый консул, примостившийся на краешке кресла, как бедный родственник на богатых именинах. Темный взор корсиканца напряженно преследовал хозяйку салона.

Мадам де Сталь, верная нравам былой Директории, откинула шаль, обнажив перед Бонапартом мускулистые плечи.

— Когда я по вечерам разглядываю свое роскошное тело, которое у мужчин вызывает столько тайных вожделений, я всегда с ужасом думаю, что все это — вот это! — она потрясла плечами, как цыганка на морозе, — в будущем непременно станет добычей гадких могильных червей...

Подобное излияние могло бы иметь бешеный успех при Баррасе, но генерал Бонапарт был человеком иного склада, и вожделения к будущей добыче червей он не испытывал.

— Если желаете избавиться от глупых мыслей, рожайте детей, толстых и горластых! Но рожайте их только от мужа, ибо незаконные дети отягощают бюджет республики и служат недобрым примером для нравственности...

Моро слышал, как мадам де Сталь обругала консула:

— Авейронский дикарь... пожалуй, еще хуже!

В углу теснились живописцы — Давид и Жерар. Бонапарт с искренним интересом спросил Давида, над чем он работает.

— Над картиной «Переход через Фермопилы», где спартанский царь Леонид был повержен персидскими ордами Ксеркса.

Бонапарт не скрыл своего неудовольствия:

— К чему тратить краски и силы на изображение побежденных? Давид, ваша кисть должна служить победителям...

— Но кто же сегодня равен классическим героям?

— Вы увидите его, Давид, это я вам обещаю...

Заметив Моро, первый консул пожелал с ним уединиться.

— Война неизбежна. И с англичанами и с австрийцами. У меня нет сомнений в том, что ты желал бы отыграть за Италию.

— За Италию — да, но только не в Италии, — возразил Моро. — Я гораздо лучше знаю области Рейна и Мозеля, в древних лесах Германии мною изучены все горы и поляны.

— Об этом мы вскоре и поговорим... Генералов во Франции много, но полководцев осталось лишь двое — ты и я! Не нам ли, Моро, и решать судьбы Франции на полях чести?

Мадам Рекамье призывно похлопала в ладоши:

— У меня для всех вас, дорогие друзья, имеется маленький сюрприз — Авейронский дикарь. Он еще ребенком был украден волчицею, которая и вскормила его своим молоком. Его недавно поймали в лесу охотники, он не может освоить нашу речь, зато он прыгает по деревьям, как белка...

Дюжие лакеи втащили в салон здорового парня, на котором штаны держались так же неестественно, как на обезьяне, которую показывают в уличном балагане. Попав в закрытое помещение, Авейронский дикарь испуганно мычал. Посреди зала поставили блюдо с едой, и это существо, опустившись на четвереньки, долго и подозрительно обнюхивало пищу... Бонапарт сказал Моро:

— Не так ли были осторожны с едой и первобытные предки?

Моро испытывал чувство брезгливости.

— По-моему, зрелище отвратительное. Эта скотина в несуразных штанах лишний раз доказывает, что человеку без человеческого общества нечего делать на этом свете...

Улучив момент, Моро шепнул Рекамье:

— Моя карета будет ждать на углу сада.

— Я рада. Но после ужина...

Звали к столу. Первый консул повел себя несколько странно. Возле себя он оставил кресло свободным.

— Это... для мадам Рекамье, — заявил он.

Сестра консула, Элиза Баччиокки, заманила Жюльетту в

глубину комнат, объясняя ей все то, что за этим последует. От Моро не укрылось смущение Рекамье, но красавица миновала свободное кресло возле первого консула и с показной решимостью села подле некрасивого Камбасереса.

Бонапарт не был готов к такому поражению:

— Смотрите! Ей понравился этот урод...

Моро незаметно удалился. На темной улице Мон-Блан его ожидали черные лошади, впряженные в черную карету.

— Я давно жду, — сказал кучер. — Куда поедет?

— На дачу в Клиши и обратно. Поедем быстро...

В актерских способностях мадам Рекамье он не сомневался. Так бывало уже не раз; побледнев, она вдруг теряла сознание, и лакен на руках уносили ее, бесчувственную, в спальню, после чего гостям объявляли:

— Мадам Рекамье уснула. Легкий сон оживит ее ослабевшие силы, и она скоро порадует нас танцем с шалью...

Но в спальне женщины уже не было. Закутанная в плащ, она тихо выскользнула из калитки сада, Моро принял ее в свои объятия, кучер не жалел лошадей...

...Жюльетта вышла к гостям, чуть смущенная, нежным и тихим голосом проворковала, что ей стало лучше.

— Вы ждете от меня танец с шалью? Хорошо, друзья...

Она звонко ударила в бубен и прошлась по кругу, изгибаясь тонким телом, концы шали текли вдоль нее, как струи воды, и все мужчины при этом испытали некоторую тревогу.

Элиза Баччиокки снова преследовала ее:

— Мой брат смотрит на все это вполне серьезно. У него есть официальная супруга, теперь он, как первое лицо в государстве, нуждается в официальной фаворитке. Вас ожидает блистательная судьба Дианы де Пуатье, судьба мадам Монтепан.

— Благодарю. Но я решила остаться мадам Рекамье...

Из ночного сада слышался рев — это рычал во мраке Авейронский дикарь, который до утра будет спать на дереве.

XIX век вступал в свои исторические права!

В это переломное время, на самом срезе эпохи, знаменитый Роберт Фултон, не сумев заинтересовать Лазара Карно идеей создания подводных кораблей, решил заработать деньги иным путем. Предприимчивый американец, по профессии живописец и ювелир, он открыл на Елисейских полях павильон, в котором и расположил обширную панораму под названием:

«ПОЖАР МОСКВЫ»

Парижане охотно платили Фултону деньги, чтобы посмотреть, как в огне пожаров корчится, сгорая, русская первостоллица, в языках дымного пламени погибают колокольни древнего Кремля... Это не было гениальным пророчеством — лишь случайное совпадение, от которых история мира никогда не была и не будет застрахована!

7. НАЧАЛО ВЕКА

Светило солнце, крыши Петербурга купались в розовом снегу. Перед Зимним дворцом (ради обогрева извозчиков) поыхали громадные костры, сложенные из массивных бревен, их пламя вздымалось высоко. Через окна деловых апартаментов император Павел I наблюдал, как над куполом Академии художеств кружатся вороны...

Звонок — время докладов. Явился Федор Растопчин — умнейший прохвост (которого через 12 лет народная молва сделает «поджигателем Москвы»). При нем — портфель, подозрительно толстый. «Нет ли опасности... из портфеля?»

— Жду новостей с Мальты, — сипло сказал Павел.

Французский гарнизон Мальты, засев в цитадели Ла-Валлетты, выдерживал осаду англичан. Адмирал Нельсон не раз брал на эскадру Эмму Гамильтон, чтобы нежная леди наслаждалась унижением республиканцев. Но крепость не сдавалась, на гласисах ее фортов плясали воздушные французские балерины, самым дьяволом занесенные на Мальту, и эскадра, обескураженная, отворачивала к Неаполю. Об этом и шла беседа.

— Британцы, штурма робеючи, ожидают, покудова французшишки сами не передохнут. Дровишек на Мальте нету, так они, твари, корабли на дрова ломают. Водка у якобинцев давно кончилась, а рисом они танцорок своих кормят...

Растопчин умолк. Павел сказал:

— Если я гроссмейстер Мальтийского ордена, Мальта моя, как и Россия. Скажите британскому послу Чарльзу Уитворту, что мое величество гневается... А что из Парижа, граф?

— Фабрики заработали, всем нашлось дело. Мясо подешвело, и хлеб появился. Видать, Бонапартий спекуляторов душит. Сам же он не ужился во дворце Люксембургском и устроил для себя и родственников квартиры в Тюильри королевском. По слухам же, престолу вашему он выражает решпект солидный, из чего мнение складываю: вражды к нам не имеет.

— Что у тебя в портфеле?— вдруг крикнул Павел.

Растопчин предъявил хитрое сооружение:

— Извольте видеть, замо́к «французский». Хитроумность его с полезностью сочетается. Ежели покуситель открывает двери снаружи, то пистолет, в замок вделанный, производит выстрел, пламя коего запаливает свечу у дверей. Хозяин дома просыпается от выстрела в покоях, уже освещенных, а покуситель удирает... Что бы и вашему величеству в замке Михайловском такие замки поставить?

Рыцарское строение Баженова должно было в новом царствовании затмить славу Зимнего дворца — растреллиевского. Белый супервейс, наброшенный поверх мундира гатчинского, был украшен на груди Павла Мальтийским крестом.

— На что мне фокусы? — спросил Павел.— Пусть Бонапартий в Тюильри этикие замки вкручивает... Дело говори!

— Дело, ваше величество, прискорбное. Зачем Россия с Францией воевала? Ваша мудрейшая мать всю Европу взбулгатила, чтобы душили сообща извергов парижских. А сама при этом дома сидела, кофий пила да кошек гладила. Ни единого солдата противу жакобинцев не дав, она на Востоке русские дела в порядок приводила... Какие претензии мы можем иметь к Франции, разделенные с нею Германией? — настаивал Растопчин.— Нашими-то жертвами мы насытили алчность банкиров Сити, мы губили лучшие войска за интересы кабинета венского... Есть ли резон строить политику внешнюю на разногласиях с Францией, ежели причин для разногласий не имеется? Хотят они жакобинствовать, ну и пушай бесятся. Перебесятся — и сами притихнут. Нам-то што с того?

— Ты прав, и об этом я мыслю. Паче того, кабинеты сент-джемский и венский одни подлости нам делают...

В самом начале апреля, обходя гулкие залы недостроенного замка, Павел сердито указал графу Растопчину:

— Велю отозвать послов российских из Вены и Лондона, Чарльза Уитворта гнать вон... Всюду убрать портреты сумасшедшего Георга английского и заносчивого Франца цесарского. Взамен им в аудиенц-залах желательнo видеть личину первого консула Бонапартия, и пусть все с прилежностью и вниманием на нее взирают... Слава богу, **ЦЕЗАРЬ ЯВИЛСЯ!**

...Екатерина II перед смертью не раз восклицала: «Ну, где же Цезарь? Когда явится? Чего же он медлит?» Женщину не обманывало политическое чутье; она ожидала прихода к власти диктатора, который погребет останки рево-

люции. Екатерина писала, что Франции «нужен человек, выходящий из ряда обыкновенных смертных, ловкий, храбрый, стоящий не только выше современников, но, может быть, и выше самого века. Родился он или не родился? Если таковой сыщется, время остановится там, где он будет стоять...»

Суворов был еще жив!

.....

Он был еще жив, а Италия уже растерзана. Австрийцы истребляли патриотов безжалостно. Обнаженных женщин секли на пнях, оставшихся от спиленных «деревьев свободы». Армия венского барона Меласа не могла взять лишь Геную, где засел генерал Массена. На юге Италии, в королевстве Неаполитанском, адмирал Нельсон украшал реи своих кораблей гирляндами повешенных республиканцев, а прекрасная Эмма Гамильтон рукоплескала одноглазому и однорукому любовнику...

Бонапарт бывал откровенен с Бертье:

— Вы думаете, французам так уж дороги прежние идеалы свободы, равенства и братства? Они уже объелись ими при Робеспьере и теперь желают только удовольствий, ибо все они легкомысленны и тщеславны. Любой народ — это сырая, бесформенная глина. Слепи из нее шар — и кати куда хочешь! Шар покатится... Прежние девизы можно теперь заменить иными: честь, слава, богатство!

Бертье доложил, что русское оружие отдано в мастерские для ремонта и чистки. Бонапарт спрашивал у Карно:

— Как дела с русскими пленными?

— К ним послали врачей. Хорошо кормят. Они пьют вино. Военные швальни Парижа озабочены скорейшим пошивом новых русских мундиров — в точности по форме полков. Павел Первый, очевидно, не страдает дальтонизмом, и нам никак не подобрать расцветку воротников — абрикосовых, селадоновых, изабелловых и песочных. Русские сами в них не разберутся!

Бонапарт залез пальцами в табакерку Бертье.

— Помнишь ли, я вывез из Италии шпагу, которой римский папа Лев Десятый одарил мальтийских магистров? Вели золотить ее заново — мы пошлем шпагу в Петербург, чтобы доставить удовольствие этому курносому чудаку... Где Моро?

Когда Моро явился, Бонапарт сказал ему:

— Примешь ли команду над Рейнской армией, которая в случае успеха станет на Дунае? Вена зазналась. Не пора ли нам снова проучить ее палками? (Карно вмешался в их разговор: «Только не бейте Австрию сильно, иначе Россия нач-

нет пересчитывать ее синяки».) Нам,— продолжал Бонапарт,— не предстоит страдать совестью. Война будет справедливой. Не мы ее вызвали. Я за мир в Европе, но меня оскорбили: мои предложения к миру отвергнуты. Гордость Франции не позволяет сносить ни лондонского чванства, ни венской надменности...

Моро снова получал армию! Он переехал на улицу Анжу, где во дворе дома держал конюшни и кареты для выездов. Стены кабинета украсил видами пейзажей родимой Бретани и гравюрами с изображением скаковых лошадей. Моро ощущал в себе большой запас сил и здоровья, а нежность к милой Александрине (спокойная и ровная) заставила его представиться ее матери.

Госпожа Гюлло оказалась в том приятном возрасте, что и Жозефина Бонапарт. Революция уничтожила обращение к женщине «мадам», но генерал не желал именовать будущую тещу *сiтоуеппе* (гражданка). Моро еще не просил руки ее дочери, но женщина сама догадывалась, чем вызван его визит. Зная о славе генерала, опытная дама с трудом скрывала материнскую радость по случаю такой великолепной партии. Конечно, мадам Гюлло не преминула коснуться и газетных сплетен:

— Правда ли, генерал, что вы ездили на поклон к этим выскочкам — кузинам Богарне? Я очень далека от этой семьи, но слышала не раз, что Гортензия не может найти мужа по причине дурной репутации матери...

В неприязни ее к Жозефине Моро легко обнаружил чисто женскую зависть. Колониальная аристократия, особенно креолы с их смешанной кровью, всегда имела большую склонность к вражде и склокам. Моро очень хотелось бы повторить мнение Даву о газетах, но он благоразумно сдержался.

— Вы, генерал, бываете и у мадам Рекамье?

Ответ Моро не вызвал и тени подозрений:

— Я, как и все, очень уважаю эту умную женщину...

Проверка нравственности закончилась, и мадам Гюлло обратилась к содержимому генеральского кошелька. Сначала она дала понять, что острова Бурбон с Иль-де-Франсом¹, лежащие к востоку от Мадагаскара, можно считать, почти отрезаны от метрополии блокадою английских пиратов.

¹ Французская революция переименовала остров Бурбон в остров Соединения (ныне заморский департамент Франции — Реюньон); остров Иль-де-Франс с 1814 г. стал английской колонией, а ныне самостоятельное государство Маврикий.

— Доходы с плантаций непостоянны,— сказала она,— и моя Александрина не привыкла сносить бедность...

Тут же, испугавшись, что жених сочтет их семейство нищенским, Гюлло заявила, что приданое дочери обеспечит имок Орсе в зеленых предместьях Парижа. Моро отлично распознал все ее меркантильные ухищрения.

— Мадам,— сухо произнес он,— мои кошельки от золота еще не лопаются: Но положение командующего Рейнской армией сулит мне сорок тысяч франков. Поверьте, что пальцы избранницы моего сердца не станут вылезать из рваных перчаток.

Он как раз сегодня был приглашен в Мальмезон, но теперь, ощутив соперничество Гюлло с семьей Богарне, умолчал об этом. По дороге в имение Жозефины генерала дважды задерживали возле кордегардий. Это удивило Моро, при встрече с Бонапартом он спросил:

— Отчего набережная обрела новые заставы?

— Я часто езжу этой дорогой и недавно узнал, что по дороге в Мальмезон на меня готовится покушение.

— Откуда это стало известно?

— От Фуше.

— Наверное, знать об этом очень противно?

— Я испытываю брезгливость, и только...

Жозефина, очень оживленная, показала оранжерею с тропическими растениями, домашний зверинец с редкостными животными, которых она закупила в Африке и Америке. Столы в ее комнатах были завалены ботаническими атласами.

— Когда я была бедной вдовой, я часто глядела на другой берег Сены, размышляя о счастье семьи Куте, жившей в Мальмезоне... Теперь он мой, и я безмерно счастлива!

Ужин за столом Бонапартов был скромен. Первый консул имел теперь пятьсот тысяч франков жалованья, и Моро было приятно слышать от Бонапарта, что он всем-всем доволен:

— Главное, чтобы желания не опережали возможностей. Даже если меня лишит консульских достоинств, у меня останется дом в Париже и дача в Мальмезоне... Что еще человеку нужно? — дружески спросил он Моро.— Может быть, гражданке Жозефине и мало, но гражданину Наполеону достаточно...

Бонапарт рассуждал, как преуспевающий буржуа, загодя рассчитывающий свои доходы; наверное, так же в корсиканском Аяччо сидел вечером его отец, обдумывая с женой Летицией, как прожить со скромной адвокатской практикой. В золотистых сумерках Мальмезона желтый лионский бархат

на мебели отливал старомодным уютom. Жозефина, посверкивая прекрасными глазами, рассказывала об успехах Гортензии в живописи:

— Мою дочь обучает сам Батист Изабе.

— А это ученик Луи Давида,— напомнил Бонапарт.

— Изабе лучше Давида и Жерара.

— А мне нравится Давид... он сдержаннее.

Только сейчас Моро сообразил, что художник Изабе — двойник Бонапарта: лицо, фигура, походка — все было схоже! Не затем ли Изабе и катается в Мальмезон, чтобы ввести в заблуждение заговорщиков, если слухи о покушении на Бонапарта не выдуманы самим Фуше? В эту ночь Моро снились разбитые дороги отступления армии, умирающие лошади с красивыми страдальческими глазами. Наконец, кузнечный фургон, опрокинутый в канаву, стал для него кошмаром! До рассвета генерал Моро собирал гвозди и подковы, сыпавшиеся из фургона, он пихал в рваные мешки куски угля. Проснулся же разбитый, обессиленный и долго сидел на постели, пытаясь сообразить, что случилось вчера; доходы с плантаций сахарного тростника перемешались с миниатюрами Изабе, а колючки дикобраза из Мальмезона перепутались с гвоздями для подковки кавалерии. Наконец память нечаянно воскресила фразу Бонапарта, произнесенную им вчера: «Я не хочу, чтобы меня только боялись,— я хочу, чтобы меня еще и любили...»

8. УЛИЦА ПОБЕДЫ

Лазар Карно уже заметил, что между разгромом Моро в Италии и крахом восточных иллюзий Бонапарта в Египте история может смело ставить жирный знак равенства. А теперь борьба за первенство, казалось, будет продолжена. В армиях уже возникали споры: кто лучше — Моро или Бонапарт?

Моро хотел понять, почему консул доверил ему большую армию, а Бертье в Дижоне тайно готовил для консула резервную — меньшую. Перед отъездом Моро в Страсбург состоялось свидание с Бонапартом, который начал беседу с того, что банкир Уврар, отец детей Терезы Тальен, уже давит клопов в тюрьме. По мнению консула, каждый миллионер время от времени обязан отрыгивать излишки доходов в общественную бочку, если он не хочет всю жизнь поедать тюремную чечевицу.

— Вена палит из пушек английскими фунтами стерлингов, нам для стрельбы тоже необходимо золото.— В разго-

воре Бонапарт пошелкивал хлыстом по голенищу своего сапога.— Твоя Рейнская армия по четырем наплавным мостам между Базелем и Шафгаузенем форсирует Рейн. Отбросив австрийцев к Верхнему Дунаю и отрезав их от Франконии, нельзя позволить венским мудрецам помогать их армии барона Меласа в Италии...

Моро ответил, что план, очевидно, великолепен для Бонапарта, но он, Моро, привык воевать по своей системе.

— От венских шпионов не скрыть переправу в четырех местах сразу, как не построить сразу и четыре моста. Пусть Рейн спит,— сказал Моро.— Я не стану тревожить его по ночам стуком молотков, сколачивая понтоны. Зачем же тогда в Страсбурге, Бризахе и Базеле стоят нерушимые мосты из камня, сооруженные еще римлянами? Через городские мосты тремя колоннами я двигаю армию к Шафгаузену, и этим же маневром я прикрываю форсирование Рейна остальными войсками.

Бонапарт хлыстом больно высек штабные карты, как Александр Македонский высек когда-то море.

— Ты споришь? Я не желаю возражать. В любом споре меж нами многие пожелают видеть лишь наше соперничество. Одним до безумия нравится генерал Моро, а другие готовы умереть за консула Бонапарта... Зачем нам давать смешные поводы для злоречия? Кто у тебя главным в штабе армии?

— Отличный генерал Виктор Лагори.

— Пришли его! С ним я договорюсь скорее...

Лагори с умным видом рассматривал карты, на которых оппечатались страшные рубцы Бонапартовой плети.

— Все бретонцы,— сказал он о Моро,— упрямые верблюды. Если моему генералу навязывать чужую волю, он свалит армию на Бернадота, а сам уедет в деревню Гробуа, где и уподобится Цинциннату, бредущему за плугом... Моро таков!

— Бернадот для меня — пешка в шахматах. Я уступаю тебе, Лагори! Но в любом случае,— настоял Бонапарт,— австрийцы должны быть отброшены армией Моро к Регенсбургу, а корпус Лекурба вплотную придвинут к Швейцарии...

Очевидно, консулу не хотелось произносить последней фразы, его вынудили к тому обстоятельства. Виктор Лагори, повидавшись с Моро, высказал ему свои подозрения:

— Не станут ли доить нашу армию со стороны швейцарских кантонов?

— Увидим. Я выезжаю. Через Шалон и Нанси...

В Страсбурге уже началась лагерная жизнь. Здесь квартировали генералы — Декан, Ней, Гренье, Ришпанс, Лекурб. Моро был рад видеть Груши, который при Нови получил тринадцать ран, едва живым его подняли солдаты Суворова. Груши днями отсыпался на солнечных лужайках, а по ночам кутил в шатре с молодой маркитанткой.

Готовя армию, Моро не щадил себя, не щадил и людей.

— Рапатель, покажи новобранцам-конскриптам, как можно ускорить шаг, держась за хвост лошади кавалериста.

Рапатель, вцепившись в хвост драгунской кобылы, исправно шлепал по лужам. С карабином в руке Моро разбежался и, подобно вольтижеру из цирка Франкони, вспрыгнул с земли на круп лошади.

— Учитесь падать... вот так! — Командующий армией плашмя рухнул наземь. — Не бойтесь! — крикнул Моро, вскакивая и стреляя. — У хорошего солдата все кости целы...

Знаменитая «Марсельеза» имела существенный подзаголовок: «Боевая песнь Рейнской армии». Рейнская армия была лучшей во Франции, в ней еще свято соблюдались заветы революции, она была, не в пример другим армиям, спаяна идеями свободы и дисциплиной. Мародерство каралось. Лишь в редких случаях, чтобы напугать человека, в него стреляли холостыми патронами. Обычно же казнили боевыми — сразу в яму! Ветераны имели страшнейшие ушищи, в их ушах качались тяжелые серьги. Пионеры (саперы) еще пудрили головы, у них были очень длинные бороды. А гусары отращивали длинные косы, но не с затылка, а от висков; свитые в две веревки, перевязанные лентами, эти косы спадали до плеч вдоль щек... Но эта армия опять шлепала без обуви, раздетая и разутая еще со времен Директории, и потому Моро был прав, обращаясь к ней так:

— Босяки и голодранцы, республика ожидает от вас подвигов, чтобы народ Франции обрел спокойствие мира...

Своры собак сопровождали войска республиканцев. Австрийской армией руководил барон Край фон Крайов, и Моро поклялся перед всеми искалечить ему карьеру.

— Подумайте! — говорил он генералам. — Вена за битву при Нови дала Краю лавры, отняв их у Суворова, из чего получается, будто меня в Италии разбил не Суворов, а этот старый недоносок... Посредственность не умеет побеждать!

К спинным ранцам австрийцев ремнями были привязаны караван круглого крестьянского хлеба, и, когда они удирали, республиканцы, нагоняя их, видели перед собой только одно — хлеб, хлеб, хлеб, много хлеба! Почти все пленные не

знали немецкого языка: кроаты, украинцы и русины, недавно выгнанные под ружье из белых хаток, они, попав в неволю, сильно плакали. Им было жалко и хлеба, который испекли для них матери и жены, провожая на войну с какими-то непонятными «якобинцами». Наконец к Моро доставили австрийского генерала — без штанов, схваченного в постели.

Он был преисполнен возмущением:

— Женераль, вы заставили меня потерять честь!

Моро не стал выражать ему сочувствия:

— Можно ли говорить о потере того, чем вы, кажется, не обладали? Лучше сказать иначе: вместе со штанами вы потеряли все, что у вас было дорогого... Где ваш Край?

Разбитый уже трижды, Край страдал нервной экземой.

— Какое место у него чешется? — спросил Моро.

— *Cogrus delicti*.

— Сочувствую ему, — сказал Моро. — Именно это место в порядочном обществе чесать не принято...

Он отвернулся к окну, наблюдая, как солдаты опаливают на костре большую свинью, отчужденно проследил за супружеской четой аистов, которые, треща клювами, устраивали гнездо на крыше дома. Пленному дали старые панталоны, и, надев их, он сразу обрел самоуверенный тон:

— У меня нет с собой кошелька, чтобы расплатиться за эту рвань! Вы спросили: где Край? Так я скажу, что его армия укрывается в Ульме, где колоссальные магазины Дунайской армии, и вам ни крепости Ульма, ни славного Мюнхена не взять...

Но французская речь быстро заполняла улицы деревень, хуторов и городишек Баварии, наконец показался и Мюнхен, в его воротах уже выстраивались депутаты.

— Декан, — сказал Моро, — ты ведь еще никогда не брал городов? Поди, друг, отбери у них ключи Мюнхена...

Мюнхен был городом богатым, Моро велел выдать войскам жалованье, его солдаты обвешались кругами колбасы, гиляндами жирных сосисок, тащили на штыках свиные окорока. Но еще до взятия Мюнхена ставку Рейнской армии известил генерал Бертье, и Моро спросил, с чем он прибыл.

— С приказом первого консула: левое крыло Рейнской армии под знаменами Лекурба оставить в Швейцарии.

— Это несправедливо, Бертье! Против меня — полтораста тысяч штыков и сабель Края. Если отдать тридцать две тысячи солдат Лекурба, скажи, Бертье, с чем я останусь?

— Требование первого консула неукоснительно: левое крыло твоей армии должно запирать Швейцарию от Италии

— Или наоборот — Италию от Швейцарии?

— Ты догадлив, дружище...

Все ясно! До этого играли в легкую тактику, но теперь в бой пошла тяжелая стратегия. Бонапарт главную Рейнскую армию обратил во вспомогательную, чтобы вся нагрузка побед досталась резервной — в Италию, куда он сейчас и торопился, явно недовольный быстрыми (очень быстрыми!) успехами армии Моро...

Моро пригласил Бертю к обеду.

— Как генерал, я против ослабления своей армии, но, как гражданин, покоряюсь обстоятельствам, надеюсь, что эта жертва необходима для общего блага республики...

Победив себя, не уступал ли он победу другим? Он еще ничего не проиграл. Но кто-то уже, наверное, выиграл?

.....

Певица миланского театра «Ла Скала», очаровательная Грассини, давала концерт в доме маркизы Кавур (внука этой маркизы, Камилло Кавура, еще не было на свете, а бабушка знаменитого патриота была далека от патриотизма). Послушать певицу собрались не только местные аристократы, но и австрийские оккупанты во главе с престарелым, но еще довольно-таки бодрым живодером итальянского народа, бароном и фельдмаршалом Бенедиктом Меласом. Пока Грассини чаровала гостей руладами своего бесподобного контральто, хозяйку дома развлекал молодой и очень красивый шваб, венский офицер и граф Адам Нейперг¹.

— Кажется, Грассини отпеваает нашу любовь. Не вскрикивайте от страха и не делайте резких жестов, если я вам скажу: с Альп сюда сваливается армия Бонапарта, и мы будем... побеждены. С нашими дураками иного нельзя и ждать!

Аристократка Кавур давно смирилась с австрийским владычеством в Италии, новые перемены ее только пугали:

— Помилуйте, в Альпах еще не растаял снег, и быть того не может, чтобы французы осмелились перевалить через неприступный Сен-Бернар. Как они протащат свою артиллерию?

— Французы сняли пушки с лафетов и устроили для них «гробы», выдолбленные из толстых деревьев. В этих «гробах» и волокли пушки... Бонапарт обманул всех! Он вывел армию из Дижона, где она считалась резервной, и в Вене на нее даже не обращали внимания. Все силы нашей великой импе-

¹ Нейперг А.-А. (1775—1829) — впоследствии муж второй жены Наполеона Марии-Луизы, в бою с французами лишился глаза. Позже состоял министром в Парме, где Мария-Луиза, после свержения Наполеона, была герцогиней.

рии были устремлены против Рейнской армии, против генерала Моро...

Нейперга вскоре поздравил генерал Антон фон Цах, начальник штаба армии Меласа, он же и профессор математики.

— Отчего маркиза Кавур сначала смеялась?

— Я рассмешил ее новеллой о повадках вашей лошади, которая в битвах носит вас, как подлинного героя.

— Но что было вам сказано хозяйке дома потом, отчего она проявила такое сильное волнение?

— Я сказал ей, что под жезлом непобедимого барона Меласа Бонапарт будет растрепан нами быстрее, нежели Моро Суворовым...

Бонапарт покинул Париж, когда в далеком Петербурге народ прошался с Суворовым. Через перевал Сен-Бернар консул проехал верхом на муле. Солдаты имели в ранцах еды на восемь дней, сорок патронов на ружье — и все! Спустившись в цветущие долины, Бонапарт выслушал доклад Бертье о положении в Генуе:

— Горожане едят траву и падаля, Массена уже не ставит и пленным караулов, боясь, что часовые будут съедены.

— Пусть Массена сожрет под собой даже землю, Бертье, и появился здесь не ради кормления голодающих...

2 июня он вошел в Милан; здесь Бонапарту принесли гумку венского курьера, подстреленного в пути. Из бумаг выяснились планы барона Меласа, который активно группировал войска недалеко от деревни МАРЕНГО.

— Я обещал дать битву у Маренго, и я ее дам! Дезе, — позвал он своего любимца, — бери шесть тысяч и ступай к Нови, чтобы Мелас не смог опереться флангом на Геную. Где Виктор? Ему выдвигать дивизию прямо к Маренго...

Виктор с дивизией ушел. Дезе ушел тоже.

— Бертье, у вас недовольное лицо? Почему? Или маркиза Висконти забыла покормить своих собачек?

— Мы излишне распылили свои силы, консул.

— Не так ли поступил и Мелас? Мне нужна ваша улыбка, Бертье... Помните: в случае моего поражения всю вину за него я без церемоний свалю на вас. Ибо, по праву консула, и лишь присутствующий при вашей армии... Поняли?

Бертье давно это понял. Но и Бонапарт поинмал: проиграв битву, он проиграет *сам себя*. Не будет ни первого консула, ни роскоши Тюильри, ни тропиков Мальмезона, ни его славы, ни его будущего. Он останется на мелн с женой-ристратчицей и громадным кланом жадных сородичей, которым всегда мало и всегда надо много. Увидев пыль на доро-

гах и послушав, как стунат австрийские барабаны, он спокойно сказал Бертье:

— А вот и Мелас... не пора ли начинать?

Мелас обрушил на него свои войска, словно прокатывая чудовищные жернова, меж которых он мгновенно перемолол французов. Все было кончено так быстро, что Бонапарт едва опомнился. Он видел бегущих солдат, бежал стойкий Келлерман, бежал даже хвостун Мюрат, все бежали... Драпали!

— Держитесь! — приказывал консул. — Держитесь из последних сил. Дивизия Дезе спешит обратно... Бертье, — резко повернулся он, — пожертвуем консульской гвардией.

И гвардия пошла под огонь, чтобы погибнуть. Австрийская картечь осыпала французские каре, мадьярская пехота расстреливала всех в упор. К трем часам дня Мелас полностью очистил поле битвы от французов; барон ощутил вдруг голод и сказал Цаху, что часть армии может уже обедать.

— Цах! Картина дописана до конца. Вам остается добить Бонапарта, а я поеду в Александрию, дабы составить победные реляции для его величества императора Франца...

Мелас, отъехав, услышал усиление пальбы, но не придавал ей значения. На самом же деле это вернулась из-под Нови дивизия генерала Дезе, и Бонапарт притворным смехом пытался скрыть от него весь трагизм своей неудачи:

— Дезе, тут неплохая куча... видишь?

Дезе поздравил Бонапарта с... поражением.

— Первая битва консула проиграна. Но вторую битву при Маренго я, генерал Дезе, еще могу выиграть.

Без особого пыла он повел дивизию за собой. Но вдруг остановил лошадь и (по словам очевидцев) покачал головой:

— Кажется, тут уже ничего не исправишь...

Вдоль фронта растягивалась плотная колонна австрийцев, преследуя побежденных, а Дезе... упал.

— Дезе выбит из седла, — доложили Бонапарту.

— Можио ли его спасти?

— Пуля в сердце.

— Ах, почему я не могу плакать сегодня?..

В этот момент лошадь под Цахом взбесилась, занеся генерала в ставку Бонапарта, где Бертье и принял у него шпагу:

— Надеюсь, вы сдались без принуждения?

Начальник штаба армии в плену. Что тут скажешь?

— Да, мсье Бертье, — сказал Цах, — если вы имеете в виду мою кобылу, то она сдалась добровольно...

Между тем в глубокой долине, заросшей виноградниками, не совсем трезвый Келлерман собрал свою потрёпанную кавалерию. Тяжелую! Заметив в войсках Дезе колебания, Келлерман обнажил свой страшный палаш для сокрушения касок:

— Видите колонну? А вдруг повезет? Пошли... марш!

Громадные кони (а всадники в кирасах), сокрушая изгороди виноградников, галопными взмахами выскакивали из долины. Келлерман в свирепом наскоке рассек колонну противника.

Место убитого Дезе заступил генерал *Буде*:

— Французы! Не наш ли последний шанс? Вперед..

Фельдмаршал Мелас отослал в Вену курьеров с известием о победе и сказал, что теперь не мешает вздремнуть, когда к нему ворвался граф Нейперг:

— Спасайтесь! Идут французы... мы разбиты!

Когда все было кончено, к генералу Буде подъехал верхом молодой генерал Жан Савари, и вот что он сказал:

— Ну, Буде! Ты спас Францию при Маренго, ты спас честь Бонапарта, и потому карьера твоя закончилась...

Бонапарт уже начал очаровывать фон Цаха:

— Вы профессор математики? Ах, как я вам завидую, я люблю алгебру... Не кажется ли вам, что мы сегодня занимались не тем, чем нужно? Но я счастлив видеть вас, коллега...

Он с Бертье обсуждал текст победного бюллетеня, когда их беседу нарушил вопль адъютанта Лефевра:

— Помогите, там Мюрат дерется с Келлерманом!

Бертье поспел вовремя: пламенный Мюрат в малиновом бурнусе араба уже приставил острие сабли к горлу Келлермана:

— Это моя конница все сделала, это я победил!

Келлерман рукою отбил от себя оружие:

— Разве не я развалил колонну, которую и стал потрошить Буде? Если не я выиграл, так выиграл Буде...

Бонапарт спросил вернувшегося Бертье:

— О чем там спорили эти петухи?

— Не могли поделить славу.

— Славу буду делить я,— сказал Бонапарт...

Он воздал должное мертвому Дезе, бюллетень для Парижа был составлен в таких выражениях, что никто бы не усомнился в *личной* победе консула. Только через полвека возникли первые робкие сомнения. А через сто лет в Александрии собрался международный конгресс историков, посвященный юбилею Маренго; историки были озадачены — кто же решил судьбу этой битвы? Бонапарт? Но он проиграл

сражение. Дезе? Но он погиб, не успев вступить в битву. Келлерман? Но его драгуны лишь опрокинули австрийскую колонну. Неужели... *Буде*? Простите, господа, а кто такой этот Буде? Кто его знает? И не прав ли был Савари в своем пророчестве? Буде вычеркнут из истории, из энциклопедий, из справочников. О нем говорили все участники битвы при Маренго, но Бонапарт о Буде молчал, именно это его молчание особо подозрительно для истории... На конгрессе вспомнили и певицу Грассини. Поле битвы еще дымилось кровью, когда Бонапарт велел Бертье ехать в Милан и доставить ему красавицу.

— Но я же вам не сводня!— вспыхнул Бертье.

— Бертье,— отвечал Бонапарт,— если вы отказываетесь, я сегодня к ужину приглашу маркизу Висконти, а вас отошлю в Париж с известием о моей победе при Маренго...

Бертье приехал в Милан. Молодая женщина никак не могла взять в толк, почему три года назад Бонапарт не обращал на нее никакого внимания, а сейчас она вдруг срочно ему понадобилась. Бертье объяснил певице: «Синьорина, но тогда наш первый консул гонялся за другими зайцами...»

Утром Грассини спросила победителя при Маренго:

— Скажи, чем я тебе понравилась?

— Своим именем — Жозефина...

Впрочем, по-итальянски она звалась Джузеппиной.

.....
Париж и Вена пережили страшное нервное напряжение. Сначала «зеркальный» телеграф передал французам известие о полном разгроме армии Бонапарта, а курьеры, посланные Меласом, известили Вену о блестящей победе над французами. Затем зеркала просверкали Парижу о победе, а следующие курьеры Меласа погрузили Вену в мрачную бездну отчаяния...

Что там дорога от Фрежюса! Подлинный триумф Бонапарт изведal после Маренго, когда вернулся в Париж, обуянный всеобщим ликованием. Французы радовались, как дети, а рабочие, набрав камней, выбивали стекла в окнах тех домов, которые не были украшены, не были иллюминированы:

— Эй! Кто тут живет? Уж не роялистская ли гадина? Почему не радуются вместе с народом? Да здравствует

¹ Зависть Бонапарта к чужим успехам коснулась тогда не одного Буде: «Келлерману Наполеон никогда не мог простить его быстрое и решительное движение при Маренго (сказывают, вполне совершенное)», — писал А. И. Тургенев, хорошо знавший многие секреты французского общества той эпохи.

наш великий консул, давший нам славу, порядок и дешевое мясо...

Улица Шантрэн была переименована в улицу Победы!

9. ВСАДНИКУ ОСТАВАТЬСЯ СПОКОЙНЫМ

— Ну, вот и все,— говорил Бонапарт жене.— И как все просто... Люди боятся катастроф, но они нуждаются в них: сильные потрясения оживляют мир, и люди начинают боготворить тех, кто эти катастрофы вызывает... Каждое поколение французов нуждается в хорошей кровавой бане!

Отныне власть Бонапарта покоилась уже не только на 18 брюмера — она обретала нерушимый фундамент. Но после Маренго он стал более сдержан, даже суховат, привык держать правую руку за отворотом жилета, чтобы избежать пожатия других рук,— ему, первому консулу, уже неприлично это приветствие, означающее равенство и братство. Правда, Бонапарт оставался и теперь крайне любезен с народом, он запросто хлопал солдат по плечу («Как живет, старый ворчун?»), генералов брал за ухо или отпускал им легкие приятельские пощечины, и эта ласка заменяла им награждение орденом.

После Маренго бедная Италия снова подверглась разорению. Лувр обогатился множеством живописных сокровищ, взятых из монастырей, из городских пинакотек, просто сорванных со стен частных квартир. Через заставы Парижа гинули тяжелые обозы генералов: груды старинной мебели, посуда и серебро, ковры и ткани, картины и скульптуры,— все это победители бессовестно растаскивали по своим особнякам, уже распухшим от пресыщения. Сыновья мелких нотариусов и трактирщиков, внуки мельников и бочаров, наследники лавочников и конюхов, генералы уже не знали, чем украсить своих жен и метресс. Не знали, чем украсить и себя: на их шляпах сверкали дамские эгреты, в плюмажах треуголок колыхались громадные перья страусов. Бонапарт не обращал на этот безбожный карнавал никакого внимания, поступая так, очевидно, из принципа: «Если танцешь сам, не мешай танцевать другим».

Луи Давид был вызван им в Тюильри:

— Надеюсь, вы оставили свой «Переход через Фермопилы»? Франции нужно показать переход через Сен-Бернар. Можете виизу картины написать мое имя подле имен Кирла Великого и Ганнибала... Позировать? Но у меня, Давид, нет времени. Натяните на манекен мой мундир, пропахший порохом Маренго, нахлобучьте на любого болвана

мою шляпу... Наверное, вы, Давид, уже распознали мой генеральский?

Да, гражданин Бонапарт.
Зовите меня проще: мсье...

Давид поспешил исполнить персональный заказ великого человека. Художник-якобинец превращался в придворного с неизменным: чего изволите? Так тростник сгибается ветром. Бонапарт желал видеть себя на кручах Сен-Бернара верхом на вздыбленном жеребце. «Лошадь вы сделайте горячей,— диктовал он,— но всадника оставьте спокойным...»

Лагори с генералом Неем увели кавалерию вперед, а Моро задержал свою лошадь. На этой безлюдной дороге ему казалось, что он досматривает вещий сон: перед ним вался кузнечный фургон, опрокинутый в канаву, из него неряшливой грудой высыпались гвозди с подковами, через рваную мешковину виднелись куски угля. Сердце кольнуло дурным предчувствием, и тут Моро увидел австрийцев — их белые мундиры, их полированные до блеска штыки; молодой венский ротмистр, улыбаясь, целился из пистолета, другая рука его картинно опиралась на великолепную трость с рукоятью из голубого оникса, и Моро удивился, что даже в такие моменты жизни сознание может четко фиксировать подобные мелочи.

Какая честь для меня! — воскликнул офицер. — Я лишь ротмистр, а пленяю дивизионного генерала Франции.

Ну, в таких случаях лучше идти вперед... Моро тронул лошадь шенкелями, в жестоком посыле она перемахнула канаву

А вы не подумали, сударь, какая честь сложить оружие перед генералом Моро? Успокойте своих солдат

Опытный воин, он вмиг уронил голову к холке коня, и пуля прошла над затылком. Палаш — вон, вон, вон...

— А! — с надсадой произнес Моро и видел, как развалилась медная каска. — А! — повторил он, рубя снова, и видел, как голова стала отделяться от шеи...

Один штык погрузился в круп лошади, как в тесто, другой болью пронзил ногу Моро, и он ускакал прочь, провожаемый пулями. Лагори сначала заметил ранение животного:

Из нее хлещет, будто кагор из дырявой бочки.

Да, Лагори, да, дружище... Но еще не отлита пуля, на которой было бы начертано: гражданин Моро!

Кампания затягивалась. Моро был вынужден подчинить

свою тактику общей стратегии Войны. Одним флангом он упирался в крепость Ульма, где засел Край со своей экзе-мой, другим флангом прикрывал армию Бонапарта в Ита-лии — со стороны альпийских проходов. Генералы, не всегда зная истинные причины его сдержанности, упрекали Моро напрасно..

Кавалерия долго ехала ореховым лесом

— Лагори, у меня набежал полный сапог крови, а кобыла стала хромать. В первой же деревне устроим ночлег. Хочу выспаться на хорошей и мягкой постели. Заодно напишу первому консулу о наших делах в Тироле

Деревня была богатой, чисто выметенной, улица вымо-щена, как в городе, для Моро отвели каменный дом. Молодая хозяйка с ворохом бус на шее проколыхала перед генералом «колоколом» пышной тирольской юбки. Настала ночь.

Вы долго будете еще писать?

Нет, фрейлейн. Я разве мешаю?

Мне все равно, безразлично отвечала она

Решительно раздевшись, женщина легла в постель. Моро перечитал письмо к Бонапарту: «Мы тут с Краем играем в жмурки (nous tâtonnons), он с целью держаться при Ульме, я — чтобы удалить его оттуда.. теперь я принудил против-ника отодвинуться к Тиролю, стало быть, он уже не опас-ен. Что можно сделать еще в вашу пользу?..» Крестьян-ка терпеливо ожидала его на громадной постели — молодая, здоровущая, доступная, как вода из вечной реки человечес-кой жизни.

— Ну, ладно, сказал ей Моро, а где твой жених?

Он капралом в крепости Ульма

Если так, чего ты развалилась передо мною?

Ответ крестьянки отражал историю всей Европы

Сколько веков все армии шляются через нашу дерев-ню, а для женщин все кончается одинаково. Так лучше с одним генералом, нежели тебя завалят в хлеву десять солдат

Моро обмакнул перо в чернила, выделив фразу о том, что не берет контрибуций с Баварии, Вюртемберга и Франко-нии, дабы не возмущать жителей насилем. Задумался.

А разве тебе не стыдно? спросил он.

— Так поступала прапрабабка при ландскнехтах герцога Валленштейна, ложилась прабабка при походах великого Тюренна. Зато из наших сундуков не тягали приданое.

— Ах, сундуки! догадался Моро. Но я не Валленш-тейн, даже не Тюренн, и веду за собой не шайки разбой-ников. Ты лучше встань и сочини письмо для своего же

ниха. Когда я возьму Ульм, я съеду его среди пленных, пусть радуется...

Только теперь женщина разрыдалась, и эти рыдания тоже были отголосками проклятой европейской истории. Утром, застенчивая, она принесла ему вино, сыр и хлеб с тмином. К завтраку пришли Ней и Лагори, генералы долго жевали молча.

— Дурак! — вдруг четко произнес Моро.

Ней, поднимая кубок с вином, захохотал:

Ага! Теперь жалеешь, что спал один...

— Нет. Я вспомнил этого венского ротмистра. Поверьте, мне было противно рубить его, дурака. Но я озверел! Это бывает со мною не часто, но иногда все же бывает...

Доминик Рапатель вернулся из Парижа с новостью:

— Первый консул — кто бы поверил? — виделся с Жоржем Кадудалем, он предлагал ему сразу чин генерала, если Кадудаль погасит пожары «шуанерии» в бунтующей Вандее.

— Бонапарта можно уважать, — рассудил Моро. — Он не побоялся, что Кадудаль задушит его в кабинете Тюильри, а кулаки у этого мужлана величиной с мою голову.

Рапатель сказал: Кадудаль шел на свидание, уверенный, что 18 брюмера Бонапарт для того и захватил власть над Францией, чтобы вскоре передать ее Бурбонам.

— Когда же понял, что Бонапарт далек от этого, тогда они разлаялись, как собаки, и Кадудаль, сильно рассерженный, снова убрался в леса и болота Вандеи.

— Он еще натворит бед, — заметил Лагори...

Барон Край все время подбрасывал в штаб Моро ложную информацию о разгроме в Италии армии Бертье — Бонапарта, желая вынудить французов к отходу. Рейнская армия дважды форсировала Дунай, расчлняя коммуникации между Ульмом и Веною, — в искусстве маневра Моро оставался непревзойденным мастером, как и знаменитый Филидор в шахматах. Наконец Край убедился, что Моро не отстанет от него подобру-поздорову, и прислал в лагерь французов своего адъютанта:

— Фельдмаршал Край фон Крайов предлагает вам встречу в деревне Парсдорф под Мюнхеном, дабы предложить конвенцию о перемирии, схожую с той, какую фельдмаршал Мелас заключил с Бонапартом в итальянской Алесандрии.

Моро, как и вся его армия, еще не знал о битве при Маренго, в предложении противника он усмотрел ловушку

Возвращайтесь обратно, — сказал Моро. — Я согласен

на встречу в Парсдорфе, когда этого пожелаю я сам... Прелиминарии подпишу лишь в том случае, если ваш фельдмаршал передаст мне крепостн на Дунае, вместе с Ульмом, дабы их обладание мною послужило гарантом для перемирия.

— Это слишком жестоко,— сказал адъютант.

— Но это же война... не я ее придумал!

Отзвуки ликования в Париже наконец докатились до германских деревень, и 15 июля Моро, прихватив с собой Декана и Лагори, встретился с фельдмаршалом Краем в Парсдорфе. У бедного старика подрагивали пальцы, глаза слезились.

— Венский гофкригсрат признал мои воинские таланты гораздо выше суворовских, и мне, не скрою, не хотелось бы шагать под суд военного трибунала... Декан, это вы взяли Мюнхен?

— Да, ваша честь. Но к пиву я равнодушен.

— Знаю вас... пьяниц. Моро, сколько вам лет?

— Тридцать семь, ваша честь.

— Странно! Я смолоду сражался с Фридрихом Великим, но в ваши годы едва вытянул до полковника... Не было ли у вас дядюшки-палача в революционном Конвенте?

Лагори в ярости треснул кулаком по столу:

— К делу! Мы собрались здесь не для ругани...

Край, подписав перемирие, зашвырнул перо в угол.

— Я ратифицировал свой позор в истории... И пусть я унижен,— заплакал Край,— но умру с непоколебимою верою в то, что великая Римско-Германская империя — под эгидою пенских Габсбургов! — не сейчас, так позже разрушит ваше мнимое республиканское могущество... Прощайте!

— *Sunt siquae...* прощайте,— ответил Моро.

Он приехал в Париж — тихо и незаметно. Все внимание парижан было приковано к Италии, о войне на Рейне и Дунае не поминали. С конвенцией Парсдорфского перемирия генерал навестил Талейрана, который даже не глянул на подписи.

— Место для нее подле Александрийской,— сказал он, захлопывая бювар.— Пусть вас не смущает отсутствие оваций. Тут столь много кричали во славу Маренго, что вконец охрипли, и для генерала Моро осталось одно шипение. Хочу преподать дружелюбный совет. Ваши бюллетени чрезмерно скромны. Изучите технику их составления по отчетам Бонапарта, который не стыдится признать свой гений. В наше время скромность — удел посредственных дарований. Я не желал обидеть вас, но, извините, так уж складывается жизнь:

успеха в ней достигает только тот, кто показывает пальцем на себя.

Моро спросил, виден ли конец войне?

— Венский кабинет связан союзом с Лондоном, и Францу не выбраться из войны, не получив прежде на это согласие кабинета сент-жемского. Чтобы в венском Шейбрунне образумились, вашей армии предстоит нанести Австрии очень сильное поражение.— На прощание Талейран произнес очень странные слова: — Хотя первый консул из шестидесяти трех газет Парижа оставил лишь тринадцать, вы все-таки поройтесь в этом навозе, в котором иногда попадаются жемчужные зерна...

«К чему это предупреждение?» Моро отправился к себе на улицу Анжу, где его навестил тихий, бледный Фуше.

— Если у тебя есть matrimониальные планы,— намекнул он,— ускори события. Это говорит тебе друг, который знает больше того, нежели смеет сказать...

Фуше не был другом Моро, но Моро не возражал, когда Фуше называл себя его другом. Их «дружба» началась в Италии, куда Фуше поставлял для армии шинели, служившие солдатам одну неделю, и башмаки, служившие с утра до вечера.

- Что еще ты можешь сказать? спросил Моро.

— Бонапарт вызывает из Милана певицу Грассини.

— Думаю, Жозефина не взвоет под облака от восторга. Говорят, она стала очень ревнива.

— Ревность не мешает ей желать наследника — от любой женщины, пусть даже от собственной дочери, Гортензии Богарне, лишь бы утешить отцовские чувства Бонапарта... Кстати, Моро,— вдруг спросил Фуше,— эти подлые роялисты не пытались связываться с тобою... из Лондона?

Более того, что ответит Моро, говорить нельзя, ибо Фуше обладал особой разновидностью эгоизма — политического: для него хороша любая политика, которая хороша для него. Сейчас, очевидно, Фуше было бы выгодно признание Моро.

— Нет,— сказал Моро,— такого не припомню.

— Я так и думал,— просиял Фуше,— ни граф Артуа, ни принц Конде из Лондона тебя еще не тревожили.

Упомянув только Лондон, он оставил Митаву (а значит, и мадам Блондель!) в глубокой тени, но Моро все равно испытал чувство неосознанной тревоги. Он поспешил переменить тему разговора.

— Меня тревожат слухи об отставке Карно.

— Господин Карно умный человек, но он напрасно полагает, что Франция при Бонапарте на гибельном пути...

Моро еще не совместил в своем сознании двух намеков, сделанных ему Талейраном и Фуше, но скоро все выяснилось. Ему надо было лишь помнить: истина, пусть даже немислимая, откроется на страницах «Монитера». Но в любом случае всадник должен оставаться спокойным!

.....

Во время приемов, чтобы не путаться в именах, Бонапарт называл людей по их мундирам: «Здравствуйте, господин сенатор» — и не ошибался. Но консул иногда попадал впросак с людьми, мундиров не носивших. Однажды в Тюильри он восторженно встретил академика Амельона:

— Мне приятно видеть вас, Ансильон.

— Простите, я не Ансильон — Амельон.

— Да, да, Амельон! Я вас хорошо знаю. Вы продолжили римскую историю Лебона, достойную общего внимания.

— Не Лебона — Лебо, господин консул.

— Именно Лебо, я так и сказал. И вы продлили его хронику до падения Константинополя под ударами аравитян.

— Не аравитян — турок.

— Правильно, Амельон! Турок я и имел в виду...

Моро представлялся Бонапарту в группе других генералов, но командующего Рейнской армией консул сразу увел в свой кабинет. Масляные лампы инженера Карсея, снабженные часовым регулятором, давали ровный устойчивый свет.

— Я знаю, о чем ты подумал, входя сюда: да, в Тюильри легко въехать, но трудно в нем удержаться... Успокойся, Моро, я остаюсь прежним республиканцем и указал, чтобы королевский дворец назывался «Дворцом Правительства».

Он усадил Моро, а сам продолжал стоять.

— Ты слышал о моей встрече с Кадудалем? Я слово сдержал: позволил ему скрыться, не преследуя его. Но из лесов Вандеи Жорж перебрался в Лондон, где в его честь дан банкет русским послом Семеном Воронцовым... Там собирается неплохая шайка бандитов — Жорж Кадудаль и Пишегрю!

Упоминание о Пишегрю было для Моро неприятно, а первый консул сознательно выжидал от Моро реакции.

— Мне возвращаться на Дунай? — спросил Моро.

— Сейчас в Люневиле мой брат Жозеф уже стряпает мир с Австрией. Если политика венского кабинета увязнет в пышных тирадах и остроумных репликах, Парсдорфское перемирие станет пустой бумажкой, и ты снова скрестишь оружие. — Бонапарт сознался, что сейчас его тревожат два насущных вопроса. Первый: выдержит ли осаду Мальта?

Второй: кого поставит Вена на место старого дурака Края? Ни маршала Монтекукули, ни принца Евгения Савойского на берегах Дуная не видится.— Я согласен гадать на картах: какую же шваль вытащит император Франц из своих затхлых кладовок?

Моро ответил, что без мира с Англией невозможно спасти остатки Египетской армии, на это Бонапарт сказал:

— Я и сам бы хотел избавить Средиземное море от эскадры Нельсона, чтобы она не торчала у Мальты и не мешала эвакуации армий из Египта... Что говорил тебе Талейран?

Моро домыслил будущее мира за Талейрана:

— Вынудив Австрию к миру, мы оставим Англию без союзников на континенте... Следовательно,— завершил беседу Моро,— я должен быть на Дунае! Независимо от болтовни в Люневиле нам следует снимать с петель ворота Вены, и тогда сами по себе откроются ворота для мира Европы...

Бонапарт пружинисто покачался на носках сапожек.

— Сейчас мы вернемся в зал, у меня есть для тебя подарок. А в среду я жду тебя в Мальмезоне...

Бонапарт (сам полководец!) не мог не понимать, что победою при Маренго он обязан Моро, который, пожертвовав своими успехами, прикрыл его Итальянскую армию с фланга. В окружении генералов и придворных первый консул торжественно объявил о заслугах Моро перед республикой. Моро вручили богатый футляр, в котором на розовом муаре лежали превосходные пистолеты, украшенные бриллиантами.

— Ты достоин и большего! — сказал Бонапарт.— К сожалению, республика еще не терпит блеска орденов и пышности эполет. Так пусть всегда сверкает твое оружие, как и твои замечательные победы на Рейне и на Дунае.

Вскинув руку, он дернул Моро за мочку уха.

— Итак, в Мальмезоне,— напомнил консул...

Рапатель ожидал Моро с новостью:

— Странно, что в Тюильри ничего не знают. А в Париже даже на улицах говорят, что гарнизон Мальты, изнуренный голодом, уже капитулировал... Если это правда, то никогда Франция не останется в мире с Англией.

Наверное, слухи,— не поверил Моро...

Рука и сердце его еще оставались свободны. Конечно, он повидал Александрина в пансионе, но событий не ускорил. А задержка с наступлением генерала стала беспокоить мадам Гюлло. Желая обострить любовный кризис, эта опытная дама начала откровенно торговать прелестями дочери:

— Моему зятю (каков бы он ни был!) достанется сокровище. У моей дочери аристократическая ножка. Под подъе-

мом ее ступни свободно пролезает маленький котеночек. А кожа такая, что в десяти шагах на ее фоне невозможно различить ожерелье из жемчуга... Любой зять будет счастлив!

Моро не спешил заковывать себя в цепи Гименея.

— Мадам, я могу только завидовать этому счастливцу... Увы, меня сдерживает предстоящая кампания на Дунае.

— Так сколько же можно сдерживаться? — вспыхнула мадам Гюлло.— Сдерживались на Рейне, сдерживаетесь на Дунае, затем будет Одер и Висла, и так доберетесь до Вогги...

События ускорил визит в Мальмезон. Отчасти преудрежденный Фуше и Талейраном, генерал, однако, не думал, что все будет построено столь бестактно и даже авантюрно, с таким грубым нажимом на его честь. Талейран правильно подметил, что число газет во Франции сокращалось, всю прессу Бонапарт желал бы свести к единственной газетке, но и эта газета, по его мнению, не должна превышать размера носового платка. Парижская «Монитор», какие бы она ни получала оплеухи от цензоров, все-таки устояла на ногах. Конечно, парижане знали: «Монитор» вещала миру лишь слова консула...

Приехав в Мальмезон, Моро задержался в приемной, пока лакеи не доложат о нем. В самом углу комнаты стояли напольные часы с громадным маятником. Поверх часов лежал свежий номер «Монитера», развернутый таким образом, что не заметить было просто невозможно. Моро взял газету, и в глаза сразу бросилась фраза: «СЛУХИ ПАРИЖА: наш славный генерал Моро сделал брачное предложение прекрасной Гортензии Богарне...»

В этот же момент вошел Бонапарт. Оба молчали.

Моро положил газету. Бонапарт схватил ее.

— О! — сказал он, будто не веря своим глазам.— Новость интересная. Если это не газетная утка... поздравляю!

За столом он сразу обратился к Жозефине:

— Смотри! Оказывается, мы даже не заметили, когда этот генерал успел покорить нашу Гортензию...

Корсиканское либретто было составлено заранее, и Жозефине оставалось лишь развить его генеральную тему:

— Лучшие генералы Франции — Мюрат, Леклерк и... даже Бернадот уже породнились с нами. Мы с душевной радостью примем в нашу семью и знаменитого генерала Моро!

— Учти, дружище,— сказал Бонапарт, снова потянув

Моро за пылающую от гнева мочку его уха.— Мы, корсиканцы, люди старинных понятий. Для нас нет ничего выше чести семейного клана, мы, корсиканцы, свято бережем семейные узы. Я могу наорать на Леклерка, могу треснуть Мюрата коленом под зад, но они всегда знают, что со мною не пропадут.

— В этом не сомневаюсь,— ответил Моро.— Но из моей памяти время еще не выветрило Жубера с его кратким, как молния, семейным счастьем. Боюсь, как бы и мне на полном скаку лошади не вылететь из седла под шелест знамен...

Пистолеты с бриллиантами и семейные узы — звенья одной цепи: Бонапарту желалось сделать из Моро родственника, чтобы раз и навсегда подчинить его себе. После ужина беседа была продолжена, но уже без Жозефины; чего, кажется, хотел и сам Бонапарт, чтобы вести разговор с мужской откровенностью. Странно, что он, отличный психолог, еще не ощутил внутреннего, но яростного сопротивления Моро.

— Так ты войдешь в нашу семью? — спросил он.

Моро раскурил трубку от свечи. Сказал:

— Твоя падчерица, и об этом в Париже знают, страстно влюблена в твоего красивого адъютанта Дюрока.

— Мы же не дети! Если Дюрок тебе мешает, я завтра же пошлю его в Петербург с мальтийской шпагой для Павла, и, пока он там развлекается, Гортензия забудет его.

— Мне мешают еще два обстоятельства.

— Назови их. Все они легко устранимы.

— Не все! — сказал Моро.— Разве можно устранить то, что Гортензия Богарне — твоя падчерица и твоя же любовница? Об этом казусе много разговоров в Париже.

Бонапарт несколько не смутился:

— Ну, это сплетня... стоит ли верить?

— Наконец, и второе обстоятельство: я обещал мадам Гюлло сегодня же быть у нее с предложением руки и сердца ее дочери Александрине...

Моро повел себя далее в том же духе, как когда-то Жубер со своей женьбой. Он заявил будущей теще:

— Я настаиваю лишь на том, чтобы Александрина завтра же стала моей женой... Теперь не церковные времена, а гражданский брак при свидетелях займет минуты две-три, не больше. Поверьте, Парсдорфское перемирие близится к окончанию, и сейчас не время обсуждать брачные туалеты...

Вернувшись к себе, Моро сказал Рапателю:

— Завтра ты и генерал Лагори станете свидетелями моего брака... Нет, я не Бернадот, который больше всех кричит о правах народа, а сам исподтишка лезет в постель Дезире Клари, нагретую для него самим Бонапартом...

Даже покойный Жубер мог бы позавидовать той скорости брачного маневра, какой произвел Моро! Но с этого времени Бонапарт обращался к нему только на «вы»...

Лазар Карно, покидая пост военного министра, был назначен в сенаторы. Он всюду откровенно взывал:

— Пока не поздно, генерал Моро должен заменить генерала Бонапарта на его посту первого консула республики... Вы спрашиваете — почему? Я вам отвечаю: республикой должен управлять республиканец, каковым Моро и является.

Тогда же Карно писал: «Моро — единственный сейчас человек во всей Франции, способный стать во главе дела». 11 ноября 1800 года Париж объявил о разрыве Парсдорфского перемирия, и Моро отъезжал к Дунаю — для открытия боевых действий. Его мучила, его терзала необъяснимая тревога:

— Черт побери, все-все... все как у Жубера!

Но всадник в бою должен оставаться спокойным.

10. ЕГО ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Александрина (уже на правах жены) невозмутимо наблюдала, как ее муж с Рапателем укладывают вещи в походные кофры.

— Вы чем-то огорчены, мой друг? Вы озабочены?

Ну, как объяснить этому наивному созданию всю ответственность, которая тяжкими гирями налегла на плечи? Моро сказал, что в битве на Дунае решится очень многое:

— Мир так устроен, моя прелесть: у каждого человека бывает свой звездный час. Писатель в такие часы создает бессмертную книгу, живописец дарит шедевр, а полководец инигрывает грандиозную битву, — без этого никто из них не получает матрикул для вхождения в Пантеон бессмертия...

За ним числилось немало побед. Каждая из них была замечательна для своего дня. Но в биографии Моро отсутствовала та роковая битва, память о которой отложится на полках Мировой Истории, о которой будут писать в школьных учебниках. Настал политический момент, когда от его успеха (или от неудачи) на Дунае зависело — быть ли миру в Европе?

— Пойми, — говорил он жене, — если я сейчас разобью

Австрию, Англия тоже будет вынуждена пойти на мир...

Александрина провожала мужа до первой заставы. Моро дернул шнур сигнального звонка, чтобы кучер задержал лошадей. Супруги вышли из кареты. Над Францией пролегла черная-черная, но звездная ночь. Было тихо. Страшно тихо.

— Мне холодно, Моро,— сказала жена, прильнув к нему; трогательная в своей нежности, Александрина отыскала на самом краю небосвода трепетную звезду.— Она моя... и такая же маленькая и беззащитная, как я!

Моро широким плащом опахнул ее слабые плечи.

Его рука в боевой перчатке вскинулась кверху:

— А вот и моя... та, что отсвечивает кровью.

— Назови мне ее, Моро.

— Это огонь войны, это бранный Марс...

Если война есть логическое продолжение политики, только иными средствами (это не мои слова — Клаузевица), то генеральная битва — спрессованный сгусток политики, когда в кратчайшее время, иногда в считанные минуты, разрешаются мучительные проблемы, затянувшиеся в кругу дипломатов на целые столетия... Карета командующего Рейнской армией остановилась возле древней ратуши Страсбурга, засуетились лакеи, вспыхнули факелы, пламя осветило фигуры конвойных драгун, поникших от безмерной усталости; из их седельных кобур торчали рукояти заряженных пистолетов.

Виктор Лагори встретил его у крыльца ратуши.

— Какие новости? — спросил Моро на лестнице.

— Командующим Дунайской армией Вена назначила эрцгерцога Иоанна, отпрыска Леопольда Габсбургского.

— Победы за ним числятся?

— Никаких.

— Поражения?

— Он еще небитый.

Ковер на ступенях глушил тяжелую поступь ботфортов.

— Кто его менторы? — спросил Моро.

— Герлонд, Буржуа, Лауэр.

— Я их не знаю. Сколько лет герцогу?

— Восемнадцать.

— Кто шутит? Ты или Вена? — рассмеялся Моро.

Он тронул в поход свою армию, ее сопровождали шорники, хлебопекы, кузнецы, коновалы, интенданты, чиновники, маркитантки и, наконец, просто приبلудные шлюхи, от которых было не отвязаться, даже если остричь им волосы. Предзимние дожди обмывали громадные валуны, переплетенные вереском, по ночам фыркали в лесах дикие кабаны.

Моро ехал на лошади, иногда его окликали дружеские голоса солдат-ветеранов:

Моро, правда ли, что ты женился?

Да, на вдове... Жубера! А как твои дела, Питуэ!

— Моя убежала с лудильщиком. Конечно, с кастрюль прибыль вернее. А что возьмешь с меня, топающего за тобою?

Не горюй, Питуэ! Бывает и хуже...

Армию сопровождали собаки: испанские спаниели с добрыми глазами, могучие канадские ньюфаундленды, умные и преданные пудели, разделявшие судьбу хозяев. Дожди всем надоели... Возле сельской мельницы драгун Бертуа громадной перчаткой хлестал по лицу жену мельника, и она взывала к своему мужу, чтобы скорее пришел на помощь:

— Михель, Михель... меня бьют! Где ты, Михель?

Моро надвинул на драгуна свою тяжелую лошадь:

У тебя серьезные причины, Бертуа?

Еще бы! Эта баба оплевала меня.

Так плюнь в нее сам и не задерживайся...

Вдали затихали вопли разъяренной мельничихи:

Проклятые французы... убийцы короля! Все вы сдохнете. Будь проклята вся ваша латинская раса!

Доминик Рапатель уютно покачивался в седле, его длинная сабля мелодично позванивала, задевая шпору.

Ах, чего только не наслушаешься в этих походах! Если все запоминать, можно сойти с ума. Но если все записывать, то можно стать новоявленным Фукидидом..

За Мюнхеном дороги выводили армию к сердцу Габсбургов - к Вене, ослепительной и злочной, как хороший кибак. Но все случилось иначе, нежели думал Моро. В конце ноября эрцгерцог Иоанн - этот мальчик! — искусным маневром протиснул свою гигантскую армию между реками Инн и Изар, обрушив неожиданно мощный удар на левое крыло французов.

Это произошло возле деревни Амффинг.

И французы побежали,— доложил Лагори.— Гренье еще выпутывает свою дивизию, но крови уже хватает...

Моро срочно выехал в местечко Анциг; на широкой крестьянской скамье перед ним сидели ждущие расправы генералы.

— Ней, Легран, Гренье... Очевидно,— сказал им Моро,— вам просто не повезло. Иоанн умный ребенок, и, если Вена не вывихнет ему мозги, из него со временем получится хороший скандалист Рапатель! Достань корзину сырых яиц. Нам предстоит много орать, не мешает заранее смазать глотки...

Мишель Ней отказался пить сырые яйца:

— Мне бы чего-либо покрепче, Моро.

— Выпей, Мишель. Сейчас я отодвину армию.

— Ты знаешь, куда этот табор двигать?

— Назад! Есть одна хорошая поляна у Гогенлиндена, мне очень не хватает воздушного шара для слежения за Иоанном...

Австрийцы, упоенные успехом при Амффинге, радовались, что генерал Моро отступает, — на самом же деле он завлекал их в глубину Эбергсбергских лесов, давно ему знакомых, на равнину близ селения ГОГЕНЛИНДЕН, где в буреломе, пронизанных быстрыми ручьями, догнивали столетние дубы. Из шапок ветеранов торчали оловянные ложки, готовые окунуться в любой котел... Вечно несытые, они мрачно ворчали:

— Куда нас тащат? Мы переломаем все ноги.

— Не мы, а кавалерия эрцгерцога.

— Если Моро ищет позицию пострашнее, так он уже нашел ее в этом лесу, где не хватает только патлатой ведьмы...

Тропы заросли хмелем, сырость пропитала ранцы солдат, покрытые грубым мехом. С высоты седел молодые гусары высокомерно поглядывали вниз — на усатых «ворчунов», бредущих по грязи. Мокрые косы, плетками свисая из-под киверов, ритмично хлестали гусар по давно не мытым щекам.

В доме лесника Моро собрал генералитет. Назвав себя, генералы отступали в тень, опираясь на шпаги, палаши и сабли. Над картою Эбергсбергских лесов склонился Моро.

— Я не утверждаю, — сказал он, — что отечество в опасности. Мы ведем войну на чужой земле, мы едим чужой хлеб, наша кавалерия пожирает овес с чужих полей. Но судьба мира должна завтра решиться именно здесь, у Гогенлиндена. Я не требую от вас невозможного, но возможное прошу исполнить.

Среди ночи он разбудил Поля Гренье:

— Слушай! Эскадроны Груши я оставлю у Гогенлиндена, вели седлать свою кавалерию. Австрийцы уже близко. Я слышу в лесу их крики. Собаки беспокойны. Одна из колонн Иоанна обходит нас от Майтенбеттенского шоссе. Ударь по ней, Гренье! Сделай все, чтобы эта колонна была сразу потеряна для эрцгерцога. Помни — твое направление главное... главное!

Рассветало. Гренье выстроил эскадроны:

— Кто сегодня останется живым, тот не гусар, а воющее дерьмо... Рысью — в галоп, марш-марш-марш!

Уже стало видно, как из Гогенлиндена гнали стадо баранов, и Моро велел Рапателю скакать наперехват:

— Быстро заверни все стадо за опушку леса. Я сам расплачусь с жителями, нам после боя потребуется много мяса.

— На ужин — бараина! — пронеслось над армией, и то, что он, командующий, уже точно определил вечернее меню, исляло уверенность в исходе битвы.

Собаки стервенели от лая, крики австрийцев приближались. В восемь часов утра эрцгерцог Иоанн выкатил армию из гуши Эбергсбергских лесов, и австрийцы сразу наткнулись на прочную позицию Моро, глядящую на них пушечными жерлами. Легкий туман струился между фронтами противников, в порыжевшей осоке вскрикивали испуганные птицы. И тут Моро вспомнил, что вчера за картами подрался два генерала.

— Ришпанс, — сказал Моро, — помирись с Неем.

— Лучше сдохну, — отвечал гордый Ришпанс.

— Ней, — сказал Моро, — помирись с Ришпансом.

— Пошел он к чертовой матери...

Пушки заработали. Пустили в дело инфантерию.

Офицеры дубасили отстающих саблями плашмя. Кто ложился, того сразу пристреливали из пистолетов в спину, — все было так, как было всегда, и ничего нового в этом не было. Моро отослал эскадроны Ришпанса в обход фланга, предупредив, что его направление главное. Самое главное!

— Рапатель, где Ней? Давай сюда Нея.

Он указал Нею начинать движение дивизией в обход другого фланга австрийцев. Ней насторожился, спрашивая: где это сцепились?

— Это дерется Гренье, я желаю тебе в конце боя пожать руку Ришпансу, который заходит слева... Не дури, Ней! И помни — твое направление главное. Самое главное, Ней, иди... Декан, что ты торчишь за моей спиной, как Фемида?

— А где мне еще торчать? Я жду приказа.

Декан что-то еще дожевывал, его лошадь, выдрессированная лягать всех, кто приблизится, пугала Моро копытами.

— Слушай, обжора! — крикнул Моро издали. — Есть одна тропа, о которой знают только звери, ходящие по ней к водопою. На картах она не значится. Этой тропой выходи к шоссе, но с другой стороны Майтенбеттена, и тресни австрийцев по затылку, чтобы у них кивера посыпались... Помни, Декан: твое направление главное, самое главное!

Рапатель крутился перед Моро на лошади:

— Все главные направления вы раздали своим генералам, а что же, черт побери, останется для командующего?

— У меня останется мой верный адъютант...

Пушки уже насытили воздух серой золой, пугливые лошади вставали на дыбы, молотя в едком дыму передними копытами. Из леса выползали раненые, они спрашивали — где фургоны с хирургами? Моро заметил солдата, у которого штык, словно турецкий ятаган, уже согнулся в рукопашной.

— Питуэ! — позвал его Моро. — И ты? И тебя?

— И меня тоже... Прикладом - все зубы. Всмятку!

— Есть бутылка бордоского... дать?

— Дай, Моро... мне сейчас паршиво!

Кавалерия выходила из боя с размятыми киверами, от гордых султанов остались жалкие перья. Страдая от боли, люди рвали на себе ремни амуниции, и кожа лопалась, как бумага. Все было как всегда, и ничего нового Моро не наблюдал. Гусары возвращались из атак без лошадей, их головы были замотаны рубашками. На вопросы генерала они отвечали:

— Мы с шоссе... там уже навалили... гору!

— Как держатся австрийцы? — спрашивал Моро.

— Их полон лес, но разбегаются... Мародеры из деревень уже пошли с мешками, всех подряд раздевают до гола.

Лагори вырос из-за плеча Рапателя, строгий:

— Моро, за Анцигом у нас не все ладится.

— Я чувствую. Скомандуй драгунам — марш...

Фаланга кавалерии пошла в бой, гневно выкрикивая:

— Да здравствует Франция... честь, слава!

Впереди мчался юный полковник с трубкой в зубах.

— Заставлю плакать венских дам! — орал он.

— Глупец, — сказал Моро. С трубкою и без оружия?

— А, ему плевать... тут все равно не выживешь!

Болезненно напрягая слух, Моро с Лагори пытались определить источники боевого шума, дабы распознать лабиринты движения колонн, эпицентры атак и взлаив собачьих свор, следующих за колоннами, — так, наверное, дирижеры в оглушительном реве оркестров улавливают отдельные звучащие мелодии. Неожиданно повалил мокрый снег. Со сбитыми на живот седлами из леса выбегали ржущие от ужаса кони — без всадников.

— Лагори, — сказал Моро, надо обуздать мародеров.

Если они сейчас разденут раненых, бедняги замерзнут. Пошли в лес солдат — пусть расстреляют всех, кто с мешками..

Лошадь вынесла из гуши боя драгуна Бертуа, нога которого застряла в стремях, и Бертуа бился головой о мочки и лесные коряги. Моро кинулся наперерез взбешенной лошади, ударил ее кулаком в глаз, освободил ногу драгуна, потащил его в санитарный фургон.

— Бертуа, милый,— говорил он,— потерпи... еще немного. Терпи, друг, терпи. Мы побеждаем. Ты будешь жить...

В тылу эрцгерцога Иоанна возникла сильная пальба, над лесом взметнулись огненные дуги,— это дивизии Нея и Ришпанса сомкнули свои ряды среди павших и побежденных.

— Вот теперь они помиряются,— сказал Моро.

— Или опять подерутся,— отвечал Лагори...

Лай собак в лесу утихал. Трубачи эрцгерцога уже играли общее отступление — обратно, через колдовские чащобы, к нерушимым дунайским мостам. Молодой еще человек, Иоанн был недурно воспитан своими менторами. Он указал:

— Во что бы то ни стало необходимо спасти раненых. Грех падет на мою душу, если оставим их под снегопадом.

Юноше отвечали, что лазаретных лошадей нет:

— Остались одни першероны, впряженные в пушки.

— Берите лошадей артиллерийских.

— Как? Тогда наши пушки достанутся французам.

— Да, но люди дороже бронзы...

Рапатель доложил, что эрцгерцог Иоанн поступил благородно, бросив на поле боя 87 орудий — ради спасения несчастных. Моро дал ответ, вошедший в историю гуманизма:

В эти пушки запрягите *наших* лошадей и отправьте их Иоанну, чтобы французы разделили великодушие противника..

Уроки Талейрана не пошли впрок: Моро очень кратко изложил в бюллетене для Парижа известие о победе, как о самом рядовом столкновении с противником. Зато его армия солдатским инстинктом уже оценила значимость битвы при Гогеллиндене, она пожелала устроить в честь Моро иллюминацию, чтобы в пышном венке красовалось его краткое имя.

— Мои убеждения республиканца,— с гневом возражал Моро,— не позволяют мне принимать восхвалений лич-

но себе. Будет лучше, если я завтра сам поздравлю ~~всех!~~
Вдоль шоссе выстроились полки. Моро им сказал
— Как солдат не забывает цвет мундира, который носил
на себе, так и мы, граждане и солдаты Французской
республики, не забудем день Гогенлиндена! Благодарю
вас...

Вверх взлетали раскромсанные каски, иссеченные кивера
и простреленные шапки из звериных шкур

— Слава Моро... Да здравствует наша республика!

Это был его звездный час уже неповторимый.

Рейнская армия преследовала австрийскую, всюду разбивая ее на маршах. Наконец завиднелись и венские пригороды — до столицы Габсбургов оставался один суточный переход. Из ножен вылетели сабли, торжествуя в салютах.

— Ура! Завтра мы уже пируем во дворцах Шенбруна... будем гулять по Пратеру с венскими красотками.

Но здесь армия и была остановлена Бонапартом, который не мог вынести, чтобы вступление Моро в Вену затмило его славу победителя при Маренго. Очень сухо он указал с курьерскою почтой, что Франции необходим мир. Только мир.. И напрасно генералы умоляли Моро сделать последний рывок к столице врага. Моро бестрепетно подчинился приказу.

— Подавим в себе низменные порывы честолюбия Мир для народа Франции сейчас важнее новых триумфов.

...Французские историки с горечью писали об этих забываемых днях: «Победа при Гогенлиндене была *последней* республиканской победой. *Никогда больше* Франция не видела такой скромности в своих военачальниках, такой почтительной преданности со стороны солдат, таких трогательных проявлений патриотизма...» Дребезжа на зимних ухабах стеклами, карета увозила Моро в древний уют тишайшего Страсбурга, где его ожидала Александрина и новый, 1801 год. Моро чувствовал себя хорошо: Рейн оставался естественным рубежом Франции. И пока Моро едет, маховые колеса истории вращаются гораздо быстрее, нежели колеса его расхлябанной кареты

11. ОБОСТРЕНИЕ

Падение Мальты привело Бонапарта в уныние:

— У меня гадкое состояние, Бертъ! Мне было бы легче, кажется, видеть англичан на высотах Монмартра, нежели знать, что они торчат в Ла-Валлетте. Нельсон

убрался из Неаполя, но — куда? Лучше спихнуть мальтийские дела на Павла, и пусть он сам разбирается с англичанами.

— А нам уже пора убрать Массена из Италии, где он слишком увлекся «сбором подарков от благодарного населения».

— Да, Бертье! Массена с его наклонностями вскоре понадобится нам в иной части света, совсем в иной...

Бонапарт не скрыл от общества большие успехи Рейнской армии, личными письмами поздравил Ожеро и других генералов — только не главнокомандующего! Увы, битва при Гогенлиндене стала поводом для глупейшего скандала, в котором, к счастью, не были замешаны ни генерал Моро, ни сам первый консул. Тщеславной теще избрело в голову, что лавры зятя обязывают Жозефину исмедленно принести ей личные поздравления. Не дождавшись Жозефины у себя дома, она сама поехала в Мальмезон, уже распаленная гневом неправедным. Мадам Гюлло прихватила и дочку, но Жозефина, как на грех, в это время принимала ванну: через лакея она просила гостей подождать, пока она приведет себя в порядок. Для тещи это промедление послужило сигнальным выстрелом из пушки:

— Как? Мы, Гюлло, должны ждать, пока она моется?

Забрав пристыженную Александрину, она в ярости покинула Мальмезон и теперь по всему Парижу трезвонила:

— Мы, Гюлло с острова Бурбон, ничуть не хуже этой креолки с Мартиники... Не такая уж она святая, какой притворяется! Мы, Гюлло, по тюрьмам не сидели, а она уже насиделась. Все знают, как она надоела Баррасу, который, чтобы от нее отвязаться, и устроил партню с этим корсиканским прощелыгой. У нее тогда было всего шесть драных юбок, а перчатки она одолжила у Терезы Тальен... Про мою Александрину никто не скажет дурного. Бонапарты хотели бы сбыть Гортензию за моего зятя, но у них ничего не вышло!

Моро приехал в Страсбург, и ему было явно не по себе, когда при жене он обнаружил и тещу. Она стала учить зятя, как лучше действовать, чтобы эти жалкие Бонапарты и Богарне вели себя поскромнее. Моро признался Декану:

— Уверен, вся эта возня с ванной не могла бы возникнуть, если бы Жозефина и мои Гюлло не были кре-

олками. Этот шальной народец всегда вносит в отношения столько страсти и пыла, что мне, кажется, легче остричь догола дикую кошку, нежели примирить их... Я целиком на стороне Жозефины!

На тещу он просто цыкнул:

— В чем провинилась гражданка Бонапарт? Только в том, что, не ожидая вас, забралась в ванну, а когда вы явились, она не выскочила из воды нагишом, чтобы скорее перед вами раскланяться! То, что в порядке вещей для нравов колоний, в Париже выглядит смешным и нелепым...

Возникла семейная сцена — с заламыванием рук, с призывами всевышних сил в свидетели. Александрина надула губы, и без того распухшие от слез, а Моро впервые заметил в ее лице наследие грехов предков — что-то негритянское. Жена еще не забыла уроков мадам Кампан и, подавая мужу бульон, выкладывала поверх чашки изящную гирлянду из живых фиалок. Сначала Моро умилялся, потом ему надоело выплевывать лепестки, попавшие в рот вместе с бульоном.

— Не сердись, дорогая, — сказал он. — Мне очень приятна забота обо мне, но ты забываешь, что я солдат, приученный у ночных костров разрывать горячее мясо руками....

.....
Виктор Лагори отпросился в Париж, и Моро догадывался, что сердце его нзыло от любви к мадам Софи Гюго, муж которой служил при штабе Рейнской армии. Лагори вскоре же вернулся в штаб, он рассказал, что полиция Фуше схватила в Опере четырех кинжальщиков, которые подкрадывались к ложе первого консула, чтобы его зарезать.

— Театр в этот день был переполнен, а ведь билет в Оперу стоит десять франков... Всюду говорят, что кинжальщиков подначивали на убийство генералы — Массена и Бернадот!

Массена, смолоду пират и контрабандист, всегда имел склонность к авантюрам, а что касается Бернадота...

— Я думаю, — сказал Моро, — он больше корчит из себя якобинца, нежели является им на самом деле... Да и куда деть Бернадота, если он стал шурином Жозефа Бонапарта?

Прогуливаясь по городу, возле почтовой конторы Страсбурга, где путникам меняли лошадей, Моро встретил русского офицера. Чтобы в низкой карете не помять высокий

султан, он вынул его из кивера и укладывал в красивый футляр.

— Какого полка у вас форма?

— Конной гвардии; еще со времен Потемкина.

— Хм. У вас отличный парижский выговор.

— Он и должен быть таковым. Еще ребенком я выхвачен родителями от ужасов революции, теперь делаю неплохую карьеру в России... Жерар де Сукантон! — назвался молодой человек. — Мне оказали честь, отправив курьером до Парижа, чтобы передать письма для наших пленных. Заодно я могу навестить в Париже и могилы несчастных родственников.

— А ваша семья пострадала от террора?

— Вероятно, если ничего нам не пишут.

— Ищите их на кладбище Пикпус. Но лучше не искать. Там устроили свалку мусора, а природа сама уже озаботилась, вырастив над мусором кусты яркого шиповника.

Моро не скрывал любопытства: как устроились в России французы-эмигранты, каково к ним отношение в дворянстве и простом народе, где бывают, что едят, что пьют.

— Пьем все и едим все, кроме блинов с черной икрой, вы не представляете, генерал, какая это мерзость! Франция всегда останется для нас прекрасна, как и Европа для тех бедняков, что населяют в Америке берега Огайо и Миссисипи. Вы, наверное, извещены, как мучителен процесс вживания наших соотечественников в Голландии или Испании — они страдальцы! А в России все иначе: кто не принял ее сразу, тот сразу и бежал из нее, осыпая проклятиями, и такие люди навсегда остаются лобными врагами России. Но кто остался, кто вкусил всех прелестей ее безалаберной, но интересной жизни, тот с Россией уже не расстанется и везде ему будет скучно.

— Чем это объяснить? — спросил Моро.

— Это ничем и не объяснить...

Лошадей подали. Можно ехать. Моро сказал:

— Вы много обяжете меня, если напомните в Петербурге военным людям, сражавшимся со мною в Италии, что я сохранил о русской армии самые лучшие впечатления.

Жерар де Сукантон шелкнул каблуками:

— Повторите, как называется это кладбище?

— Пикпус... Я, — добавил Моро, — никогда не одобрял разгула террора, когда людей преследовали за приставку «де» перед фамилией, тем более что такое же

«де» проставлено перед всей историей Франции, перед всей ее культурой...

Жерар де Сукантон натянул узкие перчатки:

— Судя по вашим словам, на кладбище Пикпус, среди роз и мусора, лежат, наверное, и ваши родственники?

— Нет. Мой отец успокоился на родине в Морле. Он был адвокатом и умел защищать людей. Но когда очередь дошла до него, он не смог защитить себя. Так ведь тоже бывает, что среди небритых людей чаще всего мы видим парикмахеров.

Жерар де Сукантон отдал ему честь:

— Простите, мсье! Если вашего отца постигла столь жестокая участь, как вы можете служить всей этой сволочи?

Лицо генерала Моро исказилось как от боли:

— Если вы называете так революционеров, то я тоже из этой «сволочи». В том-то и дело, что я всегда служил только народу Франции! Именно чувство гражданина и помогло мне перешагнуть через тело обезглавленного отца...

.....
Зима выдалась холодной, но Париж веселился, до утра гремела музыка танцевальных клубов, в Пале-Рояле одуряюще пахло из парфюмерных лавок... Сидя в кресле, обтянутом утрехтским велюром, Александрина на решетке камина поджаривала гренки к обеду. Моро не удивился, когда она заговорила о том, что в Париже проносится красочный вихрь удовольствий, а она прозябает в Страсбурге — при его штабе:

— Все мои подруги по пансиону тоже вышли за генералов, но у них совсем иная жизнь... Им сейчас не до гренок!

За жалобами юной женщины угадывалась и материнская подсказка: мадам Гюлло хотелось бы мутить воду в Париже, а в Страсбурге она шалела от чтения английских романов. Моро ответил, что дивизионных генералов во Франции не так уж много и быть женою одного из них, наверное, совсем недурно для красивой женщины, едва вступающей в жизнь.

— Пойми меня. Когда пушки замолкают, в гостиных едва слышен шепот дипломатов, и, пока в Люневиле не оформят прочный мир с Австрией, я останусь при армии, а ты — при мне. Газеты справедливо пишут, что Рейнская армия, составив оружие в козлы, охраняет приятное затишье в Европе...

Жители Страсбурга часто видели генерала Моро; он катал жену в детских саночках по улицам города, целовал в переулках ее замерзающие щеки. Возле памятника Морицу Саксонскому с пафосом рассуждал о величии его души, о любви, которой одарила полководца знаменитая Адриенна Лекуврер.

— А сейчас,— говорил он,— навестим часовню, где стоят два гроба, заполненные коньяком, и в крепком коньяке много веков плавают, как живые, древний рыцарь и дама его сердца... Она все-таки дождалась его из Палестины!

— Как это ужасно: дожидаться, чтобы умереть...

Между тем в штабе копилось недовольство среди офицеров — честолюбие их страдало оттого, что Бонапарт лишил их наград и призов, которыми столь щедро осыпал Итальянскую армию... Декан откровенно жаловался Лагори:

— Хуже нет иметь дело с такими идеалистами, как наш Моро! Что он застрял в Страсбурге? Ему бы ехать в Париж, бывать на приемах в Тюильри, показываться публике, иначе ведь Франция просто забудет о Гогенлиндене...

Виктор Лагори входил к Моро без доклада.

— Я не хочу никого пугать, но поговаривают о выделении двух особых армий: одну с Леклерком во главе для Сан-Доминго, чтобы подавить восстание негров Туссен-Лувертюра, а другую... Не удивляйся, Моро: дру-гую — в Индию!

— Леклерк в Сан-Доминго, а в Индию... я?

— Нет, решено послать Массена.

— Чтобы он собрал «подарки» с Великих Моголов?

— Кажется, выбор сделан русским царем. Россия обязана выставить тридцать пять тысяч, Массена забирает у нас столько же, по Дунаю он спустится в Черное море до Таганрога, оттуда — в Астрахань... Дело поставлено на широкую ногу! Кроме воздушных шаров Монгольфьера, берут еще роту балерин из Парижа, ибо Бонапарт считает, что сложные пируэты с задиранием ног выше головы действуют на Востоке лучше, нежели грохот осадной артиллерии.

— И что ты думаешь об этом, Лагори?

— Вряд ли этот план составлен в бедламе. Если рас-стояния не пугали в древности Македонского, почему же наши ветераны с казаками не могут достичь Ганга?..

Моро страдал: недовольство офицеров Рейнской армии пренебрежением Бонапарта к их заслугам становилось уже слишком вызывающим. Ему пытались доказывать уже доказанное:

— Как же так? Маренго — лишь частный успех в Италии. Маренго не выбило Австрию из седла, напротив, ожесточило. Мы же, победив ее при Гогенлидене и распалив бивуаки под стенами Вены, заставили Франца признать свое поражение... Мы вынудили Вену отказаться от борьбы с республикой!

Моро, конечно, догадывался, почему Бонапарт держит Рейнскую армию в черном теле, но ему не хотелось возбуждать горячие головы опасными сравнениями. Он обещал:

— Я пошлю в Париж своего Рапателя, он отвезет списки награжденных, которые я давно составил. Бертье человек порядочный, он, уверен, воздействует на Бонапарта.

— Сейчас уже не те времена, — заметил Гренье, — прежде пусть Рапатель понравится маркизе Висконти, без которой Бертье дышать не может... Увы, но это так!

Моро признавался Александрине:

— Боюсь, нашу армию раскассируют. Мы, кажется, на плохом счету у Бонапарта, он считает нас республиканцами... А как же иначе? Кем нам быть? — спросил Моро. — Или ему приятнее было бы видеть в нашей армии роялистов?

— Пхе! — отвечала Александрина...

.....
Роялисты, вдохновляемые из Лондона, трудились в поте лица. Неутомимый Ги де Невилль снова прибыл из Митавы в Париж, тайные агенты проводили его в неприметную конюшню. Здесь, укрытая от чужих глаз, хрумкала сеном старая лошадь, тут же стояла обычная тележка, на ней — бочка, ничем не примечательная. Это была «адская машина», набитая порохом, перемешанным с пулями и гнутыми ржавыми гвоздями. Конюшня принадлежала Сен-Режану, бывшему офицеру королевского флота, а помогал ему матрос Франсуа Карбон, убежденный роялист. Закаленные в бурях на море, они надеялись устроить ураган в Париже... Ги де Невилль осмотрел бочку.

— Так чего же вы ждете? — спросил он.

— Гастролей миланской певицы Грассини. Корсканец

находит ее завывания прелестными, а за Бонапартом в Оперу потащится и его бешеная креолка...

— Надеюсь, вами все продумано тщательно?

— Все будет как в хорошем театре,— обещал Карбон.— Тележка с бочкой, оставленная на улице Сен-Никез, не привлечет внимания полиции. Допустимо ведь, что хозяин тележки устал и решил взбодрить себя вином в ближайшем трактире.

Ги де Невилль заглянул в зубы лошади:

— Если она будет впряжена в тележку, то Жозеф Фуше может сразу напасть на ваш след. У этой развалины изъян в зубах очень характерный... Где вы ее достали?

— Купили на окраине у одного пьянчуги. Кажется, она краденая. Вы не волнуйтесь, Невилль: лошадь обречена, от нее даже зубов не останется.

Сен-Режан особо отметил: улица Сен-Никез, по которой обычно Бонапарт проезжает в Оперу, очень узкая.

— А дома там высокие, отчего взрыв в этом ущелье разобьет все вокруг. В гроб его корсиканского величества положат мундир со шляпой. А от Жозефины уцелеет один лишь веер, чтобы в пекле сатаны она навела на себя прохладу...

Ги де Невилль приподнял над головой шляпу:

— Желаю успеха! Ваши имена, господа, уже вписываются золотыми буквами на скрижали французской истории.

12. АДСКАЯ МАШИНА

Быстро минуют годы, и юные офицеры (те, что погибнут у Бородино или на высотах Монмартра, те, что позже выстроятся в железное каре на Сенатской площади) не раз еще будут спрашивать на лесных бивуаках донского атамана Платова:

— Граф Матвей Иванович, а как ты в Индию-то ходил?

Один штоф был прикончен. Платов открывал второй.

— А чо? Сижу это я в крепости. Петропавловской, конечно. За чо — сам не знаю. И никто не знает. Но сижу. Ладно-сь. Мы люди станишняя, ко всему привышняя. Сижу! Вдруг двери — нараспашку. Говорят — к императору. А на мне рубаха, вошь — во такая. И повезли. Со вшами вместе. Тока тулупец накнули. Вхожу. Па-

вел при регалиях. Нос красный. Он уже тогда здорово употреблял. Больше меня! Ан-ператор спрашивает: «Атаман, знаешь ли дорогу до Гангы?» Я впервой, вестимо, слышу. Но в тюрьме-то сидеть задарма кому охота? Я и говорю: «Да у нас на Дону любую девку спроси о Гангах, она враз дорогу покажет...» Тут мне Мальтийский крест на рубаху — бац! Вши мои ажно обалдели. Велено иттить до Индии и хватать англичан за щулята. Дóлжно было нам Массену поддерживать. Как раз о ту пору из-за Мальты перегрызлись...

...Английский флаг реял над яркою желтизной Мальты, Павел I пытел сердито, ботфорты его скрипели: «Мой духовный патрон, Христов апостол Павел, спасался от бурь на Мальте, и я останусь патроном Мальты...» Император круто изменил курс своего кабинета, поворачиваясь лицом к республиканской Франции, — смелый шаг, очень смелый! Павел открыто восхищался Бонапартом, публично пил во славу консула, в Эрмитаже, проходя мимо бюста Бонапарта, он — монарх — даже снимал шляпу... Петербург с Парижем еще не обменялись послами, зато император с консулом обменивались дружественными письмами. Михайловский замок еще наполняла строительная сырость, в непросохших залах пылали огромные каминь.

Генерал Егор Максимович Спренгпортен явился в замок.

— Поедешь в Париж! Бонапарт, к нам благожелательный, возвращает пленных — с оружием и знаменами, не требуя от нас, чтобы мы вернули пленных французов. Ты возьмешь этих солдат, и они станут моим гарнизоном на Мальте...

Отправив Спренгпортена, Павел задумался — чем отблагодарить Бонапарта за все его любезности? Принял решение:

— На что нам эти нахлебники версальские? Гнать из Митавы графа Прованского без пенсии, чему, я думаю, господин первый консул Франции чрезвычайно возрадуется...

Сказать, что Людовик XVIII был удален из дворца Биронов, нельзя: его просто «вытурили» на улицу со всем барахлом, строжайше наказав, чтобы убирался куда глаза глядят. В лютую морозную ночь, утопая в глубоких сугробах, королевский «двор» тронулся в санях до прусского Полангена. Но король Фридрих-Вильгельм III, уже получавший трепку от республиканцев, боялся вызвать гнев

Бонапарта и потому отказал в приюте своему коллеге по королевскому ремеслу.

Тогда расплакалась прусская королева Луиза:

— Скажи, что он может ехать в нашу Варшаву.

— Да, граф Прованский может ехать в Варшаву.

Если в Париже у моего посла Луккезини спросят, пусть он сваливает вину на бедного Мейера, нашего варшавского бургомистра...

Варшава в ту окаянную пору входила в состав прусских владений, безлюдная и унылая. Урсын Немцевич, поэт и патриот, оставил ее описание: «На улицах масса нищих... В городе редко встретишь прохожего, еще реже экипажи, дома развалились и опустели; иногда слышен бой барабанный — это проходят отряды пруссаков. Вот караульные ведут полуживого человека, закованного в железные цепи; на его теле видны потеки крови...» В школах преподавали только на немецком языке, а в цукернях все время дрались — поляки волтузили оккупантов. Город был насыщен французскими аристократами. Дюки, маркизы, графы и виконты стали в эмиграции зубодерами, шулерами, сводниками и просто нахалами-попрошайками. «А вот у нас в Париже...» — эта фраза чаще всего слышалась на улицах и в ресторанах. Такова была тогда Варшава!

Людовик XVIII поселился в Краковском предместье. Измученный подагрой, он еще в Митаве привык к русским валенкам, в которых часто сидел на балконе. Но даже теперь стойкость духа не изменяла ему, он продолжал свон интриги:

— Анжу, какие новости от Ги де Невилля?

— Хорошие, сир. Певица Грассини уже в Париже, значит, дни консула сочтены. Но есть и неприятность для нашего двора: Павел, этот безумец, отправил в Париж генерала Спренгпортена, и этот человек уже принят в Мальмезоне...

Да, русскому посланцу оказывали немалые почести. В день его приезда стреляли пушки, генерал стал модной темой для бульварных песенок. Массена скрестил перед ним флаги монархической России и республиканской Франции, выражая этим союзное единение. Спренгпортен сказал ему:

— Любопытно глянуть на человека, который — первый после Карла Двенадцатого! — отважился побеждать русских...

На приеме в Мальмезоне возникла беседа как раз о

графу Прованском, у которого Павел I забыл отнять русские валенки. Жозефина удивила русского посла слезами. Это никак не укладывалось в русско-финской голове Спренгпортена: казалось бы, жена республиканского консула и вдруг рыдает над королевской судьбой. Но Бонапарт сказал:

— К чему обижать старого человека? Лишенный пенсии от Испании и России, он скоро станет кланчить пенсию у меня.— Далее зашла речь об Индии.— Ваш государь согласен со мною, что, отобрав у Англии владения в Индии, можно ослабить ее могущество. Сказочная Индия, этот алмаз Востока, дала миру гораздо больше философской мудрости, нежели вся эта пьяная и порочная Англия с ее лавочниками...

Спренгпортен заметил, что Париж доволен правлением Бонапарта. Город казался оживленным, магазины были переполнены лучшими товарами, цены были умеренны и не били по карману даже бедняка. Но посол был удивлен наплывом аристократов, возвратившихся из эмиграции. Все они быстро находили место в армии, в учреждениях республики, их нежно баюкали в Сен-Клу и Мальмезоне. Парижане исподтишка посмеивались над замашками четы Бонапартов, желавших видеть себя в окружении старых дворянских фамилий. В подворотнях, тайком от агентов Фуше, торговали карикатурами на первого консула. Спренгпортен посетил и парижскую Оперу, где Джузеппина Грассини поразила его своей красотой и своим дивным голосом.

Но ложа Бонапарта и Жозефины была пуста...

— Что-то они опаздывают,— сказал матрос Карбон.

— Кажется, едут,— ответил ему Сен-Режан...

Их расчет оказался верным: на тихой улице Сен-Никез никто не обращал внимания на тележку с бочкой. А слабо тлеющий фитиль, подкрадывавшийся к начинке «адской машины», был замечен, кажется, только кучером Бонапарта. Впоследствии выяснили, что в этот вечер он «сел за руль» в пьяном виде, но именно алкоголь придал ему решительности. Что-то почуввав, он круто изменил маршрут, завернув лошадей в Мальтийский переулок, сшибая колесами тумбы на тротуаре. В этот же момент взрыв будто расколол улицу пополам. Жозефину осыпало стеклами из заднего окошка кареты, где-то уже полыхнуло пламя, слышались вопли искалеченных людей.

— Бежим!— воскликнул Сен-Режан...

Всюду лежали мертвецы, в дыму ползали оружие раненые. От бочки с тележкой ничего не осталось. Отброшенная к стене, валялась голова лошади с жутким оскалом зубов, и по этим зубам отыщется хозяин лошади, и тот, кто ее продал, и тот, кто ее купил,— это будет Сен-Режан...

— Едем дальше... в Оперу,— велел Бонапарт.

Бледнее обычного, но внешне спокойный, он появился в театре. Внутри его ложи находилась система увеличительных зеркал, поворачивая которые консул видел все происходящее в зале, он читал даже выражения на лицах зрителей. Публика, уже прослышав о покушении, устроила ему бурные овации. Жозефина нервно играла веером, из тьмы возникла тень Фуше:

— Отчаянный роялист, матрос Франсуа Карбон, уже схвачен в приюте монахинь, что близ Нотр-Дам, вместе с канониссой Дюшен. Мне очень не хватает Ги де Невилля, изворотливого, как минога. Взрыв на улице Сен-Никез — дело роялистов!

Фуше, мастер своего дела, точно назвал роялистов.

Но похвалы хозяина верный пес не заслужил:

— Фуше, я лучше тебя знаю, кто подкатил под меня эту бочку. Ты можешь ловить кого хочешь, но я-то уверен, что фитиль бочки подпалили твои друзья... якобинцы!

Фуше не отступился от своих выводов:

— Лондон не стал бы платить деньги якобинцам, а матрос Карбон уже сознался, кто их подкармливал. Наконец, и граф Невилль — его никак не назовешь другом Робеспьера, как называли *вас*. Какое отношение к взрыву имеют якобинцы?

— Я не нуждаюсь, Фуше, в твоих доводах. Мне нужны лишь проскрипции, чтобы вычеркивать из списка уничтоженных, и мне нужна массовая депортация, чтобы очистить Францию... Разве якобинцы поумнели, Фуше? Нет, они и сейчас ведут себя так, будто каждый день к завтраку им подают читать газеты Марата! Им, ильверное, хочется, чтобы гильотина, извлеченная из сарая, снова торчала на площади Революции...

Фуше (даже он!) не мог прийти в себя от изумления. Министр умоляюще глянул на Жозефину, и, прежде чем ответить, женщина прикрыла веером некрасивые острые зубы.

— Конечно! — сказала она. — Мы разрешили аристокритам вернуться к их замкам и угодьям, в их фамиль-

ных прудах снова заплескались жирные карпы, они благодарны нам, разве же роялисты, люди благородной крови, способны на такое злодеяние? У меня, Фуше, до сих пор осколки битых стекол в волосах, и я уже не знаю, как их вычесать.

— Уходи, ты надоел мне,— сказал Бонапарт министру.— Мне нужна полиция, а не юстиция!

Фуше удалился, в ложу шурина вошел Мюрат, сверкая множеством застежек, шнурков и тесемок. Бонапарт сказал:

— Эта бочка взорвалась кстати. Если бы такой бочки не было, ее бы надо мне самому взорвать под своей кроватью. Мой мундир облепили всякие насекомые, и пора его как следует встрясти... Пусть эти якобинцы оплакивают свое прошлое — в будущем я им отказываю. Будущее принадлежит нам!

Мюрат питал какую-то необъяснимую злобу против Моро. Он и сейчас стал доказывать шурина, что армию у Моро надобно отобрать, Рейнскую армию лучше доверить Бернадоту.

— Бернадот наш родственник,— сказал Мюрат.

— И такая же сволочь, как этот Моро...

В эти дни на приеме в Тюильри консул публично назвал Мюрата не *мой* шурина, а — *наш* шурина. Жермена де Сталь обрадовалась этому поводу для сооружения остроты:

— Ага! Первое королевское «мы» над республикой уже прозвучало. Его слышали там, где надо,— именно в Тюильри. Скоро это «мы» будет печататься с большой буквы...

.....
Пусть не было орденов и эполет, но в Рейнской армии еще выжидали наград от имени республики — подзорных труб с отличными линзами, именных пистолетов, позлащенных шпаг, дарственных дипломов, удостоверяющих боевую храбрость, наконец, люди ожидали просто внимания к себе.

— Уверен,— говорил им Моро,— Рапатель вернется не с пустыми руками, вы все это получите...

Из Люневилля сообщали, что мирные переговоры близятся к завершению, Австрия навсегда отказывается от захватов в Италии, которая, несомненно, подпадет под французское влияние... Александрина уже настроилась на отъезд:

— Скажи, мы будем танцевать в Тюильри?

— Если ты этого желаешь...— отвечал ей муж.

А Лагори он с грустью признавался:

— Бедная девочка! Ей хочется кружить в бальных пльюрах... Она еще не может понять, что эти дни в Страсбурге на старости лет станут казаться ей днями безмятежной и тихой радости, когда все прохожие на улице улыбались нам, не было среди нас суеты и зависти...

Потеплело, и всю ночь пласты подталого снега обрушивались в провалы улиц с крутизны готических крыш древнего Страсбурга. К утру Мориц Саксонский, стоя у городского фонтана, сбросил с себя последний снег, от его бронзовых плеч, прогретых весной, медленно парило. Красивые молодые эльзаски, зашнурованные в талии до предела, сыпали зерна на подоконник, и голуби приятно порковали. Моро осторожно покинул постель, чтобы не потревожить утренний сон Александрины. Лакей с кувшином воды ожидал его в туалетной. Несколько взмахов бритвы, излетающей, будто сабля, и с бритьем было покончено. Моро отогнул манжеты на белоснежной сорочке, застегнул пуговицы на атласном жилете.

— Доминик Рапатель вернулся из Парнжа?

— Да, сегодня ночью...

По лицу адъютанта Моро сразу догадался, что его поездку в Париж удачной считать нельзя. Он предложил ему:

— Ну, Рапатель, глоток крепкого ликера?

— Не откажусь...

Они выпили по рюмке шартреза, сели за кофе.

— Наверное,— начал рассказ Рапатель,— теперь нам не нужно никаких наград. Мы желали получить их от имени республики, но она, кажется, издала последний вздох...

Он рассказал о взрыве «адской машины», о том, что Фуше проводит по ночам аресты граждан, не имеющих никакого отношения к этой «машине», но зато имеющих услуги перед революцией. Бонапарт дал пенсию сестре Робеспьера.

— Но этой пенсией он завуалировал аресты вдовы Бибёфа, даже вдовы Марата! Консул не сидел в тюрьмах на чечевице, но... Почему не остановила его Жозефина, которую в годы террора не миновала сия горькая чаша?

Моро плотно набил табаком трубку:

— Почему же не сидел? Бонапарта тоже не миновала чаша сия. После казни Робеспьера он был посажен как его сподручный, но тут же проклял своего покровителя как «тирана» и получил свободу... Давай, Ра-

патель, подумаем вместе: если Бонапарт не лишен логики, он сейчас должен бы арестовать сам себя. У него ведь тоже было прошлое в революции, ведь тоже были заслуги перед нацией...

В рюмках снова вспыхнул золотистый шартрез.

— Я всю дорогу от Парижа мучился,— сказал Рапатель.— Самовластье становится невыносимо. Иногда мне начинает казаться, что лучше пусть вернется граф Прованский из Варшавы, граф Артуа с принцем Конде из Лондона, даже ничтожный герцог Энгийенский из Бадена,— легче сносить королевскую спесь, нежели наглость корсиканского выскочки!

Моро долго рассасывал огонь в трубке.

— Ошибаешься, Рапатель: Бурбоны вряд ли поумнели за годы скитаний... Разве способны они засыпать пропасть между престолом и народом Франции? Буду откровенен: даже если возможна реставрация монархии, французы все равно никогда не примут монархической власти.

— Генерал!— воскликнул Рапатель.— Но они же приняли власть первого консула... единоличную, как у монарха! А в Париже опять разговоры: почему Бонапарт, а не Моро? Мы на Рейне — это граница, жена с вами, я тоже с вами.

— К чему ты готовишь меня, Рапатель?

— Поезжайте в Россию: вас там примут...

Мимо окон пролетела последняя глыба снега.

— Кто говорит в Париже, почему Бонапарт, а не я, тот оказывает плохую услугу не только мне, но и всей Рейнской армии, последней республиканской армии Франции!..¹ Нет, Рапатель, Россия меня не примет: я остаюсь убежденным врагом монархий, я должен умереть гражданином!

— А я, позвольте, останусь вашим адъютантом...

13. ПРИЗРАКИ

Коварного Чарльза Уитворта в Петербурге уже не было, но ядовитые зубы его агентуры сохранились на берегах Невы в целости. Заговором теперь руководила

¹ Советские историки подчеркивают именно политическую суть в конфликте между штабами Бонапарта и Моро. «Офицерство Рейнской армии, ближайшей к Парижу, было более якобинским и менее анархичным, нежели офицерство южной армии, воевавшей на Итальянском театре, католическом и полном бытовых соблазнов» (Скоини В. И. Милитаризм. М.: Воениздат, 1957. С. 574).

любовница Уитворта. Она получила из Англии два миллиона, чтобы не было ни союза с Францией, ни похода на Индию, ни, тем более, императора Павла I, политика которого угрожала сент-джемскому кабинету потерей главной колониальной кормушки — Индии.

Это не басня, это не анекдот, это не фантастика!

Угроза потери Индии была реальна: Лондон в 1801 году имел в своих гарнизонах на Востоке всего лишь около двух тысяч солдат — сушая капля в возмущенном море угнетенных народов. Конечно, появившись в Индии казачьи Платова с ветеранами Массена, и Лондон навсегда забыл бы туда дорогу.

Именно страх за Индию и решил все остальное...

Вокруг заговорщиков группировались в Петербурге не только чересчур лихие гвардейцы, недовольные строгостями службы при Павле I, но и видные сановники-крепостники, для которых сама мысль о союзе с Францией — нож острый, ибо в Бонапарте они видели лишь наследника революции.

Казачьи атаманы Платова уже развили походный темп — до пятидесяти верст в сутки! Англии угрожал правительственный кризис. Европа дружно заговорила о «вооруженном нейтралитете» времен императрицы Екатерины II, дабы совместными усилиями морских держав пресечь разбой на морях английского флота.

«Пресечь? Разбой? На морях? Англии? Ха-ха!..»

Копенгаген, союзный России и Франции, мирно спал при открытых окнах — была весна. На спящую столицу Дании адмирал Нельсон — без объявления войны! — обрушил с эскадры ураган раскаленных ядер. В грохоте боя и треске разгорающихся пожаров англичане заставили датчан отрешиться от своих союзов с «варварской» Россией и «кровожадной» Францией... Горацио Нельсон сделал заявление:

Датчане, вы должны знать, что Англия ваш лучший друг и она желает Дании только добра...

Снова были вздеты паруса — Нельсон повел эскадру прямо на Ревель, чтобы уничтожить Балтийский флот, затем разгромить с моря Кронштадт и повторить с Петербургом все то, что проделано с Копенгагеном... Он рассуждал:

— Когда мы бросим якоря на Неве, а ядра наших пушек полетят прямо в окна царского Эрмитажа, тогда русские грязные собаки догадаются сами, что нельзя изгонять благородного джентльмена сэра Чарльза Уит-

ворта, дабы любезничать с этим подлейшим мерзавцем и негодяем Бонапартом...

Ах, как жаль, что Эмма Гамильтон не могла любоваться им в эту волшебную минуту.

Показался и Ревель.

Но гавань Ревеля совершенно пуста, сэр.

— Странно! Куда же делся весь русский флот?..

Накануне, ломая хрупкие пластины льда, русские корабли перешли в Кронштадт, а сам Ревель — Таллин (древняя русская Колывань) встретил пришельцев сотнями пушек, которые и смотрели на британцев отовсюду, готовые наделать дырок в бортах, способные размочалить все паруса. На борт английского флагмана поднялись два человека: пожилой — граф Пален, молодой — Балашов. Последовал вопрос:

— Чем вы можете оправдать свое появление здесь?

Нельсон не привык давать отчеты. Но солидная важность русских и обилие батарей на берегу — с этим приходилось считаться. Из его мундира еще не выветрился дым пожаров Копенгагена, а он уже заговорил о мирных намерениях:

Мое королевство испытывает самые теплые чувства к России, а мой визит в Ревель прошу расценивать как визит вежливости, и не более того, господа.

Балашов (военный губернатор!) сказал:

— К чему вежливость подкреплять заряженными орудиями? Искренность свою подтвердите, адмирал, не только закрытием пушек, но и немедленным удалением отсюда, иначе...

В море Нельсон встретил фрегат, спешивший в Петербург, на нем плыл в Россию новый посол — Сент-Эленс.

— Не мешайте мне делать новую политику! — наорал посол на адмирала. — Убейтесь с этого моря... Сейчас в Петербурге все изменится, ваша эскадра уже не нужна мне!

В эти дни камин в Михайловском замке пылал особенно жарко, негасимые ни днем, ни ночью: свежая каменная кладка не хотела расставаться с сыростью. Живописные полотна коробились от плесени, зеркала запотевали, давая нечеткие отражения, и Павел I в эти дни не узнавал сам себя:

— Странно! Я вижу себя со свернутой шеей...

.....
Фуше напомнил Бонапарту тот вечер в Опере, когда

возле его ложи арестовали кинжальщиков. Именно в тот вечер парижане брали билеты в Оперу нарасхват, чтобы посмотреть, как будут убивать первого консула Бонапарт сказал:

— Какое трогательное проявление народной любви! Они платят по десять франков, чтобы не проморгать, когда меня станут резать.. Фуше, готовы ли проскрипции?

Несомненно, консул.

В пять дней все будет кончено. Бонапарту стало смешно.— Но каково Питту? Ведь этот убогий не уставал бубнить обо мне как о злостном выродке якобинских теорий. Что скажет Лондон теперь, когда я ссылаю якобинцев в Кайенну? Наконец, у меня есть в запасе Сейшельские и Коморские острова, где бегают ящерицы величиной с теленка, и все они любят пожирать падаль. Не забавно ли это, Фуше?

Это очень забавно, согласился бывший якобинец Фуше

Бонапарт вовремя распознал момент, с которого оппозиция его режиму станет усниваться, он предчувствовал и направление, откуда ему грозит главная опасность. Спасибо роялистам — они развязали ему руки! Ни минуты не сомневаясь в том, кто устроил взрыв на улице Сен-Никез, Бонапарт все свое могучее актерское дарование, весь жгучий пыл мстительной корсиканской натуры обратил против республиканцев. Пусть и далее вливается внутрь Франции поток аристократов из эмиграции, но через другие шлюзы, пройдя обработку в тюремных подвалах, будут выплеснуты из Франции сотни непримиримых, все протестующие. Бой общественному мнению Бонапарт дал в Законодательном собрании:

— В пять дней, говорю я вам, все будет кончено. Несогласных со мною я разгоню по углам, как разогнал Директорию, и на свободные места рассажу не выборных, а назначенных мною полковников, уважающих военную дисциплину...

Ропот в зале переходил в зловещий гул. Неужели и сейчас (как в дни брюмера) станут его трепать за воротник, требуя поставить вне закона? Адмирал Лоренц Трюге, начавший службу еще юнгой, сидевший в тюрьмах при всех режимах, какие были во Франции, этот смелый Трюге встал и честно сказал:

— Когда же конец насилиям и злодеяниям? Мы уже налюбовались всякими казнями. Неужели и теперь Фран-

ция настолько беспомощна, настолько глупа и настолько слаба, что подчинит свою гордость тирании гражданина первого консула?

Бонапарт сразу потерял самообладание.

— Молчать! — закричал он на старика. — И вы, гражданин Трюге, не рассчитывайте на пощаду... Мы не станем комедианствовать в вопросах морали. Мне уже безразлично, кто прав, кто виноват. Такие вопросы следовало задавать раньше — еще при королях. Но только не теперь, когда вся Франция смотрит на меня, одного меня! И нация поверит мне, а не вам. А кто давно знал Трюге, тот скоро Трюге забудет. Если я утверждаю, что нужны проскрипции, нужна депортация, то народ поверит мне, а вас просто вышвырнут вон. Да, скажут французы, если это нужно для самого Бонапарта, значит, это необходимо для спасения отечества...

Кто виновен конкретно? — спросили из зала.

Даже тот, кто осмелился спрашивать об этом...

Началось массовое изгнание революционеров в ссылку Фуше объяснял это так: «Не все они схвачены с кинжалами в руках, но все они известны за людей, способных кинжалы отточить». На Гренельском поле, во рвах Венсеннского замка по ночам стучали выстрелы — там кого-то уже убивали. Кого? За что? — узнавать даже страшно. Лучше молчать. И совсем незаметно для Парижа опустился нож гильотины, дабы умертвить подлинных виновников взрыва на улице Сен-Никез — роялистов Сен-Режана и матроса Франсуа Карбона. Их казнили на рассвете, потому зевак не было... Только в отдалении стоял Ги де Невилль, и, когда секира дважды блеснула, разрубая шейные позвонки казнимых, он приподнял над головой шляпу

Золотыми буквами... во имя короля, — шепнул он.

...Я иногда думаю, что Ги де Невилль совсем не был неуловимым — просто Фуше не желал ловить его. Этот оборотень, страдающий малокровием, всегда вел двойную игру!

Клубок из нескольких сюжетов истории, туго связаный единством времени, неслышно катился далее — до Петербурга. Павел I напрасно окопал Михайловский замок глубокими рвами, напрасно расставил у дверей верные караулы, напрасно не зашелкнул в спальне «французский» замок с пистолетом, вовремя стреляющий и зажигающий свечи..

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года, играя в карты у

княгини Белосельской-Белозерской, старый сенатор Алексеев мельком глянул на часы и сказал партнерам:

— У меня пики! Кто сдает, господа? Вы, князь?.. Кажется, сейчас наш курносый чувствует себя не в своей тарелке...

Осыпанная бриллиантами табакерка в могучем кулаке графа Николая Зубова, обрушенная на висок императора, и прочный шарф поэта-сатирика Сергея Марина, затянутый на шее императора, мигом разрешили все мучительные вопросы внутренней и внешней политики. Мальта перемешалась с обломками постельной ширмы, а проекты завоевания Индии растеклись в луже из опрокинутого ночного горшка...

Сенатор Алексеев снова глянул на часы.

— Я пас, мадам!— сказал он очаровательной хозяйке.— У кого пики? Поздравляю всех с новым императором — его молодым величеством Александром Павловичем...

На столе Павла был найден черновик его планов о дальнейшем развитии франко-русского альянса: «Склонить Бонапарта к принятию им королевского титула, даже с престолонаследованием в его семействе. Такое решение с его стороны я почитаю единственным средством... изменить революционные начала, вооружившие против Франции всю Европу». Павел не был глупцом: из его планов видно, что он уже разгадал самые тайные вождедения гражданина первого консула...

Но и Бонапарт разгадал, кто убил его союзника:

Эти проклятые, бессовестные англичане! Они промахнулись по мне на улице Сен-Никез, но они попали прямо в мое сердце... там, в Михайловском замке Петербурга...

Парижская газета «Монитор», отлично осведомленная, спрашивала читателей: разве случайно убийство Павла I совпало по времени с заходом в русские воды эскадры Нельсона; разве не подозрительно, что при известии о гибели царя весь Лондон пришел в движение, устроив праздничное гулянье на улицах, а в парламенте открыто вещали, что теперь Англия спасена? Убийством русского императора милорды выдали перед миром свой главный страх — боязнь потерять Индию...

— Бертье,— сказал Бонапарт,— Индия уже не нуждается в армии Массена, как и Мальта не нуждается теперь в русском гарнизоне... Я желаю видеть Спренгпортена.

Спренгпортену он почти невозмутимо сообщил:

— Русские войска можно отводить в Россию... Наде-

юся, перемены в Петербурге не смогут переменить добрых отношений между Парижем и вашим новым кабинетом. Убедите своего молодого государя в том, что Россия всегда найдет во Франции лучшего друга... Наши могучие государства должны стоять по флангам Европы, готовые действовать сообща. Я,— сказал Бонапарт,— особо подчеркиваю наше выгодное географическое положение, удобное для Парижа и Петербурга...

В лагере Камбре генерала встретил полковник Сергей Толбухин; голова его была накрыта шапочкой из черного конского волоса. Спренгпортен наивно любопытствовал:

— Это новая мода скрывать облысение?

— Да, теперь это очень модно — скрывать на черепе большую дырку, в которую парижские лекари вставили платиновую блямбу, чтобы не вылезал мозг... Прикажете командовать?

· Будьте любезны, полковник.

— Домой... в Россию... арш!

Пропели фанфары, и качнулись ряды штыков.

При знаменах и при оружии — пешком через всю Европу — русские полки двинулись в Россию. Франция провожала их цветением яблоневых садов, улыбками кокетливых крестьянок, струями благовонного вина, щедро заполнявшего солдатские кружки... Им суждено вернуться сюда через тринадцать лет — с грохотом ликующих барабанов, через поля грандиозных битв, через задымленные высоты парижского Монмартра.

Полковник Толбухин не дожил до этих дней. Едва добравшись до любимой родины, он в первой же русской деревне, входя в крестьянскую избу, забыл пригнуться пониже и головою задел дверную притолоку... Успел лишь крикнуть:

Эх, жизнь моя... красота! — и рухнул замертво.

14. «МОЕ СЕРДЦЕ — ТЕБЕ...»

3 прернала IX года (иначе 23 мая 1801 года) генерал Моро вернулся из Страсбурга в Париж и сразу же поехал в замок Орсе, полученный им в приданое за женою. Из «Монитера», прочитанного еще в Шалоне, Моро узнал, что его обвиняют в дурном управлении интендантством армии, и это его задело... В нижнем вестибюле замка, пока лакеи таскали наверх багаж, он бегло ознакомился с почтой. Нет, пока все оставалось по-ста-

рому. Его ожидали два пригласительных билета: из Мальмезона — к завтраку, из Тюильри — для представления первому консулу.

— Что мы наденем для Тюильри?— спросила теща, будучи уверенной, что Бонапарты без нее не обойдутся.

— После случая с ванной вряд ли Жозефине желательно вас видеть. А я зван в Тюильри с начальником штаба Лагори.

Чтобы побыть одному, пока в замке устраиваются, он поселился в старой квартире на улице Анжу. Обедал у Веро или в садах Руджиери, впервые соприкоснувшись с обновленным лексиконом парижан. Словами «исключительные» или «бешеные» отныне именовали республиканцев, а якобинцев называли совсем уж гаденько — «подонки»! В кафе и ресторанах, на зеленых террасах Руджиери к Моро подходили даже незнакомые люди, выражали свою приязнь, в публике не умолкали разговоры о его добродетелях, гражданских и воинских. Иногда — какой же человек без слабостей?— Моро было приятно слышать, что его «ставят выше всех военных без исключения» (именно в таких словах тайная агентура докладывала Бонапарту). И в Сен-Антуанском предместье, где жило рабочее простонародье, и в богатых кварталах Сен-Жермена, где селилась элита общества, всюду бытовали пересуды о том, что для Моро уже готовится в Булони мощная армия — для десантной высадки на берегах Англии, дабы покарать плутократов Сити.

Лагори предупредил своего генерала:

— Надо быть готовыми! Я возьму в Тюильри карты, пусть Рапатель не забудет отчеты по армии. Думаю, Бонапарту вряд ли сейчас приятно возвращение в Париж «исключительного» генерала «бешеной» армии да еще с начальником его штаба — «подонком» Виктором Лагори.

— Я буду в статском, — скупно отвечал Моро...

5 прериаля (на третий день после приезда) Моро прибыл в Тюильри, попав во взволнованный и красочный сонм полководцев Франции, громыхающих саблями и здоровым животным хохотом; особое внимание привлекали *сабреташи* — отчаянные головы, рубаки и хвостуны, пьяницы и бабники, идущие на смерть легко, как на вечеринку с дамами; именно сабреташи, сроднившиеся с войной, и были главной опорой консула, который любил этих забулдыг, готовых умереть за него хоть сегодня, но Бонапарт держал их в чинах не выше полковника.

Сегодня он принимал одновременно военных, актеров, живописцев, математиков, ученых. Каждый по степени симпатии Бонапарта получал от него — кто улыбку, кто окрик, кто ласку, кто выговор. Но все, кажется, оставались довольны. В ряду актеров находился представительный старик в напудренном парике — Жан Дюгазон-Гурго, вышедший из той же театральной династии, к которой принадлежала и Розали Дюгазон. Этот прославленный актер когда-то был близок якобинцам.

Бонапарт вдруг резко хлопнул его по животу.

— Ты все округляешься, *сынок?*— спросил он.

Самолюбивый Дюгазон не уронил славы «Комеди Франсез»: с такой же силой он больно треснул по животу Бонапарта:

Все-таки не так быстро, как ты... *папочка!*

Это неслыханное «папочка» отбросило Бонапарта в сторону. Заметив Моро, он не взял отчетов у Рапателя:

— Оставьте у Бертье, на досуге он их просмотрит. Впрочем, я все уже знаю... Лагори, у вас ко мне вопросы?

— Я шел сюда с ответами на ваши вопросы.

Их не будет.— Бонапарт торопливо пожал руку Моро.— Если я поручу Рейнскую армию Бернадоту, как вы думаете, способен ли он справиться с вашей «шайкой»?

После «подонков» следовало учитывать и «шайку». Но Моро решил, что будет не прав, обостряя отношения.

Армия вполне дисциплинированна,— ответил он (понимая, что, отдав армию Бернадоту, он механически выбывает в отставку).— Все проступки наказаны расстрелами еще на войне. Так что Бернадоту будет не трудно командовать.

К их беседе подозрительно прислушивались сабреташи. Кажется, они ждали скандала, но скандала не получилось.

Сорок тысяч франков жалованья,— громко объявил Бонапарт,— я оставляю за вами по чину командующего армией, и, надеюсь, вам пока хватит... до нового назначения!

— Благодарю,— сухо кивнул Моро.

После приема к нему подошел старик Дюгазон:

— Не везло мне в Тюильри при королях, не везет и при консулах... А вы хотя бы изредка навещайте бедную Розали. Я все понимаю, дорогой Моро, но она вас так любит!

— Любила,— согласился Моро.

— Нет, она вас любит и сейчас...

Вечером дивизионный генерал вернулся в замок Орсе, где Александрина с трепетом ожидала его. Моро крепко обнял молоденькую жену:

— Война окончена. Мы победили. Армию отобрали. Сорок тысяч франков оставили. Теперь можно и танцевать...

Нет, Франция не унывала! Продлевалось тревожное время битв, флирта, романтики. Своим возлюбленным военные люди писали тогда: «Мое сердце — тебе, жизнь — ради чести...»

Недавно Бонапарт расстрелял художника-якобинца Лебрэн-Топено, любимого ученика Луи Давида, и Париж был в недоумении — как мог Давид, запросто входящий к консулу, не остановить убийство своего талантливейшего ученика?.. Конечно, военные толпою стояли перед последним полотном Давида «Переход Бонапарта через Сен-Бернар». Событие недавнее, свидетели еще живы, а Келлерман сказал Моро, что это чепуха:

— Красок много, но... где же правда? Я-то знаю, что Бонапарта трясло на старом ишаке, а здесь его уносит горячий конь. Да случись такое на кручах Сен-Бернара, и кости нашего героя валялись бы на дне пропасти вместе с лошадиными...

Но заядлых бонапартистов, даже верного Мюрата, явно шокировало то, что Давид внизу картины выписал имя их божества подле имен Ганнибала и Карла Великого.

— Неужели,— шептались они,— даже умники не могут обойтись без дешевой лести? Как же наш Бонапарт не догадался велеть Давиду замазать эти нескромные сравнения?

Художник Жерар уже писал однажды портрет Моро, между ними были хорошие отношения, и Моро спросил его:

— Жерар, а что вы-то скажете?

Жерар, далеко не трус, затащил Моро в уголок:

— Критиковать Давида опасно, ибо волею Бонапарта Давид в живописи как и Тальма в театре стали непогрешимыми, вроде апостолов истины. Из прежнего доброго товарища Давид обратился в диктатора, он уже не дает советов — он рассыпает декреты, как надо писать и что надо писать, если хочешь остаться живым и сытым... По секрету скажу вам, Моро: в этой картине

Давид бездарен и фальшив, как нигде. Даже фигуру коня, чересчур уж горячего, он наглейшим образом похитил из-под Петра Великого с памятника Фальконе в Петербурге... Вы,— просил Жерар,— не говорите никому, что я вам сказал, иначе у меня могут быть крупные неприятности.

— Благодарю, Жерар. А бретонцы не из болтливых...

По случаю ухода из армии Моро на улице Анжу устроил пирушку для друзей, сослуживцев, приятелей. Полковник Максимилиан Фуа, прозванный «рыцарем революции», явился первым, обещая хозяину как следует напиться.

— У меня дурные предчувствия,— сказал Фуа.

Шарль Декан пришел позже всех, но принес бутылку английского бренди, чем и вызвал дружный хохот генералов.

— Ах проклятый шуан!— кричали ему.— Сознаться, что продан в Вандею, чтобы сам Жорж Кадудаль таскал для тебя через Ла-Манш бутылки с такой крепкой жидкостью.

— На гильотину его... в Кайенну!— рычал Даву.

Бертье пытался направить хмельной разговор в академическое русло: он выражал удивление, что революция до сих пор не уничтожила уставов королевской армии:

— Наши атаки — от гонора, но мы плохо стреляем... По сравнению с русскими мы совсем не умеем стрелять!

Декан рассказывал мрачному Нею о том, что творилось в Швейцарии, когда он там дрался:

— В кантоне Унтервальдена мерзкое было дело у Станцштадта. Три дня бились и в живых не оставили даже раненых. А когда мародеры пошли собирать барахло, под плащами и панцирями убитых открылись женские животы и груди... Женщины Швейцарии дрались с нами, как безумные львицы!

Максимилиан Фуа с брезгливостью отряхнулся:

— Спору нет, мы, французы, победили и заставили швейцарок признать нашу конституцию... самую лучшую в мире!

Из трубки Моро с треском сыпались искры.

— Я помню одну речь Карно, и хотя я здорово пьян, но еще могу цитировать: «Война извинительна лишь в тех случаях, если она имеет целью защиту отечества, но она становится бедствием, если ее цель — покорение соседних народов. Гуманность — первый долг полководца, который даже в своем ужасном ремесле должен отыскивать поводы для проявления человеколюбия...» Друзья!— сказал

Моро.— Все мы хорошие республиканцы. Но не слишком ли мы далеко забрались со своими принципами, наколотыми на окровавленные штыки?

Ни Даву, ни Ней не ведали подобных сомнений.

— Главное — бить всех! А когда все эти королевства и герцогства свалим в одну вонючую кучу, тогда и разберемся — что оставить, а что выбросить на свалку истории.

— Не спешите, — вмешался Фуа. — Все эти королевства, все эти герцогства населяют такие же люди, как мы с вами. И немец не виноват, что родился немцем, как и я не чувствую за собой вины за то, что я — француз... Сначала мы вызвали в Европе удивление, которое сменилось страхом. Но страх обязательно обернется ненавистью к нам, французам.

— Да, — подхватил Рапателъ, — сейчас мы колотим Европу по голове, и у нас это здорово стало получаться. Но где-то уже растут елки, из которых настругают палок...

— Отчего ты вспомнил елки? — удивился Ней.

— Потому что, помимо трухлявой Германии князей, епископов и герцогов, существует еще и великая страна Россия...

Пьяный Даву выплеснул в лицо Рапателю вино:

— Как ты смеешь сравнивать французов с русскими? Мы свободные граждане, а все эти русские — жалкие рабы.

— Но эти рабы несут на своих знаменах не идеалы рабства. А мы, французы, уже превратились в насильников и грабителей...

Ней ударом в лицо опрокинул Рапателю на пол:

— Мерзавец... подонок... получи от меня!

В руке генерала Моро блеснула шпага:

— Это не твой адъютант! Я убью тебя, Ней, защищаясь...

Максимилиан Фуа встал меж ними:

— Вы с ума сошли... Ней, убирайся к чертям!

Доминик Рапателъ, бледный от унижения, шатался:

— Мне, капитану, при генералах лучше молчать...

Лакей, встревоженный, шепнул Моро:

— Там кто-то пришел... просит вас...

Это был Жозеф Фуше, который и сказал:

— Ты знаешь, Моро, как замечательно я к тебе отношусь. Но ты сегодня нарушил правила поведения в Париже.

— Какие? Объясни.

— Ты не имел права созывать гостей, прежде не прислав мне список — кто будет, один ли, с женою, с любовницей? Я не стану мешать вашей попойке, но впредь ты учти это... Тем более и консул Бонапарт требует соблюдения этих правил.

— Фуше, так, может быть, заранее готовить протоколы речей, которые будут сказаны за столом по пьянке?

— Этого не нужно, Моро, ты и сам понимаешь, что все речи завтра же станут известны мне и без твоих протоколов...

.....
Моро утаил от Александрины, что ни он сам, ни она, его жена, не получили от Бонапартов приглашения на большой бал в залах королевского Тюильри. Однако яркая молодость жены, жаждущей удовольствий света, ко многому обязывала, и Моро оправдывал ее и себя перед Максимилианом Фуа:

— А что делать, если в Александрине, при всей ее любви ко мне, крутятся всякие чертенята? Конечно, ей хочется «поддать пару», как говорят русские, или «поддать дыму», как говорят турки... Я ни в чем не отказываю ей, Фуа!

Париж в те годы был перенасыщен сотнями танцевальных клубов. На окраинах в полутьме трактиров топали башмаками торговли овощами, грудастые няньки вели ногами любовные диалоги с ночными ворами или солдатами-«ворчунами». Были и великолепные дорогие клубы, где не жалели музыки и свечей, здесь можно было встретить всех сестер первого консула. Но я, читатель, был, признаюсь, удивлен, когда в мемуарах одной русской путешественницы встретил такую фразу: «Г-жа Моро, красивая, стройная и грациозная, была царницей бала; ее муж, одетый простым гражданином, *пожирал* ее глазами». Наверное, так и было... Шоколадный негр Жюльен из колонии Сан-Доминго (знаменитый скрипач Европы) руководил с эстрады оркестром, флейты с барабанами сообщали публике веселейший ритм. Полина Леклерк, самая распутная сестра Бонапарта, безумно отплясывала с актером Пьером Лафоном, самым красивым мужчиной Парижа, и среди танцующих можно было слышать:

— А, вот она где! Первый консул затем и услал в Сан-Доминго ее мужа, чтобы он не мешал ей блудить в Париже...

После таких вечеров, после грохота музыки Моро всегда было приятно вернуться домой, освободить шею от галстука, присесть к камину и подумать о том, что ему скоро уже сорок лет... Однажды в чудесном настроении он сказал Александрине, что Париж начинает надоедать и не пора ли им провести зимний сезон в тишине деревни Гробуа?

- Пхе! — отказалась жена.

Это «пхе» всегда напоминало ему мадам Блондель.

- Не спорь со мною и поцелуй меня.

— Пхе! — отвергла она его ласки.

Моро, недолго думая, развернул ее и всыпал жене хороших полнзвучных «нанашек»:

Вот тебе, вот тебе! Сколько раз говорить, чтобы в моем присутствии ты оставила это дурацкое «пхе»...
Александрина ловко укусила мужа за ухо и, отбежав подальше, издали показала ему розовый язык.

Тут Моро не выдержал и весело расхохотался:

Ребенок! Я всегда забываю, сколько тебе лет...

Вскоре молодая женщина ощутила признаки беременности. Кто-то будет у них - Поль или Виргиния? Какие блаженные острова ожидают их в будущем?

Будет ли знать их Виргиния, что останется в дневниках русского поэта А. С. Пушкина, который однажды, вернувшись с бала у Салтыковых, второпях запишет «Ермолова и Курваль (дочь ген. Моро) всех хуже одеваются...» Тогда был конец 1834 года, и уже выросло новое поколение.

Молодую красную иностранку, закутанную в русские меха, русские кони увозили в блеск и сияние русских снегов. А ее отец, генерал Моро, отлитый в бронзе, стоял над своей могилой, держа в руке боевую шпагу. На его надгробии было начертано все: когда родился и где родился, когда умер и где умер. Не было, пожалуй, сказано главного: «Мое сердце — тебе, Франция!»

Сопrotивление

Храбрые товарищи по оружию! Республика... сейчас только пустое слово: вскоре, несомненно, Бурбоны будут на троне или Бонапарт провозгласит себя императором... По какому праву этот незаконнорожденный ублюдок Корсики, этот республиканский пигмей хочет изображать собою Ликурга или Солона?..

Из обращения Рейнской армии

ВТОРОЙ ЭСКИЗ БУДУЩЕГО. С ВЫСОТЫ МОНМАРТРА

Почитаемый в нашей истории декабрист Михаил Федорович Орлов, мыслитель и литератор, был адъютантом генерала Моро в самый трагический период его жизни. Весна победы 1814 года застала Орлова уже в чине полковника, в звании флигель-адъютанта царя, в возрасте двадцати шести лет. Жизнь еще только начиналась, и Орлов не мог предвидеть ее конца — тоже трагического, но осененного уважением русского общества, дружбою Чаадаева, Пушкина и юного Герцена...

Шампань удивила русских бедностью жителей и богатством винных подвалов. Наполеон еще готовил поход на Москву, когда мир ошеломило появление ярчайшей кометы, под знаком которой Шампань в 1811 году дала небывалый урожай крупного сочного винограда. Теперь шипучее «vin de la comète» русские казаки растаскивали в ведрах и давали пить измученным лошадям — для взбодрения:

— Лакай, хвороба! До Парижу осталось недалече... Армия наступала. Вровень с конницей, волоча за собой пушки и зарядные фуры, двигались калмыцкие верблюды, посматривая по сторонам с презрением. Деревенские кюре спрашивали Орлова — почему войска коалиции носят на рукавах белые повязки, уж не символ ли это заядлого роялизма?

Орлов объяснял им казусы коалиционной войны:

Не умея разбираться в мундирах, наши казаки перекололи столько союзников, что пришлось ввести это отличие. Все простыни, все нижнее белье давно разодрано, и нам уже поздно менять повязки на розовые или голубые. Белый цвет — не признак роялистских воззрений. Я не поручусь за венценосцев Европы, но мы, русские, склонны оставить во Франции республиканское правление.. без тирании Наполеона!

Наконец перед армией смутно забрезжили очертания громадного города, вдали угадывались башни Нотр-Дам и Монмартрские высоты. Солдаты стали креститься:

— Ну, здравствуй, батюшка-Париж... пора! Давно уж нам пора расквитаться с тобой за матушку-Москву...

Авангард генерала Раевского занимал Бондийский лес, прусский корпус Блюхера вливался в рощи Сен-Дени, Ланжерон выводил русских прямо к Монмартру, на холмах которого ветер раскручивал крылья мукомольных мельниц. Орлов видел, как восемь израненных канониров, все в кровище, с матюгами и стонами уже вкатывали на крутизну первую трофейную пушку.

— Пойдет ли в бой лейб-гвардия?— спросил он.

Александр I был в отличном настроении, издали лоршируя Париж, как волшебную декорацию в театре:

— Пока одни павловцы! Остальную гвардию и кавалергардию побережем для въезда в Париж, дабы не осрамиться перед прелестными французенками нашим рваньем и босячеством... Кстати, милейший Орлов, узнайте, не нуждается ли в ваших услугах фельдмаршал Барклай-де-Толли?

— Сюрприз! Разве он... фельдмаршал?

— С этого момента. С горы Монмартра...

В садах предместий Парижа сами по себе падали деревья, переломленные от самых корневищ чудовищной вибрацией воздуха. Задержка произошла лишь под стенами Венсеннского замка, где на призыв русских солдат сдаваться на фас цитадели выбрался одноногий комендант.

— С удовольствием сдамся! — прогорланил он, размахивая костью. — Но с одним условием: я вам — крепость, а вы мне — ногу, которую я нечаянно оставил у вашей деревни Бородино...

Дивизия Раевского штурмовала Бельвиль, пруссаки ломили напролом — безумно дерзкие в соседстве с русским союзником. Барклай-де-Толли сказал:

— Господь всевышний вознаградил меня за все мои унижения двенадцатого года... Конец моей жизни прекрасен!

И в этом грохочущем аду битвы, в нервных криках команд и воплях умирающих Орлову было так страшно, было так больно слышать его трудные, мужские рыдания...

.....
Государственная машина империи работала четко. Каждый француз, будь то спекулянт или рабочий, ежемесячно платил налоги для смазки этой сверкающей машины, не знающей перебоев. Но чем хуже становились дела Наполеона, тем труднее было инспекторам выколачивать подати. В январе 1814 года парижане платили уже неохотно, в феврале обещали рассчитаться с казной в следующем месяце, а в марте чиновников императора просто спускали с лестниц:

— Зайди в апреле! Поглядим, кто тогда будет...

Из денежного оборота парижан вдруг исчезли золото и серебро, базарные торговки не брали ассигнаций. Мошенники сбывали наполеондоры, зато зажимали королевские луидоры. Магазины работали, как раньше, но продуктов не было. Пустые полки украшали бутылки с вином и детские сладости. Однако двери Лувра по-прежнему открывались по утрам, впуская под свою сень говорливые толпы художников-халтурщиков, живших тем, что они копировали полотна великих мастеров на продажу (каждый буржуа не прочь был иметь своего Караваджо или Мурильо). Вся эта богемная шушера, расставляя подрамники и отбивая на ладонях ворс кистей, вольготно рассуждала о последних событиях, как о событиях на луне:

— А где император? Говорят, в Мо? Но ведь от Мо остались руины после взрыва арсеналов... Плевать, что будет! И пусть Давид, любимец Наполеона, мечется со своей гениальной палитрой, а нам одинаково паршиво при любом режиме...

Иногда художники подходили к окнам Лувра, озирая из них обширные дворы Тюильри, заставленные массой экипажей:

— Наша австриячка уже собирает чемоданы, чтобы бежать под защиту своего папеньки... Ей-то что! Пожила в Тюильри, теперь не пропадет и в родительском Шенбрунне...

В залах Тюильри заранее паковали в дорогу груды золота, серебра, фарфора и драгоценностей. Ящики пронумеровали. Два ящика, № 2 и № 3, заполнили фамильными бриллиантами (фамильными они были, правда, лишь до того момента, пока не оказались в руках династии Бонапартов, ограбивших прежних владельцев). Мария-Луиза, дочь императора Франца, молоденькая жена Наполеона и мать его наследника — Римского короля, перетряхивала свой гардероб. Камеристку спросила:

— Как вы думаете, что надеть мне для выезда?

Вашему величеству в дороге приличествует черная плаззонка, выделяющая стройность идеальной комплекции, и шляпа с черными перьями какаду послужит причиной для неподдельного восторга парижан перед вашей скромностью.

— Я такого же мнения, — сказала Мария-Луиза.

Оборону столицы Наполеон доверил тогда своему брату Жозефу, бывшему королю в Неаполе и Мадриде:

— Жозефина уже бежала в Наварру, но честь молодой жены должно беречь особо. И пусть болтуны в Париже примолкнут: моя армия еще будет стоять на Висле! Впрочем, — поник император, — я теперь согласен заключить мир и на берегах Рейна, если бы не упрямство русского царя.

На улице Рошуар экс-король Жозеф видел раненых, лежащих на тротуарах, среди них скорчились мертвецы.

— Кто вы и откуда? — спросил он (тут были искалеченные при Фер-Шампенуазе, обожженные чудовищным взрывом пороховых арсеналов в Мо). Что вы тут делаетесь?

— Госпитали переполнены. Нас уже не берут

— Вы же умрете на земле.

— Мы и умираем.. за императора!

Возле церкви св. Лазаря была устроена свалка русских раненых, попавших в плен; отсюда их грузили на большие телеги, мертвых вместе с живыми, и отвозили прямо на кладбища, где и сбрасывали на землю, как мусор. Мертвые оставались мертвыми, а живые еще окликались редких прохожих:

— Эй, Париж! Не знаешь ли, далече ль наши-то?..

Через заставы Клиши, Пасси, Пантен, Сеи-Жак и Сен-

Мартен тянулись длиннющие обозы беженцев, между колес бежали собаки, за телегами тащились, опустив головы, недоенные коровы. У застав возникали драки — никто не хотел платить в казну пошлину за въезд в столицу империи.

— А по чьей вине мы бросили свои дома, сады и могилы предков? — кричали беженцы. Мы разорены вконец этими войнами, и теперь с нас же дерут последние деньги. За что? Чем мы виноваты, если наш великий император обклялся?

В кварталах Сен-Жермена аристократы провозглашали двусмысленные тосты за «последнюю победу» Наполеона. Ночью роялисты наклеили на Вандомскую колонну призыв: «Она уже шатается — приходите скорее!» Жозеф начал оборону столицы с того, что пытался изнасиловать жену своего брата, а Мария-Луиза обратилась к помощи министра полиции Савари:

— Сейчас только вы можете оградить мою честь.

Толпы рабочих уже громили винные лавки, пьяные они шатались по улицам, требуя у Жозефа оружия.

— Мы все умрем за великого императора! — Проспавшись, рабочие уже не просили ружей, они издевались над студентами Политехнической школы, которым оружие вручили. — Эй, образованные! Вам больше всех надо? Ну сейчас и получите...

Жозеф велел строить у застав оборонительные тамбуры (нечто вроде современных дотов), из бойниц которых удобно простреливать внешние бульвары и подступы к городским стенам. Все слухи о близости русских Жозеф пресекал.

— К чему волнения? — говорил он. Да, русские приближаются. Но только потому, что их впереди себя гонит, как стадо, мой брат император, а мы их здесь доколотим...

Генерал Кампан наспех формировал дивизию, куда записывали всех, кто попался под руку. Парижский комендант Гюллен поставлял Кампану дезертиров, инвалидов, бродяг и висельников. Наконец, в Париж втянулись остатки разбитой армии, с ними два маршала сразу — Мармон и Мортье.

— Вы прямо с небес? — спросил их Гюллен.

— Мы едва спаслись из-под Фер-Шампенуаза. Дайте нам хотя бы одну ночь, чтобы мы выспались...

Появление маршалов, пусть даже битых, помогло Жозефу избавиться от ответственности за оборону столицы. 29 марта он созвал высший совет, на котором председательствовала Мария-Луиза. Здесь же был и Талейран, делавший вид, что он крайне озабочен спасением империи. Но что путного могли сказать чиновные души, жалкие рабы Наполеона,

приучившего французов слепо повиноваться и только. Правда, речей было сказано много, каждая из них несла в себе мощный заряд ораторского пафоса, но все речи, как одна, были построены по затверженному шаблону. И кончались одинаково: мы готовы умереть за императора, но мы ничего не можем решить без согласия императора... «Ах, так?» — Жозеф с облегченным сердцем достал письмо Наполеона от 16 марта, в котором указывалось, что в случае опасности следует вывезти из Парижа императрицу с сыном.

— Ваше величество,— обратился Жозеф к невестке,— в восемь часов утра последняя карета вашего кортежа должна выкатить последние колеса за ворота Тюильри...

Возле Тюильри не расходилась толпа, наблюдая через окна за суматохой придворных; парижане видели, как в дворцовых люстрах дымно оплывали догоревшие свечи, слышался дробный перестук молотков рабочих, забивавших последние гвозди в последние ящики с сокровищами Наполеона. И всю ночь над встревоженным Парижем колыхалось зловещее зарево — это края облаков проецировали на город отражение многих тысяч бивуачных костров российской армии, стоявшей наготове к решительному штурму. Мармон, злой и крикливый, увел свои молчаливые батальоны на защиту Монмартра, возле казарменных депо гремели барабаны, созывая из квартир ветеранов-инвалидов, добровольцев-студентов. Извозчики выпрягали лошадей из колясок, тащили к заставам пушки. Наконец толпа парижан напряглась в суровом осуждении, когда из дворца скорой походкой вышла Мария-Луиза в черной амазонке с черными перьями на шляпе, она силком тащила Римского короля, который капризничал, отбрыкиваясь от матери. Шталмейстер отворил дверцы кареты, помог женщине справиться с ребенком.

— Трогай! — махнул он перчаткой...

Рессоры карет с хрустом просели от тяжести груза, в охрану длинного кортежа императрицы вступили мрачные кирасиры, закованные в латы. Стало тихо.

— Вот и все,— сказал нищий старик, держа под локтем старенькую флейту.— Видел я, как бежала от революции Мария-Антуанетта, а сегодня имел счастье наблюдать, как бежала ее племянница... Добрые французы, но Франция остается, а наш Париж всегда останется Парижем!

К нему подошел агент тайной полиции:

— Ты чего взбесился? Или чечевичы не пробовал?

— Иди-ка ты... выпишь,— ответил музыкант.

— Талейран сообщает, что Париж беззащитен, а роялисты возлагают на меня особые надежды по реставрации престола для Бурбонов. Елисейский дворец, кажется, заминирован. Талейран предлагает мне кров в своем отеле на улице Сен-Флорентан... Европа должна завтра же ночевать в Париже! — таковы были напутственные слова Александра.

Едва не погибнув под шалыми пулями, Орлов выбрался на вершину Монмартра, увидев Париж у своих ног — во всей его прелести. «На этот раз, — вспоминал он позже, — мне суждено было представлять Европу...»

— Прекращайте стрельбу! — кричал он французам.

В передней цепи обороны стоял маршал в боевой позе. Размахивая призывно шпагой, он сам подошел к Орлову:

— Я — Мармон, герцог Рагузский, а вы кто?

Орлов, назвав себя, сказал маршалу:

— Я прислан из русской ставки, чтобы спасти Париж для Франции, а Францию спасти для мира.

Мармон с лязгом опустил шпагу в ножны.

— Без этого, — сказал он, — мне лучше здесь же, на Монмартре, и умереть... Каковы условия?

На яростные крики бонапартистов «Vive l'empereur!» оба они не обращали внимания. Орлов предложил отвести войска за укрепления застав, заодно очистив и местность Монмартра, с чем Мармон, кажется, согласился:

— Я с маршалом Мортье, герцогом Тревизским, буду ожидать вас у заставы Пантен... К делу, колонель!

Орлов вернулся на аванпосты; здесь возле своих лошадей спешили император Александр с прусским королем, а где-то еще стучали пушки, и король сказал Орлову:

— Это у Блюхера, нам старика никак не унять...

Выслушав Орлова, царь жестом подозвал к себе чиновника Нессельроде, которому и поручил всю ответственность за политическое содержание капитуляции Парижа:

— Вы сопроводите Орлова до заставы Пантен...

Был пятый час вечера, пушки Блюхера, пылавшего хронической ненавистью к Франции, еще гремели, но с русской стороны воцарилось спокойствие. Шумы большого города достигали вершины Монмартра, Орлов хорошо различал звоны колоколов, музыку оркестров, даже цокот лошадиных копыт, женские вскрики и мужскую брань. Мармон ожидал парламентаров у заставы, но Мортье с ним не было. Возле палисадов, опираясь на стволы ружей, стояли плохо одетые молодые конскрипты и национальные гвардейцы, пожилые, в отличной обмундировке. Всюду валялись

битые бутылки из-под вина, в кострах догорала разломанная мебель из соседних жилищ.

Мармону подвели лошадь.

— Если герцог Тревизский не едет, мы сами поедem к нему,— сказал он, легко заскакивая в седло...

Мортье встретил их возле Виллетской заставы, и Орлову был неприятен этот человек, который при отступлении из Москвы взрывал и калечил стены Кремля. Все четверо проследовали в пустой трактир. Мортье отмалчивался, говорил Мармон:

— Мы понимаем, что о сопротивлении сейчас можно рассуждать только как о гипотезе. Но просим не забывать, что Париж обложен вами лишь с одной стороны...

Нессельроде настаивал на капитуляции гарнизона.

— Тогда нам лучше погибнуть,— отозвались маршалы.— Мы можем покинуть Париж вместе с гарнизоном, но мы не сдаемcя вам вместе с Парижем. Южные заставы для нас открыты...

Уже темнело. Вдалеке раскатывался гул артиллерии, треск ружейной пальбы — это войска Ланжерона всходили на высоты, обратив с Монмартра на Париж стволы пушечных орудий. Но маршалы и теперь не стали уступчивее, в один голос они соглашались оставить Париж вместе со своими войсками, которые — несомненно! — укрепят армию самого Наполеона:

— Дайте нам уйти со знаменами через ворота, которые еще свободны. Сейчас уже вечер, а скоро ночь...

Орлов понимал: взятие Парижа может состояться под утро, а ночью гарнизон все равно может убраться куда ему хочется, так стоит ли ломать копья в напрасной полемике? Именно сейчас требовалась смелая политическая импровизация; Орлов сказал Нессельроде, чтобы тот возвращался в ставку:

— А я останусь в Париже представлять победившую Европу... Герцог Рагузский, вы слышали? Если вы согласны оставить меня *заложником*, наша армия не предпримет никаких атак на Париж... Устраивает ли вас подобная вариация?

— Да. Но как быть с ключами? Сдай я вам ключи от Парижа, и позор не будет смыт даже с моего потомства.

— Россия,— ответил Орлов,— не желает лишнего унижения для Франции, мы не нуждаемcя в поднесении нам ключей Парижа, но с условием, чтобы эти ключи не достались музеям или арсеналам Вены, Лондона, Берлина!

— Отлично,— заметно повеселел Мармон.— Тогда поедем ко мне в отель. Заодно поужинаете... Мне, честно говоря, даже не верится, что я вижу адъютанта генерала Моро...

Париж казался мертвым, а группа всадников — патрулем, объезжающим его вымершие улицы. За все время пути не было сказано ни единого слова, достойного сохранения для истории. Отель герцога Рагузского, ярко освещенный во всех этажах, показался Орлову волшебным фонарем, зажженным изнутри. Возле подъезда теснились экипажи, из окон слышался оживленный говор — не женский, а только мужской.

Мармон любезно пропустил заложника вперед:

— Прошу. Вами займутся мои гости и адъютанты...

Залы отеля были переполнены публикой — военной и статской, взоры всех устремились на русского заложника, которому именем Европы доверено принять от Парижа капитуляцию.

Орлов еще раньше хорошо изучил окружение Наполеона, но он знал его в периоды могущества империи; повадки этих людей всегда отличала внешняя вежливость, за которой укрывалось пренебрежение к слабейшему, безразличие к судьбе побежденного. Но теперь равновесие было беспощадно разрушено русским оружием. «Вежливость,— писал Орлов,— истощенная превратностями, стала менее сообщительна, более холодна...» Сабреташи из наполеоновской элиты стали задевать Орлова колкими насмешками, и, если бы Орлов не владел всеми нюансами французской речи, ему бы, наверное, пришлось нелегко парировать наглые выходки бонапартистов... Честнее всех оказался бывший часовщик, а ныне парижский комендант граф Пьер Гюллен, который всю душу вкладывал в страшную ругань по адресу будущего декабриста. Вспоминая об этой ночи, Михаил Федорович писал, что Гюллеи, наверное, имел повод для брани, но все-таки (все-таки!) мог бы лаяться и поменьше.

— Это вы были адъютантом Моро? — спрашивал он.

— Честь имел. И горжусь этим.

— Попадись вы на глаза Наполеону, он бы вас сразу пристрелил... Вот! — кричал Гюллен, показывая на челюсть, жестоко раскромсанную пулей.— Вот, смотрите... в меня стрелял бешеный генерал Мале! А что генерал Мале, что ваш любимый генерал Моро — одна якобинская шайка!

Орлов сдержался. Стоит ли тревожить память его снательства якобинским прошлым, когда Гюллен гордился сла-

вой героя штурма Бастилии? Орлову помогло разумное вмешательство других офицеров, которые высказали сожаление, что Наполеон отошел от мирной политики Тильзита и Эрфурта:

— Все несчастья Франции с того и начались... Мы знаем вашу храбрость: когда сто французов бьются с сотнею русских, то по телам павших ступают одинокие счастливицы.

Вежливость требовала ответной вежливости.

— А разве мы, русские,— сказал Орлов,— не ценим храбрость французов? Я напому, господа, что в битве при Бородино князь Багратион, пораженный натиском ваших колонн, невольно воскликнул: «Браво, французы, браво!..»

После этого напряжение спало, а разговор сделался мягче и человечнее. Орлов добродушно сказал:

— За что вы на меня сердитесь? Этим визитом в Париж русская армия лишь благодарит французскую за ее посещение Москвы... Разница вся в том, что мы прибыли спасти Париж от разорения, а вы оставили от Москвы одни головешки.

— Мы не сердимся,— отвечали ему.— Ваша армия ведет себя благородно, этим она и отличается от озверелого Блюхера с его гусарскими бандами, от свирепых баварцев, стреляющих в детей и насилующих женщин на глазах их мужей...

Между тем Мармон не выходил из кабинета; Орлов догадался, что там обсуждают условия капитуляции, Мармон в своих мемуарах тоже не забыл этой ночи: «Разговор шел о безнадежном положении дел. Все, казалось, были согласны, что спасение — в низложении Наполеона, уже говорили о возвращении Бурбонов...» Наконец в кабинет Мармона проковылял человек, появление которого вызвало в залах отсылая давящую тишину,— Орлов узнал в этом калеке Талейрана.

Талейран, переговорив с Мармоном, снова появился в зале и, выждав момент, вдруг быстро подошел к Орлову.

— Возьмите на себя труд повергнуть к стопам своего государя выражения глубочайшего почтения, которое питаю к его особе я — Талейран, князь Беневентский.

За этой пустой фразой затаилась целая политическая программа будущего Франции и, может быть, всей Европы.

— Ваш *бланк* будет передан по назначению...

Талейран удалился, Орлова обступили французы:

— Какой *бланк*? Что это значит? Как понимать?

Вовремя вышел из кабинета Мармон, сказавший:

— Я вижу, никто так и не догадался покормить русского полковника. Мсье Орлов, прошу к столу...

За ужином, столь поздним, французы горячо обсуждали непомерные требования к Франции стран-победительниц: их возмущала наглость Австрии, претензии Пруссии и вероломство англичан, грабивших французские колонии за океаном.

— А какovy, мсье Орлов, требования России?

— Никаких... кроме мира! — отвечал Орлов.

После ужина он прикорнул в углу на диванчике. Сквозь дремоту слышал, как над ним остановились два генерала.

— Сон победителя, — произнес первый.

— И честного человека, — добавил второй...

Утром с курьером пришло решение русской ставки, которое Орлов и довел до сведения маршалов и генералов:

— Мы разрешаем гарнизону Парижа удалиться из столицы в любом направлении, но мы оставляем за собой военное право преследовать войска гарнизона на любых дорогах его отступления. Надеюсь, это не вызовет никаких сомнений.

— Нет, — сказал Мармон, — война есть война!

Орлов взял лист простой почтовой бумаги и, присев к столу, окруженный множеством любопытных, составил набело пункты капитуляции. Мармон взял бумагу с очень мрачным лицом, но по мере ее прочтения лицо маршала прояснялось.

— Из вас вышел бы толковый дипломат, — сказал он. Акт был подписан. Мармон получил с него копию.

Орлов с подлинником вернулся в лесной замок Бонди, где его сразу провели в спальню императора.

— Поцелуйте меня, Орлов, — сказал Александр, лежа в постели. — Вами выполнена высокая историческая миссия, а ваше имя отныне принадлежит истории... Рад поздравить вас с производством в генерал-майоры моей свиты.

Орлов не забыл сказать о «бланке» Талейрана.

— Старый он жулик! — брезгливо вздрогнул Александр. — Мне в Тильзите было не до него, зато в Эрфурте я купил эту мерзость со всеми его прогнившими потрохами...

После этого император резко повернулся на левый бок, лицом к стенке, и, как всегда, мгновенно уснул. А днем русская армия вошла в Париж... Охраняя бессмертные сокровища Лувра, на мостовых сидели в лисьих малахаях башкиры с луками, держа стрелы в колчанах. Сбережение дворца Тюнльри было доверено калмыкам и казакам, на площади разместился их шумный бивуак, и парижане, прохо-

дя мимо, с недоверием принимались к незнакомому запаху плова с бараниной. А рядом с усталыми лошадьми на мостовых Парижа лежали утомленные астраханские верблюды...

.....
Когда король Людовик XVIII вернулся в Париж, он, дабы выразить заботу о французах, посетил школу для бедных детей. Кладя руку на голову мальчика, король спросил:

— Дитя мое, расскажи нам о битве при Маренго.

Мальчик отвечал уже в новом духе истории:

— Победа при Маренго одержана нашим великим королем Людовиком Восемнадцатым, который поручил свою армию генералу Бонапарту, но этот вероломный корсиканец позже изменил своему долгу, и наш добрый король сослал его на остров Эльбу.

— Ты знаешь историю. Да благословит тебя бог!

1. ПАРИЖ — ПЕТЕРБУРГ

Париж спит; до чего же тихо в Париже, только на рынках полавывают таксы, гоняющие крыс по павильонам; на берегах Сены всю ночь дежурят огромные псы-нюфаундленды, приученные вытаскивать из реки утопленников. Париж спит; опочил в Тюильри первый консул, отдыхает мозг Бертье, уснувшего подле маркизы Висконти, спит нежная Александрина в крепких объятиях генерала Моро, дрогнут под мостами бродяги, дрыхнут в тюрьмах кандидаты на тот свет, в казармах досыпают усатые «ворчунны» гвардии. Античные светильники на треногах освещают благоуханные потемки спален в Сен-Жермене, чадят вонючие огарки в рабочих предместьях...

Но всю ночь оживленно у набережной Берси, куда подплывают из провинций баржи и лодки, наполненные алкоголем. Быстро буравятся в бочках дыры — для пробы. Акцизные чиновники, испытав на языке крепость, указывают, куда выкатывать бочки. Здесь не церемонятся с созданием «букета». В чаны льется бордоское, красное с белым, красители из бузины и ежевики довершают процесс природы, и знатоки будут щелкать потом языками от удовольствия: «Ах, какой аромат...» В молодые коньяки (еще зеленые и противные на вкус) мастера бухают ведрами крепкий раствор чайного листа, добавляют сиропов — и коньяк из молодого моментально обретает возраст двадцатилетнего, бархатистого. Вода по-прежнему играет главную роль, а сделать

из одной бочки вина две бочки — пара пустяков! Наконец, у Берси есть такие вина, которые без лишних разговоров сразу выливают в Сену, и река уносит их в море. В реку же выливали с боен Парижа и кровь больных животных, бросали в омут негодное мясо. Но, как заметила полиция, бедняки его тут же вылавливали.

Ночь пошла на убыль. В моргах столицы разбирают трупы — опознанные отделяют от неопознанных; в конторах полиции тоже идет опознание — рецидивистов отделяют от тех, кто сегодня ночью впервые приобщился к этому ремеслу. Лавочники, позевывая, уже отворяют ставни магазинов. В притонах Парижа звенят цепи, которыми прикованы к стенам оловянные кружки с черным кофе за одно су. Париж не привык бросаться кусками. К услугам бедняков продавцы черствого хлеба и мяса, вынутого из бульона, продавцы хлебных корок и бульона без мяса. В переулках началась раздача бесплатного супа для голодающих. Прошли, посвистывая, расклейщики афишек — Бонапарт поощрял коммерческую рекламу; при нем не только мост Понт-Нефф, но и все дома обклеили призывами не жалеть денег на отечественные товары. По улицам Парижа покатались пассажирские дрожки с автоматами-таксометрами (в такси их теперь называют «счетчиками»). В кафе Режанс азартные игроки уже расставили шахматные фигуры, а на Рю-де-Пулли за плату играет с желающими шахматный автомат. Водворе Лувра, где раскинулась Вторая промышленная выставка, появились первые посетители. Публику привлекает осмотр одежды без единого шва. Изобретатель одежды выворачивает ее наизнанку, и сюртук в его руках превращается в плащ, а из жилета получаются брюки. Лошади-тяжеловозы, ступая копытами по набережным Сены, влекут за собою вверх по реке нагруженные баржи, а навстречу им уже спешает первобытный пароходик. В общественных купальнях в воде плещутся аристократки, обязанные платить за купание особый налог — на тех бедных, которых Бонапарт кормит дешевым супом... Ну, ладно! Кажется, Париж проснулся, теперь всем найдется дело. Вот уже разлетелись по магазинам Пор-Рояля говорливые стайки модниц, и продавцы раскручивают перед ними рулоны новых материй:

— Очень приятен цвет «лягушки, упавшей в обморок». К вашим глазкам, мадам, подходит цвет «мечтательной блохи». Вчера получен муслин из Пондишери — «паук, замышляющий убийство мухи». Вас это не устраивает? Вы находите, что это слишком дорого? Тогда, позвольте, я пред-

ложу вам самый модный шелк из Лиона, имеющий оттенок «влюбленной жабы»...

Для меня, читатель, эти названия загадочны так же, как и странности денежного курса, о котором я уже говорил. В женских модах начиналось засилие «ампира», при котором силуэты женщин все больше совпадали с фигурами на барельефах, бегущими по краям древних этрусских ваз.

Ах, если бы моды были только частным капризом! Но в том-то и дело, что на историю одежду накладывается политическая патина времени. Екатерина II уже пыталась вырвать у Парижа монополию моды, она заполнила Париж детскими распашонками по своим выкройкам, диктовала парижанкам новые вкусы — к охабням и сарафанам, а дамские шубки из русских мехов («витшуры») никогда не выходили из моды. У себя же дома Екатерина боролась с уродствами моды посредством их оглупления. Заметив несуразные фраки, в такие же фраки она велела наряжать дворников, метущих панели. Чтобы отучить «петиметров» от упорного лорнирования дам в театре, она раздала лорнетки извозчикам. А когда молодежь сочла очки украшением лица, она указала носить очки чиновникам полиции. При Павле I борьба утратила юмор: модников сажали на гауптвахты, из городов высылали на лоно природы. В круглых шляпах императору виделись явные признаки якобинства. При Александре старые вельможи еще донашивали туфли маркизов Версаля с красными каблуками, а их внуки, поспешая на бал, уже раздевались в духе Директории. мода на излишнее оголение сумела побороть даже страх перед крещенскими морозами, а пример Терезы Тальен оказался чересчур заразителен. «Московский Меркурій» оповещал читателей: «Ни один кавалер уже не говорит о красоте плеч или груди; кто желает оказать даме учтивость, тот хвалит формы ее нижних частей...» Громкие победы Бонапарта в Италии обогатили шкатулку Жозефины старинными камнями, и с тех пор ношение античных камней стало почти обязательным для богатых женщин. Египетский поход Бонапарта вызвал интерес к восточным шалям и тюрбанам. С головы мадам де Сталь тюрбаны перешли на головы русских дам, засвидетельствованные на портретах лучшими живописцами эпохи. Наконец, из салона мадам Рекамье танец «па-де-шаль» покориł Москву и Петербург, потом на тройках с бубенцами прокатился по стылым сибирским трактам; «па-де-шаль» танцевали мешанки в Иркутске, жены флотс-

ких офицеров в гарнизоне Петропавловска-на-Камчатке...

Конечно, при всей любви русского барства к халатам и колпакам фригийский колпак — символ якобинства! — в России не прижился. Чтобы подразнить старцев, его иногда надевал только граф Павел Строганов, бывший член якобинского клуба, участник штурма Бастилии, а теперь интимный друг императора. Александр, человек образованный, заметил, что форма фригийского колпака с клапанами на ушах встречается на древних скульптурах, изображающих Париса. Но как фригийская шапка Париса, судящего о красоте Афины, Геры и Афродиты, могла сделаться признаком революционных воззрений?

— Это знак позора и унижения, — пояснил ему Строганов. — При королях Франции такие вот колпаки носили солдаты штрафного полка Шатовье, избившие своих офицеров за воровство денег. Санкюлоты переняли от них эти шапки в знак солидарности с бунтарями...

Россия переживала время отмирания петровских коллегий, страна заводила министерства, и, гуляя однажды с императором вдоль Невы, граф-якобинец сказал ему:

— Люди у нас, государь, лучше, чем в Европе, но порядки у нас хуже европейских. Я скорее соглашусь быть адъютантом при генерале Бонапарте, нежели министром в России, где продлевается гнусное крепостное право.

Александр I, ученик либерала Лагарпа, сказал графу Строганову, ученику монтаньяра Жильбера Ромма:

— Ловлю тебя на слове, Попо, вот ты и станешь моим министром внутренних дел, дабы облегчить нужды народа...

Была мода на всяческие шатания, словесное свободомыслие, безумное фрондерство юности. И старый Гаврила Державин, сидя в своем саду на Фонтанке, допевал ветхие песни:

— Якобинцы треклятые! Навезли из Парижу сраму всякого, куды ж нам, русским людям, деваться? Хоть топись...

По наследству от бабушки Александру достались вельможы, продолжавшие «екатеринствовать». Это были деловые политики, приученные думать, что Россия — пуп земли и, если в Петербурге чихнули, Европа обязана переболеть простудой. К числу «екатерининцев» принадлежал и граф Аркадий Морков, ставший послом в Париже. Бонапарт еще не был развращен всеобщим поклонением, но уже привык видеть в Тюильри согбенные спины германских дипломатов, и ему не совсем-то был понятен этот русский гордец. Первый консул решился на маленькую провокацию, дабы

проверить стойкость духа посла. Проходя мимо Моркова, он как бы нечаянно уронил свой платок. Морков это заметил, но спины не согнул.

— Вы что-то уронили,— заметил он равнодушно.

Между ними, как между дуэлянтами, лежал платок, казалось определяя тот нерушимый барьер, который нельзя переступить при выстреле. И первый консул сдался.

— Хорошо,— сказал он, поднимая платок с пола,— я надеюсь, подписание трактата менее затруднит вас...

Вскоре Морков и Талейран составили договор — первый после революции договор России с Францией; Петербург расписался перед всем миром в том, что Россия отныне признает не только новую Францию, но и все те изменения, которые произошли во Франции — как итог революции. Выиграл, скорее, Бонапарт, ибо теперь, признанный авторитетом России, он мог потребовать от Европы такого же признания. И сразу же после подписания трактата в Париж поехали русские — не только ради любопытства, не только по делам службы, но и всякие моты-обормоты, жаждущие приключений, отнюдь не героических. Фуше был недалек от истины, докладывая консулу:

— В головах этих «бояр-русс» прыгают всякие зайчики, а русские дамы воспаляются вроде «греческого огня», секрет которого наукою еще не разгадан.

Бонапарт не терпел иностранцев в Париже, но, коли эту нечисть никаким порошком не вывести, он хотел бы сплотить всех туристов в единую послушную колонну. Для этого Фуше разработал групповые экскурсии по музеям, антикварным лавкам, даже на фабрики, в больницы и в бедлам для женщин, которые свихнулись от неразделенной любви. Немцы, датчане и прочие нефранцузы дружно шагали по улицам, разевая рты в указанных гидами местах, но русские... Русские, прошу прощения, разбежались по Парижу, как тараканы по избе. Кто в игорный дом, кто оставлять фарфоровые зубы, кто бежал не зная куда, и вообще всем видам массовых развлечений россияне предпочитали личную свободу! Целомудренно молчавшие у себя дома, в Париже они развязывали языки до такой степени, что французы иногда принимали их за опытных агентов Фуше: ругая своих царей, уж не хотят ли эти «бояр-русс» вызвать ответную брань по адресу Бонапарта? Облаяв свои порядки, русские тут же брались за критику порядков французских. Обедая у Веро, они уже были недовольны:

— Что за пулярка? Обнищали вы... да. У нас в России покажи такую пулярку коту — он же расхохочется!

От Веро критика подкрадывалась к Тюильри:

— Чего это консул мелюзгу в свиту набрал? Одна фанатерия. Разве ж это двор? Вы к нам приезжайте, мы вам покажем. Фрейлин у нас тысяча, и каждая — на цыпочках... от Рюрика, от Гедимины, от Византии свет получившие!

— А я вчера на присме в Сен-Клу маркизу Висконти разглядывал. И чем это она Бертье соблазнила? Ведь у нее вместо бюста вата напихана. А у нас на Руси — без обмана, натурель. Опять же этот... как его? Ну, Бонапартий! Наговорили мне: Маренго там и прочее. А я на параде своими глазами видел, как он с лошади кувырнулся. Да у нас его и в корнеты бы не выпустили. Кому он нужен такой?..

Лувр уже ломился от художественных ценностей. Бонапарт велел издать на разных языках отличные путеводители. Семнадцать театров Парижа ежевечерне манили зрителей. В театрах русские бывали шокированы: вдруг ни с того ни с сего в зале гасили свет, зато ярко освещали сцену с актерами, и «бояр-русс», оказавшись в темноте, озирались на соседей — карманников в Париже хватало. Фуше присмотрелся к этим господам и оставил их в покое. Зато с русскими дамами ему пришлось повозиться. «Греческий огонь», однажды вспыхнув, тушению не поддавался. Вчера, допустим, она приехала в Париж, сегодня обедает у Талейрана, ужинает в Мальмезоне, завтра разводится с мужем, ее уже видели с Мюратом, потом надолго исчезает и вдруг обнаруживается в Шароне с паспортом на имя мадам Фрежери. Начинают проверять — все верно. Вот и ее муж, мсье Фрежери. Хватают обоих, везут в Париж, где оказывается, что мсье Фрежери — Мюрат, женатый на сестре Бонапарта, и теперь он готов загрызть министра:

— Фуше, что ты лезешь не в свое дело?..

Когда же русские дамы проматывались, они открывали в своих квартирах игорные пристанища, за сокрытие которых платили поквартально... Кому, вы думаете? Самому министру полиции Фуше! За это Фуше поставлял им своих шулеров, чтобы доходы повысились. Скоро в это финансовое предприятие затесался и министр иностранных дел Талейран, соблазненный русских провозить во Францию запретные английские товары, бельгийские кружева и фальшивый жемчуг. Сам он стоял в стороне — деньги собирала мадам де Гран, страшная взяточница — холодная, как лед, и прекрасная, как Венера... На этом рассказ о развитии «туризма» можно закончить. Но еще возможны всякие комбинации, ибо фантазии у русских было хоть отбавляй! Для Фуше нав-

сегда осталось загадкой, каким образом русские аристократки оказывались в Тюильри и Мальмезоне раньше французских. Они умудрялись запросто бывать даже там, куда и Фуше не пускали. Он вызвал писака Фулью:

— Хорошо бы свалить русского посла. Для этого войди к нему в дружбу, гневно порицая Бонапарта и меня, и будешь сочинять все, что он хочет, а я добавлю...

Скоро Морков провинился в глазах Бонапарта — он написал для себя (за деньги, конечно) из Лондона конскую упряжь и сбрую. Ничтожный эпизод, но Бонапарт уже повысил голос, говоря, что у него тоже есть мозоли:

— И не советую на них наступать... даже вам, посол. Разве неизвестно, что я нахожусь в войне с Англией?

— Россия с Англией не воюет, — отвечал Морков.

— Но Россия подписала трактат о дружбе со мною.

— Да. Но она не отвергает дружбы и с Англией, — доказывал Морков. — Я был бы согласен купить уздечку для лошади в Париже, если бы они были у вас такого же отличного качества, как и в Лондоне...

Бонапарт писал о Моркове: «Он не дал ни одного обещания, и мне едва известно его местожительство...»

Но среди русских в Париже были и серьезные люди, скупавшие ценные книги и картины, приятные собеседники в научных и литературных салонах, их часто видели гостями у мадам Рекамье и мадам де Сталь; им не стоило большого труда выяснить, что связи продажного журналиста Фулья выводят прямо к Фуше, о чем и было доложено Александру.

— Предупредите графа Моркова, но отзываться его из Парижа — доставить удовольствие Бонапарту. Мы этого делать не станем, — распорядился император. — Заодно прикажите, чтобы для мадам де Гран, любовницы Талейрана, приготовили партию английских товаров...

В это же время Бонапарт, желая показать свою Францию в лучшем виде, отправил в Петербург адъютантов — Дюрока с Коленкуром. Выбор был удачен: если Дюрок, приятель консула, был просто обворожительный человек, то маркиз Коленкур выгодно представлял ту аристократию, которая перешла на сторону Бонапарта... После частной беседы с Коленкуром царя навестил его брат — цесаревич Константин.

— Саня, о чем ты болтал с маркизом Арманом?

— Арман Коленкур интересно рассказывал о Моро, под началом которого воевал на Рейне. Маркиз умный человек,

мы перебирали с ним судьбы французских эмигрантов...

Константин был участником походов Суворова.

— Саня,— сказал он брату,— меня давно терзает одна история. Настолько странная, что в нее трудно повернуть. Когда я с Суворовым отступал из Италии, я задержался в Мейнингене, где проживал тогда герцог Лун Энгийенский, сын принца Конде. Рано утром меня разбудил шевалье де Жуанвиль, сообщивший, что герцог немедленно должен меня видеть. Я вскочил в седло и поскакал... Энгийенского я застал в страшном волнении. Вот его подлинные слова: «Бонапарт вернулся из Египта, и Бурбоны спасены, я преклоняюсь перед его гением и почту за счастье служить ему!» Мне пришлось напрячь свое красноречие, дабы убедить Энгийенского не делать этого, ибо кровь Бурбонов обязывает его к мести...

— Напрасно ты его отговаривал. Аристократы сейчас делают при Бонапарте хорошие карьеры. Дюроки способны рубиться и танцевать, но управлять будут маркизы Коленкуры. Уверен: предложи тогда Энгийенский шпагу к услугам Бонапарта, и этот жест, к выгоде консула, сразу подорвал бы влияние эмигрантов в Лондоне... Мне странно иное,— продолжал Александр.— Энгийенский никак не может оторваться от рубежей Францин, часто проживая в пустынном отеле баденского Эттенхейма... почти в лесу! Как он не боится?

Александр был женат на принцессе из Бадена, через переписку жены он узнавал все баденские новости.

— Это меня не удивляет,— ответил ему цесаревич.— У герцога давний роман с Кларой Роган де Рошфор, она живет в Эттенхейме, и он не перестает за ней волочиться...

Ни цесаревич Константин, ни император Александр, ни даже сам Бонапарт еще не подозревали, куда их заведут лесные тропинки от Эттенхейма, и не тогда ли между Парижем и Петербургом сверкнет первая молния?..

2. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МЕССА

Приняв яд, покончил с собой писатель Радищев, а философ Сен-Симон выпустил книгу о том, что мир нуждается в справедливости; Сен-Симон выстрелил себе в голову, но остался жив. Эти люди опережали свое время, неспособное остановить их, и не потому ли они сами останавливали себя?.. Но был в мире еще один человек, считавший, что родился как раз кстати,— это Филипп Буонарроти, пото-

мок великого Микеланджело, монтаньяр и якобинец, а ныне коммунист-утопист.

Буонарроти возили в железной клетке, как опасного зверя. Ему везло на острова! С адмиралом Трюге он сражался на Сардинии, жил на Корсике, сослан на остров Олерон, а теперь в Париже хлопочут, чтобы его сослать еще дальше — на Эльбу! На Олероне собралась коммуна республиканцев, изгнанных, униженных, оскорбленных, непокорных... Над островом вечерело. Друзья по несчастью сидели в хижине. Их стол украшали хлеб, виноград и рыба. Буонарроти сказал, что только в тюрьмах и ссылках чувствует себя свободным среди равных.

— Я расскажу вам самое смешное. Когда я жил в Аяччо, на Корсике, семье Бонапартов нечего было есть. Я давал им деньги, чтобы голодные были сыты. Я спал с молодым Бонапартом на одной постели, как брат с братом...

Журналист Меге де Латуш спросил:

— Вернул ли Бонапарт долг, став консулом?

— Железная клетка стоит тех денег...

Буонарроти имел славу гения конспирации. Друзья спросили его — что составляет сущность Бонапарта?

— Еще в Аяччо я уже предвидел, что этот хилый стручок растет только для себя. В душе этого корсиканца нет ничего святого. Я видел, как он пресмыкался перед Паскуале Паоли, вождем Корсики, и предал его, заискивал у Робеспьера и тоже предал, он унижался перед Баррасом, даже перед Терезой Гальен и уничтожил их... Сам по себе очень сильный, он признает в других только силу, — сказал Буонарроти. — Горе тому, кто расслабится перед ним!

Шумело море, за горою кричал петух. Меге де Латуш сказал, что, будь он на месте Буонарроти, он бы написал первому консулу просьбу об амнистии:

— Кто откажет в свободе Буонарроти?

— Нет, Меге, не я консулу, а сам консул написал мне. Бонапарт предложил мне высокое положение в правительстве со всеми благами жизни, чтобы я признал его режим, отступившись от своих идеалов. Но мне что этот Олерон, что остров Эльба — мне все равно где мыслить, лишь бы мыслить...

Петух все кричал за горою, и республиканцы пришли к выводу, что он распелся не к добру:

— Таких петухов, мешающих спать, режут.

— Этот петух, как и мы, тоже опережает время... А монархи Европы, — вдруг сказал Буонарроти, — оказались глупее, нежели я о них думал. Бонапарт ведь уже дал им

понять, что, покончив с революцией, он просится в их монархическую семью. Не настал ли момент для его свержения? Но если сейчас этого не случится, наше движение должно расколоться: слабые поникнут перед грубой силой диктатора, а с сильными мы еще встретимся — в тюрьмах, на эшафотах!

...На острове Святой Елены император не забывал о Буонарроти: «Я раскаиваюсь, что не привязал его к себе... Это был человек выдающихся талантов... итальянский поэт, как Ариосто; он писал по-французски лучше меня; рисовал, как Давид; играл на пианино, как Паэзиелло». Но всю жизнь Бонапарт (и даже Фуше!) не мог проникнуть в тайну «Общества филаделффов», связанных с Филиппом Буонарроти. Он лишь догадывался, что после 18 брюмера Филаделффы дали клятву вернуть Франции свободу, им, Наполеоном, разрушенную. Генерал Моро втайне был великим архонтом (вождем) Общества под античным именем Фабия; после Моро архонтом станет полковник Уде, погибший при Ваграме. Система конспирации была разработана идеально, и потому историки филаделффов до сих пор блуждают в потемках неведения... Франция между тем наполнялась прокламациями, их находили на столиках кафе, на диванах карет, в партерах театров. Вот что писали тогда: «Тиран узурпировал власть. Кто этот тиран? БОНАПАРТ. Какова наша цель в борьбе за республику? Восстановить священное равенство...» В казармах солдат висели плакаты: «Да здравствует республика! Да здравствует генерал Моро! Смерть первому консулу Бонапарту!»

А иад Францией, как и раньше, снова звонили колокола.

.....
Господин первый консул восстановил религию во всех ее правах, церковь он соединил с государством.

— Я это делаю для себя, — цинично объяснял Бонапарт. — Но и для спокойствия французов. Одна лишь церковь способна доказать людям неравенство, при котором бедняк варит на ужин бобы, а другие поедают смаров...

Но перезвоны воскресных колоколов всегда радостны сердцу крестьянина, и, что бы ни говорил Бонапарт, взывая к рассудку, он уступал предрассудку деревни, чтобы она охотнее давала ему сыновей для армии, как отдает и хлеб для той же армии! Но именно армия и восстала против религии. Однажды из рядов гвардии шагнул к Бонапарту седой драбант:

— Мы шли за тобой, куда ты вел нас, и мы принес-

ли победы, которые тебя возвысили. Мы, старые ворчуны, плюем смерти в лицо, и ты сам знаешь, что с нами надо быть вежливее. Попробуй только освящать наши знамена именем церкви, и мы растопчем знамена своими ногами!

В гарнизоне Версаля солдаты начали бунт:

— Пора кончать с этой *лавочкой* Бонапартов...

Недовольство начиналось с вопросов: «Почему Франция попала под власть выскочки-иностранца? Неужели не нашлось честного француза? Почему его корсиканские родственники занимают первые места? Почему им все дозволено? Почему они так ненасытны?..» Жозеф Фуше предупредил Моро, что Мюрат все время клеветает на него Бонапарту. Моро ответил:

— Я виноват перед Мюратом лишь тем, что не родился в харчевне среди винных бочек и кружек. Его окружали крики пьяниц, а меня звуки лютни, на которой играла моя мать... Нет, я еще не забыл того времени, когда Мюрат, охваченный лихорадкой новизны, переделал свою фамилию. Он изменил в своей фамилии букву «ю» на букву «а» и писался «Маратом»! Мюрат-Марат был и останется для меня хамелеоном.

— Мюрат желает быть вторым после Бонапарта, но, пока вторым остаешься ты, он будет тебя преследовать...

Этот разговор состоялся в Орсе; узкая винтовая лестница скрученной улиткой кружила вокруг столба, поднимая Моро в башню замка, где тишина библиотеки не мешала ему разоблачиться в своих подозрениях. В один из дней Моро все-таки решил повидаться с Бонапартом.

— Я, — сказал Моро консулу, — прошу избавить меня от низкопробных кляуз вашего шурина Мюрата.

Бонапарт сунул ладонь за отворот жилета.

— Мюрат — гений кавалерийской войны, пока он на лошади, но стоит ему сойти на землю, как он становится последним дураком на свете... Так стоит ли обращать внимание на его плоские эскапады? Мне, в свою очередь, могут не нравиться ваши беседы с русским послом Морковым.

Моро признал, что ему тоже не нравится граф Морков, видящий во Франции только дурное, а хороший дипломат не станет критиковать нравы и порядки той страны, в которой он аккредитован. Но, встречаясь с ним в обществе, Моро вынужден оказывать внимание послу дружественной державы.

— Советую генералу Моро, — сказал Бонапарт, — навести порядок в своем доме. Ваша теща постоянно оскор-

бляет честь моей семьи. На последней церемонии в Тюильри мадам Гюлло пыталась занять место впереди Жозефины, идущей в паре с Талейраном... Талейрану пришлось отталкивать ее ногою. Хорошо, что это была кривая нога Талейрана, а если бы вмешалась нога отважного Мюрата?..

Вернувшись домой, Моро внушил теще:

— Вам не следует показываться там, где бывают Бонапарты. Ваши пошлые претензии на первенство в свете Парнжа оскорбительны для моей репутации, и Бонапарт, учинив мне сегодня выговор, оказался *прав*, как была права и Жозефина в дурацком случае с ванной в Мальмезоне...

Александрина отпустила камеристку, убиравшую ей волосы в красивый «газон», на котором голубенькие ленты должны означать течение ручьев; она сказала:

— Если нигде не бывать, так где же нам быть?..

Конечно, такой роскошный «газон» нуждался в особом внимании публики, но Моро не уступил любимой жене:

— Вели запрягать лошадей и кататься в открытой коляске где тебе хочется. Но я очень прошу не ездить с поздравлениями ни к Гортензии Богарне, ни к ее мужу...

Моро вовремя отказался от родства с консулом через брак с Гортензией. Правда, он не предвидел так далеко, как предвидел Буонарроти даже с острова Олерон: первый консул уже готовил престол Франции для своей династии. Но как обеспечить будущее престола, если судьба не дала наследника? Беспокойство мужа разделяла и Жозефина, женским чутьем понимавшая, что именно ее бездетность может стать причиной развода. Чтобы этого не случилось, лучше усыновить ребенка от своей же дочери. Именно эти династические планы и связали Бонапарта с падчерицей — с согласия самой Жозефины! Убедившись в беременности Гортензии, консул насильно выдал ее за своего брата, меланхолика Луи Бонапарта, которому и обещал:

— Первый же твой сын станет моим сыном!¹...

1802 год стал для Бонапарта решающим. Он вывел Австрию из войны, он выправил отношения с Петербургом; теперь и заносчивый Лондон, стоя над руинами поверженной коалиции, склонялся к миру. Французский народ, далекий от тайных замыслов Бонапарта, уверенней смотрел в будущее, прославляя консула как миротворца, и эту ра-

¹ Сын, рожденный Гортензией от своего отчима, был официально усыновлен Наполеоном как наследник его и Жозефины, но скончался в младенчестве от крупа. Гортензия — мать императора Наполеона III, рожденного ею от гусара Флахо (по другим сведениям — от голландского адмирала Вирузля).

дость французов разделяли все европейцы... Решающий год в политике был самым опасным для личной карьеры Бонапарта! Теперь во главе оппозиции его режиму поднималась та грозная сила, которая его же, Бонапарта, и выдвинула, — *армия*. До сих пор судьба благоприятствовала ему, безжалостно убирая с дороги соперников славы — Жубера, Дезе, Клебера, но оставался в живых тот, которого он больше всего боялся. Как вытравить из сознания французов славу Моро? Мюрату он признался, что не может расправиться с Моро, как с рядовым республиканцем, — это не Лагори, не Фуа, даже не Массена:

— Популярность Моро давно положена на весы Франции: наши таланты полководцев уравновешены, но политическая чаша весов Моро начинает перевешивать мою чашу. И все мои враги прислушиваются — что скажет сейчас Моро?

— Но он же молчит как проклятый!

— Тем хуже для меня. А я вынужден мириться с этим положением. Стоит мне задеть Моро, и я могу вызвать новую ярость якобинцев. Ты бы знал, как тягостно выжидать случая, когда Моро *сам* уничтожит себя...

О сомнениях консула Мюрат разболтал Фуше:

— Разве нельзя законно избавиться от Моро?

Фуше почти с ненавистью разглядывал длинные, как у женщины, волнистые локоны в прическе Мюрата.

— Можно и законно, — тихо ответил он. — Разве у меня руки не дотянутся до Лондона? Разве мои агенты так глупы, что не смогут обмануть Пишегрю и Кадудала? Да мне стоит лишь свистнуть, и роялисты из Лондона переедут в Париж.

— Зачем? — удивился Мюрат.

— Для свидания в Париже с генералом Моро.

— При чем же тут роялисты и... якобинец Моро?

— Связи роялистов с Моро сразу уронят его авторитет в глазах французов... Неужели еще не все ясно?

Все ясно! Противен карьерист, ищущий милостей у власти, зато подозрителен человек, который не ищет для себя ее милостей. Моро был именно таким человеком, и Фуше знал, чем завлечь Бонапарта:

— Мой агент сумеет доказать в Лондоне, что генерал Моро порвал с прошлым, мечтая о реставрации Бурбонов...

Любая активность противников Бонапарта всегда была выгодна Бонапарту, ибо давала ему повод для репрессий. Если активности не заметно, ее следует искусственно вызывать. Потому, выслушав Фуше, консул с ним согласился.

— Но кто же способен возмутить спокойствие?

Фуше на клочке бумаги быстро начертил имя — *Méhée de Latouche* — и протянул бумагу к глазам консула.

— Но я ведь чуть не казнил его! — сказал Бонапарт.

— Да, — кивнул Фуше, — он попал под депортацию, как злостное отродье якобинства, он наказан вами жестоко.

— Но он на Олероне, откуда не убежать.

— А почему бы не помочь ему убежать?

— Это мерзавец... это подонок! — воскликнул Бонапарт.

— Простите, это... *корифей*, — поправил его Фуше и тут же спалил в пламени камина бумажку с именем предателя.

.....
Величественный Нотр-Дам в годы революции назывался Храмом Разума, а теперь снова стал собором Парижской богоматери. На паперти собора букинисты торговали старинными инкунабулами, капуцины сбывали дешевые распятия, нищие старухи просили купить у них цветочки, предлагали котят и щенков. На ступенях храма стоял робкий Сийес, и Бонапарт, поднимаясь в собор, решил узнать у него:

— А что вы делали в годы террора?

— Я оставался живым, и этого достаточно.

— Разрешаю вам оставаться живым и далее...

Бонапарт умел держать людей в страхе, хотя по-прежнему оставался доступен народу, он никогда не мешал людям обступать его на улицах, беседуя с ними. Пожалуй, только его личный секретарь Буриен знал его мысли:

— Когда общаешься с народом, надо иметь железное терпение. Всегда хочется прострелить несколько голов, чтобы не видеть этих безобразных, сюсюкающих физиономий... Что за люди? Из каких грязных помоев они рождаются?..

Среди множества забот, военных и политических, Бонапарт не забывал, что во Франции существуют еще силы, плохо подвластные его сказочному авторитету.

— Литература, — говорил он, — слишком капризная дама, и она не поддается воинской дисциплине. Не понимаю и газет! Они пишут в таком унылом тоне, будто все редакторы уже давно кастрированы мною... Если эти каналы не умеют сочинять, пусть идут в кровельщики или копают канавы. Я не позволю им болтать лишнего, но газеты обязаны хранить бодрый тон, будто они никогда не видели красных чернил. Пусть хоть камни летят с неба, газетеры должны писать, что во Франции все барометры показывают ясно...

Шестого мая Париж был извещен об Амьенском мире. Впервые за много лет Европа наслаждалась тишиной. Рос-

сия выступила гарантом независимости острова Мальта. Бонапарт на приеме в Сен-Клу прошел мимо Моркова, затем вернулся к нему.

— Я не понимаю вас! — сказал он. — Ваш император собирается в прусский Мемель, а какова цель поездки?

Морков и сам не знал, ради чего Александр тащится в Пруссию, паче того Романовы — не родня Гогенцоллернам.

— Очевидно, молодого государя побудили к визиту слухи о красоте молодой прусской королевы Луизы.

Это не объяснение. Бонапарт не верил в чары голубых глаз блондинки, заподозрив Петербург в кознях.

— Политика — это не флирт, — веско сказал он...

Амьенский мир обогатил Талейрана. Париж торговал княжествами, епископствами, рейхсграфствами, как на базарах торгуют капустой или поросятами, а дошлая мадам де Гран не успевала собирать урожая взятки. Бонапарт знал об этом:

— Я не сомневался, что германские князья — это грязь, но я никогда не видел такой отвратительной грязи...

Амьенский мир оживил дипломатию. Иностранцы с удивлением присматривались к новой аристократии Бонапарта, которая скандализировала старую грубыми солдатскими замашками, выводя на королевские паркетные Тюильри своих жен, бывших ранее прачками, маркизантами и трактирщицами. Но сабли звенели воинственно, голоса сабреташей звучали свежо и задиристо, как на веселом празднике, и княгиня Долгорукая, умная русская дама, выразилась очень точно:

— Это еще не двор! Но это уже большая сила...

К этому двору Англия прислала своего посла — Чарльма Уитворта, покинувшего Петербург не по своей воле. Бонапарт видел в нем только заговорщика, и вот этот джентльмен перед ним. Рослый, узколицый, губы тонкие, парик короткий, он умело драпируется в малиновый плащ. Что ему надо здесь? Почему Англия прислала в Париж убийцу? Если он покончил с Павлом, так неужели пришла очередь и его, Бонапарта?.. Обуреваемый такими мыслями, первый консул не выносил общества Уитворта, ему казалось, что любая оппозиция всегда сыщется в этом милорде опытного главаря-заговорщика...

По случаю мира готовились отслужить в Нотр-Дам торжественную мессу. Бонапарт заранее распорядился оставить для Жозефины трибуну в середине собора. Приглашенные билеты разослали всем членам правительства,

такой же билет получил и Моро, но генерал не пожелал видеть этой церемонии:

— Я закоренелый деист, и я бывал в Храме Разума, но я не поеду в собор Парижской богородицы...

Напрасно он не поехал. Мадам Гюлло взяла дочь, и, разряженные с креольской пышностью, женщины отправились на богослужение. В соборе было уже не протолкнуться от знатной публики, свободных мест не было, люди стояли меж рядами, и мадам Гюлло очень обрадовалась, заметив, что одна из трибун свободна. Служитель храма предупредил ее:

— Мадам, эта ложа сохраняется для супруги нашего почтеннейшего первого консула.

«О нет! Не на такую дурочку они напали...»

— А где же оставлена ложа для тещи и жены дивизионного генерала Моро, который всю эту войну выиграл для Франции?

Первый консул, подъехав к собору с большим олюзданием, был крайне удивлен, увидев Жозефину сидящей в стороне.

— Ты почему здесь, а не в своей ложе?

— А где моя ложа? Ее уже заняли эти Моро..

Бонапарт через толпу протолкался к Фуше:

— Почему я не вижу здесь генерала Моро?

— Моро — деист и в церкви не бывает.

— Он может не молиться, но церемония благодарственного молебна обязательна для всего генералитета. Мог бы прийти сюда хотя бы ради того, чтобы обуздать тщеславие своих бешеных креолок. Они расселись с таким важным видом, будто я устроил эту мессу специально ради них...

Талейран тем временем шушукался с Уитвортом, который спрашивал у него, когда же Франция покинет Италию.

— Франция, — заявил Талейран, — не выведет войска из Неаполя, пока Англия не уберет свой флот с Мальты.

— Англия, — парировал Уитворт, — оставит корабли в Ла-Валлетте, пока Франция остается в Неаполе...

Как быстро все прояснилось! Мир в Амьене — не мир, а лишь короткая передышка между миром и войной, чтобы, малость отдохнув, начать все сначала... Моро уже не ждал, что Бонапарт даст ему армию. И он не был особенно удивлен, когда в весенний день жерминаля мальчишки Парижа, торгующие газетами, всю раскричались на улицах:

— Каждый француз должен прочесть: генерал Моро не мог победить юного эрцгерцога Иоанна... генерал Моро сдал Рейнскую армию Бернадоту в состоянии хаоса, начальник

его штаба Виктор Лагори — якобинский подонок! Этим людям не место в победоносной армии нашего великого консула Бонапарта...

Александрина прижала ладони к пылающим щекам:
— Моро, что это? Моро, не уехать ли нам?

Бретонский характер проявился в деловом ответе:

— Мне очень жаль Виктора Лагори и... Мне жаль и мадам Софи Гюго, которая не может на Лагори надыхаться. Но зато спасибо и моей теще, спасибо и тебе, моя волшебная радость: вы отслужили мессу как надо...

3. ПОЧЕТНЫЙ ЛЕГИОН

В галерее Сен-Клу арестовали юного офицера Рейнской армии, горячо целовавшего мраморный бюст Марка Брута. Фуше сказал, что там были бюсты Демосфена, Гомера и Цицерона, почему он выбрал для лобзаний именно Брута?

— Потому что Брут зарезал Цезаря...

При штабе Рейнской армии обнаружился заговор против Бонапарта, которого генерал Симон называл «бесчестным рыцарем из Сен-Клу». Раскрыл заговор бдительный Савари, из адъютантов Мюрата ставший адъютантом консула. Между гарнизонами Франции работала военная почта. Прокламации, пробуждающие гражданскую совесть, из провинции пересылались в горшках из-под масла, столица отвечала провинции засургученными пакетами. Савари вникал в мысли заговорщиков: «Они говорят, что народ теперь лишен возможности высказывать свои мысли; собрания, установленные конституцией, состоят из людей, очень боящихся потери своих мест и боящихся откровенно высказаться...» Фуше арестовал многих офицеров Рейнской армии, но генерал Симон на допросах твердил:

— Один я устроитель комплота, один я желал быть Брутом, и потому требую свободы для своих товарищей...

Бонапарт, узнав о таком благородстве, радовался:

— Валите все на Симона! Пусть Европа думает, что дела у нас хороши, если бы не один помешанный Симон. Фуше отчетливо видел картину следствия:

— Но если Симон помешался, а сообщники его неповинны, тогда я вынужден закрыть дело о заговоре.

— Именно так! — поддержал его Бонапарт. — Сейчас французы должны думать, что их мозги не отличаются от моих. А в любой армии мира всегда отыщется один сумасшедший генерал, за действия которого нация не отвечает...

Но Бернадот! — терзался Бонапарт. — Но эта Рейнская армия!

Бернадот давно путал ему карты. «Хуже нет иметь дело с проклятыми гасконцами», — не раз говорил консул. Их взаимная неприязнь возникла еще с первого Итальянского похода, когда Бернадот не подчинился приказам Бонапарта, а вражда генералов передалась солдатам, которые в кулачных драках доказывали совершенства своих начальников. После 18 брюмера Бонапарт сразу хотел спровадить горячего гасконца куда-нибудь подальше, но Бертье уговорил его не делать этого...

— Сколько в них шуму, в этих гасконцах, как много они мнят о себе только потому, что в их жилах дикая кровь басков, и эта кровь пьянит их, как вино пьяниц!

Наверное, консулу было неловко вспоминать и свои любовные клятвы перед наивной Дезире Клари, которая стала женой Бернадота, а мужская ревность к прошлому жены напитала гасконскую душу особым ядом. Однако Бернадот был опасен не ревностью: республиканец не допускал мысли, что с идеями равенства покончено. Но так думали и другие генералы его армии, горланившие где угодно и когда угодно:

— Бонапарт? А что в нем? Какой же генерал, как и все мы, и любой из нас способен занять его место...

Раскассировать Рейнскую армию, как источник якобинской заразы, легче всего, но враги сразу заметят ослабление мощи Франции. Бонапарт нашел выход: лучшую часть офицерства и солдат он с берегов Рейна отправил в тропики Сан-Доминго — сражаться с неграми, и там они стали вымирать от малярии. Погиб и шурин Леклерк, освободив Полину Бонапарт для нового брака — с князем Боргезе. Самых активных генералов спроводили из Парижа — кого в колонии, кого в дальние гарнизоны. Лагори тоже получил отставку. Братьям и сестрам Бонапарт доказывал: «Я могу быть спокоен лишь тогда, когда в Париже останутся люди, верящие мне и любящие нас». Сам порождение военной хунты, Бонапарт по себе знал, какая это страшная сила — *армия*, и он льстил ей, но он и боялся ее силы... Бонапарт однажды сказал Бурieniu:

— Я не выдерживаю, где взять сил? Пора разделаться с Бернадотом! Вся эта якобинская банда Моро и Бернадота отвратительна. Я в лицо Бернадоту скажу все, что думаю, и пусть нас рассудит судьба...

Через широкое окно дворца Бурienen видел, как подкатила карета Бернадота, он поспешил в приемную.

— Консул меня ждет? — спросил Бернадот.

— С нетерпением! Но я предупреждаю: если вы встретитесь сегодня, вы перестреляете один другого, а этого допустить я не могу... Очень прошу вас: возвращайтесь в карету!

Бернадот отступил, как отступил и перед Фуше 18 брюмера. Кто он был, этот гасконец, позже князь Понте-Корво? Как понимать его, будущего короля Швеции с несмываемой татуировкой на груди: «СМЕРТЬ КОРОЛЯМ»?..

Моро молчал. Наверное, в нем молчал не гражданин Моро, а великий архонт подполья филаделффов, морально ответственный за сохранность своих друзей. Но при этом, демонстративно сторонясь Цезаря и его окружения, он уже выглядел слишком подозрительно, а его неподкупность настораживала. Моро часто уединялся в деревне Гробуа. Полиция заметила, что в районе Сенарского леса проживали сплошь «исключительные» — Моро, Лекурб, Дельмас, Дюпон, Массена, под видом охотников они съезжались в лесу для разговоров, а подслушать их не удавалось. Но в салонах Парижа Моро высказывался:

— Быть первым гражданином в обществе равноправных граждан — этого, конечно, достаточно для человека большой духовной культуры. Но дикарям мало! Дикарь счастлив лишь в том случае, если заберется людям на головы, наслаждаясь их мучительным терпением... Каждый диктатор — дикарь!

Александрина родила ему сына, а вскоре забеременела снова. Лагори пришел и сказал, что в Безансоне у мадам Гюго тоже родился мальчик, которого назвали его именем:

— Виктор! Виктор Гюго... Уж я не знаю, Моро, какова выпадет ему судьба, вспомнит ли он меня?..

Моро не удивлялся любви Софи Гюго к этому стройному brunetu с живыми глазами, но, чтобы не вникать в чужие страсти, стал жаловаться на свою Александрину, которая была слишком далека от его убеждений:

— Правда, эта рознь еще не разделяет нас. Я всегда помню, что любимые жена и дочь Кромвеля были отъявленные монархистки, однако не ушел же он из дома... Такова жизнь!

Такова была жизнь, совместившая две разные натуры, даже слишком разные. Моро любил Александрину, и однажды на выходе из театра, когда генерал помогал ей справиться с длинным шлейфом платья, бродяга с тротуара злобно крикнул:

— Эй, гражданин! Скажи даме, что у нас была революция. Она уничтожила и пажей, шлейфы таскавших.

— Дурак ты,— ответил Моро.— Революция не уничтожила любви, а каждый мужчина обязан быть пажом любимой женщины...

Бретонец и креолка, они, конечно, не могли быть не разными. В стойком характере Моро угадывались леденящие ветры Бретани, желтые пески безлюдных пляжей, согнутые спины бедняков, тянущих сети из моря, выбирающих из земли жалкие картофелины. А пылкий говор Александрины благоухал, казалось, ванилью и пряностями, губы женщины складывались в дивные цветы тропиков. Шарль Декан, налюбовавшись женою Моро, размышлял о райских островах, где живут такие волшебные женщины... Моро соблаговолел Лагори, что Декан теперь каждое воскресенье торчит в саду Тюильри, желая встретить Бонапарта. Лагори ответил, что это естественно.

— Не все же в армии одобряют твоё отчуждение, ибо ты отталкиваешь Бонапарта, а Бонапарт отпихивает от себя всех, кто служил с тобою. Винить ли нам честного человека Шарля Декана, если он желает остаться в армии?..

Декан в Тюильри неизменно встречал Савари.

— Как здоровье Моро? — спрашивал он.— Отчего его нигде не видать? Не мало ли ему содержания? Если сорока тысяч франков не хватает, консул согласен прибавить...

Декан предупредил Моро, что Бонапарт, кажется, не теряет надежды снова вернуть доверие генерала, но Моро ответил, что отбивать поклоны в Тюильри не намерен. Декан доказывал: ограничивая себя только критикой правительства, вряд ли можно добиться серьезных результатов. Не лучше ли отряхнуть прах революции, чтобы приноровиться к новым условиям:

— И тогда, войдя в новую обстановку, открыто протестовать с высоты своего положения...

Бонапарт назначил Декана генерал-капитаном на острова Иль-де-Франс и Бурбон, и Моро счел это назначение замаскированной ссылкой. Но своим обращением к Бонапарту Декан невольно приоткрыл двери в Тюильри для других офицеров Рейнской армии. Моро в эти дни предупредил Максимилиана Фуа, что сейчас в настроениях республиканцев возможен опасный кризис:

— Даже самые стойкие, увидев крах своих надежд, могут склоняться к мысли, что монарх, ограниченный рогами конструкции, даст народу права, каких еще не дал народу никто... Эти люди не пойдут ни вправо, ни влево.

Они, как раки, станут пятиться назад. Я уже не осуждаю мадам де Сталь, которая сожалеет о прежних идиллиях Версаля...

Раскол среди офицерства продолжался — одни горой стояли за Бонапарта, бравирова доблестью при Маренго, служившие в Рейнской армии гордились славою Гогенлиндена. Соперники покидали Париж на рассвете, пение птиц они встречали в Булонском лесу. Из ножен, тускло поблескивая, медленно выползали шпаги. Офицеры Рейнской армии кричали в азарте:

— Виват Моро... прими от меня, вот так!

Герон Маренго тоже были отличные рубаки:

— За консула Бонапарта... получай, каналья!

Возле дома Моро на улице Анжу лакеи однажды вынесли из кареты Рапателя, всего в крови, израненного.

— В чем дело, Доминик? С кем ты дрался?

— С братом... с родным же братом! Он меня здорово распорол, но я удачным выпадом выбил ему гардой передние зубы. Теперь мы враги... на всю жизнь! Рожденные от одной матери...

— Какова причина дуэли? Не поделили наследство?

— Да, наследство... революции.

Бонапарт изменил тактику борьбы: он уже не отвергал офицеров Рейнской армии, напротив, привлекал их к себе воздаянием тех заслуг, которых ранее старался не замечать. Моро неожиданно ощутил вокруг себя чудовищную пустоту. Бонапарт оставлял его в изоляции: пусть он пашет под люцерну поля в Гробуа, пусть листает книги в башне замка Орсэ, пусть попивает винцо в холостяцкой квартире на улице Анжу, а две креолки пусть грызут ему темя... Пусть!

В эти дни на улице Анжу появился Фуше:

— Я слышал, у тебя налаживаются дела, Моро?

Вокруг Моро все разладилось, но он согласился:

— Да, у меня дела хороши.

— Так тебе и надо,— улыбнулся Фуше...

Если бы знать Моро, что напишет Фуше об этом времени в своих секретных анналах: «Мы очень много болтали о равенстве, но в сущности всегда оставались аристократами — более, чем кто-либо! Наша теперешняя система есть *остановка революции*, отныне уже бесцельной с тех самых пор, как мы добились *личных выгод*, на какие можно было рассчитывать». В этих словах, сказанных для себя, только для одного себя, бывший якобинец Фуше вывернул душу на-

изнанку, и сейчас, глядя на якобинца Моро, он загадочно повторял:

— Так тебе и надо... да, так тебе и надо!

Салоны оставались для Парижа «конторами общественного мнения»; министры и генералы ехали вечерами к Рекамье на ее дачу в Клиши, спешили на улицу Гренель в гости к мадам де Сталь; там обсуждались дела страны, политические и военные, что никак не устраивало первого консула.

— Кто управляет Францией? — возмущался он. — Неужели толстуха де Сталь или эта тихоня и недотрога Рекамье?

Бонапарт всегда считал, что женщины — «машины для производства детей», непременно толстых и жирных, они обязаны украшать торжество мужчин-победителей. Разведенных он сравнивал с уличными потаскухами, он растапывал их любовь к другим мужчинам. А мадам де Сталь доказывала, что искусству необходима свобода (в книге «О литературе»), она отстаивала право женщины на самостоятельность (в романе «Дельфина»), и Бонапарт по двум этим книгам выдвинул против нее юридическое обвинение — в безнравственности и безбожии.

Он снова прибег к большому опыту Фуше:

— Закрой салон на улице Гренель, как однажды ты запер клуб якобинцев на замок и унес ключ в кармане...

Его неприятно поразило, что мадам Рекамье отказалась от своего портрета кисти Давида, найдя его засушенным и невыразительным, теперь с нее пишет портрет Жерар, исполненный и портрет генерала Моро. «Это смешно, — сказал Бонапарт без тени улыбки. — Уж не любовный ли пандан?..» Через своих сестер он снова потребовал от женщины стать его официальной фавориткой. Но, получив отказ, обозлился:

— Фуше! Оповестите банкиров — я желаю видеть ее мужа вконец разоренным, чтобы эта кривляка завтра же проснулась нищей. Если она не уступит мне, я вышлю ее из Парижа...

Разорив дом Рекамье, наверное, он испытывал радость. Однако красавица с улицы Мон-Блан переехала на Rue de Passe, где снова открыла салон, хотя и бедно обставленный. В него снова устремились люди... Нашлись еще две смелые женщины. Креолка Реншо залепила Бонапарту пощечину, чтобы не болтал пошлостей, а мадам Фавье, уроженка Кас-

тили, в присутствии министров и генералов ударила его версом по морде.

В первом случае Бонапарт сказал:

— Сегодня я видел сон, будто ваш муж подал в отставку и вы следом за ним уехали в деревню...

Во втором случае он ограничил себя замечанием:

— О, да вы, я вижу, настоящая испанка...

А в Париже уже поговаривали, сначала шепотом, потом и громко, что Францию ожидает создание империи:

— Это будет империя *галлов*.

— Галлов? Тогда при чем же здесь корсиканец?

— Вот он и станет нашим императором.

— Уж лучше пусть вернуться Бурбоны...

И, словно в насмешку над Бонапартом, упрямые ветераны революционных войн кричали ему на парадах: «Да здравствует республика!» «Свобода, равенство, братство!» — эти слова еще украшали стены парижских зданий. Бонапарт велел их замазать, но маляры замазали столь жиденько, что эти призывы, проступающие наружу, прочитывались парижанами более внимательно, нежели ранее. А каково было консулу выносить крики на улицах: «Франция погибла! Да здравствует Моро...» Префект Парижа докладывал: «„Исключительные“ очень много говорят о Моро». Значит, Бонапарту тоже надо говорить о Моро.

— Да, — признавал он, — у Моро большой талант, который он и проявил в отступлениях. Не спорю, что именно Моро не раз выручал армии Франции из самых губительных положений. Суворов был прав, называя его «генералом славных ретирад». Но австрийский эрцгерцог Иоанн намного превосходит Моро, которому при Гогенлиндене повезло чисто случайно, как иногда везет нищему, нашедшему под мостом золотой луидор...

Бонапарт спешил и потому, как горячая лошадь, нетерпеливо брал барьер за барьером, чтобы скорее преодолеть несносное для него — и маловыразительное для политиков! — положение первого консула. Чтобы каждый солдат и офицер ощутил личную зависимость от него, от Бонапарта, он образовал орден Почетного легиона — не просто рыцарское единение награжденных, нет, возникла сложная организация с резиденциями и большим капиталом для инвалидов, имевшая даже свое административное деление. Моро говорил Лагори:

— В королевские мушкетеры брали за красоту, знатность и храбрость, а Бонапарту нужна слепая преданность ему.

Лагори ответил, что Бурбоны были скромнее:

— Они изображали на своих орденах лишь мучеников церкви, а Бонапарт сразу отчеканил свой профиль...

Франция встретила новый орден настороженно. Пренебрегая ропотом народа, Бонапарт стал появляться на парадах весь в шелку, в белых чулках, с пряжками на башмаках, окруженный свитой, а Жозефину сопровождали статсдамы, помнившие правила этикета в Версале — при королях... Бонапарт запретил охоту в королевских лесах, сказав, что все зайцы, олени и лисицы должны пасть только под его выстрелами!

Бертье навестил Моро в его квартире.

— Кстати, — сказал он, — первый консул просил передать, что ему желательно видеть тебя в составе Почетного легиона. Что бы там ни болтали завистники, но Франция тебя любит, и каждый француз спросит: «А где же Моро?»

— Франция меня знает как республиканского генерала, а республиканцу не пристало носить на груди портрет человека, не оправдавшего надежд республики...

— Бретонский упрямец! — вспылил Бертье. — Я вижу, ты готов рассориться даже со мной. Не ставь меня в неловкое положение. Появись хотя бы на обеде у меня в доме...

На обед к военному министру съехалась элита Парижа, и всем этим людям стало неловко, когда среди них, разряженных и сверкающих, вдруг появился генерал Моро — в сером сюртуке простого покроя, в кавалерийских сапогах с острыми, как кинжалы, испанскими шпорами. Впрочем, даже это общество оказывало Моро внимание, его просили сказать тост.

— Скажу! Я предлагаю выпить за нищих Парижа, чтобы они каждую ночь находили под мостами золотые лундоры...

Это был намек — опасный. Обида за поруганный Гогенлинден все же прорвалась наружу, и Моро не пожалел об этом. А с улицы слышался дробный перестук башмаков, молотивших по булыжникам: полиция разгоняла по тюрьмам торговков и лавочников с рынка, решивших создать свой «почетный легион», и горластый мясник охотно объяснял прохожим:

— Я кавалер берцовой кости... шутка ли!

«Чрево Парижа» со времен Генриха IV породило особую касту женщин — непокорных «пуассардок», которые еще при жизни Мольера любили поскандалить назло правительству, а теперь они шли в тюрьму, с гневной бранью выкрикивая:

- Глядите на принцессу спаржи и шпината!
- Я из легиона моркови и брюквы!
- Кавалерственная дама кошачьих печенок!
- Что в Париже без нас жрать станут?..

4. ПОЛИТИКА СВОБОДЫ РУК

Ученый швейцарец Лагарп, пристрастив Александра к чтению по ночам, сделал его полуслепым, Аракчеев, причая царя к грохоту артиллерии, сделал его полуоглохшим. Молодой император в разговоре прижимал ладонь к уху, он стыдливо пользовался лорнеткой. Все эти физические недостатки искупались приятной внешностью, ласковым вниманием к женщинам любого возраста, а голова императора была способна разрешать самые немислимые политические ребусы.

При дворе Александра тоже существовала оппозиция, и пусть не такая, как при Бонапарте, но все-таки довольно сильная; его поездка в Мемель для свидания с прусской королевой Луизой вызвала сильное недовольство в русском обществе. «Екатеринствующие» считали, что визит к пруссакам унизителен для чести России; у стариков и доводы были внушительные: «Матушка Катерина дома сидела, а дела шли куды как лучше, нежели нонеча, и при виде рублей наших в Европе не плевались, будто им червяка гадкого показали...» Вернувшись из Мемеля, император сказал графу Павлу Строганову:

— Зоицы не сознают, в чем был главный просчет моего покойного батюшки. Император шел на союз с Францией, не имея в Европе иных союзников, кроме Бонапарта... Так нельзя! Союз с одною лишь Францией ставит Россию в опасное положение: Петербург будет тогда зависим целиком от мнения Парижа. Имея же в союзе Францию, мы должны обезопасить себя — от той же Франции! — альянсами с другими государствами. Вот ради чего, а не ради голубых глаз прусской королевы я ездил на свидание в этот унылейший Мемель.— Он с улыбкой показал Строганову дверной ключ, и Строганов не понял его назначения.— Это ключ от спальни Луизы,— сказал царь...

Павел Строганов уже не выражал желанья быть адъютантом в свите Бонапарта,— даже издавелека он ощутил угрозу диктатуры Бонапарта в той же степени, в какой испытывали ее и республиканцы во Франции. Недавно Петербург известился о том, что путем интриг и грубого шантажа первый консул стал консулом *пожизненным*; он потребовал

себе шесть миллионов франков жалованья, а день своего рождения указал считать национальным праздником. Строганов подавленно рассуждал:

— Бонапарт, кажется, уподобляет себя богам Гомера, с трех шагов достигающих вершины Олимпа: первый шаг — орден Почетного легиона, второй — консул до самой смерти с правами монарха... Что сулит Франции его третий шаг?

Разговорами о реформах Александр искусно укреплял в обществе репутацию просвещенного монарха, идущего наравне с передовыми идеями своего века. Петербург, подобно Парижу, тоже имел салоны, где царствовали женщины ослепительной красоты, умные и начитанные, в этих «говорильнях» Александр возвещал, что пожизненное консульство Бонапарта опасно не только для Франции, но и для всей Европы:

— Отнимая свободу у французов, чем он может заменить ее отсутствие? Наверняка только войнами, увлекая нацию, и без того испорченную, к новым победам и новой славе...

Решающее слово при дворе Александра имел «негласный комитет», куда вошли его молодые приятели, и этот комитет возвышался даже над министерствами. Виктору Павловичу Кочубею было уже тридцать четыре года, в окружении царя он казался стариком. В доверительной с ним беседе император сказал, что Фуше, провожая Лагарпа в Петербург, просил воздействовать на него ради укрепления дружбы царя с Бонапартом.

— Я имел глупость сочинить Бонапарту любезное письмо, но Лагарп предупредил меня, что он вручит его консулу лишь в том случае, если убедится в его мирных настроениях. А в результате мое письмо осталось в кармане Лагарпа.

Кочубей заговорил об удалении Фуше, о том, что его министерство полиции, столь грозное, ликвидировано:

— Выплывает фигура Савари, которому поручено возглавить бюро тайной полиции. Что это значит?

— Хрен редьки не слаще, — отвечал Александр...

Русский кабинет был встревожен: Бонапарт уже тянулся к Босфору, он закреплял свое господство в Италии, Швейцария и Голландия раздавлены пятою французской оккупации, и, судя по всему, ни одну из этих позиций Бонапарт сдавать не собирался. Оппозиция русских вельмож хотела бы видеть в Александре продолжателя наступательной политики Екатерины.

— Но сейчас не те времена! — здраво говорил Алек-

сандр.— Раньше моя бабушка была уверена: «Без разрешения России ни одна пушка в Европе не выстрелит». Теперь мы, русские, вынуждены благодарить Европу даже за то, что нас предупреждают о своем желании выстрелить... Будем иметь руки свободными!

Эта неопределенность русской политики Парижу была понятна. Бонапарт в эти дни открыто сторонился английского посла Уитворта, но ему были неприятны и встречи с графом Аркадием Морковым. Однако избежать общения с ним он не мог.

— Талейран передал мне о неудовольствиях вашего кабинета,— сказал он, сунув руку за отворот жилета и откровенно почесываясь.— Я же не интересуюсь делами в Грузии или Персии, так почему же ваш государь скорбит о моих делах в Пьемонте или швейцарских кантонах? Разве я не указывал выгоды географического распределения наших сил? Идите и войте с турками или китайцами, залезайте к испанцам в Калифорнию... Я потому и поклонник вашей великой Екатерины, которая строила политику России, имея перед собой глобус! Но она изучала глобус лишь со стороны Азии...

В дурном настроении Морков навестил мадам Рекамье и ее новом убежище на Rue du Passe, сказал хозяйке:

— Нам следует ожидать скорой войны, мадам.

— Опять эти гадости,— ответила Рекамье...

Дамы в ее салоне восхваляли добрую душу Бонапарта, который, раскрыв недавно пустую табакерку, послал солдат в лавку за свежим табаком и не взял сдачи с десяти франков. Жермена де Сталь не удержалась, чтобы не съязвить:

— Какая тема для кисти Давида! Солдат, играя мышцами обнаженного торса, является под сенью античной колоннады с горстью табака, а Бонапарт в тоге римского патриция гневным жестом отвергает его руку с деньгами. Внизу же картины нужна золотая табличка с надписью: «Великодушные консула!» И, как всегда у Давида, главный герой будет изображен без штанов, а Жозефина останется без юбки...

К ней подошел генерал Лекурб:

— Ваши слова завтра же станут известны в Тюнльри.

— Почему не сегодня? — удивилась мадам де Сталь...

Морков с интересом оглядывал женщин, талии которых поднимались все выше — по желанию консула, по приказу его... О, классицизм! Не есть ли он продукт деспотии?

.....
— В моих глазах,— сказал Карно,— вы сейчас, пожа-

луй, единственный во Франции, способный возглавить ее демократию. Опасность вашего положения в том, что ваше имя слишком заманчиво и для роялистов. Берегите свои убеждения, Моро, чтобы их не колебали, как стрелку метронома, что недавно изобретен в Вене для глухого Бетховена...

Лазар Карно выступал против закрытия салона мадам де Сталь, против создания Почетного легиона, против обращения Бонапарта в пожизненного консула. Он разочаровался:

— Что случилось с французами, Моро? Я протестую, но я... *один*. Все молчат, боясь потерять оклады и служебные стулья. Кажется, я уже заработал себе право устать от политики и конец жизни хочу посвятить изучению воздухоплавания и тепловой энергии... *Suim suique!*

— Карно еще может улететь под облака, а куда лететь мне? — тихо спросил Моро. — Республиканцы, даже мои друзья, прячутся в провинции, чтобы о них поскорее забыли в Париже, или, напонадившись, шляются на поклон в Тюильри...

— Нет, еще не поздно! — оживился Карно. — Пульс революционной Франции еще отлично прощупывается на ослабевшем запястье народа... Нужен ваш талант, ваша вера!

— Почему вы решили, что на это способен я?

— Алмаз режут только алмазом...

Моро объяснил, что за свою жизнь уже насмотрелся на столько заговоров, на столько переворотов, что отныне он уверовал лишь в торжество общенародного плебисцита.

— Но восемнадцатого брюмера, — справедливо заметил Карно, — Бонапарт не ждал полномочий от народа.

— Однако сейчас в случае переворота, пусть даже удачного, возникнут новые потрясения — новые Конвенты, новые Вандеи! А я не желаю стать причиной новых кровопролитий...

Заговорив о Фуше, они пришли к выводу, что в его удалении с поста министра меньше всего виновен Бонапарт:

— Фуше знал, как никто, все плутни его братьев, все похождения его сестер. Консул не выдержал скандалов в семье, когда на него насели Жозеф и Мюрат, Элиза Баччиокки и Полина Боргезе, желавшие избавиться от слежки полиции. Наконец, и адъютанты консула — Дюрок и Савари...

Перед отъездом в свое имение Фуше зашел проститься к Моро, крах карьеры, кажется, не обескуражил его.

— Пока Бонапарт не оставил Жозефину, я буду необходим и Жозефине и Бонапарту... Вот я ухожу, — неожидан-

но произнес Фуше,— а тебе, Моро, будет намного хуже.

— Чем хуже, тем лучше, говорят иезуиты.

— Можешь верить мне или не верить — продолжил Фуше,— но я все это время оберегал тебя... Убедишься сам, станет ли оберегать тебя Савари? — На прощание Фуше сделал предупреждение, суть которого Моро оценил гораздо позже: — Бойся появления секретарей Робеспьера,— сказал Фуше и ушел...

Морков депешировал в Петербург об отъезде Фуше в Прованс, он не забыл упомянуть, что 3 декабря 1802 года генерал Моро отмечал юбилей битвы при Гогенлиндене, но, пожалуй, самым веселым на этом празднике был фейерверк, запущенный из садов Руджери его адъютантом Рапателем... Морков, конечно, не мог знать, что через три дня после этого торжества, а именно 6 декабря 1802 года, с острова Олерон убежит один «исключительный»... Фуше не стало. Но машина его работала!

.....

Жан-Клод Меге де Латуш, тайный агент Версаля еще до революции, затем секретарь Парижской коммуны, в 1792 году он открывал двери тюрем, убивая пикою всех подряд — женщин и священников, детей и аристократов. Сам угодивший в тюрьму, он позже издал памфлет: «Охвостье Робеспьера, или Опасность свободы печати». Бабеф сначала пригласил Меге де Латуша к себе, затем отверг его, заподозрив в нем агента шуанов. Писатель-убийца стал выпускать демократическую газету, которую субсидировал... *Фуше!* После 18 брюмера Меге де Латуш резко выступил против Бонапарта, и первый консул, недолго думая, спровадил его на Олерон, как заядлого якобинца. Депортация редактора проходила через канцелярию Фуше, который, наверное, даже радовался, что на Олероне будет иметь своего шпиона для надзора за республиканцами...

Бискайский залив зимою страшен! Утлую лодку с беглецом вышвырнуло на берег. Меге де Латуша встретили шуаны — молчаливые крепкие мужики в крестьянских плащах, широких шляпах, с шарфами на шеях. Перед ними лежали тайные тропы в дремучих лесах Ванден, где шуаны узнавали друг друга, подражая крикам ночных птиц. Меге де Латуш ничего о себе не рассказывал, а шуаны ни о чем не спрашивали: для них было важно, что он пострадал от власти ненавистного Бонапарта. В феврале 1803 года беглец был переправлен на остров Джерси. Английский пакетбот с общей каютой на восемь пассажиров отнесло ветром в сторону Гарвича. Отсюда в наемном дилижансе Меге де Латуш от-

правился в Лондон; гладкое шоссе стелилось меж зеленых лужаек, улицы деревень напоминали городские. Въезд в Лондон всегда незаметен для путешественника; ему кажется, что он проезжает очередную деревню, но дома делаются все выше и выше, наконец ему объявляют:

— Лондон! Можете забирать свой багаж...

Ноги провокатора точно отыскивали адрес потаенного убежища, где скрывались Шарль Пишегрю, отступник от революции, и Жорж Кадудаль, главарь кровавой Вандеи. Нельзя сказать, чтобы встреча роялистов с бывалым пройдохой была сердечной. Кадудаль, человек звериной силы и неукротимого духа, сразу взял любителя литературы за глотку и, легко оторвав его от пола, подержал на весу в руке, встряхивая, как бумажку:

— Ну, якобинская тварь... попался?

Иного приема Меге де Латуш и не ожидал (следовательно, и не обижался). Он сказал, что именно тайный якобинский клуб Парижа и прислал его в Лондон, дабы договориться о прочиом союзе с роялистами. Мало того, якобинцы сейчас более всего заинтересованы в реставрации Бурбонов, ибо при королях они бы имели больше свободы, нежели теперь...

— Ты пьян или бредишь? — заорал Кадудаль. — С каких же пор эти мерзавцы возлюбили власть королей?

Меге де Латуш повернулся к спокойному Пишегрю

— Времена изменчивы, как и люди, — мягко растолковал он. — И нет такой идеи, которой бы не смогли победить зависть, желание власти и денег... Откуда вам в Лондоне знать, что сейчас творится в Париже? Даже такие крепкие головы, как у Бернадота и Моро, даже эти головы, заверяю вас, начинают свихиваться направо после ужасов деспотии консула...

При имени Моро Пишегрю стал волноваться:

— Моро был моим другом, мы вместе сражались за революцию. Я слишком хорошо знаю его убеждения, и разве можно поверить, что этот человек способен изменить им?

— Отвечай, пес! — рявкнул Жорж Кадудаль.

«Пес» отвечал с завидным хладнокровием:

— О важных переменах во взглядах Моро мы были извещены даже на острове Олерон, и мне смешно, что в Лондоне об этом ничего не знают. Вы не забываете, — сказал Меге де Латуш, — что генерал Моро без памяти влюблен в молодую и красивую жену, воспитанную семьей и пансионом в монархическом духе. Все то, что Моро не узнал в якобинских клубах, то нашептала ему ночью жена в постели...

Пишегрю с Кадудалем обменялись тревожными взглядами, и это были взгляды умных людей, которые не устроятся идти на смерть ради своего торжества.

— Ну что ж,— сказал Пишегрю,— мы сведем тебя с милордом Хамондом, с русским послом Воронцовым, а что скажут в парламенте, так оно и будет...

Савари вскоре доложил Бонапарту, что тайный агент Фуше внедрился в святая святых роялизма, у него хватит ума на то, чтобы выманить главарей из их подполья.

— Теперь нам следует ожидать появления в Париже и Кадудала и Пишегрю, когда они, попавшись на нашу наживку, станут искать связей с генералом Моро.

Бонапарт никогда не забывал, что в Бриеннской военной школе он учился у Пишегрю, который считал его способным учеником. А консул терпеть не мог всех тех людей, что имели несчастье знать его в униженной юности.

— Если обо мне скажут, что я добр, значит, я занимаю не свое место. Дело не только в Моро! Надо раз и навсегда отвалить Бурбонов от престола Франции.— Но в беседе с Талейраном он, напротив, вдруг стал жалеть королей: — Граф де Лилль уже старый человек, а живет в Варшаве хуже последней собаки. Не пора ли предложить ему пенсию?.. Савари все понял Талейран тоже все понял.

5. МАЛЬТА ИЛИ ВОЙНА?

Талейран, действуя через посла в Берлине, начал провоцировать Варшаву, чтобы проживающий там Людовик XVIII отказался — за деньги, конечно! — от наследственных прав на престол Франции. Одновременно Бонапарт в письме к русскому царю просил его содействия в этом каверзном вопросе.

Александр на такие фокусы не улавливался:

— У меня хватает ума понять терзания этого мошенника, которому уже не сидится на обычных стульях. Опять он жалуется мне на графа Моркова, но Моркова я буду держать в Париже хотя бы потому, что он не нравится Бонапарту...

Иначе думал прусский король. По его настоянию варшавский бургомистр Мейер вступил в переговоры с королем, который принял его за столом, обутый в русские потертые валенки.

— Бонапарт отдает вам во владение княжества Лукку и Каррару в Италии с шестью миллионами ежегодного дохода.

— И что требует от меня взамен?

— Чтобы вся семья вашей древнейшей династии Европы навечно отреклась от престола Франции. В ином случае...

Но «граф де Лилль» в гневе затопал валенками:

— В ином случае я согласен есть черный хлеб!

Все Бурбоны, жившие в эмиграции, подписали особый акт несогласия на отречение, и Бонапарт, проглядев подписи, не обнаружил среди них имени Луи Энгиенского:

— Куда же делся этот молодой человек?

— Энгиенский,— пояснил Талейран,— проживает отдельно от родственников на самой границе с нами, в городке Эттенхейме Баденского герцогства, подле любимой женщины.

— Запомним этот городишко, Талейран! С божьей помощью я там и закончу свой короткий роман с Бурбонами...

Бонапарта уже занимало иное. Александр отказался от звания гроссмейстера Мальтийского ордена, которым так дорожил его несчастный родитель. Но Россия оставалась гарантом мира на Мальте, и консул снова писал Александру, указывая царю на упорство Англии, с каким она, вопреки решениям Амьенского договора, цепляется за бастионы Мальты. Но если Россия выступила гарантом независимости острова, то «я,— писал Бонапарт,— настоятельно прошу вмешательства вашего величества...». Александр понял, что, втягивая Россию в конфликт из-за Мальты, консул желает рассорить его с Лондоном. Письмо Бонапарта было помечено 11 марта 1803 года. Но через два дня все разрешилось помимо вмешательства царя. Обходя послов, Бонапарт мельком спросил Моркова:

— Вы не получали инструкций из Петербурга?

— Еще нет. Но жду.

Бонапарт задержался возле посла Уитворта:

— О чем думаете, милорд? У меня хватит арсеналов еще на три Маренго и на четыре Гогенлиндена, чтобы разгромить вас и ваши планы... Итак, вы решили объявить мне войну?

Уитворт имел хорошие нервы. Он поклонился:

— Мое королевство живет мирными надеждами.

— Знаю о ваших надеждах! По вашей вине Франция воевала десять лет подряд, теперь вы хотите войны еще на пятнадцать лет... Если в Лондоне не уважают договоров о мире, мы завесим их черным флером. Мальта или война, посол?

— Мой король слишком дорожит благами мира.

— Я не об этом спрашиваю вас... МАЛЬТА или ВОЙНА?

Уитворт покинул шеренгу послов, и его удаление означало, что Англия с Мальты никогда не уйдет. Бонапарт спокойным тоном напомнил Моркову, что ждет реакции Петербурга.

— Сейчас на Руси святки, затем пасха,— ответил Морков,— мы, русские, не любим спешить с ответами на письма...

Как был ненавистен консулу этот чурбан! Все отвратно казалось Бонапарту — и это некрасивое лицо, тронутое оспой, и эти узкие щелки глаз, и даже трость посла, в набалдашнике которой затаился свисток, чтобы подзывать кучеров на улицах или освистывать пафос Тальма в театре.

— Я испытываю к вам самые лучшие чувства,— сказал Бонапарт.— В ближайшие дни мы обязаны поговорить...

Талейран очень хотел завлечь Моркова на свои ночные оргии с распутницами, но этот чудак предпочитал скромные мизавы. Аркадий Иванович чувствовал, что Англия сознательно шла на разрыв Амьенского мира, а Бонапарт бушевал перед Уитвортом тоже небескорыстно. Во время войны консулу легче будет расправиться с остатками оппозиции, легче сделать последний шаг к высотам Олимпа. Две шестеренки сцепились зубьями и провернули колесо истории, не успевшее покрыться ржавчиной за эти краткие месяцы блаженного мира.

Россия еще надеялась предотвратить войну. Александр предложил Англии покинуть Мальту, для охраны же острова обещал поставить в Ла-Валлетте свой гарнизон, чтобы «яблоко раздора» сохранилось пока в русских руках. Два посла, Морков в Париже и Воронцов в Лондоне, обретали при этом полномочия мирных посредников между Англией и Францией. Но ответ царя пришел 11 мая — за день до отъезда Уитворта из Парижа... Талейран встретил Моркова словами:

— Вы решили оставить Мальту для себя?

— Россия побудет лишь в роли сторожа, дабы уберечь Мальту для самих же мальтийцев, когда угроза войны исчезнет.

Талейран глядел загадочно, как оракул:

— Все знают, что лев может загрызть тигра, но схватка льва с акулою невозможна... Да, мы не можем покарать Англию на морях, но мы вводим войска в Гайновер, наследственную вотчину британских королей на континенте Европы...

Давид в живописи, Тальма в трагедии, а в мире возвы-

шенной поэзии Бонапарт тоже имел своего «карманного» стихотворца — графа Луи Фонтана, который уцелел только потому, что воспевал любой режим во Франции, лишь бы его не трогали. Бонапарт, вызвав поэта, удивил его каламбуром:

— Фонтан, от вас желательно, чтобы вы как можно скорее испустили зловонный фонтан в сторону Англии.

— Слушаюсь и повинуюсь, — отозвался маэстро.

Жозефина вскоре устроила вечерний прием в Сен-Клу, гостям была предложена трагедия Расина, но, когда занавес опустился, Бонапарт не покинул ложу, все ожидали второй пьесы. Однако на сцене явился Франсуа Тальма во фраке и с бумагой в руках. Трижды поклонившись, он хрипловатым голосом извинился, что стихи, сочиненные лучшим поэтом Франции, Луи Фонтаном, еще не успели переложить на музыку:

— Но стихи и без музыки достойны нашего внимания...

Тальма прочитал грязный памфлет против Англии, в котором непристойно говорилось о парламенте, издевательски об английской нации. Дипломатический корпус встретил эту грубую выходку гробовым молчанием. Затем к русскому послу подошла Лиза Дивова, из семьи Бутурлиных, которую считали интимной подружкой Жозефины; она сказала Моркову:

— Ты не уезжай сразу, ты еще нужен...

Жозефина издала помахала послу веером. Как и следовало ожидать, гостей звали к столу, а Жозефина проводила Моркова до дверей кабинета, где Бонапарт начал странный разговор:

— Я согласен и на третейское решение спора с Англией во главе с вашим государством. Если царь сумеет убедить Лондон, чтобы его флот приостановил военные действия на морях, я обещаю сразу отвести войска из Ганновера, мало того, я даже верну сорок миллионов контрибуции, собранные мною с этих несчастных ганноверцев... Садитесь, граф!

Морков сел, немало удивленный: доверие Бонапарта к русскому кабинету — очень смелый политический шаг, и нет ли тут подвоха? Бонапарт между тем продолжал:

— Вы знаете, что Талейрана в Лондон я не пошлю, но пусть ваш посол Воронцов воздействует на английские головы. Поверьте, я абсолютно искренно желаю мира в Европе.

Беседа закончилась в три часа ночи. Утром, невыспавшийся, Морков сразу известил Петербург, что в желании Бонапарта подчиниться решениям России он угадывает скрытое желание «превзойти Англию», а мирные настроения

консула, столь неожиданные, «приобретут ему новую выгоду — как перед собственным народом, так и перед Россией». Талейрана утром он ознакомил с текстом своей депеши для графа Воронцова — в Лондон. Талейран ему посочувствовал:

— Вы не выспались, посол? А я спал, как дитя...

В разгар лета, взяв в дорогу семью, Мюрата с женою и Талейрана, консул отбыл на север страны, где у моря размещался Булонский лагерь — плацдарм для будущего нападения на Англию. Здесь на стапелях сооружались понтонные суда для высадки десантов — с пушками и кавалерией. Даву устроил для Бонапарта завтрак в роскошных шатрах. Ией не пожалел денег для карнавала в Монтреле, а булонские моряки чествовали консула в Дюнкерке. Все французы верили, что с «коварным Альбионом» скоро будет покончено и тогда для Франции настанет время вечного мира. Толпы наряженных зевак, мужчины и дети, бегали за каретой консула:

— Отечество и Бонапарт — вот наш боевой клич!

Наконец, мэр Амьена поднес консулу двух лебедей ослепительной белизны и сказал, что это — традиция:

— Королям наш город подносил одного лебедя, но сейчас мы дарим двух при виде короля и его королевы...

Только недалекий Мюрат, кажется, не понял этого намека, пожелав видеть лебедей уже поджаренными к обеду. Отсюда, из шума Булонского лагеря, под свисты морских ветров, среди грандиозных сооружений Бонапарт снова написал Александру — чтобы он отозвал своего посла Моркова. Талейрану было сказано:

— Если Петербург решил держать в Лондоне англичанина, — подразумевался Воронцов, — то пусть в Париж пришлют мне француза, — он намекал на негодность Моркова...

В ту пору еще никто не задумывался, куда будет повернута Булонская армия. Жители Лондона ожидали от Бонапарта всяческих пакостей — и высадки головорезов Массени, и прилета воздушных шаров с бомбами в корзинах. Но Булонской армии суждено в будущем проделать немыслимый «пируэт» — для встречи с русскими среди рыбных прудов Аустерлица.

.....
Уитворт еще не успел покинуть Париж, когда флот короля Георга уже начал свирепый пиратский разбой на морских коммуникациях, захватывая торговые корабли Франции и Голландии, и, когда сияющий Уитворт появился в Лондоне, его встретил лорд Хаммонд, не менее сияющий:

— Поздравьте нас! С этой войны, едва она началась, мы уже имеем чистую прибыль в двести миллионов франков от корабельных призов. Спасибо вам за эту войну!

— А каково здоровье Уильяма Питта?

— Лучше! По совету врачей Питт, чтобы не спиться на бренди, перешел на коньяк. Но он сильно сбавил норму портвейна, обходясь лишь пятью бутылками в форме, и будем надеяться, что эта война с Бонапартом вернет его из отставки.

Бравый алкоголизм британской аристократии ужаснул бы любого жителя континента, но только не Воронцова, который уже привык иметь дело с пьяными. Абсолютный трезвенник, он поспешил утром застать Уитворта, пока он трезвый.

— Да, наши дела неплохи,— сказал Уитворт,— теперь Бонапарт сунул лапу в наш капкан, и такой глупой осечки, как на улице Сен-Никез, уже не случится...

Речь шла о заговоре! Якобинцы, обращенные в монархическую веру, казались Лондону более активной силой, нежели роялисты. Меге де Латуш оказался ловким агентом. Парламент обязался субсидировать заговор, не подозревая, кто стоит во главе заговора. В августе Жорж Кадудаль уже покинул берега Англии, удачно высадившись у Дьеппа, за ним последовал и Меге де Латуш... Пишегрю оставался еще в Лондоне, чтобы обсудить свое будущее поведение с генералом Моро: именно участие Моро в ликвидации Бонапарта казалось англичанам главным залогом успеха. Связаться же с Моро мог только Пишегрю! У англичан всегда было пусто в арсеналах, зато подвалы Сити ломились от золота, и золото воодушевило на подвиг даже бурбонских принцев — графа Артуа и герцога Беррийского, поклявшихся выпустить из Бонапарта все кишки.

— Мы обязаны быть вместе с вами, дабы упрочить свои права на престол Франции,— было сказано ими Пишегрю.— Но прежде вы и Кадудаль должны обеспечить нам безопасную высадку у мыса Бивилль... Уверены ли вы в Моро?

— Я был его начальником, при мне его имя впервые стало известно французам, мы с ним быстро столкуемся. Не забывайте, что его отец был гильотинирован.

— Перед отплытием вас желает видеть граф Воронцов...

Семен Воронцов был опытным дипломатом! Однако ненависть к революции во Франции он перенес на всю Францию. Для обозначения французов он использовал слова «проклятые мерзавцы» или «негодные каналы». Безвылаз-

но просидев в Лондоне почти двадцать лет, породнясь с британскою аристократией, Воронцов уже начал судить о своей родине как о туманной абстракции, откуда крепостные мужики еще не забывают слать оброк своему пропавшему барину. Восторженный почитатель Питта, он проводил в Лондоне *свою* политику — в пользу Англии, а если Англия не соглашалась с Россней, Воронцов примыкал к мнению сент-джемского кабинета. Секретные инструкции о делах Мальты он давал читать парламентариям Лондона, сам и подсказывал, как лучше ответить в Петербург, чтобы Мальта оставалась в английских руках... Таким образом, если Бонапарт во время ночной беседы с Морковым и был честен, выражая желание мира, то все потуги к миру Парижа и Петербурга были заранее обречены на провал, ибо из Лондона они разрушались стараниями Воронцова, желавшего Франции, народу Франции, консулу Франции только гибели...

Его встреча с Пишегрю состоялась в Ком-Вуде, загородной усадьбе лорда Гоуксбери. Воронцов высказал удивление:

— С трудом верится, что Жорж Кадудаль, такой смельчак, и вдруг откажется убивать Бонапарта?

— Он желает его похитить,— ответил Пишегрю.

— Надеюсь, присутствие приицев крови сделает его активнее. Моро вовремя разрушил алтари, которым прежде поклонялся. Франция, конечно, пойдет за ним. И сразу, как только не станет Бонапарта, зовите из Варшавы Людовика Восемнадцатого...

6. «ФРАНЦУЗСКИЙ» ЗАМОК

Лагори получил анонимную записку, в которой его предупредили, чтобы он остерегался секретарей Робеспьера.

— Представь,— сказал Моро,— я получил такую же. Но странно, что об этом меня предупредил еще и Фуше.

— Вспомним, кто были секретари Робеспьера.

— Первый, кажется, Демаре.

— А второй... Второго звали Симон Дюпле.

— Да, Дюпле,— кивнул Моро.— Но почему сейчас мы должны их бояться? Какая-то нелепая чертовщина... мистика!

Вскоре генерал Савари с неподражаемой вежливостью пригласил генерала Моро в свое бюро тайной полиции.

— Я хотел вас лично поздравить. Дело в том, что в морском департаменте Финистер... Вы же оттуда родом?

— Да, из города Морле.

— Вас не забыли! — просиял Савари. — В департаменте Финистер префектом контр-адмирал Ньелли... Вы его знаете?

— Нет, я очень далек от флота.

— Ньелли просил оповестить вас, что население единогласно выдвинуло вас в *сенаторы* Франции.

— Доверие земляков приятно. Тем более, — сказал Моро, — я давно не был на родине, а меня еще помнят.

Савари глядел открыто, честно и прямо:

— Надеюсь, вы слышали, что наш консул предлагает всем, кто им недоволен (это касается и вас, генерал), встретиться в Булонском лесу для благородного поединка... Лучший способ разрешить все сомнения оружием.

— Мои сомнения на шпагах не разрешатся.

— И вы желаете оставаться в когорте недовольных? Мне кажется, честнее стать к барьеру, нежели действовать исподтишка... остротами, издевками, каламбурами, пасквильми.

— Это не мой жанр, — возмутился Моро.

— Возможно. Но пасквили вышли из-под пера вашего адъютанта Рапателя. Он достоин сурового наказания, если бы консул Бонапарт не ценил заслуги его родного брата.

— А это уже смешно, — ответил Моро.

— Это очень серьезно. Недавно из уст консула я слышал фразу: «Несправедливо, чтобы Франция страдала, раздираемая между нами... Бедная страна, если в ней есть люди, считающие, что Францией может управлять генерал Моро!» Извините, я не хотел вас обидеть, я только повторил, что сказано...

Моро вернулся на улицу Анжу, и Рапатель сообщил ему, что заходили генерал Лекурб с братом-юристом, советуя Моро приискать убежище, чтобы не ночевать дома.

— Неужели, — отозвался Моро, — возвращаются времена, когда люди боялись вечером идти домой? — Он отсчитал Рапателю денег, подсказал нужные адреса. — Ты знаешь, Доминик, как мне больно с тобой расставаться, но в Париже тебе жить нельзя. Поезжай в наш тихий Морле, женись, сажай яблони и крыжовник, вычесывай клещей из собаки, читай газеты... Мы еще встретимся, но уже в другой Франции!

Александрина родила девочку, здоровую и крикливую. С детьми и матерью она проживала в Орсе, а Моро остался на улице Анжу. В двери спальни он врезал «французский» замок с сигнальным пистолетом. Может, он еще и выстре-

лит, зажгая впопыхах свечу, и тогда Моро увидит, кого надо бояться...

По возвращении в Париж провокатор Меге де Латуш был сразу же арестован, чтобы на него не пало никаких подозрений. При нем нашли очень большие деньги, массу рекомендаций от самых влиятельных лиц сент-джемского кабинета. Но подлец не знал главного — планов заговорщиков (Кадудаль и Пишегрю оказались бдительны!). Моро проживал под негласным надзором полиции, и Бонапарт часто спрашивал Савари — почему его «бюро» еще не засекало в доме Моро роялистов из Англии?

— Все это очень странно, — рассуждал Бонапарт. — Можете ли вы заверить меня в том, что в Париже нет ни Жоржа Кадудалья, ни Шарля Пишегрю, ни принцев Бурбонов?

— Наверное, их просто нету во Франции.

— Тогда мои сомнения усиливаются. Меге де Латушу нет смысла обманывать нас. От подтверждения его слов — он и сам понимает это! — зависит его судьба...

Савари, раздраженный недоверием консула, ворвался в камеру, где томился писатель, и надавал ему пощечин:

— Свинья... что ты скрыл от нас?

— Клянусь! Тряхните еще разочек Креля.

— Крель все выложил и в январе будет казнен.

— Тогда страсбургский префект Ше.

— Ше отдал кучу денег, но связей не имел...

Бонапарт появился в Лувре на живописном вернисаже, его свита не смела судить о картинах, пока не выскажет о них мнение он, консул. Перед портретом мадам де Сталь он задержался, сказав, что в этой даме большой избыток мускулатуры. В руке Жермена любила держать веточку — регулятор речи, необходимый ей, как палочка дирижеру. Конечно, не ширина плеч писательницы, а ее остроты бесили консула.

— Если неугодных генералов я высылаю за сорок лье от Парижа, мадам де Сталь не смеет отныне приближаться к моей столице на сто лье... Савари, исполните это!

Шатобриан кисти Жироде произвел на него гадкое впечатление, а в руке писателя, заложенной за отворот жилетки, французы могли видеть пародию на самого консула. Бонапарт сказал, что Жироде не пожалел дешевой черной краски:

— Шатобриан похож на якобинца, который с ножиком и зубами проник ко мне в кабинет через трубу камина. — Но весь гнев консула достался Бенжамену Констану, которого

связывали с мадам де Сталь слишком тесные узы.— Савари, я думаю, нет смысла разлучать горячих любовников. Доставим удовольствие и мускулистой даме. Если они оба не успокоятся, их можно сослать и дальше, пока они не превратятся в крохотные точки, исчезающие за чертой горизонта... Ну что ж! — решил Бонапарт, закончив осмотр Салона.— Вернисаж в этом году оставил благоприятное впечатление, пусть мои живописцы трудятся и далее столь успешно...

Репрессии против писателей вызвали тревогу в русской колонии. Елизавета Дивова приставала к Жозефине с расспросами: «Неужели и мне расстаться с Парижем, без которого я не мыслю жизни?..» Петербург отзывал посла. Но курьер русского кабинета привез для Моркова орден Андрея Первозванного, высший орден империи, носимый с голубой лентой. С этим орденом Морков и появился в Тюильри на прощальной аудиенции... Самолюбие Бонапарта было задето. Он все время доказывал царю непригодность Моркова для его политики, а молодой русский император осмелился думать иначе.

— Я видел ваш портрет в Салоне, работы Изабе.

— Кажется, он вышел удачным,— ответил Морков.

— За исключением вот этой ленты...

В награждении своего недруга Бонапарт усмотрел вызов к политической дуэли, он сказал Талейрану, что можно готовить отозвание посла Франции из Санкт-Петербурга:

— Я согласен выстоять у барьера! Не понимаю Александра... или этот щеголь решил меня напугать?

Перед отъездом из Парижа граф Морков решил откланяться мадам Рекамье. Случайно встретив Моро, дипломат, не раскрывая источников информации, предупредил, что в Париже возможен заговор против Бонапарта, почему и посоветовал остерегаться всяких «случайностей»... Моро рассмеялся:

— Я знаю только одного заговорщика, от которого Бонапарт никуда и никогда не скроется... Это — *он сам!*

.....
Был январь 1804 года, улицу Анжу замело снегом.

Пистолет не выстрелил, а свечка не загорелась.

В дверях спальни Моро стоял гигант матрос, закутанный шарфом, и держал «карублер» (связку отмычек). Глазами он показал на сложное устройство «французского» замка:

— Такие штучки не для меня! Позвольте представиться: Жорж Кадудаль, сын мельника из Бретани, мы с вами

равны в чинах, но я стал генералом от королевской милости...

Моро не спеша одевался, он был спокоен.

— Кадудаль, вождь шуанов Вандеи, не может быть моим другом, хотя и достоин уважения, как храбрый противник.

Да, в храбрости ему не отказать. Стоя спиной к Моро, Кадудаль приткнулся к окну и не боялся выстрела в спину.

— Что вы там видите? — спросил Моро.

— Я оставил на улице своего адъютанта Пико...

Опять-таки странно. И непохоже на шуана. Почему он назвал адъютанта, будто он, Моро, сообщник Кадудала?

— Я привел к вам друга. Можно впустить его?

— Пусть войдет, — согласился Моро...

Внешне казалось, что Кадудаль — глыба мяса, костей и сухожилий, малоподвижная, но этот великан обладал почти изящной легкостью тела. Шагнув к дверям, он издал горлом странный звук, подобный крику филина в ночном лесу, и Моро услышал тягостный скрип лестницы под чьими-то неуверенными и замедленными шагами... Это был Шарль Пишегрю!

— Здравствуй, Моро. Знал бы ты, как противно видеть человека, который предал меня... Благодаря тебе, дружище, я совершил увлекательное путешествие в Кайенну, и мне еще повезло. Я сумел бежать из форта Сикхамори, откуда людей выносят только пятками вперед... бултых — в море!

Моро нервно набивал табаком свою трубку.

— Гадина ты, Пишегрю! — сказал он. — Прежде давай припомним, кто кого предал... Это не я, это ты, подлец, изменил народу ради служения Бурбонам, ненавистным французам... Бежал? Молодец, что бежал. Сидеть тоже никому не хочется. Я тебя даже поздравляю. Но мне тогда бежать было некуда. Я был разжалован, оплеван и едва не «чихнул в мешок»... Вот она, моя голова! Спроси — как она уцелела?

Под плащом Пишегрю обрисовались контуры пистолетов. Что они? Убивать его собрались? Пишегрю сказал:

— А кто из нас гадина? Не затем ли ты, Моро, и взялся за роль тюремщика в Люксембургском дворце, чтобы помочь чесночному корсиканцу вскарабкаться на свою же шею?.. Ну, каково тебе живется теперь? Где твои былые убеждения?

Громадный кулак Кадудала опустился на стол:

— Хватит! Мы пришли сюда не для того, чтобы лаяться. Моро засмеялся и распечатал бутылку с вином.

— Черт с вами, — сказал он. — Если уж вы подняли

меня средь ночи с постели, значит, у вас ко мне дело...

Но, послушав Кадудаль и Пишегрю, Моро понял, что роялисты ошиблись адресом. Они говорили, и довольно-таки откровенно, уверенные в том, что генерал Моро забросил прежние идеалы, как гулящая девка забрасывает чепец за мельницу. Для Моро было новостью, что в обширном заговоре роялистов, состряпанном мастерами этого дела в Лондоне, ему отводится заглавная роль, его имя должно стать знаменем роялизма, который каким-то непонятным образом должен сочетаться с поруганной революцией... Кадудаль охотно перечислял аристократов Парижа, назвал маркиза Ривьера и братьев Полиньяков, готовых хоть сейчас дежурить возле Мальмезона.

— А когда надо убить змею, палки найдутся,— сказал он, глотая вино фужерами и не пьянея.— Я сам скручу Бонапарта и потом за деньги буду показывать его в клетке...

Моро начал с признания: да, он противник Бонапарта в такой же, наверное, степени, как и они, но у него совсем иные к нему претензии, нежели у роялистов.

— Роялисты боятся за престол Франции, а я страдаю за народ Франции... Вас ввели в коварное заблуждение относительно моих убеждений,— сказал Моро.— Я могу поставить еще дюжину бутылок, я могу пьянствовать с вами до рассвета, но мы никогда не будем друзьями. Вы для меня останетесь врагами! Как бы ни презирал я Бонапарта, но я не пойду за вами ради его уничтожения, чтобы во Франции снова воцарились преступные Бурбоны.

— Ты всегда был идеалистом-доктринером,— ответил ему Пишегрю с раздражением.— Даже когда твоему отцу рубили голову, ты плакал навзрыд, но ты не пошел за мною в эмиграцию... А чего ты достиг? Ваша свобода за решетками тюрем, ваше равенство основано на неравенстве, ваше братство во всеобщей грызне за чины и деньги. Кто прав? Я или ты?

— Довольно слов, Пишегрю! — резко вмешался Кадудаль.— Моро честный человек, и он честно сказал нам все. А мы не виноваты, что нас действительно обманули, как дураков. Потому,— решил Кадудаль,— лучше всего нам встать, извиниться за беспокойство и уйти, затворив за собой двери.

Кадудаль замотал шею шарфом, снова становясь похожим на гуляку матроса. Он взвел курок на пистолете замка:

— Может, это вам еще пригодится.

.....

— Теперь,— сказал Савари,— я уверен сам и могу уверить вас, что ни Пишегрю, ни Кадудаль в Париже нет.

— Куда же они провалились? — спросил Бонапарт.

— Меге де Латуш провел нас...

Консул не поверил в это, ибо по опыту жизни знал, что все ренегаты служат лучше прозелитов.

— Вы ничего не умеете, Савари! На ваше место я посажу именно Меге де Латуша, который не только обманул милордов Англии, но и привез от них полные карманы золота... Придется мне — мне! — доказывать вам, что Кадудаль в Париже.

Савари вскоре убедился, что у Бонапарта, помимо бюро тайной полиции, существует где-то в преисподней еще одна полиция, более тайная. Не исключено, что под занавесом второй скрывается третья, а третья контролирует еще четвертая. В списках арестованных и подозреваемых он выделил фамилию Креля, которого должны казнить в январе 1804 года.

— Он знает об этом? — спросил Бонапарт.

— Знает и мучается страхом.

— Уже хорошо! Наконец, подозрителен и матерый шуан из дворян Буве де Лозье... Послушайте, Савари, я не понимаю: неужели из этих людей нельзя выжать последние соки?

— Из них уже ничего не вытечет.

— Моисей даже из камня в пустыне добывал воду...

Крелю объявили, чтобы готовился к казни.

— Нельзя ли пожить еще? — спросил Крель.

— Один ответ — один день,— отвечал Савари.

— Так не пойдет. Это не деловой разговор.

— Чего же вы от меня хотите?

— Мой ответ будет стоить всей моей жизни.

— Где Кадудаль? — спросил Савари напрямик.

— Глупцы... он с августа гуляет в Париже.

— Вся жизнь! — напомнил Савари.

— Ладно. Братья Полиньяки добыли форму консульской гвардии. Переодетые в эту форму, роялисты устроят нападение на карету консула по дороге в Сен-Клу или в Мальмею.

— Это мне известно,— сказал Савари как можно равнодушнее (хотя внутри у него все трепетало от радости).— Когда Кадудаль встречался с генералом Моро?

И тут допрос сразу же дал осечку.

Такое невозможно,— ответил Крель.— Моро никогда не пойдет на связи с роялистами из Лондона...

С этого момента Бонапарт *сам* взялся управлять тайным сыском, проявив в этом деле тонкую проницательность, знание людской психологии, мастерство следователя. Скоро уже не Савари консулу, а консул Савари излагал точную обстановку развития англо-роялистского заговора.

— С августа, с августа! — кричал он. — Кадудаль уже полгода шляется по Парижу, а что вы знаете о нем? Англичане высадили в это время у мыса Бивилль четыре отряда головорезов, а где их следы, Савари? О чем вы думаете?

Савари склонился в глубоком поклоне:

— Мною сегодня взят опасный Буве де Лозье.

— Ах, какая добыча, Савари! Надеюсь, вы не забыли поцеловать его под хвостом? Так идите и поцелуйте...

Савари вернулся в тюрьму Тампля, велел снять с ног шуана обувь и посадить в кресло на колесиках. Буве де Лозье, сидящего в этом кресле, придвигали к пламени камина.

— Пишегрю в Париже! — закричал он, не вытерпев боли ожогов. — Я скажу, только отодвиньте кресло... Кадудаль и Пишегрю были на улице Анжу у генерала Моро...

Измотанный после допроса, Савари вернулся из Тампля во дворец Сен-Клу, где бал был в разгаре. Обвитый лентами серпантина, осыпанный блестками конфетти, Бонапарт оставил танцующих и справился у Савари — как дела?

— Они были у Моро... Буве де Лозье сказал правду: Моро отказался участвовать в заговоре и выставил их вон.

— Но этого уже достаточно, — сказал Бонапарт. — Теперь дело за вами, Савари! Я занят танцами, и мне, первому консулу, не пристало шляться по чужим квартирам.

Савари посмотрел на его довольное лицо:

— Черт побери, но я тоже не занимаюсь этим...

В ночь на 15 февраля 1804 года дивизонный генерал Моро мучился застарелым военным кошмаром. Дороги отступления были разбиты копытами конницы, кузнечный фургон отбросило взрывом в канаву, из ящиков сыпались гвозди и подковы, из рванины мешков выпадали куски угля. Потом грянул выстрел, и Моро проснулся в комнате, уже ярко освещенной.

Надежный «французский» замок сработал.

— Генерал Моро, встань... ты арестован!

Он увидел перед собой секретарей Робеспьера.

Два привидения погибшего мира — Демаре и Дюпле.

Оба держали в руках белые костяные палочки — принадлежность агентов бюро тайной полиции.

— Мы с вами уже знакомы,— сказал Моро.

— Да, мы состояли в одном якобинском клубе.

Сказав так, они разом шагнули вперед и одновременно коснулись плеч Моро белыми палочками, словно накладывая на генерала незримое клеймо вечного проклятья.

— Одевайся, Моро! Пришла и твоя очередь...

7. ФРАНЦУЗЫ, СУДИТЕ!

В пансионе мадам Кампан учили, что для прогулок в Лоншане годятся духи с запахом жасмина, в салонах Сен-Жермена неприличен даже слабый аромат пачули, парфюмерия Парижа готовила духи для театра, для вечерних журфиксов, но даже мадам Кампан не могла бы точно сказать, какие духи лучше подходят для посещения государственных тюрем.

Александрине Моро исполнилось двадцать два года. Мать сказала ей, что в роду Гюлло еще не было арестантов:

— И тебе не стыдно показаться в Тампле?

— Нет! Не было же стыдно Бонапарту отрывать от меня мужа, отрывать отца от детей...

Двор Тампля был переполнен публлкой, ищей и богатой, простой и знатной, плач женщин сливался в один протяжный вой, здесь же весело играли дети. Иногда в окнах тюрьмы показывались руки — страшные, изувеченные. Лиц узников не было видно, но слышались их сдавленные голоса:

— Нас пытаются! Мы умираем в муках... Скажите всем — мы честные патриоты Франции! Да здравствует республика!

— Будь проклята эта республика! — звенело из других окон. — Пусть вернутся добрые короли...

Стоило во дворе появиться тюремному начальству, как толпа родственников обступала его с вопросами о своих отцах, братьях или сыновьях. Диалоги были одинаковы:

— Его в Тампле нет, ищите в Консьержери.

— Из Консьержери меня послали сюда.

— Тогда поезжайте в тюрьму Ла-Форс...

В канцелярии Тампля молодой чиновник-бонапартист (об этом легко было догадаться по красной гвоздике на его куртке, заменявшей отсутствие ордена Почетного легиона) вызвался проводить женщину до камеры свиданий. Следуя длинным коридором, он ловко вставлял в свою речь шпильки — а где же Рапатель? а где же Лагори? При всей

своей наивности Александрина дала правильный ответ:

— Мы с мужем проживали всегда отдельно — я в замке Орсе, он на улице Анжу... Я не знаю, где эти люди.

Девочкой на острове Бурбон она видела, как ее отец привозил негров-рабов из Занзибара на свои сахарные плантации — в клетках. А сейчас сама оказалась в клетке, с другой же стороны (тоже через клетку) она увидела мужа.

— Моро, Моро! Жан... Жан, я пришла к тебе...

В нем было что-то совсем чужое, незнакомое, и Александрина не сразу догадалась, что он плохо выбрит. Моро крикнул ей через прутья решетки, чтобы она не плакала:

— Жившему у подножия вулкана, мне давно бы пора знать, что вся лава потечет на меня, весь пепел падет на мою голову. Не плачь... золото мое! Не плачь, счастье мое, глаза мои, губы мои, радость моя безмерная... Ну будь так добра: улыбнись мне и скажи свое противное «пхе».

— Пхе, — ответила жена, глотая слезы...

Заплаканная, она вышла на двор тюрьмы, и здесь все эти люди, ждущие свиданий с родственниками, стали вдруг для Александрины родными и близкими: отныне она уже была сопричастна их страданиям. Но в Париже существовала еще одна тюрьма — *Карм*, в которой когда-то Жозефина Богарне томилась вместе с Терезой Гальен, и на стене их камеры долго сохранялись выцарапанные Жозефиной слова: «О блаженная свобода! Когда ты перестанешь быть пустым звуком?..» Об этом Александрина узнала со слов маркизы Идалии Полиньяк:

— Между нами есть нечто схожее: у вас двое детей, у меня двое, у Жозефины тоже были сын и дочь, когда она писала эти слова. Ах, что нам политика? Мы только матери...

.....

Контр-адмирал Ньелли, префект избирательного округа Финистер, еще ничего не зная, прибыл в Париж с делегацией земляков, даже с женой и детьми, чтобы лично доложить Бонапарту об избрании народом в сенат славного генерала Моро. Ньелли тут же со всей семьей заточили в мрачном Венсенском замке, и несчастный старик ничего не понимал:

— За что? Неужели только за то, что я возглавлял избирательный округ, почтивший Моро доверием? Но почему должны страдать моя жена, мои дети... Где же справедливость?

Афиши извещали парижан о расценках на головы

Пишегрю и Кадудалья, — цены быстро росли. Пишегрю скрывался на квартире своего лучшего друга. Когда плата подскочила до ста тысяч экую, лучший друг привел полицию.

— Будь ты проклят, — оплевал его Пишегрю...

Это случилось 28 февраля. Пишегрю отказался давать какие-либо показания следствию, он говорил, что все мысли, все слова прибережет для публичной речи в суде.

— Я не тот бездарный актер, что подает реплики за сценой. — На вопросы о Моро он отвечал с крайним раздражением: — Оставьте Моро в покое! Да, я был у него. Да, я беседовал с ним. Моро несколько не изменился за эти годы. Он такой же твердолобый якобинец, каким был и раньше. Моро сразу отрекся от наших дел. Теперь я молчу. А все, что народу надо услышать, будет сказано мною на суде...

Такое поведение Пишегрю насторожило Бонапарта:

— Но что он может сказать, этот изменник?

Сомнения, сомнения... Очевидно, за душою Пишегрю есть что-то еще такое, что способно потрясти не только своды суда, но заколеблются и колонны в Тюильри. Это понятно. Ведь соратники Пишегрю, вместе с ним осужденные, уже помилованы Бонапартом. Но Бонапарт не помиловал Пишегрю, на которого сам же и донес Директории. Теперь Пишегрю сядет на скамью подсудимых, а его бывшие друзья, благодарные Бонапарту, станут возвышаться над ним на прокурорских кафедрах... Что он скажет тогда?

— Мне это не нравится, — произнес консул...

Девятого марта Жорж Кадудаль ехал по улице Одеон в кабриолете, он ехал один — без адъютанта Пико. Тайный агент полиции узнал главаря шуанов и вскочил на подножку. Кадудаль убил его сразу же, спрыгнув на мостовую. Но среди прохожих было немало агентов, и они, чтобы вызвать сочувствие толпы, закричали: «Опасный грабитель... держите вора!» Кадудаль насмерть уложил двенадцать человек только кулаками. Толпа сыщиков и прохожих неслась за ним. Он прыгал через заборы, сокрушал грудью ворота домов. Врезался телом в стекла магазинных витрин. Приводил всех в ужас силою и бесстрашием. Но сотни людей уже облепили его, как мошкара облепляет гигантскую тушу, обреченную на гниение. Следствию он заявил

Эй вы... не тыкать! Я хотя из мужиков, но чин генерала заработал не в лакейских. Знаю, в чем меня обвинят. Но я не хотел убивать консула. Я хотел лишь похи-

тить его и укрыть от людей, как укрывают чумных от здоровых, чтобы они не могли заражать других...

Следствие установило: Кадудаль хотел напасть на Бонапарта тем же числом роялистов, какое составляло бы и конвой консула. Он хотел сражаться один на один! В этой наивности крестьянина было что-то подкупающе благородное. На вопросы о генерале Моро он отмахивался с улыбкой:

— Да бросьте! Этот подлец Меге де Латуш задурил нам в Лондоне головы, будто Моро спит и видит коронацию Бурбонов, вот мы, глупцы, и попались на эту вкусную приманку...

Савари вошел к Бонапарту с докладом:

— Так что же делать с Моро? Ни Пишегрю, ни Кадудаль не признают его участия в заговоре... Как же теперь строить его обвинение, если юридически он ненаказуем?

— Молчите, Савари! Моро имеет связи, ведущие далеко. Можно предполагать, что тут замешан и Буонарроти, и даже адмирал Трюге... Но для составления пышного букета недостает голов графа Артура или герцога Беррийского.

Савари погнал лошадей в Нормандию, там он много ночей дрожал от холода на утесах Бивилля, подавая фонарем сигналы всем кораблям, плывущим мимо. Однако принцы королевской крови, не оповещенные из Парижа о готовности к покушению, и не подумали рисковать в этой английской авантюре. Савари, жестоко простуженный, вернулся в столицу. Газета «Монитор» оповестила читателей: «Арестованы 59 бандитов, готовивших покушение на первого консула». В числе «бандитов» значилось и имя Моро — главаря роялистов. Никто не поверил этой клевете. Не было француза, который дал бы себя убедить в том, что их генерал Моро вдруг сделался роялистом, сами же роялисты смеялись над этой выдумкой, всюду говорили:

— Ну, кто мог это придумать? Землетрясению мы удивились бы меньше... К чему пишут о «заговоре Моро»? Не лучше ли писать совсем иначе: «Заговор *против* Моро»!

Случилось обратное тому, на что рассчитывал Бонапарт. Вызвав террор, консул надеялся, что Франция притихнет, безголосая и покорная. Но в народе возникла совсем иная реакция. «Возможно, еще никогда за время тирании Бонапарта люди не высказывались так свободно и так смело, как тогда» — это, читатель, слова современника. По сути дела, Бонапарт нечаянно для себя вызвал во Франции войну мнений. На острове Святой Елены, уже умирающий, он признался: «Кризис был тогда из сильнейших, в общественном мнении началось брожение, клеветали на правительство по

отношению к заговору и заговорщикам...» Исправить положение было нельзя.

Париж бесстрашно расклеивал прокламации:

**«СВОБОДУ МОРО или
СМЕРТЬ БОНАПОРТУ!»**

Бонапарт трусливо спрятался в загородном Сен-Клу, он обставил резиденцию караулами и (как писали очевидцы) часами просиживал в башне с подзорной трубой, наблюдая за дорогой в Париж, в каждом всаднике ожидая гонца, спешащего с известием о восстании в столице. Возле дверей спальни он укладывал на ночь верного мамелюка Рустама, а перед Мюратом консул даже не скрывал своих опасений:

— О, как призрачна власть в окаянной республике! Моя жизнь в руках того офицера, что командует караулом. Стоит ему свихнуть мозги на республиканских идеях, и его сабля сегодня же будет торчать из моего живота... Я успокоюсь, когда подо мною будет массивный престол монарха!

Савари старался переломить общественное мнение Франции, он велел Меге де Латушу:

— Сочини брошюру, увлекательную, как роман. Отобрази в ней связи Моро с англичанами. И не бойся открыто писать о себе, что ты якобинец... тебя не тронут!

Брошюра называлась: «Союз якобинцев Франции с английскими министрами». Такое же задание получил Пьер Редерер, тоже бывший якобинец. «Я еще никогда не видал столь зловещего для правительства (Бонапарта) настроения», — в ужасе признавался Редерер под старость. Но состав суда был уже подобран, начались не только допросы, но и пытки заключенных. В подвалах Тампля страшно изуродовали молодого Пико — адъютанта Кадудалья; парню так долго жгли ноги, что ступни обуглились, а кисти рук раздавили слесарными тисками. Бонапарт требовал от Савари крутого решения: или — или. Для успокоения публики нужно было что-то новое, необычное...

В канцелярии Тампля был сервирован богатый стол, Моро вызвали из камеры, Савари дружелюбно сказал:

— Бонапарту надоело... Он желает вас видеть.

— Зачем?

— Пора кончать этот анекдот. Напишите откровенно все, что известно о заговоре, поедем в Сен-Клу, консул простит, в «Монитере» будет об этом объявлено, а вы — сенатор!

— Благодарю,— ответил Моро.— Никуда я не поеду, а писать ничего не стану. Вам желательно видеть меня раскаявшимся, чтобы моя слабость прикрыла ваши преступления?

— А если я сразу выпущу вас из Тампля?

— Нет,— отказался Моро.— Теперь я из Тампля не уйду. Теперь-то уж я должен довести дело до конца. Я послушаю, что скажет на суде Пишегрю, и сам скажу все, что я знаю.— Моро заговорил об аресте Фуа: — Для себя я ничего не прошу. Но всему есть предел. Зачем арестован полковник Фуа? Он весь изранен в битвах. Таких людей — и держать в тюрьме?

— Хорошо,— сказал Савари,— я выпущу Фуа...

Он вернулся в Сен-Клу, застав консула в обществе Талейрана и Коленкура. Талейран многозначительно заявил, что, судя по результатам заговора, эти бессовестные англичане ценят кровь Бонапарта дешевле крови Бурбонов. Эта фраза произвела на консула такое же действие, как удар хлыстом по сноровистой лошади. Он живо обернулся к Коленкуру:

— Берите драгун, ночью пересечь границы Баденского герцогства. Вы сами разберетесь на месте, где ночует герцог Энгиенский — в доме прелестной Роган де Рошфор или в гостинице, что напротив ее дома. Эттенхейм — так называется, Коленкур, этот невзрачный городишко!

...Арман Коленкур был тогда инспектором его конюшен. Маркиз много делал для Бонапарта. Но делал и ради любви к мадам Адриенне де Канизн, которую он разводил с мужем, хотя Коленкур рисковал... даже очень рисковал.

.....
Александрина открыла окно в сад, ей очень хотелось покоя... Неожиданно лакей сообщил, что внизу (дело было в Орсе) какая-то дама просит о свидании.

— Пусть поднимется,— разрешила Александрина.

Перед нею явилась незнакомая женщина уже в годах, она держала в руке дорожный сак.

— Знакомо ли вам имя Розали Дюгазон?

— По театральным афишам — да.

— Значит, от мужа вы обо мне не слышали?

— Никогда.

— Его молчание, наверное, извинительно.

— Присядьте, мадам.

— Благодарю. Дело в том, что я долго и безнадежно (мне об этом не стыдно сказать) любила генерала Моро... Нет, я пришла не для того, чтобы причинить

вам лишние муки, которых у вас и без моих признаний достаточно... Моро пока еще в Тампле, но, когда следствие закончится, он окажется в Консьержери.

— Откуда, мадам Дюгазон, это известно?

— Милая моя, я ведь из «Комеди Франсез», а вся наша труппа во времена террора сидела по разным тюрьмам, ожидая казни со дня на день... Когда у вас свидание с мужем?

— В следующий четверг.

— В этот день останьтесь дома — за вас пойду я...

Из дорожного сака актриса извлекла мрачные одежды кармелитки, с профессиональной ловкостью переделалась, ее голову совершенно укрыл капюшон монашенки, давно отрешенной от мирских страстей. Дюгазон сказала:

— Я так много извела, столько перестрадала, что в конце жизни у меня ничего не осталось, кроме любви к вашему мужу. Простите, что напоминаю об этом. Но иначе мне трудно объяснить свое поведение...

Дюгазон изложила свой план: она явится на свидание в Тампль под видом монахини, как сестра или тетка Моро: в камере она и останется, а Моро под глубоким капюшоном и в длинной рясе, скрывающей его фигуру, выйдет на свободу.

— Вы погубите себя и его, — заплакала Александрина. — Вам не позволят теперь видеть Моро наедине... Если вы так добры, мадам, прошу — не делайте ничего такого, что могут истолковать во вред вам и моему супругу.

Розали откинула капюшон, встряхнув волосами, и Александрина позавидовала ее поздней, но еще яркой красоте.

— Жаль, — ответила актриса. — Париж ожидает от меня прощального бенефиса, и я решила сыграть свою последнюю роль на подмостках тюрьмы Тампля... Если этот план неуместен, так что же я могу сделать еще для свободы Моро?

— Я давно уповаю только на божью милость.

— А я буду уповать на трагедию «Серторий», в которой Помпей бросает в огонь список заговорщиков, не читая его...

Париж был заранее извещен, что Дюгазон выбрала для прощального бенефиса «Сертория». Все ждали появления Бонапарта, обожавшего трагедийную выпренность. О присутствии его в театре узнавали по караулу возле дверей, но задернутым шторкам на окошках из лож в коридоры, — он оставался невидим для других, огражденный от публики деревянной решеткой. Взвниченная Дюгазон играла Корнелию с небывалым накалом, а когда Серторий, не веря в за-

говор, швырнул в пламя список своих врагов, она обернулась лицом к ложе Бонапарта, в трагическом призыве вытянув к нему руки:

— О Серторий! Какие боги вложили в сердце тебе чувств пламень благородный, о, как велик ты стал...

Бонапарт понял, ради чего устроен этот бенефис, а публика, уже распознав интригу, устроила артистке овацию. Консул быстро удалился из театра. С верхних ярусов зала на головы зрителей плавно опускались белые батистовые платки, на которых было отпечатано типографским способом:

ДРУГ НАРОДА, ОТЕЦ СОЛДАТ МОРО — В ОКОВАХ.
ИНОСТРАНЕЦ СТАЛ НАШИМ ТИРАНОМ.
ФРАНЦУЗЫ, СУДИТЕ САМИ!

Дюгазон вызвал директор театра. Он сказал ей:

— Блестящий бенефис, мадам. Как уцелела моя голова? Но где была и ваша? Я вас искренно поздравляю: секретарь нашего консула Буриен велел оставить вашу старость без пенсии.

— В этом мире, — ответила женщина, — кроме ничтожной пенсии существует еще и большая любовь... Я сыграла свою последнюю в жизни роль. Французы, судите!

8. В ОЧЕРЕДИ НА СМЕРТЬ

Эттенхейм спал. Клара Роган де Рошфор проснулась от шума в два часа ночи. По стенам перебегали красные отсветы. Казалось, что в городе пожар. Она подбежала к окну. Вся улица была заставлена лошадьми, в руках драгун обгорали смоляные факелы. Женщина вдруг увидела Энгиенского: его вывели из отеля в нижнем белье. Он отыскал в окне любимую и сразу отвернулся, чтобы не привлечь к ней внимания французов. «На рысях... марш!» — скомандовал Коленкур.

Энгиенского везли через Францию очень быстро, никто не вступал с ним в разговоры, но молодой Бурбон, потомок «великого Конде», вел себя спокойно. Ночью кавалькада всадников въехала внутрь мрачного замка.

— Узнаю Венсенн — здесь я родился.

— Здесь и умрешь, — сказали ему.

Суда не было, а было судилище. Бонапарт прислал из Парижа сабреташей, жаждавших отличий, банду оголтелых бонапартистов возглавлял генерал Пьер Гюллен, раньше часовых дел мастер. Как можно быстрее Энгиенского обвини-

ли в устройстве заговора на жизнь Бонапарта, в том, что живет на деньги, отпускаемые для роялистов банками Англии.

— В последнем я сознаюсь, — сказал Энгиевский. — А на что бы я жил иначе? Не воровать же...

Ему зачитали смертный приговор, который Савари немедленно утвердил. Молодой человек спрашивал:

— За что? Где же хоть малая доля моей вины?

Сабреташи стал над ним измываться:

— Он еще спрашивает — за что? Но если француз достиг чина полковника, значит, он уже способен обо всем на свете судить справедливо. Иначе и быть не может...

Энгиевский хотел отрезать прядь волос, чтобы переслать ее с запиской для любимой в Эттенхейм.

— Пусть обо мне останется у нее память.

Полковники-судьи лирики не признавали:

— Успокойся! От тебя даже памяти не останется...

Ночью в камеру Энгиевского вошел священник:

— Господь повелел мне сказать вам, что он давно ожидает вас... Поспешим же, герцог, ближе к богу!

Во рву Венсеннского замка было темно. Гюллен светил фонарем, но солдаты никак не могли прицелиться.

— Слушай, — сказал Гюллен, — нам трудно попасть в тебя в такой темноте. Не сможешь ли подержать фонарь?

Энгиевский прижал фонарь к своей груди

— Надеюсь, вам так будет удобнее?

— Да, спасибо. Теперь мы видим тебя . пли!

После казни Савари и Коленкур стали хлестать вином по косякам Венсеннского замка. Коленкур спросил:

— Вам не кажется это злодейство бессмысленным?

— Похоже на то, — согласился Савари. — Нашему консулу захотелось взбодрить себя стаканом свежей человеческой крови. Уж теперь-то Англия моментально сколотит против Франции новую мощную коалицию... заодно с Россией!

— Я слышу голос женщины и плач детей... откуда?

— Да, — сказал Савари, — здесь в замке сидит семья контр-адмирала Ньелли... таков приказ консула!

Когда до провинции дошло известие о казни Энгиевского, Фуше сказал. «Это не просто юридическое преступление — это хуже: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА». Толкнул Бонапарта на преступление многомудрый Талейран, и Бонапарт, при всей своей жестокости, кое-что уже понял.

— Задали вы мне лишнюю работу! — сказал он Талейрану — Теперь отзывают французов из Петербурга поскорее, пока русские не дали им хорошего пинка...

Коленкур сказал, что приема ожидает несчастная Идалия Полиньяк с просьбой о помиловании мужа.

— Да, маркиз! Теперь я вынужден быть милостивым...

6 апреля Савари был срочно вызван в Тампль, где ему сказали, что Пишегрю найден в казарме задушившимся собственным галстуком. Вечно полупьяный надзиратель Фонконье перебрал в эту ночь, кажется, лишку. Савари спросил его:

— А почему у Пишегрю не отняли галстук?

— А на чем бы его тогда вешать?..

Никто не поверил в самоубийство Пишегрю: человек, упорно молчавший на допросах, чтобы заговорить на суде,— конечно, такой человек опасен. Возможно, версия о самоубийстве и была бы правдоподобна, случись смерть Пишегрю ранее казни Энгиенского, но теперь Бонапарту уже не верили. Европа пережила нервное потрясение: не потому, что Энгиенский был другом народов,— нет, политики справедливо указывали на грубое нарушение международного права: драгуны Коленкура перешли границу Бадена, схватив невинного человека на чужой территории. После смерти Пишегрю у Моро отобрали бритву, и он не упустил случая для создания каламбура: генерал требовал вернуть *rasoir national* («национальную бритву», как называли во Франции гильотину). Никто не оценил тогда его зловещего юмора... Демаре и Дюпле Моро не терпел, третируя их, оскорбляя. На вопрос о Буонарроти он дерзил:

— Я же не спрашиваю вас о ваших знакомых.

— Что известно о тайном «Обществе филладельфов»?

— Если оно тайное, пусть в тайне и останется...

Судя по тому, как часто поминали имя Виктора Лагори, Моро догадался, что Лагори, очевидно, был более видной фигурой в демократии, нежели он полагал о нем ранее. Моро чувствовал, что Лагори ищут. Наверное, он где-нибудь бродит сейчас по дорогам провинции, играя в трактирах на гитаре. Но спрашивали и о мадам Софи Гюго, и Моро понял, что полиции известно о любовном романе этой женщины с Лагори.

— Не приставайте! — отвечал Моро. — Я знал только ее мужа, служившего при моем штабе на Рейне, но где он сейчас... Кажется, в Италии — ловит в горах разбойников.

Демаре и Дюпле отказались иметь дело с Моро, и Савари прислал префекта полиции Этьена Паскье, который не мог раздражать узника ни прежним якобинством, ни теперешним роялизмом. Паскье сам и отметил эту общность:

— Наши отцы были адвокатами, и оба они «чихнули в мешок» на эшафоте неизвестно за что... Так, Моро?

— Причина была. Мой отец осмелился защищать в суде бедного крестьянина, засеявшего свое поле не мансом, а картофелем. Тогда у меня,— сознался Моро,— был очень тяжкий период жизни, и Пишегрю был уверен, что я последую за ним в эмигрантскую армию принца Конде.

— Почему вы сразу не донесли о его измене?

— А черт его знает! — честно отвечал Моро.— Я ведь думал, что бумаги о нем мне нарочно подкинули в карете, брошенной на дороге¹. У Пишегрю всегда было много завистников его славы, и мне казалось, что враги решили его погубить...

В беседе с Паскье он не терял веры в лучшее будущее:

— Если бы у меня не было этой веры, стоило ли мне отдавать войнам юные годы? Хотя, по правде сказать, Паскье, я не вижу большой разницы между пушкой и гильотиной — и пушка и гильотина одинаковые орудия пытки... Однако,— засмеялся Моро,— большой опыт отступлений приучил меня при отходе армии заклепывать пушки противника!

Паскье отлично понял его намек:

— Вы желаете сказать на суде то, чего уже не может сказать Пишегрю? Предупреждаю: Бонапарт будет настаивать на смертном приговоре, чтобы затем помиловать вас и этим вердиктом поднять свой авторитет в народе. Но возможно и другое: он нарочно вводит судей в заблуждение, чтобы, добившись от них смертного приговора для вас, утвердить его! Кстати, знайте — Идалия Полиньяк уже была у Жозефины...

Об этом визите Александрина Моро уже знала, решив тоже ехать в Мальмезон, согласная на любое унижение — лишь бы спасти мужа от казни. Мадам Гюлло возражала:

— Пусть отрубят моему зятю голову и пусть мои внуки останутся сиротами, но мне, гордой креолке с Бурбона, не пристало терпеть унижений от этой вредной семейки...

В прудах Мальмезона, под нависшими купами деревьев, тихо плавали черные лебеди. Маркиза Куаньи, придворная дама, забрасывала в пруд удочку.

¹ Бонапарт обнаружил документы, изобличающие Ш. Пишегрю в связях с Конде, в карете русского шпиона графа Антрега; странно, что Моро нашел такие же документы тоже в дорожной карете. Нам встретится еще одна карета, но уже в 1813 г., о чем речь в романе пойдет позже.

— Не надо мне кланяться, — сказала она еще издали. — Вам еще предстоит немало кланяться в этом доме... Я все уже знаю, Жозефина тоже. Пройдите к ней сразу.

Жозефина сумела забыть прежнюю вражду с семейством Гюлло, проявив благородство. Это и понятно: она сама ожидала казни в тюрьме, сама потеряла мужа на эшафоте и по-женски лучше мужчин понимала, как тяжело терять близких.

Но она ничего не значила в государстве мужа.

— Могу лишь советовать, — сказала Жозефина. — Встаньте возле этих дверей, которых не миновать консулу. Если хотите добиться успеха, называйте его самым высоким титулом... хоть императорским! Этим вы его сразу растрогаете.

Заранее опустившись на колени, Александрина невольно сжалась в комок, покорная и готовая к унижению. Послышались шаги консула, женщина впервые увидела его так близко. Вот он — коротенькое туловище с уже выпирающим брюшком, Бонапарт быстро поправил на лбу реденькую челку.

— *Ваше величество!* — титуловала его Александрина. — Неужели вы не можете простить моего несчастного мужа?

Бонапарт не мог скрыть своего удивления:

— Мадам Моро? Почему вы просите за него? Ведь ваш муж собирался занять мое место.

Александрина вскочила с колен, крича и плача:

— Неправда, это клевета... Я знаю все! Моро мне рассказывал. Вы были еще в Египте, когда Сийес предлагал ему как раз то высокое положение, какое сейчас занимаете вы.

— Положение *его величества*? — усмехнулся консул.

— Нет! — крнчала Александрина, яростная от борьбы за своих детей. — Нет, нет, нет... Моро честный человек. Отказавшись от власти при Директории, как он мог бы желать власти при Консулате? Ради моих детей... умоляю...

— А сколько их у вас? — спросил Бонапарт.

— Двое.

— Они, наверное, жирные? Они толстые, да? — назойливо приставал консул. — Они много плачут, они мешают спать?

Жозефина помогла Александрине своими слезами:

— У меня тоже было двое, когда я томила в Карме.

Бонапарт, уже не глядя на мадам Моро, обращался к жене, понимая, что здесь замешано ее доброе сердце.

— В чем дело? — заговорил он. — Я всегда уважал Моро, и я не собираюсь тащить его на Гренельское поле...

В душе Александрины возникла робкая надежда. Она велела кучеру кареты следовать за нею, а сама пешком пошла через Париж, и старая цветочница подарила ей букетик фиалок. В ответ на это сочувствие Александрина щедро отсыпала в сморщенную ладонь монет, а старуха удивилась:

— Такие большие деньги человек может отдать в двух случаях — в страшном горе или в большой радости.

— У меня сейчас и то и другое,— ответила Моро...

В этот же день Бонапарту заявил протест генерал Лекурб, сказавший, что держать Моро в тюрьме — преступление.

— Народ знает Моро, народ любит Моро...

Бонапарт вычеркнул Лекурба из списков армии.

— За сорок лье от Парижа,— велел он Савари.

.....
Вряд ли французы заметили, когда и с какого рубежа их республика превратилась в военную диктатуру, но сторонние наблюдатели, глядевшие на Францию издалека, уже давно предсказывали обращение диктатуры в абсолютную монархию. Конечно, нужна большая дерзость, чтобы из недр революции вызвать нового идола со всеми атрибутами монархической власти — престолом и короною, наследственностью и «цивильным листом», который должен оплачивать народ... Карьеристы заранее учуяли, в чем нуждается душа корсиканская. Уже с весны в «Монитере» публиковали письма из провинции. Их авторы, префекты и мэры городов, назначенные при Бонапарте, требовали, чтобы звание консула стало наследственным, как в монархических династиях. Они еще боялись произнести слово «император», но Бонапарт сам помог им: «Если Франция и народ нуждаются в упрочении порядка, я не могу отказать ни Франции, ни народу». Чтобы ускорить события, в Тайном совете он перешел к угрозам:

— Вы разве решили испытывать терпение моей армии? Пока вы тут болтаете, моя армия пустит в дело штыки...

О том, что штыки пойдут в дело, напоминал и «Монитор». Лазар Карно предупреждал в Сенате, что, какое бы ни возникло решение, оно всегда будет фиктивным, насильственным:

— Общественное мнение никогда не будет правильно выражено, пока во Франции отсутствует свобода печати...

Бонапарт вызвал из отставки Фуше, указав ему, что пора возобновить министерство полиции. Он предъявил ему бумагу, полученную из испанского Кадикса, где базировалась французская эскадра под флагом адмирала Трюге:

— Трюге слишком горячо порицает желание народа ви-

деть меня императором. Все мы знаем, что на флоте полно парусины, канатов, цепей, меди и всяких красок... Не может быть, чтобы все сошлось точно по калькуляции. Если этого барахла не хватит, надо взбодрить Трюге судом за хищения. Странно, что адмирал столько раз сидел в тюрьмах, а все еще не наелся чечевичной похлебки...

18 мая 1804 года Бонапарт — с именем НАПОЛЕОНА — был провозглашен французским императором. Начиналась оргия празднеств, самой низкопробной лести; в эти дни можно было слышать даже такие восклицания: «Корабль революции введен в спокойную гавань империи... Великий человек завершил свое творение... Он бессмертен, как и его слава! Долой оковы демократии, губящей свободу и равенство... Да погибнет невежество наших былых заблуждений!...» Только один Лазар Карно осмелился выступить против создания империи.

— Что с вами, французы? — спрашивал он. — Или вы... больны? Неужели Франция показала человечеству образцы свободы только затем, чтобы сама же Франция не могла вкусить от ее благ? Неужели природа, вложившая в душу каждого человека неугасимое влечение к свободе, поступает с нами, как злая мачеха? Мое сердце говорит, что свобода — это не фантазия, а любой порядок демократии всегда будет прочнее власти одного человека, власти личного произвола...

Речь Карно — как последний вздох революции!

Через десять дней в Париже открылся процесс Моро.

9. ЗА МОРО, ПРОТИВ МОРО

Восемнадцать генералов (в том числе и Бернадот!) стали маршалами, а Мюрата император удостоил еще и титула «великий адмирал». Всегда пылавший ненавистью к Моро, этот «адмирал» ретиво взялся за поручение Наполеона — оцепил Париж, замкнул заставы, задержал отправку почты, всех въезжающих в столицу обыскивали. Савари было поручено взять шесть тысяч штыков из гарнизонов, окружить здание суда, внутри его расставить караулы, дабы пресекать в публике любое проявление сочувствия к подсудимым...

Бонапарт заранее устранил из суда присяжных заседателей, судивших по долгу гражданской совести, он назначил судей без совести, зато лично ему преданных. Цитирую: «Важно отметить, что весь процесс над Моро рассматривался правительством как процесс над лидером республики».

канской оппозиции, чье осуждение необходимо для дальнейшего усиления режима. Это обстоятельство хорошо понималось и в обществе, и бонапартистски настроенными судьями»¹. Председательствовал Эмар, обвиняли Реаль, Тюрио и Гранже, защищать Моро взялся адвокат Лекурб — брат сосланного генерала.

— Мне уже терять нечего, — сказал Лекурб. — Шесть тысяч солдат на улице приветствуют Моро, их боится даже Савари...

Сушая правда: тех солдат, что стояли внутри здания, Савари за время процесса менял четырежды (наслушавшись речей, они из бонапартистов делались республиканцами). Заседания суда начинались в семь часов утра, когда ряды для публики еще пустовали. Маркиз Ривьер сказал Моро:

— Злая шутка! Волею Бонапарта мы записаны в одну шайку. Бандит, я заключаю вас в пыльные бандитские объятия.

— Обнимайте! Но я, маркиз, не рассчитывал грести с вами одним веслом на одной и той же каторжной галере...

Конечно, Моро было не по себе оказаться на одной скамье с роялистами. Но с Кадудалем он даже сдружился. Жорж шел себя с удивительным мужеством, беря на себя даже чужие вины; безграмотный крестьянин, он обладал хорошими манерами и, замечая в публике слезы женщин, всегда вставал, низко кланяясь в их сторону... Кадудаль намекнул Моро:

— Знаешь ли, что в гарнизоне Парижа не все спокойно? А если рискнуть, можно взбунтовать солдат. Меня они не поддержат — я роялист, но тебя вынесут отсюда на руках...

Да, во время процесса были замечены люди, рассыпавшие угрозы: «Если Моро осудят, императору не жить». Но суд продолжался, хотя обвинения рассыпались. Давшие показания против Моро теперь отказывались от них. Они говорили, что ложные показания вырваны у них пытками, их выводили к свежим могилам, где угрожали расстрелять сразу, если они не подпишут ложных обвинений против генерала...

Моро уже начал «заклепывать пушки» противника:

— Вся моя жизнь только Франции, только революции! Мне не было и семнадцати, а я уже командир батальона,

¹ Туган-Барановский Д. М. Наполеон и республиканцы. Изд. Саратовского ун-та, 1980. С. 90.

не было двадцати, когда я стал дивизионным генералом. Сейчас моя жизнь стоит лишь капли чернил, необходимой для подписания смертного приговора. Но никто в этом мире не заставит меня раскаиваться в начале жизни, прекрасном, как и в конце ее. Клянусь — я жил и умру гражданином Франции!

Публика рукоплескала ему, женщины бросали цветы, через окна слышался гул солдатских выкриков: «Свободу Моро!», а Кадуаль даже позавидовал генералу:

— После таких слов надо было прыгать в окно. На твоём месте я сегодня же ночевал бы в Мальмезоне с Жозефиной, а император Наполеон подносил бы мне шампанское.

— История нас рассудит, Жорж, — ответил Моро.

— Э, нашли адвоката — историю! Разве эта беззубая старуха, рано облысевшая, способна быть справедливой?..

Москва была безумно далека от Парижа, в ее бабушкино-дедушкиных садах и огородах росли иные цветы и овощи, совсем иные заботы одолевали наших предков, но за процессом генерала Моро русские люди следили по газетам. «Московские ведомости» извещали, что жена Моро теперь оказалась в самом центре внимания Парижа, французы горячо ей сочувствовали: «Вся улица, на которой дом ее находится, установлена была по обе стороны экипажами... Г-жа Буонапарте сделалась больна с печали. Она много раз изъяснялась, что отдала бы все на свете, только бы Моро оказался невинным...» В семье Наполеона мира не было, после расстрела герцога Энгиенского сестры закатили брату истерику, а Каролина Мюрат выразилась яснее всех родственников:

— Он с этим хромым Талейраном навредил сам себе. Но самое страшное, что увлечет в бездну и всех нас... Пусть он выпустит генерала Моро, и нам будет спокойнее...

Между тем скамью подсудимых Моро уже обратил в трибуну, он предупреждал Францию об опасности захватнических войн:

— Навязывая свою волю и свои взгляды соседним народам, мы искусственно вызываем кровопролития, от которых уже начала уставать Франция, а скоро устанет весь мир. Штыки хороши для атак, но штыки совсем непригодны для того, чтобы на их остриях переносить в другие страны идеи...

Заодно он отхлестал и Наполеона, обвиняя его Итальянскую армию в грабительстве. «Война под моим началь-

ством, — говорил он, — была бедствием только на поле сражения. Когда победа открывала мне путь, я старался заставить неприятеля уважать французов... Много раз побежденные мною враги отдавали мне долг справедливости в этом отношении».

Тюрио бил и бил в колокол, требуя тишины:

— Мы уже немало слышали тут о подвигах Рейнской армии и благородстве ее. Но пусть Моро ответит суду, кому он обязан успехами в своей головокружительной карьере. Не он ли продвигался по службе под эгидою изменника Пишегрю?

— Пишегрю мертв! — крикнул Моро. — Будьте осторожны со словом «изменник». Со времени штурма Бастилии революция наплодила столько «изменников», которые из друзей народа завтра становились его врагами. Гильотина, не успев обсохнуть от крови, обрушивала секиру и на тех, кто вчера судил за измену... Оглянемся вокруг себя! — призвал Моро публику. — Люди, осужденные заодно с Пишегрю, оправданы при консуле Бонапарте, а сейчас, при императоре Наполеоне, они сидят в этом зале. Здесь меня осуждают за общение с Пишегрю, но ни одного камня не брошено в голову тех «друзей» Пишегрю, которых мы наблюдаем довольными и благополучными. Вечером вы увидите их всех в Тюильри, они будут танцевать!

Эмар с Тюрио торопливо предъявили обвинение:

— Ваша измена Франции, и следствием это установлено, доказывается характером ваших свободных речей, в которых вы с завидным постоянством осуждали действия правительства, оскорбляя священную особу императора...

Моро не вытерпел подобного кощунства:

— Достоинство человека, свободно выражающего свои мысли, не старайтесь превратить в пункт его обвинения. — (Из протокола суда: «Свобода речей! — воскликнул Моро. — Мог ли я предполагать, что такая свобода может считаться преступлением у того народа, который узаконил свободу мысли, слова и печати и который пользовался этими свободами даже при королях. Признаюсь, я рожден с открытым характером и, как француз, не утратил этого свойства, почтя его первым долгом гражданина».) — Меня упрекают здесь даже в моей отставке, — продолжал Моро. — Но допустимо ли, чтобы заговорщик, каким меня рисуют, уклонился от большой власти? Вы же знаете: ни Кассий, ни Брут не удалялись от Цезаря, чтобы легче и надежней его поразить...

Пришло время для адвоката Лекурба.

— Не только я,— начал он,— но и вся Франция испытала острую боль в сердце, узнав, что Моро арестован. Здесь его пытаются судить за то, что его мнение никак не согласно с правительственным. Но, помилуйте, общественное мнение всей нации *тоже* не согласно с правительством... Осуждая генерала Моро, вы осуждаете всю Францию, весь народ, принесший колоссальные жертвы ради тех принципов, за которые с юных лет сражался наш дорогой подсудимый. Но если правительство обвинит генерала Моро, общественное мнение Франции все равно оправдает генерала Моро...

Семью голосами против пяти Моро был оправдан!

Эмар, Гранже и Тюрио, всем обязанные Наполеону, собрались на закрытое совещание.

— Оправдание Моро,— заявил Эмар,— означает для всех нас и для всей Франции начало гражданской войны.

Тюрио охотнейше поддержал коллегу:

— Моро необходимо казнить. Процесс не имеет юридической основы, он зиждется лишь на основаниях политического значения. Торжество юриспруденции только мешает.

— Смерть Моро,— подхватил Эмар,— необходима для сохранения той формы правления, какая уже сложилась, и нет смысла менять ее ради сохранения жизни одного человека.

— Согласен,— сказал Гранже.— Какое сейчас имеет значение степень виновности Моро? Нам важно преподать урок страха французам, чтобы уцелела безопасность государства. Вспомним слова Робеспьера: «Всякий благоразумный человек должен признать, что страх — единственное основание его поведения; избегающий взоров сограждан — виновен...»

Моро не избегал взоров сограждан, но в головах юристов все уже перемешалось — и страх перед Наполеоном, и желание почестей от его величества. Что там Кадудаль? При чем тут Пишегрю? Главное — затоптать последние искры республиканского сопротивления. С этим пожеланием Эмар и Тюрио навестили Реаля, у которого застали и Савари. Именно Савари и сказал, что оправдание Моро погубит империю.

— Но император Наполеон — это не король Людовик Шестнадцатый, это не Робеспьер и это вам не Баррас: он станет драться за власть как бешеный, и тогда от Парижа останутся обгорелые руины. Разве выгодно возвращать историю к прошлому?

В стране возрождалось министерство полиции, Фуше

вернулся из отставки. Он беседовал с Наполеоном вежливо, но твердо.

— Вы разве желаете спать на штыках?

— Почему? Я люблю мягкие перины.

— Тогда учитывайте силу народного мнения,— сказал Фуше.— Оно более влиятельно, нежели вы полагаете. Нельзя в процессе Моро идти наперекор нации. Если ошибка вами допущена, ее надо исправить. Умейте слушать ропот Франции!

— Моро лично виноват передо мною,— ответил Наполеон,— а Францию и ее мнение представляю я... только я.

— Моро тоже представитель Франции, и не последний.

— Савари все уладит,— обещал Наполеон...

Повторным голосованием Моро был осужден на два года тюрьмы. Народ встретил мягкий приговор с таким удовольствием, которое было чересчур оскорбительно для Наполеона. Но больше всех был оскорблен приговором сам Моро! По-человечески генерал должен быть счастлив, зато политически он стал мертв. Кажется, что в этот момент Моро даже завидовал Кадудалю, приговоренному к гильотине, который и встретил приговор несусветной мужицкой бранью... Держаться в таком напряжении, готовя себя к эшафоту, и вдруг узнать, что все напрасно,— это было нелегко, и Моро сразу обмяк. Но он выпрямился снова, когда понял, что в его оправдании не столько жалости к нему Наполеона, сколько страха перед народом, который сковал волю императора... Александрине он переслал записку: «Если было установлено, что я принимал участие в заговоре, меня следовало приговорить к смерти, как вождя... Нет сомнения, что был приказ о моей смерти. Страх помешал судьям его осуществить». При свидании с Фуше он сказал, что оправдательным вердиктом его унизили, из полководца сделали жалким капитаном.

— Два года тюрьмы! Это наводит на мысль, что главные персоны пошли на гильотину, а всякая мелочь вроде меня будет доедать чечевицу... Но кто же во Франции поверит, что я, генерал Моро, был жучком-точильщиком, прогрызающим дырки в престоле Наполеона? Где логика, Фуше?

— Так чего ж ты хотел, Моро?

— Пулю! А мне дали сладкую булочку...

.....
Еще во время процесса над Моро полиция схватила в Париже подозрительного человека — с кинжалом и пистолетами.

— Будешь называть себя? — спросил его Савари.

— А почему бы и нет? Я драгун Бертуа, приплыл с острова Сан-Доминго, чтобы убить Наполеона и спасти Моро.

— А что он тебе? Родственник?

— Пожалуй, еще больше! Это он вынес меня на своих руках из пекла при Гогенлиндене, а я, простой солдат, хотел на своих руках вынести его из тюрьмы на свободу.

— Ты завтра умрешь,— предрек ему Савари.

— Ну и что? Я столько раз уже помирал...

Филадельфы действовали, кажется, из глубин подполья, и, если бы приговор Моро оказался более суровым, империя Наполеона могла бы погибнуть на том рубеже, на каком она только что возникла. Французский историк писал, что «тирания, которая могла пасть в тот день, продлилась еще десять лет, и этот приговор, губивший Моро, не убивая его, приговорил к смерти *целое поколение*, которое отдало потом свои жизни на полях битв...». Фуше, знаток психологии, при свидании с Наполеоном понял, что императора угнетает.

— Держать в заточении человека, к которому приковано внимание нации, противно и даже... даже опасно.

Наполеон стал бешеным оттого, что Фуше так легко проник в его опасения. Он крикнул ему:

— Так что мне делать? Ехать в Тампль, отворить камеру и сказать Моро, чтобы возвращался на улицу Анжу?

— А ведь придется! — ответил ему Фуше...

Александрина уже смирилась с тем, что два года супружеской жизни перечеркнуты роком, когда в замке Орсе появились два негодяя — Симон Дюпле и Демаре, сказавшие:

— Тюрьму можно заменить пожизненным изгнанием.

— Как? Бросить Францию... оставить здесь все?

Ответ превосходил всякую меру приличия:

— Все, что у вас есть, мадам, покупает... *Фуше!* Но вам следует написать письмо к Наполеону, в котором вы добровольно просите у него, как милости, замены тюрьмы изгнанием... Америка — чудесна! Вам там будет хорошо...

Голова шла кругом. Что делать? Как быть?

— Нет, нет, нет! — отказывалась Александрина.

И тогда к ней подсел ласковый Демаре.

— Напрасно упорствуете, мадам Моро,— сказал он угрожающим тоном, но вежливо.— Или вы желаете, чтобы с вашим мужем повторилась роковая *случайность*, как с этим Пишегрю? Вы, наверное, читали тогда в газетах, что Пишегрю отлично справился с помощью галстука...

Много ли надо, чтобы запугать растерянную женщину? В тот самый день, когда Жорж Кадудаль, отстранив палачей, с ужасным воплем — сам! — бросился под нож

гильотины, газета «Монитор» известила Францию, что генерал Моро обязан ехать в Америку и забыть дорогу на родину.

— Вполне счастлив только тот из моих недругов,— было сказано Наполеоном,— который скроется так, что я перестану подозревать о его существовании на нашей планете...

Фуше был подставной фигурой в скупке имущества Моро: замок Орсэ, полученный за женой в приданое, имение Гробуа, купленное на деньги тещи,— все это по дешевке досталось... императору! А капиталы Моро он конфисковал в пользу своего государства — под видом погашения судебных издержек.

— Фуше,— велел Наполеон,— предупредите Моро, что он имеет право отплыть в Америку через Барселону, расходы на путешествие в Испанию моя казна оплачивает, и Моро не получит от продажи имущества ни единого су, пока я не буду уверен, что его нога коснулась Американского континента...

Жена с детьми и тещей собирались выехать в Испанию позже. Моро отправился в дорогу один. Париж не провожал его, но возле заставы ему встретилась одинокая карета.

Подле нее стояла скорбная мадам Рекамье.

— Разве я могла не проститься с тобой?

— Не могла... это наша последняя встреча.

Жюльетта Рекамье всегда покорно сносила деспотию Бонапартов. Проводы Моро в изгнание — это первый и последний протест за всю ее долгую жизнь, выраженный столь открыто, без страха перед полицией. Но Рекамье осталась верна себе. Она не захлебнулась рыданиями, она не цеплялась за колеса кареты Моро, как сделала бы другая любящая женщина... Нет, она спокойно вытерла слезы и вернулась к своему мужу, к своему привычному уюту, к своим поклонникам, к своим зеркалам, отражавшим ее красоту. Моро долгим взглядом проводил лакированную карету, спешащую в синеву вечернего Парижа. Еще одна страница жизни была безжалостно перевернута.

— Ну, что ж... станем листать другие!

10. «ЧТО ОСТАЛОСЬ У КОРОЛЯ?..»

Если в Париже был замечен юный офицер, лобызаящий бюст Брута, то в Петербурге на Сытном рынке примечен ухарь-купец, который, рубя мясо, сказывал простому народу:

— Публики на Руси хватает. Ежели што, так себя не по-

жалеем. Нашей-то говядиной Бонапартий вмиг подавится...

Одновременно в Английском клубе взят полицией на заметку помещик Перхуров, кричавший за шампанским:

— А ну! Подать мне сюда мошенника Бонапартия, я его на веревке от Парижа до Москвы проведу...

Богатые люди снимали квартиры близ почтамтов, дабы скорее других узнавать самые свежие новости. А новостей было немало... Царь сообщал Лагарпу свое мнение о Наполеоне: «Завеса пала. Он сам лишил себя лучшей славы... ныне это знаменитейший из тиранов, каких находим из истории». Александру вторил граф Строганов, с удовольствием повторяя парижскую остроту: «Какое низкое падение — из генерала Бонапарта превратиться в императора Наполеона!» Многие русские люди видели раньше в Бонапарте продолжателя дел революционной Франции. Теперь он стал для них не только монархом, каких много в Европе, — он стал угнетателем соседних народов, опасным паразитом, живущим чужими соками. Изменилось отношение к нему — изменилось оно и к Франции, из которой вынута душа революции. Александр просил при дворе не говорить ему более о «великом человеке»:

— Даже гений, служащий вульгарному честолюбию, достоин всеобщего порицания, и только. Но почему лучшие люди, придя к власти, превращаются в закоренелых злодеев? Я печалюсь от прискорбного вывода — миру совсем не нужны Аттилы и Цезари: народы лучше всего живут в те периоды истории, когда ими управляют жалкие посредственности, меньше всего озабоченные собственным величием...

Бессмысленное убийство герцога Энгинского встревожило русский кабинет, особенно царскую семью. Цесаревич Константин, всегда излишне шумливый, расшумелся и сейчас:

— Энгинский приезжал в Петербург свататься к моей сестре, а в Аугсбурге мы с герцогом четыре дня без просыпу пили... Это злодейство непростительно!

Румянцев спрашивал Константина:

— Оттого, что ваше высочество пили с несчастным герцогом, стоит ли России карать Францию оружием?

Александр созвал совещание высших сановников империи. Иностранными делами ведал в ту пору польский аристократ Адам Чарторыжский, предупреждавший царя, что положение Польши под гнетом Пруссии становится уже невыносимо, а Наполеон если вмешается в польские дела, то способен опередить Россию. «Для этого, — отвечал царь, —

Наполеону надо прежде побывать в Варшаве, а сие невозможно по причине расстояния от Парижа до Варшавы...» Чарторыйжский открыл совещание, призывая заявить Парижу решительный протест по случаю убийства Энгийенского, а при дворе объявить траур.

— Россия,— сказал он,— вправе открыто вооружаться, и нет страны в Европе, которая бы осмелилась возразить ей... Полный же разрыв с Францией сделает нас солидарными с державами, желающими отмщения Франции.

Того же мнения придерживался и Кочубей.

— Да! — сказал он.— Для нас разрыв с Францией неопасен, он даже полезен, ибо избавит от лишним забот, неизбежных в общении с государством, желающим стать выше иных народов, выше других стран культурных.

Иное высказывал Николай Петрович Румянцев:

— В политике следует руководиться не личными страстями, а лишь выгодами государства. Касается ли убийство герцога до интересов России? Затронута ли этим событием честь русского человека? Не наблюдаю того.

Далее он продолжал в том же духе: «Сознает ли русское правительство все последствия шага (к войне), который собирается сделать? Идет ли оно на этот риск? Есть ли гарантия нашей безопасности от полного разрыва с Наполеоном?»

Возникло молчание. Александр спросил Румянцева:

— Что же ты предложишь моему кабинету?

— Надеть траур и... смолчать,— ответил Румянцев.

Отозванием послов Париж и Петербург как бы обменялись гримасами недовольства, однако Наполеон еще не планировал войну с Россией, зато Александр (как и многие русские люди) эту войну уже предчувствовал. Но создание коалиции для борьбы с Наполеоном задерживалось. Пруссия явно страшилась Франции, Вена, униженная Люневильским миром, хотела бы вернуть себе прежнее положение в Европе, но еще не залечила синяков, полученных в битвах за Италию и на Дунае.

Александр часто убеждал австрийского посла:

— Вена должна быть готова! Россия — на особом положении в Европе: я могу хоть завтра закрыть на замок все границы, и со мною ничего не случится. Россию спасает дистанция между Рейном и Вислою, но с вами все иначе...

Вена кивала на Берлин: «Мы ждем первого шага от Пруссии, хотя бы ее нейтралитета», а Берлин кивал на Вену: «Пусть в коалицию сначала вступит Австрия, а мы... мы подумаем». Только осенью 1804 года русский кабинет угово-

рил венский к подписанию оборонительной декларации. Еще сложнее было договориться с упрямым Питтом, и граф Федор Ростопчин, пребывая уже в отставке, подал царю свой голос:

— Россия всегда может спасти Англию, но Англия Россию — *никогда!* Лондон из нас кровь выпустит, а Питт ихний из сухих держав коалиции мокрых курей понаделает...

Конечно, колониальная агрессия Англии на морях и в дальних странах была для всего человечества гораздо опаснее, нежели агрессия Франции на континенте. Но европейцы должны были прежде думать о своем наследственном доме, двери которого могли в любую ночь затрещать под ударами прикладов французских драбантов... Примерно так раскладывались козырные карты в политическом пасьянсе Петербурга, когда стало известно о вечном изгнании генерала Моро из пределов Франции. По газетам из Франкфурта узнали, что Моро принят в Мадриде с большими почестями. Фаворит королевы Годой заманивает его на испанскую службу. Но тут возник слух: Англия, нуждавшаяся в полководцах, желает переманить Моро на свою сторону. Александр встревожился. Он не любил Голенищева-Кутузова и потому не упомянул о нем, перечисляя генералов, которым мог бы доверить русскую армию:

— Багратион, Каменский, Беннигсен, Барклай, Буксгевден, ну и Михельсон с Корсаковым.— Александр решил, что привлечение Моро на русскую службу было бы желательно, и сказал князю Чарторыжскому: — Сообразитесь поскорее с мнением нашего посла в Мадриде, барона Григория Строганова, как нам лучше завлечь генерала Моро под наши знамена.

— Государь,— изумился Чарторыжский,— призывом Моро вы ставите себя в весьма неловкое положение. Разве неизвестно вам о республиканских настроениях Моро?

— Вот! — показал царь на графа Строганова, своего приятеля.— Перед вами стоит человек, бравший Бастилию, но, призвав его к себе, я не создал опасности для престола...

Они забыли, что маршрут Петербург — Мадрид даже для самых выносливых курьеров всегда был самым длительным.

.....
Слово «республика» еще оставалось на почтовых штемпелях, клеймящих письма, его не успели вытравить с чеканов Монетного двора, штампующих звонкую монету. Конечно, возник вопрос о «цивильном листе», Наполеон должен

был сказать, сколько он желает получать в год — как император:

— Столько же, сколько получал последний король.

Людовик XVI получал 25 миллионов. Но для Наполеона выписали «цивильный лист» на 30 миллионов. Луидоры были заменены наполеондорами (в шесть с половиной граммов золота), их чеканили уже с изображением императора. Когда актриса Жорж, восстав с его постели, просила осчастливить ее портретом, Наполеон расплатился с женщиной за любовь одним наполеондором, сказав: «Вот, возьми! Говорят, что я здесь вышел похож...» Самозванцы всегда слишком торопливы в закреплении за собой власти, на которую они не имеют законных прав. Свою коронацию Наполеон желал «освятить» личным присутствием папы Пия VII. Историки рылись в архивах, дабы отыскать в прошлом подобные примеры. Сам Наполеон историков не терпел, полагая, что цезарей способны судить только цезари (для французов, считал он, достаточно помнить, что вся история Франции началась с 18 брюмера). Но пришлось погрузиться в потемки древней Европы, дабы извлечь оттуда короля Пипина Короткого, который был для французов столь же реален, как царь Горох для нас, русских. Пипин стал для Наполеона сухой находкой, ибо в 754 году он воспринял корону из рук папы Стефана III.

— Пий должен быть, — наказал Наполеон. — Если не приедет, я вытряхну его из Рима, как поросенка из мешка...

Папа приехал. Париж готовился к неслыханному фарсу истории. Луи Давид по клеткам размечал на гигантском холсте проекцию будущей картины-апофеоза под названием «Коронация». Элиза Баччиокки обещала выцарапать ему глаза, Каролину Мюрат трясло от ярости, Полина Боргезе сулила Давиду ночь любви — сестры императора жаждали быть помещенными на первом плане картины. Для Наполеона искусство делалось ненужным, если не возвеличивало его. Он уже возлюбил тарелки с видами триумфальных арок, ему не противно было доедать суп, под которым скрывалось изображение выигранных им битв — с трупами убитых. Коронационное платье Жозефины император создавал по собственным эскизам, чтобы отразить на нем героическое бытие его славной эпохи:

- Кружевам быть в виде античной колоннады, а спереди - римские квадриги со вздыбленными лошадьми.

Даже покорная Жозефина на этот раз возмутилась:

- Спереди? Так куда же заедет парадная колесница?

Не хочу на платье и гренадеров, вышитых у подола...

Давид тоже получал деловые указания:

— А что это папа расселся у тебя в кресле? Не затем я звал его в Париж, чтобы он отдохнул. Если папе нечего делать, пусть он жестом благословляет меня с женою...

Париж был иллюминирован, всюду сияла буква «N»; она же украшала кареты и эфесы бранного оружия, над просцениумами театров взвивались орлы императора, а золотые пчелы — символ власти Наполеона! — уже были вшиты в ткань дворцовых ковров, они порхали на кафтанах придворных. Коронация не обошлась без репетиций, а режиссером постановки был назначен художник Изабе, двойник императора. Каждый участник церемонии был представлен Кузбе из папье-маше, игрушки-люди были расставлены Изабе на парquete Тюильри, вроде шахматных фигурок, и Наполеон, скрестив на груди руки, пристально наблюдал, как передвигаются его маршалы, придворные, статс-дамы и фрейлины... Засмеявшись, он сказал Мюрату:

— Представляю, что было бы в Нотр-Дам, окажись там теща Моро с его женою: они бы устроили такой хоровод, что я с бедною Жозефиной остался бы стоять за папертью...

Коронация состоялась 2 декабря. Папа Пий VII и иновоявленный «Пипин Короткий» в десять часов утра выехали из Тюильри в собор. Был очень сильный мороз, маршалы и сановники несли промерзлые регалии императорской власти — скипетр, меч и корону Карла Великого, а бедный папа продрог так, что, наверное, проклинал историю Стефана III, имевшего глупость вручать корону разбойнику Пипину Короткому...

Народ Франции оплатил это зрелище из своего кармана, выложив на коронацию 85 000 000 франков. Следовало как-то приличнее объяснить непредвиденные расходы, и сразу нашлись продажные ученые-экономисты, которые доказывали:

— Расходами на коронацию наш гениальный император дал внушительный толчок для процветания финансов и промышленности, что и отразится на благосостоянии всех французов...

Весною Наполеон прибыл в Милан, где короновался «железной короной». Обруч этой короны был сделан из того мифического гвоздя, который якобы был заколочен в ступню Христа, когда его распинали на кресте библейские фарисеи. Однако Наполеон не довольствовался Ломбардией — он сразу провозгласил себя королем всей Италии! Европе декретом было объявлено: «Королевская династия в Неаполе перестала править». С высоты миланского престо-

ла Наполеон нецензурной бранью разругал неаполитанскую королеву Каролину, бежавшую от него на остров Сицилию. Вице-королем Италии был сделан его пасынок Евгений Богарне, и Жозефина, гордая за сына, плавала наверху блаженства... Потом супруги отъехали на поле битвы при Маренго, где принимали королевские почести. Вскоре Наполеон был неприятно удивлен, когда узнал, что Мадрид и, кажется, Лондон уже предлагают генералу Моро поступить на их службу. Наверное, Петербург тоже не замедлит прислать Моро подобное предложение.

Наполеон приказал Талейрану:

— Пусть маркиз Бернонвиль, мой посол в Мадриде, как можно скорее выдворяет Моро за океан — в Америку!

.....
Моро в испанских тавернах пил водку-агуардиенте, закусывал ее крестьянским супом-пучеро. Жаркие бризы раскачивали над дверями бисерные плетенки. Ослепительно белые улицы Мадрида заполняли перестуки кастаньет в пальцах неприступных испанских горячек... Моро наслаждался!

Он позвал лакея:

— Еще водки и тарелку пучеро.

— Не много ли, сеньор?

— Я из тюрьмы, приятель. Мне все прощительно...

Маркиз Пьер Бернонвиль когда-то командовал гарнизоном на острове Бурбон, где знал Александрина Моро еще ребенком, и это давало ему право быть с Моро откровенным:

— Возня Наполеона с коронами, я чувствую, еще не скоро закончится, и лучше пережить это время за океаном... Там уже немало французов, с ними не будет скучно.

— Мне ждать попутного корабля в Кадиксе?

— Нет, в Барселоне, — сказал посол.

— А почему не в Кадиксе?

— Лучше из Барселоны, — ответил Бернонвиль...

Париж был отлично извещен о тех почестях, которые оказывали генералу испанцы. Молодой Стендаль записывал в дневнике: «Когда утром Моро выходит на улицу в синем сюртуке, круглой шляпе и с трубкой в зубах, детишки бегут за ним и кричат: «Да здравствует Моро!» Губернаторы городов предлагали ему свои дома, французская колония устраивала в честь Моро званые обеды, где он без хвастовства, но увлекательно рассказывал землякам о своих громких победах.

Испанией правил тогда Мануэль Годой, безграмотный любовник испанской королевы, которую он иногда покола-

чивал. Из конюхов он стал премьер-министром и генералиссимусом. Этот очаровательный дуралей сулил Моро золотые горы в Мадриде, но Моро коробило при мысли, что он может быть в подчинении этого развратника, ему не нравился и сугубо клерикальный дух королевского Эскуриала. Впрочем, от приема в английском посольстве Моро тоже отказался, сославшись на то, что не может принять приглашение, ибо его отечество находится в состоянии войны с Англией. Зато он побывал в русском посольстве, которое возглавлял образованный вельможа Строганов. До посла еще не дошли инструкции Петербурга, он сам, по доброй воле, советовал Моро не забираться в Америку, а просить политического убежища в России. В этом предложении Строганова не было какой-либо политической подоплеки — он просто по-человечески сочувствовал изгнаннику с семьей и маленькими детьми.

— Благодарю,— отвечал Моро,— ваши русские морозы я мог бы вынести, но моя жена рождена в тропиках, дети растут болезненными, вряд ли пойдет на пользу ваш климат...

Вскоре Бернонвиль начал уже настаивать на отъезде. По его словам, существует угроза, что Париж окажет давление на Мадрид, и тогда Годой способен на любую низость:

— Корабль, готовый плыть в Америку, настолько ветхий, что я вам, милый Моро, советую плыть без семьи...

Тешу с женой и детьми Моро оставил пока в Испании на попечении друзей. Ночью уже миновали Гибралтар, вышли в океан. Вдали меркла полоска берега, Моро снял шляпу:

— Прощай, Европа... и ты, Франция!

Из кубрика матросов раздались звоны гитары, до боли знакомый голос пропел старинную французскую песню:

Друг, что осталось у короля,
спроси!
Орлеан, Нотр-Дам, де-клеры,
Божанси!

На палубу вышел босой матрос с повязкой на голове, и Моро не верил своим глазам — это был Виктор Лагори. Генерал Рейнской армии. Начальник его штаба.

— Лагори! Неужели я вижу тебя, бродяга?

Не выдержав радости встречи, Моро разрыдался.

— Не горюй,— утешал его Лагори.— Филадельфы не погибли, революция продолжается, а республика не умирает...

В громадные паруса задувал опьяняющий ветер.

II. В КОРНЕТЫ — ЗА ХРАБРОСТЬ

Теперь, когда Наполеон стал наделять своих сестер и братьев коронами в Италии и Германии, Вена забила в барабаны. Дунайской армией командовал генерал Макк, примечательный умением танцевать. Не дождавшись подхода Подольской армии, которую Михаил Илларионович Кутузов вел на помощь Австрии, Макк вломился в сытую Франконию, где жирная ветчина с крепким пивом пришлось австрийцам по вкусу. Макк нетерпеливо продвинулся к Ульму и здесь остановился, готовый встретить французов. Наполеон тем временем сводил в один кулак войска из Булони, из Ганновера, из Парижа... Форсированием Дуная он отрезал Макка от Вены, и Макк, умеющий танцевать, капитулировал. «Ворчуны» с презрением смотрели, как здоровущие парни складывают к их ногам оружие, бросают на землю свои опозоренные знамена. Дунайская армия, главная ударная сила Франца, перестала существовать. С боевым кличем: «Заставим плакать венских дам!» — французские колонны развернулись на Мюнхен.

Был сентябрь 1805 года. Александр приехал в Брест.

Адам Чарторыжский уехал вперед — в Пулавы, чтобы подготовить семью к приему высокого гостя. Однако царь не приехал, и в Пулавах пробудились лишь в два часа ночи. Картина, увиденная ими, была незабываемая: из лесу вышел старый еврей со свечкой, за ним лошаденка тащила бочку с водкой, а верхом на бочке сидел император всея Руси. Александр в оправдание себе сказал, что дороги в Польше ужасны:

— Мой экипаж свернул все колеса на колдобинах. Проводники, присланные императором Францем, бросили меня в лесу. Хорошо, что мне попался этот еврей...

Чарторыжский был человек уминый: он понимал, что появление царя при армии свяжет руки Кутузову, внесет разброд в штабах. Но Александр уже «закусил удила», гордись своей предстоящей батальной храбростью:

— После Петра Великого я буду первым русским царем, которого увидит русская армия на полях сражений...

Кутузов вел Подольскую армию форсированным маршем, достигнув скорости 50—60 верст в сутки. Конечно, все обозы растянулись кишкой, еды не было, многие солдаты шагали уже босиком. В Вене полководца встретили вежливо, но без доверия: о том, что Наполеон в Баварии, Кутузов узнал от русского же посла, удравшего из Мюнхена. Франц настойчиво загонял русских в сторону Ульма, но лазутчики,

хорошо оплачиваемые Кутузовым, известили его, что от армии Макка остались под Ульмом рожки да ножки. Теперь, после капитуляции Макка, русская армия из вспомогательной становилась главной. Австрийцы всюду сдавали позиции, не предупреждая об этом Кутузова, и мудрый старик видел, что фланги его усталой армии постоянно оголяются по вине союзников. Тайком от русских Франц пытался вступить в переговоры с Наполеоном о мире; уже тогда (!) этот Габсбург стал торговать дочкой Марией-Луизой, предлагая ее в жены Евгению Богарне, чтобы породниться с Наполеоном. Однако Наполеону было еще не до свадеб, он требовал от Франца удаления русской армии с полей битв... Таборский мост, ведущий к Вене, охранялся австрийцами князя Ауэрспейга. Кутузов, уверенный в обороне этого важного моста, лег спать сам, велел отдыхать и всей армии. Вечером к мосту подъехали на лошадях трое — принц Мюрат, маршал Ланн и генерал Бельяр. Мюрат пылко рассуждал о красоте венских дам, Ауэрспейг воздал хвалу парижанкам. Когда ж, спрашивается, еще и говорить о женщинах, как не в эти рыцарские времена? Ауэрспейг не сразу заметил, что через мост уже перебегают французы: взвод... рота...

— Стойте! — закричал он. — Это же нечестно!

Мюрат со смехом отодвинул Ауэрспейга с моста — дорога на Вену была французам открыта. Кутузов щедро отсыпал золота в ладонь лазутчика, который первым известил его о позорной сдаче Таборского моста. Потом он вызвал князя Багратиона и обнял его, как сына:

— Петруша, спаси армию! Благословляю на подвиг...

Багратион увел разутых и раздетых солдат, готовых принять смерть, чтобы спасти отход всей армии. При Кутузове состоял зять, граф Федор Тизенгаузен, женатый на его дочери Лизе (будущей Хитрово). Кутузов сказал зятю:

— Ежели десять живых вернется, и то ладно...

Багратион в битве при Шенграбене показал французам, на что способен он, русский генерал, и его солдаты. Из свалки боя князь вывел самую малость израненных, окровавленных людей, и Кутузов, ожидавший полной гибели отряда, сказал:

— О потерях не спрашиваю: ты жив — и слава богу!

Александр ожидал его в Ольмюце, где армия встретила царя столь холодно, что молодой самодержец был даже обескуражен. Он спросил — можно ли еще спасти Австрию?

— Можно, — ответил Кутузов, — ради чего, я мыслю, должно объявить войну всенародную. Но венские Габсбур-

ги народа своего страшатся более, нежели противника...

Этого мнения Кутузова не отрицал и сам Франц:

— От Наполеона я могу спастись сдачей одной провинции, а вооружить мадьяр, галичан и чехов — все потерять! От моей великой империи останется горстка теплой золы...

Кутузов имел план уничтожения противника.

— Будь моя воля, — говорил он близким, — я бы отвел армию вплоть до Галиции, заманивая Наполеона как можно далее, и там, в Галиции, разметал бы я кости французские... Но при двух императорах где ж моя воля? Если, даст бог, одержим викторию, слава цезарям достанется, а нет, так они же меня в козла отпущения превратят. Того самого козла из Библии, коего евреи за грехи свои в пустыню выгнали...

Чарторыжский снова настаивал перед Александром, чтобы он покинул армию, не вмешиваясь в распоряжения Кутузова:

— Наконец, ваша драгоценная жизнь, подумайте о ней!

— Оставьте, князь Адам, — морщился император. — Все уже решено, нас ожидает победа, и я буду счастлив услышать музыку битвы. Напротив, сам Кутузов нуждается во мне.

Наполеон был уведомлен о пренебрежении, с каким армия встретила Александра, и он сказал Савари:

— Мы его встретим погорячее! Поезжайте в ставку царя, от моего имени принесите Александру поздравления по случаю его прибытия к армии... Не суйте свой нос куда не следует. Молча можно узнать очень много, только слушая. Мне смешно, — сказал Наполеон. — Представляю, как царь станет прицеливаться в меня через свою лорнетку, а мы разглядим этого бабника через жерла наших пушек!

Кавалергардский полк насчитывал 800 палашей, из них два палаша покоились в ножнах будущих декабристов — Михаила Лунина и Михаила Орлова, начинавших службу истандарт-юнкерами. Лунин был слишком непоседлив, чересчур самостоятелен. Однажды исчез на всю ночь, вернувшись под утро.

— Где пропадал, Мишель? — спросил его Орлов.

— Ездил в лагерь к Наполеону... палаш испытать хотелось. Наскочил на одного. Рублю спереди — звенит кираса. Вижу, еще молод. Усы черным воском намазаны. Меня испугался, повернул. Рублю сзади. Только искры летят — со спины тоже кираса. — Лунин бросил перед Орловым косу, похожую на крысиный хвост. — Вот и весь мой трофей. Отрубил ее...

Неприятная новость: французы имели двойные кирасы, а русские не были бронированы даже спереди. Генерал Савари, прибывший с поздравлениями, выглядел пристыжено-жалко, словно нищий, угодивший на чужую веселую свадьбу. В свите царя все ликовали, заранее празднуя победу, а Савари, не стыдясь, жаловался на всеобщее уныние, охватившее войска Наполеона при виде столь могучей русской армии. Это странное поведение Савари было тщательно продумано Наполеоном, дабы ввести русских в заблуждение. Александр с Францем не лишили Кутузова звания командующего, но командовать решили сами... Открывался роковой день Аустерлица!

Наполеон со свитою встретил этот день на возвышенности у деревни Шлапаниц, под ним лежала внизу громадная долина, затянута туманом, а наверху было уже светло от восходящего солнца. Император видел перед собой Праценские высоты — ключ к победе. Рыбные пруды южнее Аустерлица были затянута тонким ледком. В тумане император разглядел интервал, не заполненный войсками противника, и спросил Бертье:

- Кто по диспозиции обязан стоять тут?
- Австрийцы корпуса князя Лихтенштейна.
- Но князь опаздывает. Здесь встанем мы...

Французы, спустившись в туманную долину, заполнили трагическую пустоту посреди русских войск — они заняли место их союзников. Князь Лихтенштейн между тем уводил кавалерию не на север (где его ждали), а в другую сторону — на юг, попутно разрезав русскую колонну Ланжерона.

— Куда прешься, сволочь? Назад! — орали русские.

Возникла неразбериха. Ланжерон скомандовал ломить напролом — вперед, отчего русские расскли колонну князя Лихтенштейна. Солнце всходило. Наполеон видел, как туман медленно сползал книзу, обнажая холмы и Праценские высоты, при виде которых его маршалы стали волноваться:

- Не пора ли нам, сир, влезать на Працен?

Но император ожидал, что русские сами спустятся в долину, ибо через шпионов знал о дурной диспозиции противников.

— Подождем еще, — каждый раз отвечал он...

Александр прискакал на Праценские высоты:

— Михайла Ларионыч, отчего не сошли с места?

— Жду, когда соберутся все колонны.

— Мы не в Петербурге на Марсовом поле, чтобы ждать их.

— Потому и не спешу, что мы не в Петербурге...

Александр волей монарха толкнул армию с высот.

— В атаку теперь! — зывали маршалы к Наполеону

— Атаку позволю, когда ошибка неприятеля станет уже несправима. Ждем. Пока русские не скатились к прудам...

Фронтальным ударом всей массы войск он прорвал центр. Спасти положение было уже нельзя. Его можно было только исправить — скорейшим подходом резерва Буксгевдена. Но русские генералы напрасно зывали к его совести, к его благоразумию, Буксгевден поклялся не сойти с места:

— Стоять тут мне предписано диспозицией свыше...

Через полчаса князь Чарторыйский видел этого дурака бегущим впереди своих разбитых войск, Буксгевден плакал:

— Меня предали.. спасайте жизнь императора!

Цесаревич Константин вел батальоны гвардии, и наконец перед ним выросли войска, которым он обрадовался:

— А! Князь Лихтенштейн уже занял свое место.

Но первые же ядра, пущенные в его сторону, доказали ему обратное. Со всех сторон обнаруживались новые массы французской кавалерии, пехота Наполеона двигалась бегом, разбрасывая отряды русских, и без того разбросанные. Цесаревич послал против конницы Келлермана своих захватских улан, которые отчаянно врубались во врага, они опрокинули его, словно худой забор, размяли копытами французскую пехоту, и артиллерия Наполеона, чтобы хоть как-то спасти положение, стала калечить ядрами всех подряд — и своих и чужих... То отбегая назад, то возвращаясь, не боясь штыковых ударов, русские вносили в сумятицу Аустерлица ожесточение, какого еще не встречали французы, приученные расчленять противника, чтобы добывать бегущего! Но русские, напротив, даже разрозненные, магически соединялись воедино, снова и снова образуя плотную монолитную массу. Гвардейская пехота опрокинула ряды Вандама, но была окружена дивизией Риво. Конная гвардия, выручая свою пехоту, пошла на прорыв, она опять смяла Вандама, она рассекла дивизию Риво, как топор сырое полено, и Наполеон, стоя на холме, вдруг увидел бегущих французов, а перед ним — перед великим полководцем! — уже мелькали нарядные мундиры русской Конной гвардии.

— Бертье, что это значит? — отшатнулся он.

— Рапп, Рапп, Рапп! — кричал Бертье. — Что вы торчите как истукан? Отбросьте их... отбросьте! Сразу же...

Под натиском свежих колонн Раппа конногвардейцы отвернули, соединясь с гусарами, за ними отошла и гвар-

дейская пехота, уже избитая, запыхавшаяся, с погнутыми штыками. За Раузницким ручьем была видна плотная стенка французской инфантерии, а русские батареи, оставленные в окружении, стали последними оазисами сопротивления: канониры дрались уже на пушках, и на своих пушках они доблестно умирали...

— Вот это каша! — сказал Константин в полнейшем обалдении. — Но кто заварил эту кашу?..

Именно в этот момент подошли кавалергарды; гладко выбритые, еще не тронутые боем, они сидели в седлах поверх новеньких бархатных чепраков, расшитых золотом. На лошадиных мордах нервно и возбуждающе позвякивали цепи мундштуков. Лунин подвыдернул палаш из ножен, сказал Орлову:

— Ну, Мишель! Не пришло ли время нам умирать?

Цесаревич вцепился в поводья князя Репнина:

— Видишь, какая кутерьма? Спаси гвардию... ее честь!

Репнин приподнялся в стременах, крикнув:

— Кавалергардия.. рысь — в галоп! Марш...

Кавалергарды держались в седлах прямо, как скульптурные изваяния, похожие на кентавров, слившихся с лошадьми воедино. Длинные палаши, опущенные к ногам, жутко отсвечивали холодной синевой. Впереди скакал князь Репнин, воздев над собой руку, сверкающую от перстней, чтобы даже в задних рядах все видели — он впереди, он с ними, он уже не свернет с пути... Перед ними, еще юношами, возникла громадная лава враждебной конницы, и лава быстро надвигалась на кавалергардов, которые еще издали слышали, как упоенно кричат французы:

— Смерть! Заставим плакать русских дам...

...Для Наполеона всходило солнце Аустерлица.

.....
Трубачам велено было исполнить «аппель» — музыкальный призыв к живым: вернитесь! Но лишь одиночки откликнулись на эти рулады золотых и серебряных горнов, остальные все полегли в неравной битве, были изранены. Зато честь русской гвардии кавалергардами была спасена, ее знамена сохранились в святости. На печальные звуки «аппеля» собирались поодиночке, их мотало в седлах от ран и непомерной усталости, среди уцелевших был и Лунин, сказавший Орлову, что его брат Никита пал в этой атаке:

— Он умер тихо, как ребенок. Ему было пятнадцать лет. Теперь мне жить за него и за себя...

Французы остановились на другом берегу Раузницкого ручья, наблюдая за сценой русского «аппеля». Скорым ша-

гом подошла пехота маршала Бернадота, который почему-то не стал преследовать русских. Противников разделяло шагов сто, не больше, между ними струился ручей. Багратион уже вступил в командование арьергардом, чтобы прикрыть отход русской армии. Сумерки покрывали поле битвы, которое Наполеон именовал «полем чести». Где-то еще постреливали, со стороны прудов доносило треск хрупкого льда — там еще погибали тонущие. Ночь положила предел всему, стало тихо...

Вот тогда Кутузов заплакал. На его глазах погиб зять, граф Федор Тизенгаузен. Перехватив знамя, он повел в штыки на французов гренадеров Малороссийского полка и... пал!

— Простите,— сказал старик,— не плакал раньше, пока был генералом вашим, а сейчас перед вами плачет отец, слезами омывая горькое вдовство своей доченьки Лизы.— Кутузов достал из дорожного портфеля два креста. Георгиевский и Марии-Терезии.— Бедный зять не успел даже поносить их. Так бросьте ордена в могилу его. Бросьте и засыпьте...

Адам Чарторыжский с трудом отыскал императора в каком-то деревенском сарае. Александр лежал на соломе. Возле него хлопотал лейб-медик Виллие. Он сказал князю, что переход от самообольщения к полному отчаянию оказался слишком резким, у императора развилась диарея:

— И нет капли вина, чтобы изготовить глинтвейн.

Чарторыжский тронул коня в австрийскую ставку, но там гофмаршал Ламберти замахал на него руками:

— Мой император спит, и... какое вино? Завтра меня спросят, куда делась бутылка, что я тогда отвечу?

— А как здоровье вашего кесаря?

— Прекрасное! Это вашему плохо, а наш великий кесарь уже привык к поражениям от Наполеона, и он спит, как невинный младенец. Парламентеры уже посланы им для мира...

Наполеон в эту же ночь принял князя Лихтенштейна, молившего о мире для Австрии; выслушав его, Наполеон сказал:

— Главное условие — удаление русских войск...

Небеса после битвы при Аустерлице излили на мертвых дожди, потом закрутилась снежная метель. Наполеон требовал, чтобы Моравия и Венгрия были немедленно освобождены от русского постоя. Александра снова (в какой уже раз!) навестил генерал Савари, заявляя царю, что Наполеон мечтает о личной с ним встрече, а переговоры с

одним лишь Францем не кажутся ему основательными. Александр отказал ему:

— Участие в переговорах России будет означать причастность России даже к капитуляции армии Макка при Ульме, даже к сдаче Вены на милость победителя... Нет! Пусть ваш император с австрийским договариваются о мире без меня.

За эти дни он поумнел и ожесточился. Вся русская армия была осыпана наказаниями: отступивших генералов ставили под солдатский ранец, со шпаг офицеров безжалостно рвали темляки, лишая их чести, дезертирам прибавили пять лет службы, в газетах России открыто публиковали имена тех офицеров, что заблудились в лесу или отсиживались в обозах. За свое оскорбленное самолюбие царь отыгрался и на Кутузове: наградив его орденом, он послал полководца в Киев губернатором. Лунин и Орлов получили первые в жизни ордена — для ношения их на шпагах. Царь запомнил Орлова:

— Эстандарт-юнкер, за храбрость — в корнеты!..

Вечером кавалергарды распивали в шатре шампанское. К ним зашел и граф Павел Строганов, бывший якобинец.

— Надеюсь,— сказал он,— эта свалка при Аустерлице излечит нашего государя от высокого мнения о своих способностях... Мы все ублюдки Екатерины Великой,— Строганов выразился намного грубее,— воспитанные ею на бесконечных победах, отчего и стали слишком самоуверенны. Но сейчас речь идет уже не о сохранении политического равновесия Европы, пора задуматься о сохранности нашего государства.

Орлов сказал, что его не покидает неприятное ощущение: на полях Моравии русские проливали кровь за грехи Габсбургов, Александр озабочен и судьбою прусских Гоенцоллернов.

— Есть еще и интересы Англии! — напомнил Строганов. Денщик втащил в шатер ящик с шампанским.

— А мне,— сознался Лунин,— не избавить свою память от этого вопля французов: «Заставим плакать русских дам!» Очевидно,— сказал Лунин, открывая бутылку,— Аустерлиц выгоден для нас при Наполеоне так же, как была выгодна и Нарва при Карле Двенадцатом... Именно поражение под Нарвой привело Россию к ошеломляющей виктории у Полтавы!

Александр вызвал к себе графа Строганова:

— Граф, кстати, о Лондоне! Вы поедете туда...

12. ВРАГ У ВОРОТ РОССИИ

Булонская армия, устранившая в свое время Англию, была изрядно потрепана под Аустерлицем, а угроза ее высадки на островах отпала теперь сама по себе. Когда Россия отмывала кровь со своих ран, Англия предавалась безумному веселью: она потеряла Нельсона, зато выиграла битву при Трафальгаре. Питта потрясло разрушение коалиции, но жертвы европейцев никак не вписывались в общую калькуляцию английских убытков. Он цинично доказывал в парламенте, что великому королевству нет дела до людских потерь на континенте:

— Мы бережем каждую каплю британской крови, но русские могут проливать ее ведрами — за это мы платим царю нашей устойчивой валютой! Кровавопролитие же в войнах нормально, как и расплата деньгами в коммерческих оборотах...

Напрасно Вена с Петербургом просили его хотя бы одиверсно на берегах Нормандии, дабы отвлечь внимание Наполеона от Баварии и Моравии,— Питт отвечал, что для этого Англия не обладает ни силами, ни средствами. Это была наглейшая ложь! Когда в Европе решались судьбы государств и народов, Англия готовила эскадры для нападения на Египет, воевала в Буэнос-Айресе, высаживала десанты в устье Ла-Платы, колонизаторы продвигались в глубь Индии, уничтожая беззащитные племена,— на это у Англии всегда хватало и сил и денег. Однако Аустерлиц омрачил разум Питта, хотя перед смертью он напрозорчил удачно: «Можете теперь убрать все карты Европы — Европы нет, она стала сплошной Францией...» Граф Семен Воронцов, русский посол, остался почти равнодушен к Аустерлицу, зато вместе с англичанами ликовал по случаю победы при Трафальгаре. Его поведение еще раз доказывало непреложную истину: как бы ни был хорош дипломат, но зачастую его патриотизм невольно разрушается долгим пребыванием в чужой стране, среди чужого народа.

Строганов прибыл в ранге полномочного и чрезвычайно министра. Английское общество он заверял, что Аустерлиц все же явился моральной победой, за которой последуют необходимые перемены в русских настроениях. Высоко оценивая былые заслуги Воронцова, Строганов дал ему, как дипломату, блистательную характеристику, заключив ее оглушительным выводом для Петербурга: «Убрать немедленно его из Лондона... в новом времени, в новых условиях он преден для России!»

Присылкою бумаг из Лондона «граф Попо» поставил Адама Чарторыжского в неловкое положение. Излагая суть политики в Лондоне, Строганов на том же листе высказал сомнения в подлинности благородных намерений царя. Якобинское бунтарство еще не покинуло этого человека, и он писал, что, если государь теперь же не свяжет свое имя с раскрепощением крестьян, со всеобщим народным образованием в России, если от коллегиальности решений он приступит к самодержавному произволу, тогда он, полномочный посол и товарищ министра внутренних дел, вынужден удалиться от зла, а чтобы оставаться полезным отечеству, он изберет для себя службу добровольцем в армии — пусть даже солдатом... Это был «крик гражданской скорби» истинного патриота! Впрочем, дни самого Чарторыжского тоже были сочтены. Вместо друзей либеральной младости императора после Аустерлица окружали сатрапы, а главной обезьяной в его самодержавном зверинце становился граф Аракчеев. Однако неуверенность Александра в самом себе заставила его решиться на созыв нового совещания.

Чарторыжский открыл его речью, составленной добротной, политически грамотно. Он предупредил сановников империи, что экспансия Наполеона в Европе все расширяется.

— Под угрозой уже Балканы, южные пределы России под страхом нашествия Турции, которая подначивается к войне из Парижа, небезопасны и наши владения на Черном море... С другой же стороны,— заключил Адам Чарторыжский,— великая держава не может оставаться безучастной и к делам Европы.

Кочубей был за то, чтобы оставить войска в Европе, уповая на союз с Англией, а князь Куракин спросил его:

— Виктор Павлыч, ежели ты решил воевать с Францией, так, вестимо, Россия к тому еще не готова.

— А когда она, князь, была готова? — возразил Кочубей.— Не было еще случая, чтобы Россия была к войне готова, однако это не мешает ей всегда войны выигрывать...

Александр Борисович князь Куракин был, как всегда, осыпан бриллиантами, отчего со времен Екатерины прозывался в обществе «бриллиантовым». Когда совещание грозило обратиться в перебранку, он вдруг заговорил продуманно:

— Сразу похерим всю эту коалицию. Австрия из игры выбыла надолго и как бы не стала союзна Франции. Аустерлиц, ослабив Австрию, несомненно, усилил Пруссию, но кидаться в дружбу с Берлином нет смысла, ибо король прус-

ский уже запуган Бонапартием окаянным до трепета в суставах коленных... Кто же остается? Англия? — хмыкнул Куракин. — Но мы, русские, не нужны Лондону, ежели будем заняты едино собственным бережением... Наша мощь, наш солдат, наша кровь нужны Лондону лишь в том случае, ежели мы опять в Европу полезем. Тогда да, Англия будет нам союзна, ибо война в Европе позволяет Англии выгоды обретасть.

Александр спросил — к чему он клонит?

— А вот к чему... Ежели мы в стороне останемся, тогда Европа, о нашем могуществе извещенная, сама перед нами заискривать станет. И не мы от других, а другие от нас будут зависимы. Быть того не может, — сказал Куракин, — чтобы Англия объявила нам войну только за то, что мы не желаем более воевать с Францией! Это химеры...

Александр заметил: хватит ли «екатеринствовать»? Куракин просверкал в ответ массою бриллиантов.

— Ваше величество, я не екатеринствую — я токмо сужу о выгодах государства Российского. Сейчас одна лишь Франция способна угрожать нам. Сделать Бонапартия согласным можно в согласии с ним союзном. Ежели Англия не принудит нас к войне с Францией, так и Франция никогда не заставит нас воевать с англичанами! Опять-таки химеры...

Кочубей сказал, что союз с Францией невозможен, ибо интересы России и Франции все равно пересекутся:

— Что и станет поводом к новой войне меж нами!

— Конечно, пересекутся, — не спорил Куракин. — Но пересекутся-то не сегодня же! А за время передышки мы успеем подготовить Россию к войне решающей, и тогда еще поглядим...

Александр ответил Куракину, что его точка зрения меняет всю политику кабинета и принять ее нельзя. «Но старый князь, дипломат екатеринской школы, смотрел дальше своего императора и оказался *прав*»¹. В конце совещания Александр, явно смущаясь, сказал, что брат его жены, принц Карл Баденский, венчается в Париже со Стефанией Богарне, из чего следует неизбежный вывод: старинный дом Романовых невольно оказывается родственным династии Бонапартов.

— Но это не окажет влияния на политику моего кабинета, — сказал царь в конце, и сказал он это твердо.

¹ Это совещание только в последнее время стало привлекать внимание советских историков (см: Сироткин В. Г. Дуэль двух дипломатий. М., 1968)

Далее события следовали стремительно. Наполеон из немецких княжеств на правом берегу Рейна образовал мощное сцепление государств — Рейнский Союз, объявив себя «протектором» союза. Франц Габсбург был вынужден после этого сложить с себя титул германского императора, ибо в Германии он перестал быть хозяином, и сохранил за собой титул лишь императора Австрии. Далмацию со славянским населением Наполеон подчинил Итальянскому королевству, а королем был сам! Наконец, из Берлина последовал крик отчаяния — это прусский король, изнывая от страха перед Францией, потребовал от той же Франции разоружиться и распустить Рейнскую конфедерацию. Наполеон велел отсчитать 24000 франков.

— Почему так мало? — изумился секретарь Буриен.

— Вполне хватит, чтобы раздавить лягушек в Берлине...

Этих денег хватило. Двумя ударами (под Иеной и Ауэрштедтом) всего за восемь дней полностью было уничтожено мнимое могущество Пруссии, укrywшейся за ватными бастионами прошлой славы Фридриха Великого. Берлин жил еще в неведении о разгроме армии, и добрый булочник Михель наивно рассуждал перед добрым колбасником Фрицем:

— Как твоя дочка Гретхен? Наверное, ее жених загулял в Париже... Уж он-то привезет ей вкусных конфет!

В их беседу вмешался почтальон Клаус:

— Вчера у Галльских ворот я видел солдат — все в зеленом. Оборваны, грязнули страшные. Воняет от них псиной.

— В зеленом? И грязные? Так это же русские.

— Но они разорались по-французски.

— И что? Все русские офицеры знают французский...

Вдруг на безлюдной Фридрихштрассе показался странный человек. Холщовые штаны в дырках, черные от грязи. От обуви остались одни ошметки. Длинная сабля волочилась по земле фута на два за ним. Он держал под локтем громадную буханищу хлеба, которым и кормил своего чистого пуделя, преданно не спускавшего с него глаз. Но не это, а другое поразило берлинцев: странный человек... курил трубку!

— Смотрите, смотрите, он курит на улице и ничего не боится... Откуда он такой взялся? Куда смотрит полиция?

На шапке этого человека вместо кокарды красовалась большущая ложка. Скоро заметили еще странных лю-

лей — и все они с ложками. На берлинцев они не обращали никакого внимания и, войдя в парк, сразу начинали ломать ветки для строительства шалашей. Улицы заполняло множество людей — все курящие, все с собаками, все с ложками. Некоторые тащили на штыках булки, возле их поясов болтались задавленные гуси и курицы... Наконец один старик-немец догадался:

— Добрые берлинцы! Это же *они...* французы!

Раздался страшный бой французских барабанов, от грохота звенели стекла в окнах мещан: это от Темпельгофа двинулась в улицы Берлина зловещая толпа в громадных медвежьих шапках, все загорелые, все босые, а длинные черные бороды свисали до пояса. Каждый из них тащил на плече громадную секиру, какими пользуются мясники при разделке мясных туш. Немцы приняли их за палачей Наполеона, но это были саперы. За ними ехал на лошади красивый офицер, разряженный как петух, и жонглировал длинным штоком, украшенным рубинами и стразами, — тамбур-мажор! Берлинцы ошалели совсем:

— Как эти поганые оборванцы, давно не стриженные, давно не мытые, с псами и ложками, могли победить наших могучих героев с исправно напудренными буклями?

Наполеон остановился в Сан-Суси, к его ногам маршалы побросали 340 знамен армии Пруссии, а Даву сказал:

— Разве это знамена? Теперь это тряпки...

Наполеон принял за ужином старейшего генерал-фельдмаршала Вилгарда Меллендорфа и был с ним очень любезен:

— Я счастлив видеть у себя героя времен Фридриха Великого. Сколько же вам лет, господин фельдмаршал?

— Восемьдесят два года. Не пора ли в отставку? Скажите, сир, от кого мне теперь получать пенсию на старость — от своего короля или от вашего французского величества?

Наполеон со смехом потом рассказал:

— Станный народ эти прусские генералы! Я их разбил, и их уничтожил, опозорил, а они не стыдятся кланчить у меня пенсии. Один дурак, раненный в задницу при бегстве от Иены, пожелал даже стать кавалером Почетного легиона...

(Наполеон смеялся напрасно: в 1814 году его же генералы, разбитые русской армией, просили для себя орденов у Александра, который справедливо ответил, что Россия еще не завела орденов для награждения побежденных.) В покое Сан-Суси Наполеон подписал знаменитый декрет о континентальной блокаде, чтобы ни одна из стран Европы не

смела торговать с Англией... В хорошем настроении он утверждал:

— В политике нет преступлений — есть только ошибки. Для нас не будет ошибкой, если, взяв Берлин, мы возьмем и Варшаву, которая является ныне провинцией Пруссии...

Положение в Польше было тогда архисумбурным. В канун Аустерлица на базарах Варшавы торговки овощами говорили пруссакам: «Вот придут русские — мы вас прогоним!» Теперь, когда Наполеон был в Берлине, они говорили русским: «Вот придут французы — вы сами убежите...»

Наполеон призвал Мюрата, Ожеро, Ланна, Даву.

— Поляки — мелочь, — заявил он им. — Польша труп, смердящий на пороге России, и мы попробуем гальванизировать его ради наших великих целей... Седлайте коней! Я догоняю вас на марше. Мюрат, — обратился он к шурина, — ты, как знаток женщин, приготовь для меня в Варшаве молоденькую даму обязательно знатного рода! К моему приезду устрани все предварительные затруднения, ибо у меня нет времени на уговоры женщин... На всякий случай, Мюрат, вот тебе футляр: откроешь его перед избранной тобой дамой моего сердца.

В футляре лежала драгоценнейшая парюра из бриллиантов, которая украсит голову очаровательной пани Валевской. Поляки обманывались в своих надеждах — Наполеон меньше всего думал об их независимости. «Мне нужен в Польше лагерь, а не полнтический форум, — писал он. — Я не намерен плодить лишних якобинцев и разводить новые очаги республиканства. Я желаю видеть в поляках дисциплинированную силу, которой и стану *меблировать* поля своих сражений».

.....
Осенью 1806 года поляки впервые услышали на своей земле гневные окрики французских патрулей: «Кто идет?» Когда кавалерия Мюрата застряла в непролазной грязище, он с бранью учинил выговор генералу Яну Домбровскому:

— Как ты смеешь это болото называть отчизной?..

Презрение к Польше, высказанное Наполеоном, уже определилось. Но поляки были так рады избавиться от гнета Пруссии, что они радостно встречали французов. Маршал Даву был озабочен, чем накормить своих голодных солдат:

— Несчастливая страна! В ней нет даже хлеба...

Французы твердо запомнили диалоги с поляками.

— Хлеба, матка, хлеба, — требовали они.

— Нема хлеба, — следовал горький ответ.

— Вода, вода.

— Зара-зара (сейчас),— соглашались поляки...

Даву раскрыл свою душу перед Мюратом:

— Послушай! Если ты стал великим герцогом у немцев, а Луи Бонапарта сделали королем в Голландии, почему бы мне — а я не хуже вас! — не стать королем у поляков?

— Попробуй, но ты не выберешься из грязи...

Граф Иосиф Понятовский, племянник последнего польского короля, имел больше всех других прав на престол, и Даву, заподозрив в нем соперника, стал покрикивать на него:

— Почему лакеи в Польше, открывающие гостям ворота, носят на плечах эполеты, какие у маршалов Франции?

— Мои лакеи носили такие же эполеты еще задолго до того времени, когда их надели маршалы Наполеона... Мне желательно знать другое: почему ваш маршал Ней в таких чудесных эполетах грабит подряд всех поляков в провинции?

Грабёж начался сразу же: Мортье требовал от поляков 200 талеров в день, генерал Вандам — 300 талеров, Иероним Бонапарт, брат императора, требовал для себя 400 талеров. Однако польская аристократия еще не унывала, для французов продавали в Варшаве мороженое, графиня Тышкевич, сестра Понятовского, сидела в киоске «Абукир» — в память Египетской экспедиции Наполеона, а графиня Потockая, румяная как заря, отпускала порции в киоске под названием «Аустерлиц»... Наполеон принял депутацию панов от Варшавы, заложив руки в карманы. Речь он начал словами о необходимости провианта для его армии, а закончил ее очень странным выражением:

— Все это пустяки... У меня французы вот здесь, в кармане! Властвуя над их воображением, я делаю с ними все, что мне хочется. Нужны,— воскликнул он, нюхая табак,— вина преданность, ваши жертвы и кровь!

Тут магнаты призадумались:

— Если он так судит даже о французах, что будет с нами, с поляками? Ему нужны только провиант и... кровь...

Заговорив о поставках хлеба, Наполеон развязал руки маршалам, которые хлеб уже не покупали, а отнимали силой; пообедав в гостях у панов, генералы считали долгом унести в свои экипажи все серебро и золото со стола радушных хозяев. Пример императора, увлекшегося Валуевской, которая сопротивлялась не дольше, нежели Макк под Ульмом, увлек в романтику флирта всех французов без исключения. Мюрат оказался самым пылким из кавалеров, и он доказал это, вламывая ночью топором двери спальни гра-

фини Потоцкой, усталой за день от продажи мороженого... В эту осень Варшава стала центром вселенной: сюда на поклон новому божеству съезжались короли, герцоги, принцы, политики всего мира. Талейран, чем-то озабоченный, едва цедил слова через зубы. Однажды Потоцкая слышала, как он окликнул Бертье вопросом:

— Не слишком ли мы далеко забрались, Бертье?

— Почему вы спросили меня об этом?

— Потому, Бертье, что вы умнее других...

Серые осенние дожди шумели за окнами дворцов. Талейран постукивал по столу вчетверо сложенной бумагой:

— Я имею известие большой важности... наш император еще не знает, что русский кабинет объявил нам войну!

Наполеон встретил это известие спокойно:

— Александр — глупый заяц, в голову которого попала дробинка, и он теперь бежит прямо на охотника, заряжающего ружье свежей дробью... Пук — и нет зайчика!

Тадеуш Костюшко проживал тогда в Париже, и, как ни пытался Наполеон вовлечь его в свои авантюры, патриот отверг все его посулы. «Это тиран! — говорил Костюшко об императоре. — Наполеон думает только о себе, ему ненавистны не только народы, но и самый дух их независимости... Дураками будут те поляки, что сунутся в его вербовочные конторы!»

Адам Чарторыйжский доложил об этом Александру:

— Костюшко прозорлив. Но я, государь, прозорлив тоже: теперь, когда военные распри вовлекли в политику и Польшу, я, природный поляк, не смею более заведовать иностранными делами русского государства...

А ведь случилось-то страшное! Наполеон, как проблеск молнии, пронзил Европу и объявился вдруг стоящим у ворот России! Было от чего растеряться. «Подобный тем бичам, кои насылаются на людей гневом небесным, он промчался среди ошеломленных народов, сокрушая троны, уничтожая города, одинаково свирепствуя в дворцах и хижинах, против сильных и против слабых», — писал тогда современник.

Писал не жалкий обыватель — генерал!

13. ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Императорские орлы — штандарты гвардии Наполеона — уже раскинули позлащенные крылья возле русских границ. Кутузов был лишен доверия, о нем даже не помина-

ли, дабы не вызвать неудовольствия царя. Но среди военных все понимали: п. и скорости маршей Наполеона нашествие угрожает Вильно или Смоленску — эти главные стратегические направления могли вывести французов сразу к Петербургу или сразу к Москве. Следовало предупредить удары врага... Александр метался:

— Именно сейчас мне не хватает генерала Моро! Сумев противостоять гению Суворова, он, знающий Наполеона, как никто, способен противостоять его наглости...

Главногокомандующего не было, а война уже началась.

Два русских корпуса перешли границу возле Гродно.

Одним командовал Леонтий Бенингсен — уроженец Ганновера, вторым Федор Буксгевден — уроженец острова Эзель. Генералы были единокоренны в одном — в несправедливо лютой ненависти, какую они издавна испытывали друг к другу. К ним присоединился и прусский корпус генерала Антона Лестока.

— Со мною, — сообщил Лесток, — четырнадцать тысяч штыков. Это все, что я мог выцарапать у своего короля...

О том, что Бенингсен с Буксгевденом грызутся над славой, как собаки над мозговой косточкой, Петербург был подробно извещаем от графа Петра Александровича Толстого, посланного на войну ради их укрощения. Толстой докладывал, что генералы распустили треть армии, их солдаты, сытости не знавшие, копают на полях гнилую и мерзлую картошку. Давно льют дожди, а дороги — гибель: если не хочешь утонуть на дороге, сворачивай с нее в сторону... Александр был явно растерян, но имени Кутузова не вспомнил.

— Что нам делать? Где я найду командующего? Как можно открывать войну, уповая на двух оборотов?..

Ему подсказали Михаила Каменского, воевавшего еще под началом Потемкина и Суворова; пятьдесят шесть лет подряд он отстаивал репутацию лучшего полководца России. Одна беда с ним...

— Ваша бабушка, — сказали царю, — блаженные памяти Екатерина Великая, всегда изволили считать Каменского умалишенным...

Каменский и стал главнымкомандующим. Три недели он шнырял до Вильны, потом из кареты пересел в дровни, повололся по грязи дальше, разглядывая солдат, копавших на полях картошку. Прибыв на войну, Каменский доложил в Петербург, что совсем ослеп, в Пруссии не бывал, городов не знает, немецкого языка тоже... Что делать?

Наполеон, прибыв к армии, был озадачен:

- Бертье, кто же такой Каменский?
- Называет себя соратником Суворова.
- Тогда, Бертье, с ним надо быть осторожнее...

Подумаем, читатель! Человек пятьдесят шесть лет выковывал свою репутацию для Пантеона бессмертных, а командовал армией всего *семь* дней. За одну неделю Каменский успел развалить даже то, что не успели организовать для обороны ни Беннигсен, ни Буксгевден, ни тем более Лесток. Что он там вытворял — уму непостижимо... Армия под руководством Каменского не знала, куда ей деваться: сегодня говорили, что пойдут прямо на Силезию, завтра обещали оборонять Кенигсберг. Но имя Суворова невольно гипнотизировало Наполеона: в каждой глупости Каменского, совсем не понимая его сумасбродных маневров, Наполеон тщетно пытался разгадать те проблески гениальности, что определяли высокое искусство Суворова. Каменский в этой войне добился *невозможного*: он сбил с толку не только свою армию, но ему удалось сбить с толку и самого Наполеона. Вся эта странная процедура — под дождем и снегом, среди болот и лесов — завершилась в ночь на 14 декабря 1806 года.

Как раз в эту ночь разбушевалась снежная буря, она сметала бивуаки русских и французов. Каменский закончил свое письмо к царю, откровенно признав в нем, что он, да, ума не имеет. После этого ума не имевший вызвал Беннигсена.

— Таких, как я, — сказал он, — в России тысячи, и не понимаю, почему именно меня наказать решили?

— Такой... *один*, — ответил ему Беннигсен.

— Спасайся, уводи армию прочь отсюда, иначе мы все погибнем. — Буксгевдену он приказал: — Бросай артиллерию, черт с ней, топи пушки в реках. Отступать... немедленно! Наполеон-то — от бога, наказание господне. За грехи наши, за грехи... Он как даст — только короны летят, нам ли, сирым, тягаться с ним? Этакое-то зверя лучше не задирать...

Бертье, сильно озабоченный, вошел в палатку.

— Что случилось? — встревожился Наполеон.

— Каменский затевает против нас что-то серьезное. На русских аванпостах движение, я вижу огни, там жгут пучки соломы. Слышны какие-то крики... вроде кричат «ура».

— Этот Каменский задал нам хлопот, Бертье.

— Да, с ним лучше не связываться... Может, целесообразнее сразу отступить, оставив в арьергарде Ланна?

Наполеон был небрит. Два дня не обедал. Его лошадки с

кухней и посудой бесследно исчезли в глубокой грязи, а с ними утонул и повар... посреди дороги! Наполеон уже давно подозрительно чесался — его гардероб тоже пропал.

— Проклятая страна,— ворчал император.— Теперь я понимаю Генриха Валуа, который улизнул из Варшавы в Париж, чтобы только не быть королем в этой местности.

Наполеон... отступил! Он выехал в Голымин, велел Ланну с его крепким корпусом предупредить противника. Беннигсен, назло Буксгевдену, оставил свой корпус на топких гатях близ Пултуска; он указал Буксгевдену примкнуть к нему, но Буксгевден, назло Беннигсену, отвел свои войска подальше от него. Хлеба не было, из походных церквей солдаты растащили все просвиры и сжевали их за милую душу. Громадные форшпаны (пруссские телеги) по самые оси вязли в сырой глине. Встретив отряд французов, екатеринославльские гренадеры возмущались:

— Они нас ишо на штык хотят брать? Ах, мать их всех за ноги! Покажем недоноскам, как надоть...

Перевернули ружья и погнали французов прикладами. Сражение при Пултуске началось. Над враждующими колоннами кружил мокрый снег, под ногами чавкала болотная слякоть. Русские почти целиком уничтожили весь корпус Ланна (за компанию с ним, кажется, раздергали и части Даву). Пространство на двадцать верст в округе было усеяно утонувшими в грязи ранеными, меж кочек торчали хоботы поникших пушек. Французы оставили обоз, из фургонов которого победители растаскивали вино и закуску... Возле Остроленки Беннигсен встретил Буксгевдена, они схватились за шпаги, чтобы прояснить личные отношения.

— Зачем ты спалил мосты через Нареву?

— Чтобы никогда больше не видеть тебя...

Но тут подоспел граф Петр Толстой:

— Именем государя... разойдитесь, господа! Граф Буксгевден, вам велено ехать в Ригу... Имею распоряжение из Петербурга: командующим остается генерал Беннигсен!

Виною тому сам Беннигсен: он порадовал царя победой при Пултуске, наврав ему, что разбил не Ланна, а самого Наполеона. С тех пор величал себя так: Победитель Непобедимого! Неизвестно, кому пришла благая мысль — офицерам можно голов не пудрить, а солдатам кос более не носить. Но указ об этом состоялся, когда армия двинулась на Кенигсберг.

— Они отходят на Кенигсберг,— доложил Бертье.

— Беннигсена перехватим на марше.

— Я солидарен с вашим мнением, сир.

— Но прежде дадим банкет,— сказал Наполеон...

Когда генералы сели за столы, каждый на тарелке (под салфеткой) обнаружил банковский чек на 1000 франков. Вполне приличный аванс, выданный вперед за будущую храбрость. Наполеон в таких случаях денег не жалел: предстояла битва, от мужества генералов зависел успех. Они спрятали чеки в карманы мундиров, потом дружно кричали: «Vive l'empereur!...»

Прейсш-Эйлау — таково это место, где русская армия скрестила оружие уже не с маршалами императора, а с самим Наполеоном, разбившим свою ставку посреди городского кладбища. Кладбище, конечно, не лучший командный пункт на этом свете, но между массивных надгробий можно было укрыться от несносного морозного ветра. Зима выдалась очень суровой, снег был на диво глубок, противники палили из пушек, а кавалерия рубилась в атаках, даже не подозревая, что под откатом орудий и ударами копыт не земля, а толстый лед застывших озер и прудов. Откуда командовал Беннигсен, неизвестно, ибо он... исчез! Его нигде не могли найти, и русская армия, предоставленная самой себе, сражалась по вдохновению тех генералов, имена которых навсегда остались дороги нашему сердцу: Багратион, Ермолов, Барклай-де-Толли, Раевский, Тучков, Дохтуров, прочие (а «Победитель Непобедимого» явился позже, когда пришло время сплести лавровые венки на свою голову).

Русские вломились в улицы прусского города.

— Сульт! — крикнул Наполеон. — Вышвырните их отсюда! Все смотрите на Сульта — сейчас он станет велик...

Барклай-де-Толли был ранен в руку.

— Сомов, — кричал он своему помощнику, — только не отступать!

Уличный бой всегда ужасен, и солдаты потащили Барклайя в переулок, он и сейчас, истекая кровью, все еще звал Сомова:

— Держать каждый забор... каждое дерево...

Наполеон все время спрашивал у Бертье:

— Где же пленные? Сколько их взято?

Бертье он просто надоед этими вопросами.

— Да какие тут пленные, если все держится на штыках! Убивают всех подряд, никого не щадят — ни мы, ни они.. Вы посмотрите, сир, что они там вытворяют!

Русская армия широким полукругом плавно, но жестко охватывала фланги французов. Наполеон, почуяв опасность,

сдвинул корпус Ожеро, и корпус полег замертво, а сам Ожеро, весь израиенный, едва выбрался живым.

— Если б не эта пурга... — оправдывался он. — Ради чего мы сюда забралась? Что нам тут надо?..

Дохтуров вел конницу прямо на кладбище.

— Вот он! — и палашом указывал на императора.

Наполеон увидел близ себя плещущие взмахи палашей, кромсающих его «ворчунов», он растерянно озирался:

— Бертье, что такое? Это не бой... резня!

Мюрат, спасая шурина, стронул лавину доблестной кавалерии. Он опрокинул ряды русской инфантерии, но ничего не достиг и пошел обратно, впервые узнав, что против урагана его неистовых сабель русские умеют выставить жала штыков, они вышибают всадников из седел, вспарывают животы лошадям. Но с другой стороны кладбища Прейсиш-Эйлау князь Петр Багратион ударил своей конницей, к Наполеону уже подвели лошадь, он видел бегущих солдат гвардии, призывая их:

— Не терять знамен... берегите моих орлов!

Мимо него пронесло в седле умирающего казака, который, уже ослепленный смертью, уносил как раз императорского орла, размахнувшего блестящие крылья. Бертье доложил, что корпус Нея на подходе, еще немного — и можно пускать в дело корпус Даву.

Ней, оглядев поле битвы, сказал перед атакой:

— Великий боже, что нам даст этот день?

Наполеон выпустил и Даву в эту мясорубку сражения:

— Смотрите на Даву — он сегодня станет велик...

Русским было сейчас все равно, какого зверя выпустит Наполеон из клетки — Ожеро, Нея или Даву. Пушки батарей Ермолова и Раевского работали так, что в воздухе кружились обломки оружия, взлетали каски и кивера, оторванные ноги лошадей и руки всадников, сжимающие сабли. Даву отошел. Наполеон почуял нутром, что дух его армии уже поколеблен в атаках, которые не дали ему никаких результатов. Он уже фантазировал, что сказать в бюллетене — для парижан, для Европы, для всего мира... В самом деле, что тут скажешь?

— Где же пленные? Где пушки? Где знамена?

Трофеев не было, а снег к вечеру стал коричневым от крови, которой в этот день не жалели ни русские, ни французы, трупы лежали грудями — да, это бойня! И нельзя закончить ее, и только ночь смогла прекратить резню... Беннигсен созвал генералов, спрашивал: как поступать да-

— Утром начнем все сначала,— сказал Ермолов, как всегда мрачный.— Начнем с первого выстрела до последнего.

— Мы уже победили! — воскликнул пылкий Багратион.— В этом нет сомнений. Не будем ждать утра... сейчас!

Граф Петр Толстой был осторожен в выводах:

— Господа, Наполеон сегодня НЕ победил нас...

По законам того времени победившим считался тот, кто оставался ночевать на поле битвы. Беннигсен отвел свою армию ближе к Кенигсбергу, а Наполеон, обрадованный, отправил в Париж хвастливый бюллетень о своей победе. Дабы пресечь сомнения журналистов, он восемь дней подряд еще морил голодом и морозил своих солдат у Прейсиш-Эйлау, этой долгой стоянкой доказывая Европе правдивость своего лживого бюллетеня¹. Он никого не обманул: его армия не могла опомниться после битвы, нервное потрясение было слишком грандиозно, и Наполеон все время допытывался у Бертье: «Отошел ли Беннигсен? Далеко ли?..»

Разом началась оттепель. Всю солому с крыш обобрали, скормив ее несчастным лошадям. Госпитали Кенигсберга были забиты русскими ранеными («Из коих многия до сих пор не получали перевязки, около 10 мрут каждодневно» — это слова очевидца). Беннигсен расписал в донесении свою, конечно, победу, чтобы царь порадовался, он депешировал ему, что отсылает в Петербург двенадцать императорских орлов:

— Несите их все сюда... курьеры ждут!

Из двенадцати орлов нашли только пять, и Ермолов сказал:

— Остальных не ищите — их уже пропили.

— Как пропили? — обомлел Беннигсен.

— А так...

Выяснилось, что солдаты, не понимая ценности священных для Наполеона реликвий, обменяли его орлов на водку в прусской деревне. Не будем судить их за это prodigieuses на морозе, они хотели согреться. Но зачем орлы французской гвардии нужны в крестьянском хозяйстве — кто знает...

Наполеон в эти дни говорил Бертье:

— Нашей длинной веревке пришел конец. Выхода нет, и надо призвать в армию молодежь набора восьмого года.

Бертье сказал, что преждевременная конскрипция вызо-

¹ В 1809 г., беседуя в Вене с военным атташе А. И. Чернышевым, Наполеон признался: «Если я назвал себя победителем при Эйлау, то лишь потому, что вам угодно было отступить».

нет во Франции тревожный резонанс: «Не лучше ли нам подумать о мире?...» Наполеон жил в избушке, вьюга наметала сугробы. Вчера солдаты кричали ему: «Папа, хлеба!» Они кричали по-польски, и он ответил им словами поляков: «Нема хлеба». А где-то там, за снежными равнинами, лежала загадочная страна, которая на смену павшему легко ставила десять новобранцев. Убей их десять — из-под снега вставали сто.

— Прежде чем говорить о мире, Бертье, мы должны рассчитаться с русскими за Прейшиш-Эйлау... Париж я могу обмануть, но вас-то не обманешь: да, мы проиграли!

Весной 1807 года Александр выехал на войну, цесаревич Константин вел гвардию, включая и полк кавалергардов. Гаврила Державин, уже совсем дряхленький, проводил всю эту компанию в боевой поход виршами:

Ступай и победи никем не победимых,
Обратно не ходи без звезд на персях зрнмых...

По прибытии к армии царю показали войска, и они выглядели хорошо. Он не знал правды. Цесаревич открыл брату глаза: в соседнем лесу прятались по кустам голые люди.

— Кто вы такие? — спрашивал царь. — Почему голые?

— Мы не знаем... нам так велено, мы не виноваты...

Оказывается, чтобы привести в божеский вид часть войска для царского смотра, Беннигсен другую часть армии раздел, ибо на всех солдат не хватило ни обуви, ни порток, ни мундиров. В ответ на упреки, что армия голодает, Беннигсен нахально отвечал императору: «Ну и что? Все так. Я ведь тоже имею к обеду лишь три блюда...» Александр поселился в Тильзите, где между братьями произошла очень бурная ссора.

— Беннигсен жулик и злодей! — говорил Константин, не вынимая изо рта сигары. — Послушай, что говорят в армии. Один раз ты загнал ее под Аустерлиц, где она погибла за венских трясунов, теперь ты спроворил ее под Кенигсберг ради голубых глаз королевы... Так судят офицеры. А на солдатских бивуаках судят эдак, что лучше мне помолчать.

Император жаловался потом князю Куракину:

Как люди не поймут, что нам нужен заслон! В пятом годе я спасал Австрию, ограждавшую Россию с юга, теперь я вступаю за Пруссию, чтобы не лишиться страну заслона на севере... Нельзя же нам допустить, чтобы мы,

русские, граничили с наполеоновской Францией! Она уже здесь...

Стратегически император рассуждал правильно.

— Ваше величество,— отвечал ему вельможа,— если бы вы так и объяснили народу в своем манифесте о войне. Вместо этого Синод велел возгласить в храмах божиих, что Наполеон — исчадь сатаны, совокупившегося с блудницей египетской, анафема ему на многая лета. Теперь, случись замирение, как же вы из антихриста херувима лепить станете?

Куракин тоже рассуждал здраво. Между тем Тильзит уже наполнялся слухами. Поговаривали, что Беннигсен наголову разбит Наполеоном, армия отступает. Кенигсберг уже сдан, все чаще поминался городишко Фридланд. В ставке царя, громыхая пудовыми ботфортами, вдруг появился граф Петр Толстой мрачнее тучи.

— Сушую правду,— потребовал от него император.

— Правда такова,— отвечал Толстой.— Войска наши опрокинуты в реку Алле, Багратион отошел по горящим мостам, а князь Горчаков не мог помочь, отделенный от него озером. Беннигсен валялся на земле, жалуясь на разлитие желчи. От самого начала баталии у Фридланда мы были прижаты к реке.

— К реке? Какой же балбес избрал эту позицию?

— Беннигсен... Для Бонапартия этот день был юбилеем Маренго, и он отпраздновал его под Фридландом. Войско вашего величества сражалось геройски. Можно лишь дивиться, что французов положили в таких условиях не меньше, нежели они уклали на берегу наших. Преследовать нас они не решились. Наполеон хлопочет о мире и встрече с вами.

— Что же нам, Толстой? Уходить за Неман?

— Да! И сжигать мосты. Я не сказал, ваше величество, главного: конница Мюрата быстрым аллюром спешит в Тильзит.

— Тильзит, Тильзит... святой боже, что творится?

Эта беседа состоялась в прусском местечке Олита, где император инспектировал дивизию князя Лобанова-Ростовского. По слухам, Наполеон уже выслал Дюрока в ставку Беннигсена, и Дюрок не говорил с ним о перемирии — он настаивал на мире и дружбе, из чего слагался вывод: Наполеон желал большего — союза с Россией... Александр поразмыслил об этом:

— Хорошо. Пригласите сюда Лобанова-Ростовского.. Князь,— сказал он ему,— ты поедешь к Наполеону ради прелиминарных переговоров о мире. Но помни, Дмитрий Ива

нич: если что исполнишь не так, я сразу же дезавуирую тебя в политике, и ты будешь виноват у меня с ног до головы.

Князь Лобанов — солдат. Грубый. Нескладный.

— Вот как?! — расшумелся он. — Сижу я у себя в имении. На заводе винном гоню водку для казенных надобностей. Вы меня зовете — на дивизию! Не успел ее построить, как мне вдруг ехать к Бонапартию и рассуждать с ним о мире.

— Моли бога, — ответил Александр, — чтобы после этого мира не сослал я тебя обратно на заводы водочные... Сунулся было к царю и Беннигсен:

— Государь, прикажите, что далее мне делать?

— Убираться отсюда... ко всем чертям!

Беннигсен быстро нашел «чертей». Он стал ужинать у английского посла Говера, который потащился за царем в Пруссию, чтобы шпионить за русской ставкой. Напоминаю, что Беннигсен — ганноверец, а Ганновер — древняя вотчина британских королей на континенте. Не тут ли и зашевелились «черти»? Ужины не повод для обвинения Беннигсена в предательстве. Но историки еще не разрешили каверзного вопроса: кто продал Англии тайны Тильзитского соглашения? Почему Лондон буквально через несколько дней уже знал в подробностях все его секретные статьи?

Барклай-де-Толли, тяжело раненный при Эйлау, был отвезен пруссаками в Мемель — для лечения. В тамошнем госпитале его навещал знаменитый историк античного мира Бартольд Нибур, спасавшийся от французов в Пруссии... Между ними однажды возникла беседа, о которой наши историки, очевидно, просто забыли. Нибур спросил Барклая: как бы он действовал против Наполеона, если бы Наполеон решился вступить с армией в просторы России? Барклай к ответу был готов:

— Я бы избегал генеральных сражений, чтобы, отступая, увлечь Наполеона в глубь русских пределов. При этом я постоянно бы ослаблял Наполеона частыми, но короткими ударами с флангов, сохраняя свои войска в порядке. Я мямлявал бы Наполеона бесплодными маршами до тех пор, пока он не нашел бы места для своей Полтавы...

Наверное, Нибур эти слова записал, иначе они не дошли бы до нас. Но речь Барклая — не есть ли это заранее смисленный пролог к будущему? Кутузов в канун Аустерлица тоже ведь, не страшись расстояний, хотел вытянуть Наполеона из Моравии в Галицию, чтобы там и уничто-

жить. В совпадении планов двух полководцев я хочу видеть некую солидарность в их общей великолепной стратегии...

14. ЭТО БЫЛО В ТИЛЬЗИТЕ

Неман стал демаркационной линией. Обычно яростный в преследовании противника, на этот раз Наполеон вел себя *нарочито пассивно*. Французы не мешали русским спокойно отойти за Неман и протащить через мосты громоздкие обозы. Лишь убедившись в том, что русские справились с этим нелегким делом, Наполеон 19 июня въехал в притихший Тильзит. В этот же день въехал в Тильзит и князь Лобанов-Ростовский, которого с нетерпением ожидал маршал Бертье.

Бертье встретил князя как лучшего друга, он поразил Дмитрия Ивановича своей откровенностью.

— Задали вы нам хлопот! — сказал он, смеясь. — При Каменском мы устали от его фокусов, подозревая ловушки там, где их не было. Беннигсен при Фридланде поставил свою армию на Алле в такое положение, что мы долго не могли поверить в его ошибку, нам все казалось, что это делается нарочно. Итак, вы прибыли с миром, генерал?

— О мире могут судить дипломаты, — ответил князь. — Мы же, генералы, можем договориться лишь о перемирии.

Радость на лице Бертье померкла (стало ясно, что он ожидал от русских гораздо большего). Лобанов-Ростовский заявил далее, что ни мира, оскорбительного для русской чести, ни изменения границ Россия никогда не допустит.

— Мой император, — сразу вспыхнул Бертье, — и не помышляет об этом. Мы, французы, считаем обидным для себя даже намек на изменение ваших российских пределов...

Пока все складывалось хорошо. За обедом Дмитрий Иванович грубовато, но честно заметил Бертье, что бюллетени, посылаемые в Париж императором, далеки от истины, а в № 58 искажена правда о битве при Прейсиш-Эйлау.

— Свои потери вы сократили в четыре раза, а наши увеличили в пять раз. Если вам верить, так вы взяли у нас восемнадцать знамен... Вы хоть одно русское знамя видели?

— Ни одного! — ответил Бертье, улыбаясь. — Я согласен, наши бюллетени для публики фальшивы. Зато императору мы докладываем только правду. Вы же в своих бюллетенях обманываете не только себя, но и свое правительство. А народ русский должен сам гадать на кофей

ной гуще — где же истина, а где вымысел... Так что же лучше?

Бертье велел принести из кабинета портфель, показал из него доклады Наполеону генералов и маршалов, и князь Дмитрий Иванович своими глазами убедился, что все доклады были справедливы. Без прикрас. Без хвастовства. В этот момент открылась дверь — явился Наполеон.

— Бертье, вы уже продали мои тайны? Хорошо ли это? — Затем, подойдя к русскому генералу, он взгляделся в его жесткое, топорное лицо. — Я вас знаю и одобряю выбор вашего государя... Бертье, велите открыть шампанское.

Он взял карту Европы и перегнул ее пополам так, что сгиб карты пришелся по меридиану Варшавы:

— Ради чего мы спорим? К чему кровопролитие? Вот естественная граница меж нами: к востоку от Вислы — все ваше, но к западу от Вислы — уже *мое*. — Наполеон беззаботно чокнулся с князем бокалами. — За вашего императора!

Бертье заметил ордена и золотое оружие князя:

— Сразу видно, что вы немало воевали.

Лобанов-Ростовский перечислил свои награды:

— За Очаков, за Измаил, за Мачин, за штурм Праги...

Увы, все это в иные времена — при матушке Екатерине!

Вспомнив младость, он даже прослезился. Наполеон распахнул двери, стал звать своих генералов и маршалов:

— Идите сюда, идите... вот вам пример верности: при имени Екатерины генерал плачет. Хотел бы я знать — будете ли плакать вы, когда меня не станет?..

Вечером император навестил Талейрана.

— Поется новая любовная ария? — спросил тот.

— Хочу составить любовный дуэт с Александром... сейчас мне это нужно. — Он помолчал, явно гордясь успехом. — И все-таки математик и знаю, что минус на минус всегда дает плюс. Вот и результат: минус Голландия с Бельгией, минус Австрия, минус Италия с Пруссией, а в итоге недурной плюс! — и при этом Наполеон показал на себя.

— Кого же готовить послом для Петербурга?

— Пока... пошлем Савари. На разведку!

Талейран понятливо кивнул. Убийство герцога Энгиенского еще не забыли в салонах петербургской знати, и послать туда главного убийцу — значило испытать чувства Александра, проверить прочность тех уз, которые в Тильзитском император Наполеон собирался наложить на Россию. Но Талейран мыслил уже и далее: несомненно, Тильзитский мир возведет Наполеона на вершину его могущества,

зато после Тильзита он начнет скатываться с вершины — все ниже и ниже...

«Не пора ли и предать его здесь, в Тильзите?»

...Много позже, уже на острове Святой Елены, Наполеона спрашивали — в какой момент жизни он испытывал всю гигантскую полноту счастья? Подумав, «узник Европы» отвечал:

— Пожалуй, это было в Тильзите...

.....
Накануне Англия отказала России в пустяковом займе, хотя Петербург и просил-то всего шесть миллионов фунтов стерлингов. Английский посол Говер имел наглость сказать, что России достаточно 2200000 фунтов, но «она обязана разделить эту сумму между Пруссией и Австрией...». Вот тогда-то Александр, обычно сдержанный, высказал Говеру все, что он думал об Англии: «Наполеон прав, презирая вас за ваши торгашеские нравы...» Говер осмелился заявить, что Россия не имеет права вступать в сепаратные переговоры с Наполеоном без участия в них Англии, а царь отказал ему в аудиенциях:

— С этого момента вы для меня не существуете.

Разрыв с Англией назрел! Однако в Петербурге дамы и господа слишком привыкли к союзу с англичанами, Александра обвиняли чуть ли не в предательстве. Даже сестра царя Екатерина Павловна (у которой с братом были такие же отношения, как у Наполеона с падчерицей Гортензией) написала в Тильзит, что свиданием с Наполеоном он подчинится ему. «Мы,— писала сестра, подразумеваемая Россию,— принесли огромные жертвы, а... зачем?» Александр в эти дни сблизился с «бриллиантовым» Куракиным, сделав старика поверенным своих сомнений. Он повторил перед ним то, что ответил сестре:

— Пусть Бонапарт не думает, что я дурак: я буду смеяться последним... в Париже! Он еще не знает, как страшен русский народ, если его затронуть. Сейчас призыв к миру исходит не от России — Франция сама лезет ко мне в кабинет. А вы, Александр Борисыч, оказались тогда правы на совещании. Бывают обстоятельства, когда следует руководствоваться одним лишь побуждением — безопасностью отечества! Пусть это побуждение и станет главным в нашей политике...

Совместно они обсудили главные мотивы к вынужденному миру: Беннингсен армию развалил, налицо 46 000 штук, а по спискам должно быть все 100 000; Англия не союзник, а скрытый завистник, помощи от нее ждать в этих

условиях глупо; Наполеон у границ России, и сейчас он сильнее; коалиция распалась, а без помощи других государств Европы нет смысла втягивать русский народ в новое и длительное кровопролитие... Вывод — идти на мир, каков бы он ни был!

— Но все-таки, князь, я попробую уговорить Наполеона на сохранение Пруссии, которая надобна вроде пограничного барьера. Нельзя допустить его уничтожения...

Перемирие было подписано, и Александр его ратифицировал. Однако Бертье, выражая волю Наполеона, настаивал перед Лобановым-Ростовским на личной встрече монархов. Наполеон снова пил шампанское с русским генералом:

— Я и ваш государь, мы должны объясниться... Франция нуждается не только в мире с Россией, но и в дружбе с нею, — ласково убеждал он. — Если вам угодно, я хоть завтра отрежу от Пруссии самый жирный кусок для вашего государя.

Наконец, он послал к царю адъютанта Дюрока.

— Я прибыл договориться о свидании... Чтобы ни вашему величеству, ни моему императору ничто не мешало и не было бы лишних свидетелей, мой император предлагает встречу посреди Немана... на плоту! Я жду вашего ответа.

Александр не стал возражать, хотя и понимал, что свидание на плоту, окруженном водою, вызовет немало кривотолков в русском простонародье. Странно, что у Наполеона все было готово к встрече: посреди плота устроен павильон, украшенный буквами «А» и «N». Утром следующего дня император Александр прифрантился, он был при шпаге и пояском шарфе. На берегу Немана царь прошел в корчму, уже разоренную войсками, от крыши остались одни лишь стропила, и уселся возле окна, сложив на столе перчатки, шляпу с белым плюмажем и черным султаном на гребне. Прусский король, ко всему излишне внимательный, уже стал обижаться:

— Почему на павильоне не видно моей буквы «F»?

— Не мы, русские, этот плот сооружали.

— Значит, меня не будет на переговорах?

— Из наличия букв сделайте вывод сами...

Вдоль противоположного берега выстраивались шпалеры французской гвардии, толпились любопытные горожане. Раздались звуки фаифар, верхом на лошади скакал Наполеон в окружении свиты и маршалов. Александр не спеша натянул перчатки:

— Ну, мне пора... сейчас все должно решиться!

Он отплыл на убогой рыбацкой лайбе, для его гребцов

едва нашли белые шаровары. Наполеон отчалил на красивой ладье, его матросы были в киверах, куртки расшиты золотыми бранденбурами. Наполеон стоял на носу ладьи, скрестив на груди руки, как и положено ему, Наполеону. Он первым выскочил на плот и подал руку Александру. Первые слова, сказанные ими, навеки потерялись в шуме голосов и криков радости с берегов реки. Историки сумели реконструировать лишь вторые или третьи их фразы. Александр якобы сказал:

— Я ненавижу Англию не менее вас.

— Если так,— отвечал Наполеон,— мы поладим...

Сколько лет прошло с той поры, а Франция до сих пор не опубликовала документов об этом свидании. Если они и были, то, вероятно, уничтожены. Россия оказалась счастливее: по крохам, но кое-что все-таки собрали и сохранили... Когда императоры сделались «друзьями», Талейран, веселый и предельно ласковый, объявился перед князем Куракиным с портфелем.

— Что могут понимать в политике наши Цезари! — сказал он, бравируя легкомыслием парижанина. — Пусть они и далее исполняют свой любовный дуэт, но мы с вами, дорогой коллега, должны всю музыку Тильзита переложить на секретные ноты. Никаких, конечно, свидетелей, и даже кошку попросим удалиться за двери... Итак, я буду вашим секретарем, а вы станете моим. Попишу я — устану, затем напишете вы...

Тильзит был объявлен нейтральным городом, его гарнизон составили батальоны русской и французской гвардий, для которых пароль сделался общим. По утрам граф Петр Толстой, ворчливый, шел справляться у Бертье о драгоценном здоровье Наполеона, а Дюрок приходил спросить о драгоценном здоровье Александра. С бивуаков башкирской конницы иногда взлетали тонкие стрелы, бронзя летящих над городом птиц, что вызывало всегда бурю восторга среди французов. Донские казаки по ночам упивались ворованным у противника шампанским и бордоским. Наполеон без охраны и свиты, заложив руки за спину, шагал по городу в гости к царю, а царь, тоже без охраны, ходил обедать к Наполеону. Александр в гостях у французов ел все, что дают, а Наполеон в гостях у русских никогда ничего не брал со стола — боялся отравы...

Желание побывать в Тильзите, нейтральном и закрытом, чтобы подивиться на императора французов, было у русских офицеров очень велико. Многие, чтобы обмануть стражу, селились в городе под видом проезжих купцов с това-

рами. Князь Сергей Волконский (будущий декабрист) нарядился под прусского мещанина, навесил на шею лоток и вошел в Тильзит, торгуя булками и конфетами. Он даже растерялся, когда в одном из французских офицеров узнал Михаила Орлова:

— Мишель, в чем дело? Почему ты одет в чужое?

Орлов огляделся вокруг и шепнул по-русски:

— А ты, Серж, тоже не в своем... помалкивай!

Среди русских в Тильзите можно было встретить и бесшабашного Дениса Давыдова. Но был ли он весел тогда? Вряд ли. В своих мемуарах он писал: «1812 год стоял посреди нас, русских, со своим штыком в крови по дуло, со своим ножом в крови по локоть...»

Александр, покидая Тильзит, с изысканной любезностью предложил Наполеону быть гостем в России, он сказал:

— Вы так много уже видели! Но после красот Италии вам необходимо видеть нашу Москву, наш сказочный Петербург... Я извещен, что вы не выносите даже малейшего холода. Но я обещаю отапливать ваши комнаты до состояния египетской температуры. А потом ждите меня в Париже...

Вряд ли упоминание о Египте было полезно для настроения Наполеона, и весь день император оставался мрачен. Вечером он просил Савари остаться для беседы и сказал ему:

— Этот лысеющий бонвиван где-то и когда-то успел меня уже обмануть... Но — где? Но — когда?

.....
Александр I, всходя на плот Наполеона, доказал, что он способен быть сильным и прозорливым политиком. Недаром же в европейской дипломатии того времени о нем сложилось такое мнение, что «в политике русский царь тонок, как кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, как перо морская...» Он сумел в Тильзите обворожить Наполеона, оказавшись в конечном итоге умнее его, изворотливее, дальновиднее...

Мир! Но теперь снова будут разрываться карты Европы.

15. А В ПЕТЕРБУРГЕ ХОЛОДНО

Алексей Михайлович Пушкин, генерал и писатель, на почтовой станции в глуши России узрел на стене гравюрный портрет Наполеона. Он спросил станционного смотрителя:

— На што, друг, мерзавца у себя повесил?

— Не ровен час, он с фальшивою подорожной объявится на станции лошадей требовать. Я его, голубчика, вмиг портрета разоблачу. Свяжу и представлю по начальству.

— А, это другое дело! — сказал Пушкин, довольный таким ответом, и велел подавать ботвинью с зеленым луком...

После Тильзита русским людям было свыше указано, чтобы впредь не вздумали «Наполеона» называть «Бонапартием». Но указ не дошел до барских псарен, и помещики показывали гостям щенят новорожденных, держа их за шкирки:

— Эва! Моя краснопадлая сука Задира от брыластого Прохвоста родила. Сучку назвал Жозефкой, кобелька Наполеошкой...

Объяснить народу мир с Францией было очень трудно, ибо русские не забывали громких побед Румянцева, Потемкина, Ушакова и Суворова. Неграмотные мужики чесали в затылках:

— Не иначе как нечистая сила! Недаром иаш-то с ихним-то посередь речки плоты сколачивали... не к добру!

Купцы на столичной бирже судачили:

— Да какой же это мир, ежели наш к Напулевону покатил, а не сам Напулевон приехал нам кланяться...

Александра, по возвращении его из Тильзита, петербуржцы встретили неприязненно. Но генерала Савари они встретили с неприкрытой ненавистью. Савари был обязан переломить антифранцузские настроения в Петербурге, чтобы расчистить дорогу к сердцу царя тому послу, который займет его место уже основательно. На городской заставе Савари долго томили, перерыв весь его багаж. В пяти домах столицы отказали в квартире. Пришлось остановиться в гостинице «Лондон». Визитные карточки в домах аристократии остались лежать в передних без ответа. На тридцать визитов Савари отозвались лишь два человека: князь Лобанов-Ростовский, сам причастный к «кухне» Тильзита, и граф Петр Александрович Толстой, собиравшийся ехать в Париж русским послом.

Теперь для ведения иностранных дел понадобился граф Николай Румянцев — удобная для Наполеона «подсадная утка», ибо Румянцев давно выступал за союз с Францией. Но при свидании с Савари он сразу дал ему отпор. Савари посчитал, что мнение царя в России — это и есть мнение общества:

— У нас во Франции все решает император, а если меж ним и обществом вырастает пропасть, ее быстро засыпают свежей землей, прокладывая поверху бульвар для забвения пропасти.

— Как в России хорошо поставлено дело парадов, так

во Франции отлично организована печать, раздавливающая любое мнение,— сказал Румянцев.— Но пусть вам не кажется, что вы попали в страну, где правит деспот. Наш император в отличие от вашего ничего не может сделать без нас, а мы, дворянство, никогда бы не потерпели его самовластья...

Наполеон предвидел, что Савари в Петербурге будет трудно. Считая себя большим знатоком дамских нарядов, император нагрузил посла сундуками с платьями, которые сам же и отобрал. Императрица Елизавета, женщина скромная, угнетенная постоянными изменами мужа, не польстилась на «дары данайцев», зато содержимое сундуков имело большой успех в доме Марьи Антоновны Нарышкиной. Наполеон, действуя через Савари, лично указывал этой фаворитке царя, что сейчас модно в Париже, он издали осыпал ее жемчугами и бриллиантами.

Александр предоставил Савари гондолу, роскошно убранную, которая ожидала посла у набережной возле Марсова поля. Гребцы с песнями быстро доставляли Савари на Каменный остров, где император проживал на даче, подальше от суеты столицы. За столом прислуживали черкесы с кинжалами. Беседовать с послом Александр выходил в осенний сад.

— Передайте своему императору,— сказал царь,— что после моего разрыва с Лондоном я не стану заискивать и в дружбе веиской. Поверьте, никогда не спал на трехспальной кровати! Думаю, граф Толстой вполне устроит Париж своей откровенностью старого солдата. Но кого же следует ожидать в Петербурге на ваше место? Мне нравится Дюрок, я люблю и Армана Коленкура... с трудом верится, что этот милейший человек причастен к убийству герцога Энгиенского.

Савари внутренние сжался. Он ответил, что Коленкур, страстно влюбленный в Адриенну Казини, вряд ли покинет Париж, однако Наполеон не терпит браков с разведенными дамами.

— Странно... У меня при дворе полно разведенных женщин, и мадам Казини, став женою Коленкура, никогда не будет отвергнута нашим обществом,— обещал Александр...

Настала очень морозная зима, Петербург замело высокими сугробами, в самые последние дни 1807 года в Петербурге появился маркиз Коленкур, облаченный в громадную шубу.

Новый посол казался раздраженным, издерганным.

— Император все-таки уговорил меня ехать сюда... Один

раз он обещал не препятствовать моему счастью, если я выведу из Бадена герцога Энгийенского, но слова не сдержал. Теперь он поклялся, что Адриенна будет моей, если я займу посольское место в морозах русской столицы... Я привез, Савари, очень много денег и очень сложные инструкции!

После долгой дороги Коленкуру было приятно прислониться спиной к горячей печке. За окнами сверкала замерзшая Нева, в изморози цепенели четкие, как гравюрные линии, рей и снасти застывших кораблей. Савари предупредил Коленкура:

— Можете жить здесь спокойно. Я не брал на себя вину за расправу над герцогом Энгийенским. Но я посеял в высшем свете Петербурга слухи, будто вы совсем не причастны к этому убийству. Однако, маркиз, вы напрасно доверились нашему императору. Теперь ждите, что он сошлет мадам Казини куда-нибудь подальше от Парижа, и вы не скоро ее увидите.

— Он не посмеет издеваться над моими чувствами! — Оторвавшись от печки, Коленкур подошел к окнам. — Как вы думаете, Савари, — вдруг спросил он, — где сейчас хранится таинственный ключик всей европейской политики?

— Надо полагать, в Париже...

— Сомнительно. Ключ здесь, в Петербурге.

— Не думаю, чтобы император согласился с вами.

— Между тем я лишь повторил мнение Наполеона...

Вечером они оба ужинали без лакеев.

— Помимо исполнения инструкций и траты денег, — сказал Савари, — вам предстоит одно щекотливое дело...

— Не пугайте меня, Савари!

— Но вы должны знать, что Петербург устроил настоящую охоту за генералом Моро. Я недавно обедал у царя, оказавшись соседом князя Багратиона, и этот бравый генерал уверенно ставил Моро выше нашего императора. А сейчас русский кабинет тайно хлопочет о призвании Моро на русскую службу.

— Как далеко зашли эти происки?

— Очень далеко... вплоть до Филадельфии.

— Откуда вам это известно?

— От фаворитки царя... от Нарышкиной, эта нимфа сама проболталась, будто к Моро в Америку уже послан доверенный человек, дабы побудить его к переселению в Россию.

Коленкур бесцельно передвинул подсвечники на столе, он еще не согрелся и налил себе чуточку старки.

— Из Петербурга в Америку может быть отправлен только такой человек, который *лично* знал Моро... Кто же он?

Остроносое лицо Савари лоснилось в потемках.

— Этого,— сказал он,— мадам Нарышкина, наверное, и сама не знает. Я не терял здесь времени даром и перебрал всех русских, бывавших в Париже после Амьенского мира. И не нашел никого, кто бы годился для такого опасного поручения.

Коленкур раскурил от свечей испанскую сигару.

— Я не верю в это,— ответил он.— И никогда Моро, заядлый республиканец, не станет служить монархам. Скоро мы увидим генерала Моро командующим американской армией. Сам республиканец, он охотно согласится служить республиканцам. На этом, Савари, и закончим наш очаровательный ужин.

Под шелест знамен

— Моро, Моро в нашем лагере! Вы его, конечно, нарисуете,— слышу я со всех сторон... Этот человек, почитаемый всей Европой и столько лет возмущающий ее своим прямодушием, проскакал мимо нашей колонны...

Александр Чичерин. Дневник

ТРЕТИЙ ЭСКИЗ БУДУЩЕГО. ОТ ВЕЛИКОГО ДО СМЫШНОГО

Весной 1814 года Наполеон не заметил (или не хотел замечать), что русские, устремленные к Парижу, теперь явно игнорировали его самого и его армию. Он не верил (или не хотел верить), что союзники отважатся на взятие Парижа. Император, казалось бы, логично доказывал маршалам:

— А что им это даст? Стратегическая ценность Парижа такова же, как и любого иного города Франции. Я взял у русских Москву, но это не явилось для них концом России...

Очевидно, Бертье был ближе к истине:

— Но у России два сердца — Москва с Петербургом, а Франция живет одним, больным и старым, — Парижем...

Пока русские и пруссаки воевали, не щадя крови, Австрия была озабочена даже не стратегией войны, а политическими интригами, чтобы затянуть войну ради своих выгод. Но канцлера Меттерниха тревожила и судьба тех сундуков, которые вывозила из Парижа императрица Ма-

рия-Луиза. Он вызвал к себе одноглазого графа Адама Нейперга, который даже с черной повязкой на лбу оставался опасен для женщин.

— Все, что вы сейчас услышите, согласовано с мнением императора Франца. Когда он отдавал свою дочь за Наполеона, брачный контракт не учитывал сердечных чувств, таким образом, граф, любое ее поведение морально всегда оправдано.

— Я отлично понял,— ответил Нейперг канцлеру.

— Приложите все старания, чтобы память о Наполеоне поскорее исчезла из ее сердца. Из Тюильри она вывозит гигантские сокровища. Запомните номера ящиков — второй и третий, в них — бриллианты... одни бриллианты, граф!

— И это я понял,— поклонился Нейперг.

Наполеон, бесплодно маневрируя южнее Парижа, отсылал жене бюллетени, уверяя в них Францию о своих новых победах. 2 апреля Мария-Луиза, покинувшая Париж, была уже в Блуа, где народ встретил ее отчужденным молчанием: бюллетеням никто не верил! Русской ставке было тогда не до сокровищ Наполеона, но Александр для охраны Марии-Луизы послал графа Павла Андреевича Шувалова, который сумел вызвать большое доверие у растерянной и запуганной женщины. Францией тогда управляло правительство Талейрана, который тоже охотился за бриллиантами. По его приказу кортеж императрицы настигла особая комиссия, которая распотрошила весь обоз, избавив ее от десяти миллионов франков.

— Это мои последние,— горько рыдала Мария-Луиза.

«У нея отобраны равно как и все золотые и серебряные вещи до последней ложки, когда она села в тот день за обед, у нея не оказалось ни ложки, ни даже вилки, и ей пришлось бы есть пальцами, если бы не выручил епископ Орлеанский». Когда появился граф Нейперг, у женщины оставалось только одно платье, которое было надето на нее. Нейперг облазил все фургоны, но даже одного глаш ему хватило на то, чтобы убедиться в исчезновении ящиков с бриллиантами. Он стал приставать к Шувалову — не видел ли тот ящики № 2 и № 3?

— Я... не француз,— язвительно отвечал Шувалов.— Меня прислали сюда не за тем, чтобы сторожить багажи...

Вскоре приказом из ставки его отозвали в Фонтенбло, чтобы сопровождать Наполеона на остров Эльбу.

— Вы последуете за мужем? — спросил он женщину.

— Нет.— резко вмешался Нейперг.— Ее французское

величество в прошлом австрийское высочество, а традиции дома Габсбургов повелевают ей исполнить волю родителя.

Перед отъездом Шувалова женщина плакала:

— Умоляю — не покидайте меня. Я окружена врагами, вокруг какие-то козни... я ничего не знаю в этой жизни, меня все грабят, унижают, бесчестят. Этот Нейперг... умоляю!

Ну, а что мог ответить ей Шувалов?

— К сожалению, у меня приказ: надо ехать...

Шувалова сопровождал фельдъегерь Семен Кулеваев — происхождения мужицкого, бывший курьер, человек семейный.

— Где ж это видано, чтобы жена за мужем не ехала? Да у нас в деревне такую курвищу любая курица залягала бы.

Фонтенбло приближалось. Шувалов ответил

— Помолчи, Сеня, что ты понимаешь? Бедную девочку, ее привезли в Париж как овцу на заклание. За что осуждать ее? Чем она виновата, что явилась жертвой коварства Меттерниха и Шварценберга? Давай лучше пожалеем ее...

Дорога была наезженная, кони бежали хорошо.

.....
Даже солдаты понимали вздорность маневров Наполеона. Здравый смысл диктовал: защищать Париж надо не вдали от Парижа, а как можно ближе к Парижу, но император, пребывая в мире расплывчатых иллюзий, уже не имел здравого смысла. «Если я погибну, — говорил он, — под развалинами моего трона погибнут и все...» Император был извещен о разладах, военных и политических, между Венуою и Петербургом, отчего и питал надежды на развал коалиции. Его малость отрезвил приезд из Шантильона маркиза Армана Коленкура (он же и герцог Винценцкий). Коленкур не стал щадить императора и честно сказал, что никто не желает мира с Францией, пока он, император, не отречется от престола. Наполеон испытал страх. Но еще больший страх угнетал маршалов.

— Не надоело еще таскаться по дорогам и таскать за собою нас? — бурчал Ней.— Если ему желательно погибнуть, так пусть удавится, только бы оставил Францию в покое...

Никакого почтения к своему суверену маршалы давно не испытывали. Бертье говорил: «Присмотритесь... он уже сумасшедший!» Стало известно, что Мармон и Мортье разби-

ты русскими при Фер-Шампенуазе — на подступах к Парижу.

— Что же нам делать? — тускло спрашивал Наполеон.
— Заключать мир, — отвечал Бертье.

Наполеон машинально перебрал на столе бумаги:

— Да, да... мир? Но когда я произношу это слово, мне уже никто не верит... Я прикажу играть «Марсельезу»! Я верну Францию к временам революции, я верну ей те лозунги, что забыты... я отворю тюрьмы... свобода, равенство, братство!

— Он уже бредит, — говорил Бертье маршалам.

Наконец, сознание Наполеона обрело прежнюю ясность: Париж — центр общественной мысли Франции, а Франция со времен революции привыкла думать «головой» Парижа, сдать Париж — потерять Францию, потерять все... Он принял решение:

— Через Фонтенбло — всей армией — на Париж!

Без отдыха, без сна, без пищи армию гнали форсированным маршем вдоль левого берега Сены. Люди с лошадьми падали в грязь, изможденные усталостью, юные конскрипты плакали, пушки кидали с мостов в реки, взрывали взарядные фуры, под проливными дождями — вперед... 30 марта гвардия тоже выдохлась и полегла на землю. Наполеон призывал:

— Вставайте! Осталось совсем немного.

— Иди сам, — отвечали ему бесстрашные «ворчуны»...

На почтовой станции запрягли в коляску свежих лошадей. «Кого взять с собою?» Наполеон окликнул двух:

— Бертье и Коленкур, вам со мною. — В пути он говорил им: — Неужели все кончено? Неужели и Париж? Ах, Париж...

Кучер громко объявил о следующей станции:

— Ла-Кур-де-Франс... до Парижа двадцать миль!

Бертье зорко всматривался в ночную дорогу:

— Коленкур, нам лучше выйти... с пистолетами.

Не прошло и минуты, как их коляска оказалась в окружении множества людей, молча бредущих куда-то. Ехала кавалерия, смачно поскрипывали лафеты пушек. Наполеон прыгнул наземь.

— Бельяр, неужели вы? — удивился он.

— Да, я. Генерал Бельяр, — отвечали из тьмы.

— Где армия Мортье?

— Вы стоите посреди этой армии.

— Мармона?

— Мармон увел ее к чужим бивуакам.

— Предатель! Кто в Париже?

- Русские и Блюхер.
- Где сын? Жена? Правительство? Брат Жозеф?
- Все бежали за Луару.
- Кто позволил им?
- Вы! — ответил **Бельяр**, будто выстрелил.

Самая немислимая брань, все самое омерзительное, что придумал человек для осквернения ближнего своего,— все это бурно извергалось Наполеоном на головы Бельяра, Коленкура, Бертье и даже кучера, на весь Париж, на всю Францию, на всю его армию:

— Я дал им славу, а они... зажавшиеся скоты! Я их всех поднял из ничтожества. Они оказались недостойны меня... А мой брат Жозеф? Грязная свинья... А этот **Мармон**? Они всем обязаны мне Я дал им все... О-о, проклятая нация!

Остановились солдаты, офицеры. Молча они слушали, как беснуется император. Он кричал, чтобы они поворачивали обратно — на Париж, их ждет новая слава, его колчан еще насыщен стрелами, он будет на Висле, он вернется в Москву...

— А лошадей менять? — спросил вдруг кучер.

— К чему? — ответил ему Коленкур.

Наполеон толкал солдат, бил по лицу офицеров:

— Назад, ублюдки... в Париж! Вы слышали?

Перед ним возник отважный генерал Бельяр:

— Никуда они не пойдут.

— Почему не пойдут?

— Я, генерал Бельяр, запрещаю им это... Мы покинули Париж по условиям капитуляции и обратно не вернемся.

— Какой подлец сдал Париж на капитуляцию?

— Это сделали честные французы,— ответил Бельяр,— а честные люди другой нации приняли ее от нас.

Наполеон, поникший, побрел прочь. Он двигался вдоль шоссе, посреди обозных телег, он громко требовал:

— Где мой экипаж? Где лошади? Куда все делось? Где моя армия? Где жена? Куда дели сына?..

Коленкур сказал начальнику станции:

— Ничего не бойтесь и ничего ему не давайте. Он сейчас перебесится, а потом притихнет... как всегда.

Наполеон дошел до колодца и сел на его край, погрузив лицо в ладони, в такой позе и застыл. Бельяр спросил:

— А он не кинется туда... вниз головой?

— Нет,— успокоил его Бертье равнодушным тоном.

Великому человеку колодца мало. Ему нужен великий океан.

Наполеон около получаса пребывал в глубокой прострации. Наконец встал от колодца даже оживленный:

— Вон там я вижу костры... их много. Чьи они?

Это были костры русских бивуаков, выдвинутых от рубежей Парижа, и Наполеон долго наблюдал за их огнями.

— Ладно,— сказал,— едем обратно... в Фонтенбло!

4 апреля в его кабинете собрались маршалы, и Наполеон занялся обычной арифметикой, подсчитывая резервы, сколько приведет в Фонтенбло принц Евгений, Сульт, Ожеро, Груши:

— Еще одно усилие, и наша честь спасена!

Он рисовал картину боев на улицах Парижа, уже видел гибель русских в водах Рейна... Макдональд не выдержал:

— Париж? Но в его развалинах мы будем осуждены сражаться на теплых трупах наших жен и детей... Не хватит ли?

— А солдаты за нами не пойдут,— добавил Ней.

— Они пойдут за мною! — выкрикнул Наполеон.

— Нет,— возразил решительный Ней.— Хватит мечтать о битвах. Есть один способ к миру — *ваше отречение...*

Слово было произнесено, и Наполеон покорился. Но с каким презрением ответил он своим маршалам:

— Вы пожелали мира? Но, валяясь на пуховых постелях, вы подохнете раньше, нежели у бивуачных костров...

Коляска Шувалова въехала в ворота Фонтенбло!

.....
Прошло ведь всего-то пятнадцать лет с тех пор, когда, бросив армию в Египте, Бонапарт высадился во Фрежюсе и ликующие толпы французов встречали его, спешащего от Фрежюса — к славе и власти, какая даже не снилась никаким властелинам мира. Теперь история, эта вредная старушонка, беззаботно и даже весело раскручивала его судьбу в обратную сторону: Наполеону суждено ехать во Фрежюс, откуда и плыть в первую ссылку — на остров Эльба! Павел Андреевич Шувалов депешировал в ставку, что подробности путешествия Наполеона до Фрежюса «могут одновременно и поднять волосы дыбом и заставить лопнуть от восторга...».

Шувалов застал императора за сборами в дорогу. Во дворе дворца Фонтенбло громадный фургон был заполнен только золотой монетой. В другие распахивали мебель, бронзу, скульптуры, зеркала, ценные книги... Он принял русского комиссара в старом зеленом мундирчике, небритый, под

носом Наполеона было все желто от нюхательного табака.

— Ну что ж! Все закончилось не так уж плохо, — сообщил император Шувалову с улыбкой. — Я начал с шестью франками в кармане, а сейчас увезу миллионное состояние...

Шувалова охватил тихий ужас: Европа наполнена рыданиями вдов и сирот, города в развалинах, деревни во прахе, поля растоптаны кавалерией, а этот господин, забывая вытирать у себя под носом, подсчитывает свои доходы... Павел Андреевич представился коллегам-комиссарам: венскому барону Коллеру, британскому полковнику Кемпбеллу, пруссаку Вальдбургу. Наполеон был крайне приветлив с Шуваловым, но всю любезность он дарил только Кемпбеллу, только Англии:

— Англичане — единственная нация, способная управлять Европой. Если меня кто обидит, я брошусь в объятия Англии! Вы знаете, почему я так охотно еду на Эльбу? Чтобы там, под охраною вашего доблестного флота, чувствовать себя гражданином лондонского предместья...

Подобные речи глубоко оскорбляли французов. Коленкур, когда он жил в Петербурге, часто гостил в доме Шуваловых, и потому теперь он дружески предупредил Павла Андреевича, чтобы тот ничему не удивлялся:

— Здесь уже невозможно распознать, где кончается гениальный трагик и где начинается бездарный комедиант.

Наконец в день отъезда (20 апреля) Наполеон решил дать несчастной Европе свой последний концерт. Начал он с берлинского комиссара, спросив его, имеются ли у Пруссии войска по маршруту от Фонтенбло до Фрежюса.

— А если их нету, так на кой черт вы мне нужны! — Затем он обрушился на Австрию: — Коллер, куда вы дели мою жену? Ваш император Франц — порядочная скотина: он, я знаю, желает развода дочери со мною. Теперь я стал ему не нужен... А царь Александр уже визитировал мою жену, и я хорошо знаю, чем его визиты к дамам кончаются...

Потом на ковер, украшенный золотыми пчелами наполеоновской империи, был вызван и Шувалов.

— Нашли дурака! — кричал Наполеон, разрывая на столе груды депеш, как петух разрывает навозную кучу. — Это все письма честных французов, согласных умереть за меня... Куда мне ехать? Зачем? Старая гвардия построена на дворе. Я спущусь к ветеранам и скажу: «Ворчуны! Мое отречение недействительно. Меня оскорбили. Пусть лучше вырвут у нас из груди сердца, но мы еще посмотрим...»

Именно в этот момент вошел адъютант — граф Буши:

— Гофмаршал указывает, что вам время ехать.

Наполеон в ярости дубасил по столу кулаком:

— С каких это пор я должен зависеть от механического расположения стрелок на часах своего гофмаршала?!

Концерт закончился — Фонтенбло осталось позади.

Шестерка лошадей увлекала громадный дормез императора, за ним следовали кареты комиссаров. Австрийский эскорт за Роанном сменила казачья сотня, мчавшаяся с гиканьем, пронзая перед собой воздух длинными пиками. Бородатые дяди бесцеремонно заглядывали в окна дормеза, спрашивая:

— А иде тута Напулевон? Энтот, што ли?

— Я знаю эту публику! — говорил император Шувалову. — Они в ближайшей деревне напьются вина н, пьяные, снесут мне голову, а виноватых потом никогда не сыщешь...

Шувалов жестом руки остановил сотню на шоссе:

— Братцы! Поворачивайте, и без вас обойдемся...

Когда казаки отстали от них, Наполеон сказал:

— Если бы в моей армии служили казаки, я бы дошел с ними до Пекина и сейчас был бы китайским императором...

Но, памятуя о предупреждении Коленкура, русский комиссар уже ничему не удивлялся. Начинался Прованс, где жители городов грозили Наполеону кулаками, и, кажется, только теперь он стал сознавать, что все эти годы его престол держался на страхе, который он внушал французам...

Перед Авиньоном собралась толпа жителей:

— Смерть тирану! Зарезать убийцу... смерть ему!

Шувалов докладывал в ставку, что при въезде в Оргон увидели «громадную толпу, собравшуюся подле виселицы... на виселице висел манекен военного, весь окровавленный; на животе виднелась надпись, составленная из самых ужасных ругательств, посвященных Наполеону...». Сразу посыпались стекла, старики на провансальском наречье командовали:

— Ломай двери, тащи сюда... сейчас повесим!

Под градом камней трещали стенки дормеза. Оргонские мдовы вытянули-таки Наполеона на дорогу, матери погибших солдат рвали жидкие волосы императора, плевали ему в лицо:

— Палач! Верни наших мужей... Где мой сын?

Орден Почетного легиона с хрустом расстался с мундиром императора. Некто Дюкрель тряс его за шиворот:

— Кричи с нами: «Да здравствует король!» Кричи с нами, иначе я выпущу из тебя все кишки...

Шувалов с Коллером решили занять оборону.

— Кулеваев... помогай! — взывал Шувалов.

«Я в расшитом золотом мундире бросился рассыпать удары направо и налево и, чтобы самому не удостоиться чести висеть вместо манекена, выставлял напоказ русскую кокарду, крича вместе с тем, что я — русский...» После чего провансальцы стали качать его и Кулеваева с возгласами:

— Виват Россия — избавительница от тирана!

«Как вам нравится этот фарс? Кулеваев расскажет вам немало подробностей, забытых мною. Пока, до свиданья...» За Оргоном Наполеон, готовясь к встрече с народом, передел графа Бертрана в свой мундир с белым пикейным жилетом, нахлобучил на него свою знаменитую треуголку, воспетую поэтами мира.

— Этим вы докажете мне свою преданность, — сказал он Бертрону, а сам переделся курьером (и даже нацепил на шляпу роялистскую кокарду). — Я же поеду с почтальоном...

Дул мистраль. Дорога вилась меж сосен и громадных камней. Тележка почтальона поднимала тучи пыли. Наполеон обогнал кортеж под видом *своего же* курьера. В сельской гостинице Ла-Каладе жарко пылали каминны, на вертелах жарились индюшки. Наполеон представился пожилой хозяйке:

— Сэр Нозль Кемпбелл... есть ли у вас комната?

— Ах боже! Устроят ли вас наши удобства?

На поясе женщины бренчали кухонные ножи и длинные вилки. Комнатенка оказалась жалкой клетушкой, но император одобрил ее, сразу проверив работу замка. Хозяйка спросила:

— Не встречался ли вам в дороге Бонапарт? Как могли такого злодея отпустить на Эльбу? Говорят, он проскочил Оргон, но живым из Франции все равно ему не выбраться... Вот этим ножом, — показала хозяйка на самый длинный, — я сама зарежу его, стоит ему тут появиться.

— За что вы так ненавидите его, мадам?

— Вы еще спрашиваете! — расплакалась женщина. — У нас была дружная, работающая семья, нам все в округе завидовали, а где она теперь? Мужа убили еще при Маренго, двух сыновей я лишилась под Иеною и Ваграмом, был еще тихий занка-пасынок, но его кости Наполеон оставил под Смоленском. Я совсем одна теперь на этом свете! А хо-

зьяйство видите какое большое. Кому же его? Неужели достанется соседям?..

Скоро в Ла-Каладе въехал отставший кортеж со свитой и комиссарами. Все камни жителей достались карете, в которой ехал несчастный Бертран. Наполеон предупредил комиссаров и свиту, чтобы здесь его называли Кемпбеллом.

— А как же теперь нам называть Кемпбелла?

— Как угодно. Но императора среди нас нету.

— Интересно, куда он делся? — хмыкнул Коллер.

— Я не знаю, — ответил Наполеон, сумрачный.

Во время обеда, не притронувшись к еде, он расколотил об стенку стакан с вином. Бертран в одежде императора чувствовал себя на лавке харчевни как преступник на последней ступеньке эшафота. Гостиница была окружена громадным скоплением народа. Крестьяне держали вилы и косы.

— Мы в осаде, нам не выйти, — шептал Бертран.

В окна заглядывали люди, державшие в руках наполеондоры и пятифранковые монеты с чеканным профилем императора. Эти «портреты» на деньгах они сравнивали с лицами гостей за столом. Наполеон прятался за чужие спины:

— Я проклинаю свое прошлое тщеславие... если бы можно было начать жизнь сначала! Ах, зачем я во дни славы пожелал чеканить на монетах свое изображение?

Запертые в сельской харчевне, окруженные враждой и ненавистью жителей, весь день сидели у стола. Надвинулась ночь. Толпа не разошлась. За окнами вспыхнули факелы.

— Надо выбираться, — сказал Шувалов.

Бертран умолял Кулеваева облачиться в мундир императора, но Кулеваев не соглашался ни за какие деньги:

— У меня двое деточек и жена на сносях... Ежели меня здесь разорвут, на што они, бедные, жить-то станут?

Наполеон выпросил у Коллера австрийский мундир, у графа Вальдбурга прусскую железную каску. Шувалов подарил ему плащ русского кавалергарда. В таком виде император Франции превратился в немыслимый *гибрид*, составленный из форменных одежд стран антинаполеоновской коалиции. Это ли не злая насмешка судьбы? Но тогда всем было не до юмора... Толпа раздвинулась у дверей, образуя узкий проход, через который и пропускала всех по одному — гуськом. При этом крестьяне, имея в руках монеты, вглядывались в лицо каждому. Но императора не узнали. «Куда же он делся?» — недоумевали люди... Ночь провели в пути. Наполеон ехал теперь в карете Коллера, при въезде в дерев-

ни он просил его как можно громче петь немецкие песни. Коллер отказался:

— Для этого я не имею голоса.

— Ну, тогда свистите,— просил его Наполеон...

На рассвете — со свистом! — проехали через сонный Э, вечером достигли Буйльду, близ города Люка, где брата ожидала Полина Боргезе, уже безнадежно больная, но еще красивая. Наполеон жаловался на острейшую диарею:

— Мне вчера не следовало увлекаться омаром.

Английский комиссар сказал графу Шувалову:

— Диарея не от омара — от страха... А что нам делать, если гарнизон Эльбы ответит на приезд императора огнем с крепости? Не увезти ли нам его сразу на Мальту?

— Думаю, что Мальта надежнее Эльбы,— ответил Шувалов и пророчески предупредил ставку: «Этот человек (Наполеон) не отказался от своих грандиозных планов... он ожидает, что обстоятельства снова призовут его во Францию...»

Скоро возникло и море. Шувалов в конце пути суммировал впечатления о Наполеоне; вывод, сделанный им, никак не украшал бывшего императора. Наполеон в опасности становился жалок, презрен, почти гадок; но стоило фортуне чуть улыбнуться ему, как этот же человек мгновенно преобразался,— снова невыносимо гордый, презрительно-надменный ко всем людям, он требовал лести, повиновения, почестей...

Во Фрежюсе русский комиссар, ссылаясь на инструкции, отказался следовать на Эльбу, и Наполеон отпустил его.

— Я лично нанес России большое оскорбление,— сказал он,— и потому я теперь не имею права жаловаться на все то, что она сделала против меня и моей власти...

...В 1912 году потомки Шувалова экспонировали на московской выставке «1812 год» саблю, которую Наполеон подарил их предку на прощание¹. На клинке ее имелась надпись: «Н. БОНАПАРТ. Первый консул. Французская РЕСПУБЛИКА».

.....
Фрежюс — рыбацкая деревня на Лазурном берегу Фран-

¹ Каталог всероссийской выставки «1812 год»; М., 1913, с. 514 (инв. № 19). Здесь уместно добавить, что обстановка Наполеона с острова Эльба была куплена нашим соотечественником Ан. Ник. Демидовым (1812—1870), женатым на Матильде Бонапарт (1820—1904), племяннице Наполеона I. Впоследствии вся эта коллекция была распродана с аукциона и разошлась по разным частным собраниям Европы и Америки.

ции, но как много значила она для судьбы Наполеона.

— Я снова вернулся на то место, откуда пятнадцать лет назад начал свой путь к бессмертию.— Но сесть на французский бриг для следования на Эльбу он отказался.— Почему он без пушек? Узнаю проделки грязного Талейрана, унижающего меня даже в этом случае. Ему бы надо помнить, что я владею всеми тайнами Франции, и, если я иду маю их продать, Англия сразу же выложит мне за них три миллиона...

Он отплыл на английском фрегате, а когда миновали Корсику его детства, император долго махал ей шляпой:

— Прощай, Аяччо, давший миру такого гения...

Жители Эльбы, рыбаки и шахтеры, никогда не надеялись, что их островок станет государством, а гавань Порто-Феррай — столицей. Приветствуя суверена, они радовались, что теперь оживится торговля, еды станет больше. Три унылых старика играли Наполеону на скрипках, веселая старуха играла на фаготе. Все было похоже на деревенскую свадьбу. А рудокопы с детьми и женами держали в натруженных руках цветочки, застенчиво улыбаясь... Бедные люди, их можно понять! Из нищенских лоскутьев старого бархата они даже приготовили балдахин, в тени которого водрузили «престол» — обычное кресло, украшенное розетками из разноцветных бумажек. Наполеон, едва ступив на берег, сразу утвердил знамя нового государства Эльба с тремя пчелами, залетевшими на остров из дворцов Тюильри и Сен-Клу. Вскоре прибыла гвардия, закладывали причалы, строили шоссе, и бедняки Эльбы возненавидели Наполеона, обложившего их непомерными налогами — на армию, на флот. Но зачем нужна Эльбе армия, зачем ей флот? Им и без того плохо живется...

Всегда далекий от лирики, Наполеон украсил спальню дешевой картинкой — два голубка миловались над его кроватью. Он слал жене пылкие призывы, но Мария-Луиза уже познала любовь Нейперга, она не желала больше видеть сына, рожденного от Наполеона, и на что ей нужен тот сумасброд, даже в любви думающий только о себе. Сейчас молодую женщину больше беспокоила ее собачка Бижу, которую укусила в лапку противная оса... Помнится, что в зените славы Наполеон сказал: «Сила никогда не бывает смешной», но, бежав из России, он поправил себя: «От великого до смешного — один шаг!» История подтвердила этот жестокий афоризм.

1. ФИЛАДЕЛЬФИЯ — ВСТРЕЧИ

Изгнанник — не эмигрант, он еще живет надеждой на возвращение, а страна, приютившая его, как бы ни была она хороша, кажется лишь временной остановкой на незнакомой станции, где за деньги накормят, позволят выспаться, сменят лошадей, и завтра ты можешь ехать далее. Примерно такое же чувство испытал и Моро, ступив на берег Америки...

Самое удивительное, что слава победителя при Гогенлиндене, слава республиканца, гонимого Наполеоном, дошла до Филадельфии, где Моро встречала манифестация горожан, устроивших ему народное чествование. Моро ни слова не знал по-английски, но какой-то француз-эмигрант подсказывал генералу, что говорят ораторы, один за другим залезавшие на бочку. Последний из выступавших запомнился последнею фразой: «И теперь свободная Америка может называть себя великой страной Вашингтона, Костюшки и... *Моро!*»

Моро был растроган подобным сравнением.

— Благодарю,— отвечал он.— Обычно из Европы люди бегут к вам в поисках свободы. Со мною иначе. Меня выслали к вам за любовь к свободе, да еще оплатили дорогу...

В ожидании семьи Моро остановился в Филадельфии, бывшей столице Штатов, где задавали тон богомольные квакеры-пуритане. Моро, давний поклонник деизма, всегда был далек от церкви, но выбирать не приходилось: Филадельфия — Новые Афины Нового Света; здесь была превосходная библиотека, старейший в стране университет, театр и музеи, тут со времен Пена, основателя Пенсильвании, сложилось своеобразное общество, здесь, наконец, Томас Джефферсон впервые провозгласил Декларацию независимости с приятными для Моро словами о том, что «все люди сотворены равными»...

Теперь Джефферсон, бывший ранее посланником в Париже, был третьим по счету президентом Штатов, и генерал Моро охотно принял от него приглашение к обеду в Белом доме. На вопрос об Аустерлице он ответил президенту кратко:

— Мне жаль репутации Кутузова, но поражение очевидно: когда все распоряжаются, тогда... кто же командует?

— А что вы скажете о конце прусской славы?

— Известие о разгроме Пруссии не удивило меня: генералам от экзерциций не победить генералов от революции...

Джефферсону было за шестьдесят, но выглядел он бодро. Жил он в скромной простоте, стол президента ничем не отличался от стола простых американских горожан. На первое, как водится, подали вареную ветчину с укропом, миссис Джефферсон сама подливала Моро персиковой водки. В тарелках лежали соленые пикули и вареные фрукты. Под конец обеда подали жареных цыплят с отварным картофелем. Весь этот гастрономический кавардак не мешал беседе. Выслушав рассказ Моро о порядках во Франции, президент сказал:

— Могу вам посочувствовать — вам было при Наполеоне нелегко. Впрочем, мне это знакомо! Когда я при Вашингтоне был статс-секретарем, меня в Филадельфии подвергли страшному остракизму, и во всем городе только три семьи не боялись меня принимать. Я тогда требовал очень крутых мер — как Марат, как Робеспьер! Я спешил узаконить права гражданских свобод... А почему я спешил?

— Не догадываюсь, — отозвался Моро.

— Я спешил оформить свободу, пока наши президенты еще не изгадились в коррупции и торгашеских интересах, пока их еще не коснулись подкупы и взятки, пока идеалы свободы еще не были осквернены. После меня, — сказал Джефферсон, — конгрессмены не будут судить о народе свято, как сужу я. Мы, американцы, обязательно скатимся под гору демократии, а наши президенты перестанут считаться с правами народа. А наш народ забудет обо всем на свете, занятый одним — деланием денег, и свобода Америки погибнет в конвульсиях...¹

Джефферсон предупредил Моро, чтобы он был осторожнее в письмах, которые посылает в Европу:

— Если можете, вообще не пишите. Все корабли обыскиваются англичанами, французы тоже безгрешны. И знайте, что в Филадельфии, как и в Нью-Йорке, немало шпионов Фуше, а они вас не оставят в покое... Связи с Европой у нас хаотичны, даже я, президент, по году ожидаю ответа из Петербурга. — Он сказал, что сейчас Америка нуждается в дружбе с Россией, ибо «сообразно просгранствам» эти две страны, Россия и Америка, в будущем должны управлять миром. — Но я жду нападения со стороны англичан. У нас немало отличных моряков, наши кораб-

¹ Пусть читателя не удивляет предвидение Т. Джефферсона. Его политические воззрения давно уже фальсифицируются историками США, и многих «пророчествах» третьего президента попросту умалчивают. В приведенном тексте я цитирую подлинные высказывания Т. Джефферсона.

ли превосходят английские, но мы не имеем армии... Моро, еще стаканчик персиковой водки?

— Она превосходна, — не отказался Моро.

— Выпьем! — сказал президент. — Я хочу просить вас, генерала, помочь Америке в ее борьбе за свободу.

— Как республиканец, сидящий за столом в доме президента республики, я не откажу вашей стране в своих военных услугах, если угроза нападения англичан возникнет...

У старого негра он купил большую курчавую собаку по кличке Файф, животное сразу полюбило хозяина.

— Что будем делать, Лагори? — спросил Моро.

Начальник штаба Рейнской армии знал, что делать.

— Бежать, — отвечал он.

— Ты уже бежал из Франции в Америку.

— Теперь побежим из Америки во Францию.

— И там тебя сразу посадят в Ла-Форс.

— Лучше уж в Ла-Форсе, чем здесь мучиться...

Разочарование для них наступило скоро. Моро и Лагори не стоило большого труда разобраться в новом мире. Как революция во Франции подняла кверху всю муть буржуазии с ее алчностью, так и «революция» Вашингтона выдвинула барышников-бизнесменов. Меркантильный дух составлял основу очень хлопотливой жизни американцев, для которых цены на шетину или свиное сало были важнее всяческих идеалов. Моро, как и Лагори, возмужал в стране строго национальной, где пикардиец мало отличался от вандейца, а здесь они невольно терялись среди разноязычных людей, объединенных лишь стремлением к наживе... Приезд семьи Моро ускорила разлуку с Лагори, который не хотел быть вроде нахлебника в чужом доме, хотя мадам Гюлло и появилась в Филадельфии с немалыми деньгами. Лагори захотел бродяжить.

— Обещай мне, — сказал Моро, — ты не уедешь во Францию без моего согласия. Филадельфам держаться вместе...

Моро приобрел на имя жены усадьбу Моррисвилль на красивом берегу Делавэра, пытался настроить себя на заботы американского фермера, а близость реки приучила его к рыбной ловле. Моррисвилль устраивал его и потому, что лежал как раз посередине между Нью-Йорком и Филадельфией, что было удобно для молодой и элегантной Александрины, не желавшей прозябать в глуши пенсильванской провинции. Моро не стеснял ее женской свободы, а жена никогда не давала поводов для ревности. Вообще, после

Тампля Александрина, кажется, стала испытывать к мужу чувства более серьезные, нежели раньше, когда она выпорхнула в свет из пансиона Кампан...

— Я,— сказала она как-то со вздохом,— могла думать о своем будущем что угодно, но мне бы и в голову никогда не пришло, что мои дети могут стать американцами

— Тебе здесь не нравится?

— Тяжело... Я чувствую, что чужой климат погубит меня. И мне очень жалко детей.— Она заплакала...

Беда не замедлила прийти сразу. Сначала умерла, почти не болея, теща, затем в Моррисвилле появился еще один холмик земли — умер их мальчик. Александрина упрекала мужа: зачем они не остались в Мадриде? Со всей страстью осиротевшего сердца матери она нянчилась с дочерью, которая и росла, вся в мать, очень красивой девочкой.

Зиму супруги проводили в уютной Филадельфии, где в парке Фэрмаунт давали концерты в честь Моро, в клубах устраивали вечера — в честь его жены... Александрина сказала:

— У тебя слава, дорогой мой. Большая слава!

— Тем отвратительнее ее изнанка,— нахмурился Моро, чувствуя, что даже здесь за ним следят парижские агенты..

Английский язык не давался. Чтобы общаться с земляками, Моро в Нью-Йорке вступил во французскую ложу масонов, где «работали» эмигранты-аристократы. По правде сказать, в ложе не столько совершенствовались свой дух, сколько перемывали кости героям своего времени. Моро оценил общество масонов, имевших свои потаенные каналы для связи с Францией, и потому новости до ложи доходили гораздо быстрее, нежели до редакций газет. Именно в ложе Моро узнал о депортации мадам де Сталь из Франции, за нею последовала в ссылку и Жюльетта Рекамье... Ложа, по сути дела, была политическим клубом, каждый масон имел право открыто полемизировать. Моро даже среди роялистов отстаивал свои взгляды.

— Прекрасная армия Франции превращена Наполеоном в хищную орду, но я еще не забыл бескорыстных побед республики! — говорил Моро.— Помню, мы вошли в Амстердам при сильном морозе, не имея чулок и обуви, обернувшись соломою и газетами. Голодные, мы не тронули ни одной лавки в городе, не постучались ни в одну из дверей. Мы стояли на снегу и дрогли, пока сами жители не сжалились над нами, пригласив к своим очагам... А что теперь? Мне, французу, больно думать, что вся Европа уже переполнена к нам ненавистью.

Ги де Невилль, убежденный роялист, пытался доказать, что Франция и французы перед Европою неповинны:

— Присмотритесь, ради кого Наполеон перекраивает Европу! В самых лучших дворцах лучших городов мира рассажены родственные ему трутни. Из французов только один — Мюрат, а остальные — сплошь корсиканцы... Так не вернее ли говорить о корсиканском засилии Бонапартов в Европе?

В тот день Ги де Невилль покинул ложу вслед за Моро, он сообщил, что недавно с трудом унес ноги из Парижа. Моро вел себя чересчур скованно, и Ги де Невилль сказал:

— Стоит ли нам играть в прятки? Не думайте, что я служу у Фуше, нет, я совсем из другой конторы. В подтверждение этого напомним о письме короля, врученном вам мадам Блондель в отеле Шайо, а письмо из Митавы доставил я.

— Как же сложилась судьба этой женщины?

— Но вам она безразлична,— сказал роялист.

— Вы плохого мнения о своих противниках...

Ги де Невилль сказал, что Блондель была схвачена лишь 1 ноября 1800 года и замучена в подвалах у Савари.

— Как видите, генерал, мы тоже имеем своих героев. Но теперь я обязан сделаться министром при королях, чтобы заставить испытать ужас тех людей, которые принудили меня испытывать страх... А кем вы будете при королях?

— Я останусь фермером в Америке,— ответил Моро...

Он вернулся домой. Александрина смолчала, что его ожидает приятная встреча. Моро поднялся в кабинет.

В его кресле сидел... Доминик Рапатель!

— Как? — вскрикнул Моро.— Как ты здесь оказался?

— Адъютант должен оставаться при своем генерале.

Моро наклонил перед ним свою голову:

— Смотри! Мне уже на пятый десяток, а еще ни одной сединки... Что с тобою, Рапатель? Почему поседел?

— Мне пришлось покинуть Морле ночью, я бежал. А донес на меня в полицию мой же родной брат, с которым я уже дуэлировал, но все наши расчеты еще впереди...

Моро обнял Рапателя, расчувствовался:

— Бедняга! Но я не отпущу тебя, как отпустил бродягу Лагори, и он пропал. Как хорошо, что я тебя вижу...

В этот вечер Александрина растрогала его:

— Помнишь, как хорошо было нам в Страсбурге? Так тихо, только на подоконниках, осыпанных снегом, ворковали голуби. И ты катал меня в саночках. И мы целовались

возле той церкви, где в гробах с коньяком лежали давно угасшие любовники... Ах, милый, зачем мы не ценили те дни?

— Я знал, что ты еще вспомнишь Страсбург.

По субботам, бывая в Филадельфии, генерал Моро регулярно навещал библиотеку, где для него откладывали книги, приплывшие на кораблях из Европы. Он любил эти дни, проведенные в отреченности, тихий шелест страниц действовал на Моро благотворно — как шум ручья, как нежный шепот жены... Обычно в библиотеке бывало безлюдно, никто не мешал, и сегодня возле камина он застал лишь молодого человека, лицо которого на миг показалось знакомым. Моро не успел еще обложиться книгами, как этот человек оказался рядом:

— Я не хотел тревожить вас дома, но узнал, что по субботам вас можно застать в библиотеке. Я прибыл из Петербурга... да, не удивляйтесь. При мне нет никаких бумаг, в которых было бы упомянуто ваше или мое имя. Это стало необходимо, ибо корабли в море задерживают, пассажиров обыскивают. Постарайтесь вспомнить меня. Это очень важно! — Молодой человек представился графом Федором Петровичем Паленом¹. — Вы меня можете помнить еще юным камер-юнкером, а сейчас я уже камергер высочайшего двора императора Александра.

— Где-то я вас видел, — согласился Моро.

— Я был представлен вам в салоне мадам де Сталь русским послом Морковым. Вы были тогда с женою, и надеюсь, если не вы, то она вспомнит меня... Это нужно для всех нас!

Пален просил не отказать в беседе, ради которой ему пришлось проделать долгий и опасный путь — от Петербурга до Филадельфии. Тогда было очень жаркое лето 1807 года, до Америки только что докатилась весть о битве у Прейсиш-Эйлау, в которой Наполеон не стал победителем. О поражении при Фридланде и Тильзитском мире еще ничего не знали, и это незнание решило судьбу Моро не так, как хотелось бы, наверное, ему и России... Пален появился в доме Моро.

— Погоня за вами, — так начал он, — повелась сразу же, как ворота Тампля открылись перед вами, точнее — с

¹ Ф. П. Пален (1780—1863) позже был послом в США и Рио-де-Жанейро; одесский знакомый А. С. Пушкина, которому приписывается двустишие: «Аристократом ходит Бер, а Пален корчит демократа». Впоследствии Ф. П. Пален был активным сторонником освобождения крестьян от крепостного ига.

Мадрида... К сожалению, тамошний посол, знакомый вам барон Строганов, с письмом царя на ваше имя кинулся в Барселону, но увидел на горизонте лишь паруса, которые и унесли вас в Америку. При дворе стали искать человека, который бы знал вас лично, и обнаружили меня. Но тут последовала война, грянул Аустерлиц, и мне пришлось ожидать новых инструкций.— Пален объяснил цель приезда: Россия хотела бы иметь Моро в своих полководцах.— Мне поручено передать, что, если вы устали от службы, вам будет предложено право убежища. А жалованье от нашей казны вы будете получать по чину...

Моро без улыбки выслушал Палена и сказал:

— Предлагая мне службу в прежнем моем чине, ваш император невольно унижает свою армию. Разве у России нет своих полководцев, способных отстоять родину от Наполеона, если он нападет? Вот хотя бы и ваш Кутузов...

— Кутузов осрамился при Аустерлице.

Моро отложил трубку и взял за сигару. Лежащий под столом Файф чихнул от крепкого дыма. Ошейник пса был оснащен выразительной надписью: «Принадлежу гражданину Ж.-В. Моро».

— У любого генерала,— сказал Моро,— есть не только победы. Не забывайте, я ведь тоже был разбит Суворовым! Проследив же за Кутузовым в его блистательном отходе к Ольмюцу, я распознал в нем великого мастера эволюций, которым позавидовал бы и Наполеон... Да,— кивнул Моро,— после французской ваша армия для меня наиболее привлекательна. Но разве ваш кабинет не знает о моих сугубо республиканских убеждениях? Я остаюсь верен им. До конца.

Пален был проинструктирован превосходно.

— Петербургу это известно, и вам в России будет позволено не только сохранять свои убеждения, но даже не скрывать их. Что вас еще тревожит? Наш климат? Он здоров. Свой язык вы будете слышать всюду, даже в глухой провинции.

Моро... отказался! И не потому, что изгнание еще не утомило его. Известный французский писатель так писал об этом разговоре: «В сознании Моро природная прямота бретонца и французский патриотизм говорили громче желания отомстить личному врагу. Пален понял, что ввиду таких благородных мотивов настаивать бесполезно, но просил Моро изложить их письменно для императора Александра...»

Моро присел к столу со словами:

— Я так и напишу, что прими я предложение от Рос-

сии, и тогда вся продажная пресса Наполеона станет внушать французам гнусную мысль о моей подкупности. «Монитор» выставит меня к позорному столбу — завистником славы Наполеона...

Моро писал долго. Под письмом он проставил дату: 12(23) июня 1807 года, — до Тильзитского мира оставалось *четыре дня*, о нем в Филадельфии узнают еще не скоро. Пален попросил перо и бумагу для себя. Он тут же снял с письма Моро точную копию, оригинал же вернул автору.

— В копии я убрал ваше обращение к императору, я снял внизу и вашу подпись. Так будет лучше. В мире тревожно, а я не имею права подвергать вас лишним опасностям, даже если буду схвачен в море агентами полиции Фуше...

— Я вполне оценил благородство вашей предусмотрительности, — сказал Моро. — Теперь, мой юный друг, я угощу вас персиковой водкой, которой вы, русские, не нюхали. — За столом, в присутствии жены и Рапателя, он говорил о войне, что подкрадывается к берегам Америки. — Белый дом нуждается в крепких отношениях с вашей страной. Напомните царю, что президент Джефферсон будет рад видеть у себя в Вашингтоне русского посла и его консулов...

Пален вскоре отплыл в Европу, а Рапатель однажды вернулся домой в ужасном состоянии — газеты писали о мире в Тильзите. Это известие потрясло и генерала Моро:

— Очевидно, у русских дела плохи.

— И потому мне захотелось в Россию.

— Зачем, дружище?

— Я должен сражаться... заодно с русскими!

Александрина оторвалась от зеркала, легкой походкой пересекла всю комнату из угла в угол. Ее фигуру обтягивал фиолетовый муслин, под тяжелой шапкой черных волос блестели громадные глаза креолки. Она ждала кулачки перед мужем:

— Зачем? Зачем ты отказался ехать в Россию? Моро, их, Моро... неужели мы осуждены умирать здесь?

Дверь скрипнула, раздался зычный голос:

— Зачем же здесь? Я хочу умереть во Франции...

Это вернулся из странствий Виктор Лагори!

.....

Он не очень-то охотно рассказывал о себе:

— Хотел разбогатеть! Думал — страна богатая, а почему бы и нет? Повидал много, но вернулся нищим. Помогите мне... И обязательно должен быть во Франции!

Моро догадывался, какой червь точит сердце этого хорошего человека, но возражать ему не стал.

— Пожалуйста,— сказал он со вздохом.— Деньги я переvedу на банкирский дом Шрамма в Гамбурге. Будь осторожнее. Не горячись напрасно. Чтобы запутать полицию, открой счет в банке Перрего... Где ты остановишься в Париже?

— На окраине. В доме монахинь-фельянтинок.

— Ты мало похож на монаха.

— Но там живет с детьми и мадам Софи Гюго.

— Я так и думал,— сказал Моро,— и понимаю твоё желание разбогатеть. Очень рад, что ты остался бедным...

— Но почему, Моро?

— Бедные осторожнее богатых... Понял?

В нем была житейская мудрость, которой, возможно, и не обладал Лагори. Вскоре после его отплытия из Америки Моро привел в дом негритянского мальчика.

— Негодяи линчевали его отца, с трудом я вырвал его из рук злодеев. Смотри, он еще трясётся от ужаса. Пусть он останется с нами и заменит нам сына.

Александрина с детства видела черных только рабами и быть приемной матерью негритенку не пожелала:

— Пхе! Но если ты хочешь, я буду с ним добра.

Мальчика звали Чарли; он быстро освоился в доме своего «босса», сдружился с его дочкой, а однажды сказал:

— Господин, наденьте на меня красивый ошейник, какой носит наш Файф, тогда никто из белых меня не обидит.

— Ты не собака, Чарли,— ответил Моро.— Помимо Америки есть и другие страны, где тебя никто никогда не обидит...

Непостижимо быстро Чарли заговорил по-французски. Но мальчик не знал, что ему предстоит освоить еще один язык — русский, и тогда вся его жизнь повернется в иную сторону...

2. АМПИР — ИМПЕРИЯ

Чем выше восходила звезда Наполеона, тем все выше поднималась и женская талия. Ему так нравилось! После Тильзитского мира пояс перехватывал бюст уже возле подмышек, и дальше поднимать его было некуда. Не скоро еще (после Венского конгресса) талия женщин стала возвращаться на то естественное место, где находится и поныне. Но встреча двух армий в Тильзите наглядно отразила разницу между празднично-карнавальным антуражем войска Наполеона и тусклой обыденностью русской формы. В 1808

году Александр ввел эполеты, хотя офицеры встретили это новшество с явным недовольством, в блеске новых мундиров усматривали «французские ливреи».

— Но мы же не швейцары,— говорили они...

Федор Пален морозным утром вернулся в Петербург.

Россия вступала в войну со Швецией, чтобы укрепиться на Балтике, в морях по-прежнему разбойничала Англия, Наполеон вторгся в Испанию, короли Португалии спасались от него в Рио-де-Жанейро. Александр спросил Палена, каковы его политические выводы из посещения Америки, и молодой камергер, далеко не глупый человек, ответил: «Именно нашими днями следует датировать начало эпохи, наиболее благоприятной для Америки, которая выходит из своей летаргии...» По мнению Палена, нападение Наполеона на Испанию и Португалию вызовет скорый развал их южноамериканских колоний.

— Очевидно, там возникнут новые государства, а уж Мексика-то первой возьмется за оружие... Осмелюсь напомнить, что Моро, вхожий в семью президента, дал мне понять, что Штаты нуждаются в более прочных связях с Россией.

— Джефферсон писал мне... благодарю, граф.

Разговор окончен. Александр принял Румянцева, сказав, что обстановка после Тильзита уже не требует спешного прибытия Моро, и потому его отказ от русской службы не слишком-то огорчителен для Петербурга. Румянцев перешел к насущным делам: Наполеон брата своего Жозефа, словно редьку какую, с престола в Неаполе пересаживает на престол в Мадриде, а в Неаполе королем будет принц Мюрат.

— Им кажется, что они играют в шахматы: король сюда, королева туда.. Кто годится в консулы для Филадельфии? — Румянцев назвал коллежского асессора Андрея Лашкова.— Готовьте его в дорогу,— велел император.— А графа Федора Палена мы отправим посланником в Вашингтон...

Александр спросил, каковы новости из Парижа.

— Граф Толстой подтверждает прошлогодние слухи, якобы Наполеон разводится с Жозефиной. Намедни в Тюильри ждали спектакля, но они не явились, всю ночь скандалили.

Александр вник в депешу Толстого: «В пылу увлечения он, вероятно, сказал ей, что она его вынудит усыновить своих побочных детей. Жозефина с живостью схватилась за эту мысль, выказав готовность признать их своими...

Дело, по-видимому, на том и остановилось». Александр отложил депешу:

— А где перлюстрация курьерской почты Коленкура?

В рассекреченной депеше французского посла он с удивлением прочитал: «Великая княжна Екатерина (Павловна) выходит замуж за нашего императора Наполеона и сейчас усиленно учится танцевать наши французские контрдансы».

— Сплетня! — сказал царь, но выглядел смущенно...

Был месяц март. А в мае началось восстание в Мадриде. Наполеон привык побеждать образцовые армии, но теперь ему предстояла встреча с разгневанным народом, который победить невозможно — даже гению! Европа втуне ожидала, что скажут Александр с Наполеоном при свидании в Эрфурте. Чтобы подавить Россию с «позиции силы», Наполеон заранее провел новую конскрипцию, увеличив армию на 100 000 штыков. Об этом русский посол граф Толстой узнал на охоте в Фонтенбло, когда ехал в одной карете с маршалом Несм. Он сказал:

— Сегодня же вечером я отправлю курьера в Петербург, чтобы Россия позаботилась рекрутированием полуроста тысяч молодых парней из деревни — в армию...

«Ампи́р» — порождение империи Наполеона: воскрешая образцы древней классики, он лишь тешил свое вулканческое честолюбие. Дело не ограничилось подтягиванием женской талии до уровня подмышек... Жители Помпей, засыпанные пеплом Везувия, никогда не думали, что детали их быта возродятся стараниями императора. Но удачно было лишь подражание древним образцам, точное их копирование! А манерный классицизм эпохи Наполеона породил массу бесполезных вещей: столиков, за которыми нельзя работать, кушеток, на которых нельзя отдохнуть; в античных светильниках никогда не возжигалось маковое масло, алебастровые вазы не ведали запаха цветов. Дамы позировали на лужах, созданных, казалось, для пыток тела, их руки опирались на золоченые морды львов или грифонов. Мужчины напряженно застывали в креслах, ножки которых изображали пылающие факелы. «В искусстве нужна дисциплина... математика!» — утверждал Наполеон, и возникла черствая геометрия неудобной мебели, в подборе паркетов треугольники, ромбы и трапеции убили овалность линий. Новая военная знать обставляла себя не тем, что красиво, а тем, что подороже. Маршалы лепили золото везде где не надо, лишь бы сверкало. Фабрики в Лионе мотали длинные

версты шелка, но если старая аристократия обтягивала шелком стены, то новая знать собирала его в пышные драпри, составляя безвкусные банты вокруг капителей колонн... В этом нелепо-чудовищном мнимоклассическом мире Парижа граф Петр Александрович Толстой чувствовал себя тоже нелепо!

Своим явным презрением к Наполеону и его клике посол чем-то напоминал Моркова, только Морков был хитрее его и тоньше, а Толстой, воин до мозга костей, не боялся выказывать свою неприязнь открыто. Толстой вступил под своды Тюильри русским солдатом, публично говоря о превосходстве русской армии над наполеоновской. Маршал Даву, оскорбленный этим, уже схватился за шпагу, а Толстой не замедлил тут же обнажить свою, но их спор пресек сам Наполеон.

— Оставьте! — крикнул он. — Толстой *прав*: русский солдат, конечно, лучше французского. Ему говорят — марш, и он пошагал. А нашему дураку надо еще полчаса объяснять, зачем идти, куда идти и что из этого получится...

Суворов когда-то сложил о Толстом самое лестное мнение как о генерале и дипломате. «Такие люди, — писал наблюдатель, — как бы ничего не помня, ничего не замечая, на всем следят глазами зоркими, ни на минуту не теряя из виду пользы и чести своего отечества». Петр Александрович тихо и незаметно все-таки нащупал потаенные связи с военным министерством Франции, доставляя в Петербург важные сведения о захватнических планах Наполеона. В отеле Кассини на Вавилонской улице он говорил, что война неизбежна:

— Но пусть волк только не лезет в русскую псарню — тут ему и конец! Останется одна изгрызенная шкура...

Узнав, что Коленкур помещен Александром в прекрасном дворце, Наполеон купил для Толстого особняк-развалюху, расхваставшись, что истратил на него миллион. Это было вранье. Толстой доплатил из своего кармана 40 000 франков на ремонт трущобы и то с трудом выкроил себе комнатенку, служившую ему кабинетом и спальней. Сознательно унижая посла России, император, кажется, надеялся поскорее от него избавиться. Толстой большое значение придавал событиям в Испании, где народная война — *верилья!* — уже подсказывала ему, генералу суворовской мудрости, верное решение будущего поединка. Он плевать хотел на развод Наполеона с Жозефиной, зато всегда сагитировал при мысли, что корсиканский «выскачка» метит в женихи Екатерины Павловны Романовой.

— Гангрена расползается,— говорил Толстой.— А что можно ожидать от антихриста, который после Тильзита был переименован в «нашего доброго брата Наполеона»?..

Венский посол Меттерних доказывал Толстому, что Тильзитским миром Россия оказала плохую услугу Габсбургам:

— Мы теперь должны быть готовы к войне, но уже без вас, без ваших услуг. И у нас, поверьте, достаточно сил.

На пальце Меттерниха красовался вульгарный перстень, сплетенный из волос Каролины Бонапарт, жены Мюрата,— она была его любовницей, что выводило Наполеона из себя.

— Вы будете разбиты,— отвечал Толстой.— Без нашей армии вас растопчут... Наполеон вас бил и будет бить!

— Позвольте, но пример Испании...

— А вы не испанцы! — огрызнулся Толстой.

Из Парижа он надоедал Александру постоянными призывами крепить армию. «Еще есть время...» — заклинал он царя. Наполеон не терпел Толстого и по той причине, что уже понял: он разгадан Толстым, Толстой проник в его планы, этот внешне грубый солдат, вроде одухотворенной Кассандры, пророчески предвидел ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД...

После охоты в Фонтенбло разговор был продолжен.

— Так почему вы после моей конскрипции на сто тысяч штыков решили усилить себя на сто пятьдесят тысяч?

— Друзья должны оставаться равными в силах.

— Моя личная дружба с вашим императором — верный залог прочного мира в Европе,— сказал Наполеон.

Толстой рубил сплеча, как рубят на Руси дрова:

— Ваша личная дружба — ваше личное дело. Но я сужу о дружбе не по разговорам, а по существу тех интересов, которые определяют политику как России, так и Франции!

— Ладно,— примирительно ответил Наполеон,— я принял конскрипцию, чтобы Вена не смела вооружаться. Мы живем и работаем не для потомства, а хотя бы ради того, чтобы обеспечить мир для жизни нашего поколения... Успокойтесь. Кому нужны ваша клюква и снежные сугробы? История не знает примеров, чтобы южане покушались на страны Севера. Напротив, это вы, северяне, завидуете нашему чудесному климату...

Фуше сделал Толстому предложение — поиграть на бирже; он сказал, что банкиры, его приятели, подскажут верные пути к обогащению, если он сообщит сведения о том, как русский двор воспримет брачные намерения Наполеона по отношению к сестре русского царя — Екатерине Павловне.

— Можно ли сомневаться в выигрыше? — спросил он. Это была не только провокация, но и подкуп.

— Сейчас, — ответил Толстой, — скачки денежного курса на ваших биржах зависят не от того, какая из баб ляжет с Наполеоном, а лишь от ярости испанской гвельдии...

Черный перстень из волос сестры слишком уж резал глаза императору. Наполеон нарочно грубил Меттерниху, но тот оставался невозмутим и вежлив. Даву предложил:

— А что, если в момент вашей беседы я разбегусь и как следует тресну венского посла ногою под зад?

— Тебе так хочется? — спросил Наполеон.

— Уверен, что на лице Меттерниха даже в этом случае сохранится приятная улыбка...

Меттерних! Этого человека понимал один Талейран.

.....
Талейран был не у дел, но увяз в политике глубоко, как червь в яблоке, и Наполеон не мог без него обходиться. Он знал, что Талейран уже боится расширения империи, однако решил взять его в Эрфурт — как ловкого редактора документов. Уступая русскому царю Финляндию и Молдавию, император хотел заручиться его согласием на «свободу рук» в делах возмущенной Испании и вооружавшейся Австрии.

— Ваши проекты о будущем Европы, — диктовал он Талейрану, — должны быть ясны для меня и непроницаемы для Александра. Я беру в Эрфурт кучу королей, но венский Франц пусть посидит дома, а граф Толстой в Париж уже не вернется...

Александр покинул Петербург с Румянцевым и Коленкуром. Стоило им переехать Вислу, как они сразу попали в окружение французских мундиров. Вблизи от Эрфурта два императора устроили фальшивую сцену нежных объятий и лобызаний, после чего верхом на лошадях въехали в город. Их свиты перемешались в разноцветный букет, пушки салютовали, колокола звонили, артисты «Комеди Франсез» во главе с пылким бонапартистом Тальма хором выкрикивали:

— Честь и слава нашим императорам!..

Франц не замедлил прислать в Эрфурт генерала Карла Винцента с никчемными поздравлениями монархам, которые были не чем иным, как предлогом для появления в Эрфурте. Талейран, заметив гибкость спины Винцента, упрекнул его:

— Пристало ли великой Австрии гнущься так низко? Свидание в Эрфурте, по мысли Наполеона, должно стать

апофеозом его величия. Было учтено все — вплоть до акустики театрального зала, чтобы полуглухой Александр слышал каждое слово. Пятнадцать трагедий подряд Наполеон включил в репертуар — с убийствами в финалах и клятвами в верности, но вкусам гостей не угодил. Германия уже высоко ценила Шиллера, а Россия — Фонвизина, и потому пустопорожняя риторика оставила зрителей равнодушными. Публика заметно оживилась, когда русский офицер Сашка Бенкендорф (будущий шеф жандармов) буквально из-под носа Наполеона увез в Петербург его пышнотелую любовницу, знаменитую актрису Маргариту Жорж, а следом за нею изменил Франции и ее муж, балетмейстер Луи Дюпор. Коленкур спросил Наполеона, стоит ли поднимать шум о возвращении «перебежчиков»? Наполеон сказал — не стоит... В числе массовых развлечений была устроена поездка на поле битвы при Иене, где Наполеон уничтожил могущество Пруссии. Поле битвы было заранее украшено кострами и палатками. Наполеон с картой в руках показывал царю, как он двигал колонны, как убежали от него пруссаки.

— Остальное вам известно, — сказал он.

Политические прения хранились в секрете, переговоры были трудными, иногда Талейран с Румянцевым засиживались до двух часов ночи. Александр проводил вечера в доме княгини Терезы Турн-и-Таксис, которая к его приходу накрывала стол к чаепитию с самоваром. Наполеон был усерднее царя. Чтобы сберечь тайну переговоров, император не поленился своей рукой перебелить черновик союзного договора, который торжественно и вручил Александру со словами:

— Берегите его от чужих и недобрых глаз...

Но Александр уже не считал глаза австрийца Винцента «чужими», а Винцент намекнул Талейрану, что проник в тайну переговоров... Кажется, этого момента и ожидал хитрый Талейран. Однажды после очередного спектакля в театре он оказался возле кареты русского императора:

— Я мог бы полагать, что эрфуртское свидание устроено лишь для забавы императоров, если бы не... Винцент!

— И что же сказал вам Винцент?

— Вполне разумные вещи. Есть ли смысл для русского кабинета усугублять трудности Австрии в борьбе с Францией? Признаться, я склонен мыслить наподобие Винцента...

Александр воспринял эти слова как политический зондаж его сердца. Талейран давно созрел для измены (и

деньги, конечно, ибо без денег Талейран ничего не делал) Когда царь появился у Турн-и-Таксис, колченогий его ждал

— Азартный игрок! — пустился он в рассуждения о своем императоре. — Стоит ему поставить под ружье сто тысяч солдат, как он уже сгорает от нетерпения — где бы устроить войну? Так заядлые картежники не могут выносить даже вида денег. Они должны сразу поставить их на карту... Ради чего вы сюда приехали? — вдруг спросил Талейран императора. — Если затем, чтобы спасти Европу, вы могли бы управлять миром из Петербурга... Рейн, Альпы и Пиренеи Франция обрела без побед Наполеона, а то, что завоевал Наполеон, французам недорого. Усталые от кровопролитий, они спокойно вернут европейцам все, что захвачено Наполеоном... Меня, признаюсь, поначалу беспокоила проблема женитьбы Наполеона на вашей сестре. Но теперь-то я вижу, как вы к этому относитесь... Вы никогда, — настаивал Талейран, — не станете спасителем Европы, если позволите Наполеону увлечь себя его фантазиями о разделе мира, к чему он стремится. Но вы спасете Европу, если уже сейчас, в Эрфурте, окажете стойкое сопротивление его планам... Кстати, — спросил Талейран, — если Толстой оказался столь неугоден при дворе нашего сатрапа, кем вы замените его? Лучше всего, я думаю, соорудить в Париже великолепную и дорогую ширму, за которой мне будет удобнее действовать заодно с вами.

Александр ответил, что лучше князя Куракина, сверкающего бриллиантами, для этой цели и не сыскать:

— Пока он ослепляет Тюильри блеском и манерами учтивого маркиза, мой неприметный секретарь Карл Нессельроде **будет связан непосредственно с вами...**

Россия уже несла тяжесть трех войн — с Турцией, Персией и Швецией, теперь Наполеон навязывал союзнику еще две войны — с Англией и Австрией. Александр отделялся от назиданий «брата» улыбками или делал вид, что не слышит. Наполеона он вывел из равновесия. Искренне или притворно — это не столь уж важно, но император Франции сорвал с себя шляпу, в бешенстве топтал ее ногами.

— Вот так! Вот так! — выкрикивал он в ярости. — Я растопчу врагов, и горе тем, кто не согласен со мною...

Александр досмотрел сцену бешенства до конца.

— Я упрям тоже, — сказал он, — а мои экипажи заложить недолго. Если желаете мне угрожать, я велю шталмейстеру запрягать лошадей, и меня уже не будет в Эрфурте.

Наполеон потом жаловался Коленкуру:

— Слухи о глухоте этого византийца слишком преувеличены: царь не слышит лишь то, что ему не хочется слышать...

Оба императора порядком надоели один другому, а Наполеон не мог найти объяснения стойкости Александра, день ото дня возрастающей. Внешне они поддерживали декорум приличия, но, садясь в карету, издевались над своими министрами, скабресничали о своих любовницах — тогда как политики думали, что именно в карете-то и творится тайное тайных судеб Европы. Документы эрфуртских переговоров были наполнены дипломатическим туманом, который вскоре обратится в батальный дым... 2 октября Наполеон верхом провожал Александра по дороге на Веймар. После взаимных клятв и сентиментальных признаний в любви два императора простились навсегда. Наполеон еще очень долго смотрел вслед русским экипажам, спешащим прочь — подальше от Эрфурта. Обратившись в Эрфурт Наполеон вел лошадь шагом, погруженный в тягостные раздумья. При нем был тогда Савари, и Наполеон только один раз прервал молчание странным вопросом к нему:

— Савари, неужели я... обманут? Но я уже не могу остановиться. Я все время должен идти вперед. Если остановлюсь, я сразу упаду. А я боюсь упасть, Савари...

3. «КАК МОЯ АРМИЯ? КАК МОЙ НАРОД?»

Такую фразу не раз слышали от Наполеона... Время до Эрфурта и после Эрфурта было для императора тем *главным* временем, «когда и пышно и светло звезда судьбы его сияла, а слава жадно целовала его высокое чело», — писал поэт Бенедиктов, ныне прочно забытый... Европа к тому времени уже имела двух сумасшедших королей: Англия — Георга III, Швеция — Густава IV, никто не считал нормальной королевскую чету в Испании, да и в головах венских Габсбургов тоже не все было в порядке. А был ли нормален Наполеон? «Один мой мизинец мудрее всех голов на свете», — вполне серьезно утверждал он, уже не раз проговариваясь о своем *божественном* предопределении. (Если это мания величия, то, простите, таких людей вяжут в смиренные рубашки и отправляют туда, куда надо...) Но сейчас ему хотелось бы скрыть правду: целая армия Дюпона, окруженная в Андалузии испанцами, сложила знамена и оружье.

— И перед кем? — бушевал Наполеон. — Перед этой

грязной и нищей сволочью? Дюпона мало изрубить саблями, его надо утопить в бочке, наполненной плевками моей гвардии...

Была пора как взмах его руки.
Одио движение нахмуренною бровью
Могло стянуть и разметать полки,
Измять венцы и мир забрызгать кровью...

Опять Бенедиктов! У него бывали удачные строчки.

.....
Париж привык к победам. Обычно с утра звучали фанфары, под мощные возгласы боевых литавр шла в медвежьих шапках старая, непобедимая гвардия, за нею ехал ОН, внешне отрешенный от всего на свете, за императором, подбоченясь в седлах, гарцевали его маршалы, бойко двигалась бравая пехота, улицы Парижа заполнял цокот копыт неустрашимой конницы... Ах, как это все радостно! Мы, французы, снова победили, а подлый враг лежит во прахе, догнивая в лужах крови,— ну, так ему и надо. Вандомскую колонну изваяли из пушек, добытых при Аустерлице, а на самом верху колонны стоял он сам — величественный, как всегда, Наполеон!

Да, внешне все было великолепно. Французская армия представлялась нерушимым монолитом, который не расколлет даже молния, упавшая с небес. Но это только казалось. В ближайшем окружении Наполеона давно сгустилась и без того душная атмосфера ажиотажа, рвачества, стремления во что бы то ни стало выдвинуться. Наполеон поощрял этот вызывающий карьеризм. Честолюбие глодало души маршалов, и оно было весьма примитивно: почему Массена получил два миллиона, а мне дали только шестьсот тысяч франков? Подобные речи звучали открыто, никто не стеснялся. Нажива стала главным двигателем карьеры, а любое недовольство среди генералов император быстро «гасил» подачками. (Перед приездом в Париж графа Толстого маршалам раздали 12 миллионов франков — просто так, чтобы служили вернее.) Империя обогащалась войнами, золотые дожди обливали военную и чиновную элиту, девичье приданое в 100 000 франков вызывало при дворе Наполеона бурное веселье: «Этого не хватит даже на лошадей...» А на упряжку лошадей тратили тогда столько, что на эти деньги можно было построить фрегат с пушками. Маршалы были и спекулянтами: тесно связанные с буржуазией, они биржевыми плутнями постоянно увеличивали свои состояния, и без того колоссальные. Но это еще не все. Мюрат мечтал, что Наполеон нарвется на шальную пулю, и он, Мюрат, зай-

мет место императора. Бернадот ненавидел Наполеона, и он убил бы его, если бы представился удобный случай, а сам Наполеон давно мечтал избавиться от Бернадота...

Время было безжалостно: очень сильные ощущения, страстное желание славы, погоня за счастьем, постоянное ожидание гибели — все это сказывалось на людях, и эпоха Наполеона отметила Францию особым роком: преждевременным старением мужчин. Это и понятно. Но была еще одна страница в летописи «Великой армии», о которой наши читатели извещены плохо. Еще во времена революции Лазар Карно из лучших побуждений разрешил женам солдат селиться в казармах. В этом не было тогда ничего зазорного (вспомним, что в русских полках солдаты тоже селились с женами). Но времена изменились, блаженная простота якобинских нравов подчинилась диктатуре военного абсолютизма. Жены остались дома, а за громадной армией Наполеона — шумными толпами — двинулись тысячи и тысячи женщин совсем иной нравственности.

Генералы возили в обозах целые гаремы. Мюрат выскивал место для штаба только там, где замечал хороших женщин. Даву умудрялся таскать на войну жену и метрессу. Массена имел очень стройного адъютанта, хотя все знали, что орден Почетного легиона покоится на чересчур высокой груди. Однажды «адъютант» забыла иа бивуаке клетку с попугаем, и Массена на целый час задержал движение корпуса. Наполеон боролся с этим явлением, но оказался бессилён и наконец взял с маршалов слово. «Хорошо! — обещали они ему. — Отныне в походах будем иметь не больше двух метресс...»

Обычно судьба этих женщин была печальна. Забытые где-либо маршалом, они становились добычей офицеров, падали все ниже и наконец, избитые каким-нибудь пьяным капралом, присаживались у солдатского костра. Привязанные к армии, как собаки к будке, они снимались с места, едва лишь барабаны били поход, и двигались за грабь-армией Наполеона, вырывая из рук поклонников куски материй, чужие кошельки, вдевали в уши чужие серьги. По приказу Наполеона их стрнгли наголо, выставляли нагишом у позорных столбов, их вымазывали с ног до головы краской, которая не смывалась в течение полугода. Но даже опозоренные, обритые наголо, испачканные зловонной краской, они шагали за армией Наполеона, готовые на все ради пищи, вина и любви...

Ну а как император? Святой он, что ли? За ним ведь в каждой кампании восемь гренадеров с ружьями носили

паланкин, плотно обшитый непроницаемым коленкором. Такие носилки втаскивали за ним в его покои по всем столицам Европы, а знаменитая «собачья графиня» продержалась при нем с 1805 года до самого краха его империи. В дни мира Наполеон где-то прятал женщину, как сокровище, но стоило начаться войне, как гренадеры снова впрягались в носилки...

Сейчас они снова потащили «собачью графиню» дальше.

— Испания будет моей провинцией, — утверждал Наполеон.

— Голодный человек думает одно, а после обеда говорит другое: в этом и заключена великая правда власти над людьми. Кто из верховных существ не осознал этой дурацкой истины, тот погибнет, — рассуждал император...

Все признаки бедности и отчаяния строго карались. Полиция безжалостно хватала всех нищих, отправляя их в богадельни, похожие на тюрьмы, где их принуждали к труду на фабриках. Капиталисты угнетали рабочих как хотели, а любое недовольство пресекалось отговоркой:

— Все это временное явление, вызванное войной. Вот наступит мир, и число рабочих часов будет сокращено...

Но империя не вылезала из войн, и потому закабаление пролетариата постоянно усиливалось. Фабриканты требовали от рабочих просыпаться в пять часов утра, а в шесть утра станки уже крутились как бешеные. Чтобы рабочие не задумали менять место работы или убежать с фабрик, Наполеон закабалил их введением «рабочих книжек», заверяемых в полиции. Без этого фискального документа пролетарий был телом, из которого изъяли душу: только «рабочая книжка» могла дать труд, дать и хлеб. По сути дела, Наполеон ввел на производстве крепостное право. Пролетариат образовывал свои тайные коммун (похожие на масонские ложи), рабочие обменивались меж собой тайными знаками, имели свои обряды, распевали тайные гимны... Постоянные войны лишили французов уверенности в завтрашнем дне, возникло тревожное чувство неустroенности, ожидание худшего, браки заключались наспех — в перерывах между победами. Лихорадочная торопливость в любви сначала вызвала во Франции очень высокую рождаемость, но стоило Наполеону НЕ победить русских, стоило восстать народу Испании, как рождаемость резко сократилась. Женщины из простонародья рассуждали так:

— А я не нанималась ему рожать пушечное мясо...

Францию изнуряли хронические конскрипции: все лучшее

и самое здоровое Наполеон отбирал для пополнения армии. Без жалости оголялась деревня, поставлявшая отважную пехоту и лошадей для кавалерии. Войны требовали все новых жертв, горы трупов складывались на полях битв с такой же невозмутимой легкостью, с какой рачительный хозяин складывает дрова. Обескровив народ Франции, император невольно денационализировал армию, ставя под свои знамена немцев, поляков, итальянцев, саксонцев, даже албанцев и татар, что никак не улучшало армии, доставшейся ему от Директории еще единойязычной. Конскрипции все чаще делались досрочно; Наполеон выдерживал подростков в гарнизонах оккупированной Германии, для придания мужества новобранцам рисовали усы углем. Закон был жесток: «Раз попав в армию, француз домой не возвращался». Богадельни не вмещали всех изувеченных. Но богатых война щадила: чтобы спасти свою поросль от истребления, они имели право за деньги нанимать бедняка. Конскрипты слабого здоровья погибали на первом же марше, не выдерживая тяжести ранца и оружия, неудобства одежды, голода и жажды... У себя дома французы славились экономией, зато, попав в чужую богатую страну, они теряли чувство меры, отчего возникала высокая смертность от заворота кишок и кровавых поносов.

Ядром армии Наполеона была его «старая» гвардия, которую лучше одевали, лучше кормили, «ворчуну» обращались к императору на «ты»! Он бросал их в бой лишь в самые критические моменты. Уже закоснелые в побоищах, люди отваги и риска, ветераны видели в войнах законный повод для добычи, а молодые конскрипты, глядя на них, били обывателя по зубам, чтобы получить с побежденного деньги или золото, совали людей пятками в пламя костра... Разговоры были такие:

— Люди — как снопы: чем больше колотишь, тем больше с них сыпется... Вперед, французы! Нам сам черт не брат...

Сразу после Эрфурта (с оглядкой на Австрию, хотя и запуганную, но вооруженную) Наполеон двинул в Испанию армию в 250 тысяч солдат... На самой границе с Пиренеями, в замке де-Маррак возле Байоны, императора настиг курьер из Петербурга — князь Никита Волконский¹. Передав почту от царя, он был зван к столу самого Наполеона, который неумеренно нахваливал русскую армию:

¹ Волконский Н. Г. (1781—1845) — генерал, родной брат декарта С. Г. Волконского и кн. Н. Г. Репнина-Волконского, героя знаменитой атаки кавалергардов при Аустерлице.

— Будь я на месте Александра, я бы давно водрузил свой престол посреди Азии.— Потом он разрезал яблоко пополам, передал вторую половину Никите Волконскому.— Мир тоже круглый,— сказал Наполеон.— Россия и Франция всегда будут в дружбе, если разделят Европу, как это яблоко...

На лестнице Волконского нагнал запыхавшийся Дюрок:

— Это вам подарок от нашего императора..

Садясь в карету, князь Никита открыл футляр, в котором лежало дешевенькое колечко с паршивеньким бриллианчиком. Считая такой «дар» оскорблением для офицерской чести, Волконский отдал перстенок конвойному жандарму:

— Возьми, драбант... от русского офицера!

Он поскакал на родину, а Наполеон двинул свою громадную армию через Пиренеи. Недавно свергнув испанскую династию, император решил, что с династией кончилась и сама Испания — тело без головы! К его удивлению, народ имел свою голову на плечах, и эта голова была не хуже королевской. Испания, слабая при Бурбонах, вдруг обрела страшную силу в народной войне — гверилье... Мюрату пришлось разить картечью женщин на улицах Мадрида, вонзать штыки в испанских детей, метавших в него булыжники. Один испанец с навахой в руке бросался на батальон французов и резал их до тех пор, пока не падал замертво... Такова сила гверилье!

Европа взбурлила — радостью, надеждами: героизм испанцев воодушевлял всех; наконец, возмущалась и совесть честных французов, уже предчувствовавших распад своей баснословной империи. Когда все это кончится? Когда Франция перестанет платить честолюбию корсиканца самый страшный налог на свете — кровью? Жозеф Бонапарт удержался на испанском престоле лишь восемь дней и бежал из Мадрида — в ужасе.

— Испания, — утешал его Наполеон, — еще не предел моей власти: с горы Гибралтара мы скоро увидим Африку...

Там, где французы не могли пройти, он слал на смерть отряды польских улан: сами поработанные, они с бесподобной лихостью поработали других. Гигантские обозы с награбленным добром тащились за армией — наглядное доказательство боевых успехов. Самые безобразные инстинкты (сдерживаемые доселе воспитанием, литературой, религией) император выпускал из людей наружу, как злого джинна из сосуда, и любое зверство поощрял знаками Почетного легиона. Французы занимали города без жителей, деревни без крестьян. Испанцы, уходя в партизаны, рубили

бочки с вином, раскалывали кувшины с оливковым маслом. Повстанцев убивали, из их животов выматывали наружу кишки, деревья обвешивали телами гверильясов так, что не выдерживали ветви, но Испания не сдавалась, сопротивление народа усиливалось... Жозеф, растерянный, говорил брату:

— А что дальше? Журдан подсчитал, что мы должны держать корпус в пятьдесят тысяч штыков только для охраны курьерской почты между Мадридом и Парижем. Одумайся! Ты погибнешь сам, с тобою погибнем и все мы.

В декабре Наполеон, довольный, вступил в Мадрид.

— Вы просто не умеете воевать! — накричал он на маршалов. — За что я плачу вам деньги? Я дал вам величие, но всегда могу сделать из вас почтмейстеров.

Ему доложили: офицер из корпуса маршала Сульта — по фамилии Аржантон — сорвал с себя эполеты.

Он не был пьян. Его речь была разумна.

— Почему мы, французы, решили, что мы лучше всех других людей на свете? — спрашивал Аржантон. — Все беды Франции от этого подлого корсиканца. Пока оружие в наших руках, повернем его против Наполеона! Пора уже свергнуть безумного императора и призвать из Филадельфии генерала Моро... Моро, и никого другого, ибо Моро — честный республиканец!

Журдан, искренне желая спасти Аржантона от неминуемой казни, пытался представить его сумасшедшим.

— Нет, — ответил Наполеон, — если этот подонок додумался до возвращения Моро, значит, он не сумасшедший...

Аржантон без страха встретил смерть возгласами:

— Да здравствует Моро! Да здравствует ре...

Плотный зал оборвал последнее слово. Савари сказал, что с казнью поспешили: от таких Аржантонов с их призывами к Моро натянуты потаенные струны — до Филадельфов, до Филиппа Буонарроти, даже до генерала Лагори.

— А где же Лагори? — оживился Наполеон.

— Если бы знать. В банкирской конторе Шрамма в Гамбурге вдруг обнаружился вклад на его имя, но затем все денежки куда-то бесследно исчезли. Будем искать...

Имя генерала Моро было исключено из истории, его изъяли из всех книг, оно преследовалось в печати, знавшие Моро отрекались от знакомства с ним. Каково же было Наполеону прослышать в Мадриде, что испанская хунта, руководящая восстанием народа, послала в Америку страстный призыв именно к генералу Моро — вернись, помоги нам! Савари сказал, что крайне подозрителен и пол

ковник 9-го полка Жак Уде, но он такой опытный конспиратор, что его не уличить.

— Подозрителен и Руже де Лиль... автор «Марсельезы»! Он, кстати, двоюродный брат якобинского генерала Мале.

— Сколько же их... исключительных? — спросил Наполеон.

В дурном настроении, он недолго оставался в Мадриде.

— Все эти хваленые столицы Европы — дерьмо, — было им сказано. — Они падают к моим ногам, как перезрелые орехи.

4. НАШИ ПОТЕРИ — ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА

Дабы покончить с брачными химерами Наполеона, Александр срочно «окрутил» сестру Екатерину с принцем Георгом Ольденбургским. Принц был неказистый сморчок, кривобокий, косноязычный, весь в угрях и прыщах. Рядом с ним возвышалась красавица невеста — умная, статная, властная, отлично понимавшая, что ее выдают за этого гугинявого только затем, чтобы ее красота не досталась парижскому «Минотавру».

Коленкуру царь объяснял — даже с юмором:

— Франция не может на меня обижаться. Чем же я виноват, если моя сестрица безумно влюбилась в этого удивительного красавца, принца Ольденбургского?..

Толстой — после Эрфурта — во Францию не вернулся. Его место в Париже с барственной неторопливостью осматривал Куракин, ослепивший Сен-Жермен своими бриллиантами. Нессельроде готовился ехать в Париж — для тайной связи с Талейраном, который за наличные будет продавать все то, что узнает от Фуше. Александра ошеломило известие, что Наполеон вдруг (!) покинул Мадрид и бросился в Париж со скоростью почтового курьера. На приеме в Тюильри он осыпал Талейрана самой отборной бранью. «Вор, мерзавец! — кричал он ему. — Вы всю жизнь занимались предательством... На что рассчитываете теперь? — В каскаде ругани не был забыт и герцог Энгиенский. — А этот несчастный? — вопрошал Наполеон. — Кто, как не вы, подстрекал меня с ним расправиться? Я расколочу вас, как стекло магазинной витрины, я повешу вас на решетке Карусельной площади... Пусть все французы видят, какая вы грязь! Какая вы грязь в шелковых чулках!»

— Все это странно, — сказал царь графу Толстому, передав ему подробности скандала.

Первая мысль была такова: Наполеон что-то узнал о тайном сговоре с Талейраном в Эрфурте, но Толстой выдвинул иную версию, ближе к истине: очевидно, Талейран поступил на содержание к Меттерниху, чтобы секреты Наполеона продать и Австрии.

— Возможно,— сказал царь,— чтобы получать с двух клиентов сразу...

Для русского кабинета был теперь насущен главный мучительный вопрос: если Австрия тоже станет вассалом диктату Наполеона, тогда Россия останется в Европе один на один со всей внушительной мощью Франции.

— Потому-то,— доказывал Румянцев,— мы ныне обязаны поддержать ретивость Вены, даже в нарушение трактатов и Тильзитского и Эрфуртского, пусть их мухи обкакают! Но прежде избавим себя от возни с турками, персами, шведами...

Балтику сковало крепчайшим льдом. Барклай-де-Толли и князь Багратион готовили армию для перехода по льду через море, чтобы, ступив на берега Швеции, принудить Густава IV к миру. Вена прислала в Петербург Карла Шварценберга, имевшего честь быть дважды битым генералом Моро — на Рейне и на Дунае. Человек дурной военной репутации, Шварценберг желал обрести славу дипломата. Перед царем он сознался, что Австрия преисполнена желанием реванша и на этот раз империя Габсбургов подготовилась к войне замечательно:

— Нам уже нетерпимо жить в страхе перед нападением. На этот раз мы первыми нанесем предупреждающий удар, а обстановка на горизонте Европы отмечена благодатными для нас грозами... Стоило Наполеону покинуть Мадрид, как все его маршалы перегрызлись меж собою, в Испании бушует восстание, мужество Сарагосы подает венцам добрый пример!

Румянцев понимал нетерпение Вены, понимал даже искренность Шварценберга: Наполеону предстоит война на трех фронтах сразу: против Австрии, против народа Испании и, наконец, в Португалии, где высаживаются англичане во главе с Веллингтоном. Но Румянцев не скрывал от Шварценберга, что Россия, союзная Франции, должна в случае войны выставить против Австрии свой корпус со стороны Галиции.

— Вене это известно,— ответил Шварценберг, похожий на сытого, перекормленного борова, с лицом вроде окорока... Но мы уповаем на вашу умеренность в боевых делах.

— Россия,— утешил его Румянцев,— пожалуй, больше

всех заинтересована в целостности вашего государства, и не мне объяснять вам, почему так... вы и сами догадываетесь! А потому мы тоже просим войска герцога Фердинанда в Галиции сохранять скромную умеренность в делах батальных.

В марте месяце, когда русская кавалерия, перейдя море, как посуху, уже гарцевала в окрестностях Стокгольма, король шведский Густав IV лихорадочно перелистывал Апокалипсис, хотел в бумагах древних астрологов найти точную дату, когда же Петербург падет в тартарары? Шведам все это надоело. Драбанты ворвались в покои короля и сказали, чтобы убирался куда желает, война с Россией никому не нужна, а на престол они посадят старого адмирала, герцога Зюдерманландского, с именем Карла XIII...

В эти дни Александр вызвал князя Никиту Григорьевича Волконского и спросил, что он натворил в *chateau de Maggas*, где встречался с Наполеоном.

— Я и пьян-то не был! — отвечал князь Никита. — Я ведь уже докладывал вашему величеству о беседе с Наполеоном за обедом, о том, как он разрезал яблоко пополам...

— Забудь ты это яблоко! Ты обязан вспомнить, что в Байоне случилось еще такое, о чем ты умолчал.

— Вспомнил! — сказал Никита Волконский и поведал, что Дюрок передал ему на лестнице дешевенький перстеньчик, какому в магазине на Невском и цена-то всего рублей в десять, не больше. — Клянусь вам честью офицера, — сказал Волконский, — если бы вы подарили мне такую безделицу, я бы отдал ее своему кучеру... Не пойму, в чем дело?

Александр пояснил: жандарм, которому достался этот драгоценный перстень, стал всюду им хвастать как подарком Наполеона, и Наполеон сразу пробил тревогу, усмотрев в поступке Волконского оскорбление его величества.

— Ты, конечно, прав, — сказал царь, — но Петербургу сделан официальный запрос из Парижа... Наполеон во всем ищет предлог для конфликта с нами. А я совсем не хочу идти на рожон, как лезет эта несчастная Австрия. — При этом он подарил Волконскому драгоценный перстень с редчайшим бриллиантом. — Это для твоего... кучера! Возьми...

9 апреля Австрия объявила войну Франции.

.....
13 мая Австрия сдала Францию столицу — Вену...

Габсбурги разбежались. Восемь дюжих гренадеров прота-

щили в покои Наполеона паланкин, внутри которого греховно затаилась «собачья графиня». Было темно и жутко.

Но потеря столицы не лишила австрийцев мужества.

Эта война не была похожа на прежние войны Австрии, и Наполеон от начала ее ощутил возросшую стойкость государства, армию которого поддерживал ландвер (народное ополчение). Наполеон велел германским вассалам из Рейнского союза поставить для французской армии сто тысяч штыков.

— Я посмотрю, как немцы станут волтузить немцев...

В запасе он хранил три миллиона пищевых раценов, 200 тысяч пар обуви, каждый солдат имел по 200 патронов на ружье. Французы творили чудеса храбрости! Эрцгерцог Карл, генералиссимус Австрии, уже давно был подавлен гением Наполеона и, оставив Баварию, удалился в Богемию. При штурме Регенсбурга маршал Ланн, подавая пример солдатам, первым приставил к стенам крепости штурмовую лестницу. Наполеона тут ранило шальной пулей в ногу. Мамелюк Рустам кинулся к императору, но тот отверг его помощь:

— Молчи! Это не первый раз со мною... молчи!

Ланн лишь недавно прибыл из Арагонии, где устроил резню в Сарагосе. Горожане Сарагосы сражались рядом с солдатами, их пример воодушевил и жителей австрийского Эберсберга: они тоже взяли за оружие! Наполеон велел Ланну устроить для них «вторую Сарагосу», и Савари потом вспоминал: «Представьте все эти трупы, изжарившиеся в пожаре, истоптанные копытами лошадей, искрошенные колесами пушек. Мы шли по каше из жареной человечины, издававшей невыносимое зловоние... пришлось поработать лопатами!» Опередив неприятеля, Наполеон, следуя правым берегом Дуная, занял Шенбруннский дворец и венский Пратер, предместья столицы.

На другом берегу Дуная колебалось море огней: это светили костры армии генералиссимуса Карла.

Бертье доложил: мосты через Дунай уничтожены.

— Справимся! — ответил Наполеон. — Австрия захотела пощечин. Я их надаю справа и слева, и вы увидите, как она будет благодарить меня, спрашивая, что мне еще угодно. А ночью, Бертье, мы дадим Вене хороший концерт из пушек...

Прячась от бомб, разносивших город, Бетховен сидел в подвале, обложив голову подушками, чтобы спасти от разрушения остатки гениального слуха. Знаменитый Йозеф Гайдн умирал, к нему пробрался французский гусар Сулени,

в утешение композитору он исполнил арию на его музыку.
— Это прекрасно! — благодарил Гайдн. — Но музыкальное сопровождение из бомб и ядер ни к черту не годится...

Во дворце Шенбрунна император с факелом в руке ходил по картинным галереям, рассматривая древние портреты Габсбургов, и удивлялся: как эти шлепогубые и длинноносые много веков держали мир в страхе? В парках Пратера умирали раненые лошади. В музыкальных киосках солдаты распивали бочки с вином. В ресторанах победители играли на бильярде. Солдаты рубили на дрова фруктовые деревья. Окна в домах были выбиты, двери сорваны. Наполеон часто взирал на другой берег, где пылали костры вражеской армии... Дунай возле Вены — немыслимая путаница протоков и островов, среди которых остров Лобау был главным, отсюда уже рукой подать до Асперна и Эсслингена, где засели австрийцы. На лодке император поплыл утром на Лобау; разделяя с ним опасности, на веслах сидел русский военный атташе полковник Александр Чернышев, которому Наполеон *почему-то* всегда доверял.

— Моя армия, — признался он Чернышеву, — уже не та, что была при Аустерлице: краткий штыковой удар ва-банк я вынужден заменять продолжительной канонадой... увы!

Бернадот вел из Дрездена саксонскую армию, он удачно отразил нападение эрцгерцога Карла. Но успеха еще не было. По реке плыли горящие барки и даже ветряные мельницы, которые Карл спускал вниз по течению — как брандеры, и они сокрушали переправы, наведенные французами. Массена уже разворовал казенные деньги, однако Наполеон простил ему все за геройское поведение при штурме Асперна:

— Смотрите, все смотрите на Массена! Кто не видел Массена при Асперне, тот вообще ничего в жизни не видел...

Окопов не было: французы сооружали брустверы из трупов. Маршал Ланн с небывалым мужеством штурмовал Эсслинген и, наверное, взял бы его. Но вражеское ядро разворотило ему оба колена сразу. Дико кричащего от невыносимой боли, его потащили на ампутацию. Наполеон требовал от врачей:

— Оставьте моему льву хотя бы ногу!

— Какие ноги? Отрежем обе под самый пах...

Наполеон заметил внимание на лице Чернышева.

— Да, времена переменчивы, — сказал он. — Вы же сами видите, что австрийцев не узнать...

Все летело кувырком, все усилия были напрасны! Генералиссимус Карл разгромил французов, они спасались на острове Лобау. Плавающие барки врезались в понтонные мосты, тараня их, воспаляя их, и Массена с трудом собрал войска на «пяточке» Лобау. Артиллерия австрийцев обкладывала так густо, что труп лежал на трупе.

— Сомкни ряды... стоять! — командовал Массена, потом сказал Чернышеву: — Зачем мне все это сдалось? Я давно мог бы жить — кум королю, а вместо этого... сами видите!

— Что он вам наболтал? — спрашивал Наполеон.

— Массена фырчит... как всегда, — ответил Чернышев.

— Чтобы он не фырчал, делаю его герцогом Эсслингенским, и пусть он держит Лобау, пока не сдохнет...

Как он ни выкручивался в своем бюллетене для «Монитера», парижане и вся Европа поняли: непобедимого побеждают. Народам Европы казалось, что близок час их освобождения.

Бертье сообщил, что Ланн еще жив:

— Он желает что-то сказать. Очень важное...

Наполеон опустился на колени перед постелью, на которой лежал не человек — обрубок человека. Сын конюха, маляр по профессии, он умирал в чине маршала с громким титулом герцога Монтебелло. Императора затрясло от рыданий:

— Ланн, это я... твой генерал Бонапарт!

— Ты нашел меня пигмеем, а сделал гигантом, — сказал Ланн. — Я умираю... смерть. Прошу тебя, Бонапарт, дай покой Франции... Аустерлиц, Иена, Эйлау... наконец, и эта Сарагоса... Где конец, Бонапарт? — спросил Ланн. — Ты уже велик... я умираю... Не хватит ли того, что ты получил? Если не щадишь свою славу, пощади Францию... людей!

— Ланн, я спасу тебя... чего ты хочешь?

— Похорони меня с другом, он... рядом...

В соседней комнате лежал мертвец. Наполеон откинул косячку с его лица. Это был Буде — тот самый Буде, атака которого спасла от поражения при Маренго.

— А кто вон там, в углу? — спросил Наполеон врача.

— Можете взглянуть. Полковник Жак Уде... Странная смерть: он изрешечен пулями, и все пули — в спину.

— Ничего странного, — ответил император¹.

¹ Уде Жак Жозеф — республиканец, основатель «Общества филантрофов»; Ф. Буонарроти включил его в «Список великих людей», выступивших против тиранни за свободу народов. Ж. Фуше позже сообщал: «Уде заманили в западню, где-то в темноте подвели под оружейный огонь, и есть подозрения — огонь жандармов!»

В мундире сержанта, чтобы не привлекать внимания австрийских стрелков, Наполеон окружил себя инженерами и саперами; объезжая позиции, он намечал новые места переправ, расставлял батареи, его стараниями остров Лобау, уже проклятый армией, превратился в мощный плацдарм для решающего рывка к новой славе — к Ваграму! В ночь на 5 июля над Дунаем разразилась гроза с молниями, а 120 пушек Наполеона усилили этот стихийный ад. Под грохот неба и артиллерии, при вспышках молний и выстрелов его войска снова перешли на левый берег Дуная, утром генералиссимус Карл отодвинул свою армию к местечку Ваграм.

Ваграм близок от Вены, потому крыши столицы, садовые террасы и даже колокольни храмов были переполнены горожанами, наивно уверенными, что взмахи платков увидят от Ваграма, что солдаты Карла услышат их крики:

— Храбрые австрийцы, вы должны победить!

Наполеон сумрачно смотрел на Бернадота:

— Продвинешь своих саксонцев между Адерклаа и Зюссенбрунном, слева от тебя Легран, справа принц Евгений.

— Значит, мне... *центр*, — понял Бернадот.

На виду жителей Вены император распахнул во всю ширь гигантский и красочный веер своих корпусов, дивизий, полков, эскадронов — и все это безбожно сверкало на солнце, полыхало яркою медью кирас и касок, мерцало тысячами палашей и сабель. Третью миллиона людей была до предела спрессована на малом пространстве, почему Наполеон, даже не сходя с места, мог визуально наблюдать, что творит на левом фланге Массена, как идут справа дела у Груши.

— Бертье, — сказал он, — вы у меня князь Невшательский. Думаю, вам не повредит титул и князя Ваграмского?

— Я счастлив принадлежать вам, сир...

Карл опрокинул левый фланг Массена, но Бертье, знающий свое дело, спас положение резервами. Бернадот, занимая центр, принял на себя ураган австрийской канонады, а шапки его саксонцев (вместе с головами) взлетали вверх, будто мячики. Соседние деревни застлало рыжее пламя, дым пластами шатался над рядами кичливых султанов гвардии. Было восемь часов вечера... Бегущая дивизия итальянцев приняла саксонцев за австрийцев, покрыв их залпами из ружей. Удино был отброшен назад, Макдональд тоже пытался: Бернадот страшным усилием продвинул

нул свое войско до Ваграма, но австрийцы выбили его из улиц, из домов, из хлебов, из канав, из подвалов, с огородов... Темнело. Бой затихал.

Бернадот на усталой лошади отыскал Бертье:

— Какой мудрец придумал всю эту кутерьму?

— Диспозиция одобрена его величеством.

— А ты, Бертье, разве не мог ее исправить?

— Иди к черту! Завтра начнем все заново...

Около полуночи артиллерия закончила свой диалог, разгорелись костры, воровато согнувшись, во тьму ушли мародеры. Бернадот не был ранен. Но одну пулю нашел у себя в кармане, вторая застряла в сапоге у пятки. Аптеки пропали. Врачи тоже. Раненых никто за ночь не наполнил, не убрал. А утром эрцгерцог Карл сам напал на французов, боковым охватом силясь отрезать их от переправ на Дунае, от острова Лобау. Бернадот опять угодил в такую свалку, что его саксонцы разбежались, а глядя на союзников, побежали и войска принца Евгения Богарне. Однако генералиссимус Карл, отводя крыло армии, обнажил центр, и Наполеон вмиг сообразил:

— Лористон, сто пушек — и в эту брешь...

Затем пустил в дело конницу Нансути, саблями она положила себе широченную аллею, словно прорубая в густом лесу просеку. Одновременно с этим в реве пушек Лористона Даву сделал разворот на Ваграм, и тогда австрийские войска начали отступать. Но отступали в порядке, энергично отбиваясь в арьергарде. Наполеон требовал — гнать, добивать... Бертье возражал: нельзя, все поле битвы заполнено ранеными, они без воды, без помощи... Что с ними будет?

— Оставим их умирать, — приказал Наполеон.

Бернадот вышел из боя с безумными глазами.

— Преступление... я требую суда! — орал он. — Я знаю, чьи это проделки... Мой корпус сознательно дважды ставили под тучу бомб и ядер, чтобы избавиться от меня... Не возражайте мне! Я догадываюсь, кому это нужно...

Наполеон велел ему убираться из армии в Париж.

— Будьте счастливы, маршал, — говорили Бернадоту саксонцы, прощаясь с ним. — Мы не забудем, что вы вступились за нас... Вся Саксония будет помнить ваше доброе сердце...

...Гайдн умер. А гусара Клемана Сулеми (того, что пел ему) разорвало в куски бомбою при Ваграме.

Во главе «Великого герцогства Варшавского» Наполеон поставил короля Саксонии, своего верного вассала, а юмор варшавян в те годы был унылым: «Герцогство Варшавское, монета прусская, король саксонский, кодекс французский». Польский корпус князя Иосифа Понятовского врубился во Львов, а венский герцог Фердинанд протолкнул свою армию в Варшаву...

В этой политической путанице России предстояло вступить в войну с Австрией, при этом нельзя австрийцев разбивать, чтобы не ослабить их армии, нельзя поддаваться на провокации польской шляхты. Эту архисложную задачу блистательно разрешил князь Сергей Федорович Голицын, возглавивший русский корпус в Галиции. Прекрасный шахматист, гуляка в жизни, давний приятель баснописца Крылова, этот генерал был «себе на уме». Перед австрийцами он отводил свой корпус в сторону, иногда даже слал к Фердинанду гонца с просьбою: «Сегодня ночью я вас атакую — вы, пожалуйста, отступите заранее... сами!» Однажды они встретились.

— Какие новости, князь? — спросил Фердинанд.

— У меня сын, дурак, женится. По этому случаю я должен побывать на его свадьбе. А пока я отсутствую, вы уж, пожалуйста, прекратите все военные действия.

— С удовольствием, — повеселел Фердинанд...

Наполеон, конечно, понял результаты свидания в Эрфурте, но придаться не мог: Россия, как и обещала, ввела корпус в 30 000 штыков, войну Австрии она объявила. В этой странной «войне» русская армия потеряла четырех человек, зато обрела Тернопольский округ — земли древних русичей.

5. КАНУНЫ

Рапатель отыскал Тернополь на карте. Американские газеты писали, что Шенбруннский мир заключен Наполеоном подозрительно скоро, ибо война в Испании, мятеж горцев в Тироле, пробуждение немецкого патриотизма — все это подстегивало его величество, как осла, перегруженного кладью. Крепостные валы, ограждавшие Вену, по его приказу взорваны, Австрия уже обессилена контрибуциями, Наполеон отнял у Франца около четырех миллионов подданных, и положение их тяжкое: французы избивают всех, кто не родился французом.

— Это конец, — сказал Моро адъютанту. — Европа на пороге... Лозунги революции, изгаженные Наполеоном, сей-

час станут возрождаться заново. Но они воскреснут уже на иных знаменах: монархи Европы, сами тираны и деспоты, воспримут наши старые призывы к народам о свержении тирании, чтобы сплотить людей под своими знаменами... Задумался ли Наполеон хоть однажды об этом? Вряд ли. Но политически он уже *проиграл*... А какие лозунги может он дать Франции?

Рапатель задумчиво рисовал лошадок.

— Вы будете отвечать хунте? — спросил он.

В широких окнах Моррисвилля виднелся лес, текла широкая река, в саду под старыми вязами весело играли его дочь Виргиния, его бой Чарли, его добрая собака Файф.

— Стоит ли? При испанском штабе Жозефа начальником мой друг... Журдан! Оба мы из одного яacobинского клуба. Он будет бить меня, я должен бить его. Глупо... Это еще не все, Рапатель. Вернись я в Испанию, и я стану подчинен хунте, которой заправляют кардиналы-изуверы, фанатики инквизиторы. Могу ли я, отвергающий церковь деист, зависеть от них?..

Резкой болью отозвался в сердце Моро расстрел Аржантона, он глубоко скорбел о гибели полковника Жака Уде. Моро сказал, что Аржантон никогда не был филадельфом:

— Он был просто порядочным человеком, а в убийстве Уде я подозреваю Савари... Сейчас я боюсь за Виктора Лагори, как бы он не допустил роковой ошибки. Он мне нужен. Нужен именно в Париже...

1808 год был високосным, и весной (еще до падения Вены) Америка выбирала нового президента. Предвыборная кампания напоминала оргию, будто шайка разбойников выдвигала самого отважного атамана. Кандидаты от штатов выкатывали на улицы бочки с вином, бесплатно поили избирателей, а избиратель, выпив на дармовщинку, получал сочный поцелуй от жены кандидата — вроде бутерброда... На место благородного Джефферсона в президенты прошел Джеймс Мэдисон, богатый плантатор-рабовладелец, что не мешало ему называть себя республиканцем. Моро был давно с ним знаком, и при встрече в Нью-Йорке президент сообщил генералу, что эта проклятая Англия размахивает трезубцем Нептуна у берегов Америки.

— Вы, Моро, уже присмотрелись к нашей армии?

Моро ответил — да, он уже присмотрелся.

— Смею думать, что в Запорожской Сечи дисциплины и умения воевать было больше... По сути дела, у вас нет армии. Вместо нее вы развели шайки бродяг, которые шляют-

ся по стране, думая об одном, где бы выпить и закусить! Джеймс, — сказал Моро, — выкладывайте все начистоту!

Мэдисон сказал, что Эрскин, посол английского короля, страшный алкоголик. На банкете в Белом доме он в пьяном виде кричал, что Лондон не пожалеет денег, лишь бы переманить генерала Моро на королевскую службу:

— Хотя бы в колониях... в Индии!

Моро с крайним возмущением отвечал, что подобное предложение считает оскорбительным для себя:

— Помогать Англии — значит быть ее сообщником в угнетении других, незащищенных народов. Но я им — не слуга!

Мэдисон со смехом признал, что бурная реакция Моро доставила ему несравненное удовольствие:

— Это дает мне право расшуметься по миру, будто генерал Моро согласен командовать американской армией, и возможно, что ваше имя заставит Англию быть поскромнее...

Александрина недоумела, в Моррисвилле она почти не жила, чтобы не видеть могил матери и сына. Конечно, балы и концерты, женские пересуды и покупки в магазинах — все это приятно для молодой женщины, но Александрину, как и ее мужа, угнетало отсутствие того культурного общества, к которому она привыкла в Париже. Им, европейцам, было трудно прижиться в стране, где газета заменяла литературу, а любое ремесло ценилось выше искусства.

— Хочу во Францию... очень! — жаловалась жена.

— Не страдай, мы еще вернемся, — утешал ее Моро...

На речных притоках Делавер он сооружал водяные мельницы, разводил в саду помидоры, даже плотничал, но все это была лишь жалкая подмена настоящего дела. Моро не покидали мрачные мысли, беспокоило и состояние Александрины. Только верный Рапатель не поддавался унынию, все чаще поговаривая, не пора ли вскочить в седло, пришпоривая лошадь? Он уже предчувствовал, что генеральная битва народов еще впереди.

— А если я сам предложу себя... России?

Моро ответил: не станет ли он враждебен своему народу, если в рядах русской армии выступит против Франции?

— Я смотрю на все это иначе... Если бы, допустим, в эмиграции возникла армия из французов-республиканцев, о-о, с каким бы восторгом я слушал шелест ее знамен!

Для Рапателя сомнений не существовало:

— Где эти республиканцы? Кричали много — да, но Бонапарт быстро задарил их титулами, именьями, миллионами. Массена? Превратился в грабителя... Ожеро? Чтобы не страдать совестью, просто спивается. Но почему мне, французу,

не быть заодно с русскими? Начни Россия войну с Францией, и она начнется не для того ведь, чтобы насолить французам...

Иногда Моро виделся с Ги де Невиллем, ибо идейных противников он умел уважать. Этот умный роялист имевший связи с Лондоном, тоже делал попытки заманить Моро в армию короля, но уже не для колоний, а в Португалию.

— Зачем? У них ведь там герцог Веллингтон.

— Веллингтон и останется Веллингтоном, а ваше имя слишком известно Франции: появлением в Португалии вы сможете внести разброд в сознание французских солдат. Никто из французов еще не забыл о вашем конфликте с Наполеоном.

— Какой там конфликт! — отмахнулся Моро.

Ги де Невилль, кажется, потерял терпение.

— Моро! — сказал он. — В Париже не имеется второй Бастилии, чтобы из ее камней мастерить дамские брошки. Вы закоснели в своем республиканстве, и не граничит ли оно с житским отчаянием? Подумайте о больной жене...

Моро ответил: ему легче видеть Александрию в гробу, он своими руками выкопает ей могилу в парке Моррисвилля, нежели изменит своим гражданским убеждениям.

— При чем здесь конфликт с Наполеоном? У меня конфликт со временем, в котором я живу вместе с Наполеоном. Два человека — две идеологии, отсюда и конфликт. Обрети я завтра власть над Францией, я бы сохранил Бонапарта для армии Франции, ибо я признаю его достоинства полководца.

— Кто, по-вашему, лучше — он или вы?

— Это не академический вопрос... он даже бестактен! А мы с Бонапартом — не гладиаторы, чтобы сравнивать свои дарования на открытой арене перед публикой. Думаю, Наполеон одарен более меня, и потому его таланты слишком дорого обходятся человечеству. Но он уязвим... да, уязвим, — повторил Моро, — его ахиллесова пята не заколдована.

— Продайте этот секрет... англичанам.

— Никогда! — ответил Моро. — Мое знание Наполеона — это тоже оружие, и я могу вложить его лишь в добрые руки.

— А мы сегодня приглашены в гости.

— К кому, моя прелесть? — спросил Моро.

— Пхе, не скажу! Но ты будешь рад...

Вечером лошади провезли их через тихий Фэйрмаунт, обстроенный уютными особняками времен английского гос-

подства, карета остановилась возле виллы, в которой недавно поселился русский генеральный консул Андрей Яковлевич Дашков. Консул оказался еще молодым человеком, очень радушным, его жена, которую он называл Дженни, постаралась увлечь Александрина к себе, чтобы не мешать мужской беседе. Моро сказал хозяину, что открытие консульства России в Филадельфии обрадует президента. Дело за открытием посольства.

— Да, посол уже в пути. Вы его знаете,— напомнил Дашков,— это камергер и граф Федор Пален.

— Не тягостно ли было путешествие в океане?

— Плыли шестьдесят восемь дней. Дважды попали в штиль, трижды отбили абордажи, и я так и не понял,— сказал Дашков,— кто на нас нападал? Но стрельбы, воплей и ужасов было достаточно. Простите, я стрелял тоже. Кстати, я доставил вашему превосходительству поклон из России... Не знаю, как выразить по-французски наше выражение: «Скажи поклон Моро!» Поклон от князя Петра Ивановича Багратиона.

— Спасибо за память обо мне, тех дней в Италии не забыть... Я следил за его успехами. Мне казалось, что Багратион, соратник Суворова, станет военным министром.

— Этот грузин слишком горяч и шумлив, в Петербурге сейчас выдвигается в министры князь Барклай-де-Толли.

— Не мне судить о достоинствах Барклая, но этому человеку предстоит вынести тяжкое бремя. Сейчас я почти уверен, что следующая война Наполеона будет с вами... Вы, русские, единственные в Европе, сумевшие охранить свою честь и свои ресурсы. Наполеон не может развивать свою агрессию далее, пока существует такая страна — Россия! — Дашков поддакнул, что победы корсиканца становятся хроническим бедствием Европы, но Моро сохранил мажорное настроение.— Все мы знаем, что порох изобрел монах Бертольд Шварц, но кто знает его конец? Посаженный на бочку с порохом, он был вознесен взрывом под небеса. Гик что, мсье Дашков, даже в победах Наполеона уже шевелся червь его будущих поражений...

Появление жеи прервало их беседу, гостей звали к столу. Александрина жаловалась на вредный для нее климат Америки.

— В чем дело? — отозвался Дашков.— У нас в России есть Крым, есть блаженная Украина, наконец, Минеральные Воды, а климат не хуже французского.

— У вас есть еще и Камчатка,— заметил Моро.

— О, у русских все есть! — засмеялся Дашков...

Александрина обещала Дженни услуги своей портнихи, обещала подыскать камеристку со знанием немецкого языка. Оставив женщин щебетать о пустяках, мужчины от стола проследовали в комнаты консула. Дашков выложил перед Моро пакет.

— Исполняю свой долг,— важно произнес он.

Моро ощутил вдруг неясную тревогу.

— Могу я знать, от кого этот пакет?

— От вашего друга, князя Понте-Корво.

Так титуловался ныне бывший якобинец Бернадот. Моро, весь в нервном напряжении, не прикоснулся к пакету.

— Какие же пути привели его в ваши руки?

— Я только исполнил роль почтальона,— сказал Дашков.— Могу подсказать и адрес в Стокгольме, пользуясь которым вы можете связаться с самим Бернадотом.

— Но при чем тут Стокгольм? — удивился Моро.

— Это не мои связи, это связи мадам де Сталь...

Когда гости прощались с любезными хозяевами, Дашков просунул голову в ароматные потемки кареты Моро:

— Совсем забыл спросить вас о главном: каков здесь, в этой стране, церемониал представления президенту?

— А никакого,— отвечал Моро.

— А мундир? А треуголка? Быть ли при шпаге?

— Это как вам удобнее. В одежде тут демократия...

Карета покатила домой, двери открыл им Чарли, Файф встретил их радостным лаем. Моро прочел письмо Бернадота.

— Странная гасконада! — сказал он.— Странная...

.....
Летом 1809 года, едва вступив в Вену, Наполеон стал угрожать Петербургу разрывом. Коленкур, явно смущенный, передал царю, что его великий император «более не ценит союз с Россией». Александр сразу вызвал Румянцева:

— Не наша ли это глупость? Когда здесь был этот хряк Шварценберг, мы гарантировали ему наше бездействие в войне, и корпус князя Голицына действительно не заливал Австрию кровью. Но я тогда сглупил, лично отредактировав протокол беседы с Шварценбергом, и теперь, надо полагать, Наполеон нашел его в шенбруннском кабинете Франца.

— Государь, сейчас до разрыва не дойдет: у Наполеона столько разных дел, как у паршивой сучки блох.

— Пожалуй,— согласился Александр.— Есть ли что нового? — Румянцев сказал, что пани Мария Валевская беременна от Наполеона. На это царь отвечал ему с раздражением, что его Нарышкина тоже беременна.— К сожалению,

Николай Петрович, эти новости не могут стать событием для Европы...

На пороге его кабинета вскоре появился Арман Коленкур, расстроенный, и сказал, что служить более не в силах.

— В чем дело, Коленкур? Объяснитесь. Я настолько уже свыкся с вами, что мне потерять вас... *жаль!*

Наполеон сослал в глушь Нормандии мадам Казини, которую посол страстно любил, но ведь, назначая маркиза в Петербург, он же сам и обещал дать разрешение на брак с нею.

На глазах Коленкура вдруг блеснули злые слезы:

— Как он не понимает, что я обладаю всеми секретами его же государства и, будучи оскорблен им, я могу сразу предать его, чтобы отомстить за все сразу... за все!

Александр — резким голосом — отвечал ему:

— Нет, вы не сделаете этого, Коленкур! Все, что нужно мне знать, я все это знаю. Хорошо знаю. *Без вас...*

Он не пугал Коленкура — он сказал правду. Русская агентура во Франции работала намного лучше французской в России, теперь же, после явной измены Талейрана и Фуше, Петербург ожидал усиленного наплыва свежей информации. Политическая служба русского кабинета Александра I (к чести его!) никогда не ежилась от страха, докладывая царю правду, только правду — как бы она горька ни была. Таким образом, в русской столице знали многое. Даже очень многое...

Барклай-де-Толли — человек холодный, рассудительный, строгий, замкнутый — как раз принимал у себя в министерстве полковника Александра Чернышева, прикатившего из Вены, чтобы навестить родню, чтобы потанцевать.

— Ну? — сказал ему Барклай, глядя сурово.

Молодой полковник был очень красив, в него парижанки влюблялись напропалую, а близость к Наполеону вполне устраивала ловкого военного атташе. Чернышев пронаблюдал войну из шатра самого Наполеона, через оптику его же подзорной трубы. И теперь, зная то, о чем не пишут в газетах, он сказал Барклаю, что техника у французов никуда не годится. Наполеон использует старье — еще королевское оружие: пушки у него образца 1765 года, а ружья образца 1777 года.

— Вы и сами знаете, что при Аустерлице, при Эйлау и Фридланде император, объезжая поля битв, указывал Дюроку или Савари переворачивать трупы своих солдат. Все ражены нашей картечью. Как не может он пересилить

флот Англии, так ему никогда не повершить нашей славной артиллерии...

Вечером в Зимнем дворце состоялся бал, и Александр, заметив флиртующего Чернышева, погрозил ему пальцем:

— Смотри мне... не попадись! На женщинах...

В буфете дворца сидел любитель выпить Шувалов.

— Не пей,— сказал ему царь.— Иди за мной...

Павел Андреевич Шувалов был другом его юности. В служебном формуляре он уже имел: Варшаву, Нови, Сен-Готард, Аустерлиц, Пултуск, Торнео, шведскую Вестерботнию (через пять лет ему запишут и дорогу с Наполеоном от Фонтенбло до Фрежюса). Они уединились в запертом кабинете.

— Чернышев говорит: положение Бернадота при Наполеоне стало опасно. Они, это не секрет, всегда враждовали, но теперь Бернадоту грозит не только опала... Фуше тоже!

— Да, я знаю,— ответил Александр.— Но тебе предстоит ехать в другую сторону — в Вену... Надо признать, что при Ваграме Наполеон разбил не только Австрию, он разбил нашу политику, наши надежды. Вена превращается в покорного лакея Франции, и этим она еще больше усиливает Наполеона. Инструкции получишь у Барклая и Румянцева. Учить не стану. Мало спрашивая, узнаешь больше. Шварценберг сейчас в Париже — посольствует, а ты в Вси побайвайся Меттерниха — эта гадина вредная и умная. Меттерних ненавидит Россию...

Перед отъездом в Париж явился и Чернышев.

— Я,— доложил он царю,— заинтересован в общении с Антуаном Лавалетом, женатым на Эмилини Богарне, племяннице Жозефины... Лавалет ведает всеми почтами империи, через него проходит самая секретная корреспонденция Наполеона, а в почтовом ведомстве чиновники бедны и продажны.

Александр благословил его пожеланием:

— Если планы Наполеона о войне с Россией уже существуют, они должны лежать вот здесь... НА МОЕМ СТОЛЕ. Потом проси у меня что хочешь: я для тебя все сделаю!

Была очень снежная зима, близился 1810 год.

У Коленкура подавали к столу свежайшие груши по сто рублей за штуку. Его знаменитый повар Гардюф (позже воспетый Пушкиным) угощал русских гостей яствами, секрет которых оставался никому не известен. Барклай-де-Толли, человек небогатый, одну из таких груш принес в по

дарок жене, после чего удалился к себе в кабинет — для работы. Адъютант известил министра, что пришла почта из Филадельфии.

— Я не политик. Несите канцлеру Румянцеву.

— На этот раз почта касается вас.

Дашков переслал просьбу Рапателя о зачислении его на русскую службу в прежнем чине капитана. Адъютант сказал:

— Но стоит ли принимать его? Рапатель, как и его генерал Моро, оба они — отпетые республиканцы.

В лице Барклая-де-Толли ничто не дрогнуло:

— Если в великой русской армии служат отпетые монархисты, я спокойно переварю в армии и отпетого якобинца... Посылайте в Филадельфию мое согласие и двенадцать тысяч рублей на путевые издержки... У меня все. Ступайте.

Гроза двенадцатого года
Еще спала. Еще Наполеон
Не испытал великого народа,
Еще грозил и колебался он...

Это уже не Бенедиктов — это намного лучше!

6. ПОЖАР В ПАРИЖЕ

Даже со штукатуркой в казармах обращались бережнее, нежели Наполеон с шедеврами живописи. На картине Давида, изображавшей раздачу орлов гвардии, он сначала велел замазать гения, осеняющего с небес его маршалов славой. Гения замазали. Но стало непонятно, отчего маршалы плятаются в пустое небо? На этой же картине сидела в кресле Жозефина.

— Наверное, — предположил Наполеон, — моей новой молодой жене не совсем-то будет приятно видеть старую.

— Так будем вписывать в кресло молодую?

— Нет, Давид, замажьте пока старую...

На картине осталось пустое кресло. Исподволь уже готовился брак с венской принцессой. Умные люди тогда предсказывали: «Через два года Франция будет воевать с той державой, с которой император не породнится». Наполеон жил по-прежнему экономно, все остатки с гражданского списка он сваливал в подвалы Тюильри, где у него хранился личный запас — золотом! Жозефина не походила на мужа, справляя 300 шляп и 600 платьев в год, ее гомерические расходы не укладывались ни в какие бюджеты. Она уже

смирилась с мыслью о разводе, беспокоясь лишь о том, сможет ли транжирствовать далее? В январе 1810 года Наполеон вызвал Карла Шварценберга.

— У меня нет времени для поэзии, — сказал он послу. — Даю вам несколько часов для составления брачной конвенции. Считайте, что я, император Франции, влюблен в принцессу Марию-Луизу, юную дочь вашего императора Франца.

Чудно, дивно, превосходно! Габсбурги только того и ждали, чтобы бросить в пасть ненасытному зверю сладкий и нежный кусок от своей плоти... Наполеон в последний раз ужинал с Жозефиной, которая жаловалась, что у нее несколько миллионов долгов. Наполеон обещал расплатиться. Он сказал, что дарует ей титул «вдовствующей» (?) императрицы, Елисейский дворец в столице, летом она может проживать в Мальмезоне, он дарит ей замок в Наварре. Последний раз за ними затворились двери спальных покоев. Всю ночь Наполеон рыдал, как ребенок, он кричал, что не в силах с нею расстаться, утром Жозефина сказала маркизе де Куаньи:

— Вот уж не думала, что в одном человеке столько влаги! Поверьте, от его слез моя постель стала насквозь мокрой.

В рядах старой гвардии слышался ропот «ворчунов»:

— Зачем бросает старую и берет молодую? Старая всегда приносила ему удачи, а с молодой он пропадет...

Мария-Луиза горько рыдала в Вене, понимая, что над нею свершают грубое насилие, она не соглашалась ехать в Париж; отец с мачехой натравили на нее свору красноречивых иезуитов, папский нунций угрожал ей карами небесными:

— Вы обязаны спасти Австрию. Наполеон не станет воевать с Веной и, обходя ее стороной, двинется на Восток!

В словах нунция угадывались потаенные мысли Меттерниха. «Нашим унижениям приходит конец, — писал он, теперь в Петербурге станут чесаться хуже собак...» Первым ощутил это Куракин, когда Дюрок не пустил его в Тюильри:

— Его величество не может принять вас — у него уроки танцев, наш император изучает венские вальсы...

Теперь и Шварценберг поглядывал на Куракина свысоки, как толстомордый бульдог на ничтожную болонку. Книжки Куракин и впрямь был только удобной для Петербурга «ширмой», в тени которой Нессельроде перенимал инфор

мацию, получаемую от Талейрана, а Чернышев, ловко интригуя, через женщину похищал секреты империи. Атташе уже подкупил чиновника Мишеля, который сообщил потрясающую новость: Наполеон распорядился, чтобы связь Парижа с Петербургом отныне держалась не курьерами, а обычными почтовыми депешами.

— Разве такое возможно? — не поверил Чернышев.

— Да. Наполеон рассчитывает на то, что депеши будут перлюстрированы в Германии, их смысл дойдет до русского кабинета, а в депешах будет выражаться уверенность императора в прочности русско-французского союза...

Стало ясно: Наполеон заранее усыпляет бдительность Петербурга. Мишель был мелюзгой, но он имел доступ к тайнам империи, и он сказал, что Коленкура убирают из Петербурга.

— И кто же займет его пост?

— Очевидно, генерал Лористон... Он, по мнению императора, не имеет тех сомнений, какие делают Коленкура чересчур подозрительным. С вас пятьсот франков, мсье Чернышев...

1810 год стал роковым. Развод с Жозефиной и надежды Наполеона иметь наследника от юной жены переменяли многое. Император уверился в том, что, пока существует Россия, он никогда не будет спокоен за будущее своей династии.

— Русские женщины, — говорил он, — ежегодно производят полмиллиона детей... будущих солдат! Россия — не союзник, это мой главный соперник, и, пока она не подчинилась моим планам, я не могу двигаться далее. — Подумав, он добавил: — А если я не двигаюсь, я сразу падаю...

Сверхсекретный план нападения на Россию был закончен 4 марта, и этот документ скоро лежал на столе кабинета русского императора в Зимнем дворце! (Наш маститый историк Евгений Тарле писал о миссии Чернышева, что этот довелас, внешне легкомысленный, узнавал в Париже такое, что Талейрану с Нессельроде и во сне даже не снилось.)

Но магистралям Франции днем и ночью катили почтовые анлижансы, окрашенные в зеленый цвет — цвет империи, цвет мундира Наполеона, на их лаковых боках, казалось, не хватало лишь золотистых пчел... Францию было теперь не унять! Страна раскинулась на 130 департаментов, вобрав в себя области соседних народов. Голландию Наполеон счел французской землей на том основании, что в голландской низме обнаружены следы выноса ила из французских рек.

Франция становилась похожа на придаток той империи, которую Наполеон склеил из покоренных земель. Понимая всю несуразность этого казуса географии, он просил называть его «императором Запада», а Францию — «старыми департаментами», при этом «новые» кормили и обслуживали «старые». Бравый маршал Даву, командуя в ганзейских городах Гамбурге, Любеке и Бремене, именовал свой округ еще проще: «Мы живем в тридцать второй дивизии...» Военный абсолютизм всегда ужасен! Покоренные народы сами и оплачивали работу той гигантской машины, которая их же и покоряла. Какой там Пипин Короткий? Какой еще Карл Великий? Наполеон превзошел всех: его империя разлеглась от Лиссабона до Варшавы, от берегов нынешней Югославии до границ Курляндии, Польша — передовой форпост, придвинутый вплотную к рубежам России. Но уродливая экономика Франции, подчиненная лишь войнам, погружала страну в глубокие кризисы, из которых, казалось, не было выхода. Элита промышленности, торговли и банков просила Наполеона ослабить гнет континентальной блокады.

— Если вам так тяжело живется, я могу поправить ваши делишки... взятием Москвы, Риги и Петербурга.

— Ваше величество изволите шутить?

— Нет. Каждый кризис — отличный повод к войне...

Бертье отъехал в Вену, где во время обручальной церемонии изображал отсутствующего жениха (Наполеону ведь некогда заниматься такими пустяками!). Невесте был вручен миниатюрный портрет «императора Запада», осыпанный бриллиантами на сумму в полмиллиона франков. Мария Валевская готовилась к родам, ее беременность служила для Наполеона вернейшим залогом того, что он еще способен быть отцом. Обладая работоспособностью пчелы, император временами развивал чудовищную энергию, но иногда уже впадал в нездоровую сонливость... Брак с молодой принцессой оживил Наполеона, и он еще никогда не был так любезен с Меттернихом:

— Дочь вашего императора вернула мне приятное ощущение молодости. Я никогда не забуду вашей услуги.

— Вена отдала вам самое драгоценное, что она имела, отвечал Меттерних, после чего добавил, что Россию пора удалить и с Дуная и с берегов Черного моря.

— Если вы желаете воевать с Россией, — бодро откликнулся Наполеон, — я не останусь нейтрален...

Для Меттерниха этих слов было достаточно, чтобы проникнуть в тайные умыслы Наполеона, и вечером во дворце посла Шварценберга он сделал вывод, что можно го-

готовить бумаги для австро-французского союза — против России:

— Мы удивим ее нашей черной неблагодарностью...

По случаю бракосочетания Наполеона с Марией-Луизой во дворце австрийского посольства готовили празднество. В саду была сделана для танцев пристройка — большая закрытая галерея, наскоро сколоченная из досок, но украшенная тканями и растениями. Среди множества богачей парижского бомонда Куракин выделялся золотым кафтаном, который был сплошь облицован крупными бриллиантами. Жену своего консула, кокетливую красотку Лабенскую, он удивленно спрашивал:

— Душенька, почему на меня все так смотрят?

— Пытаются оценить, князь, сколько деревень с мужиками продали вы, чтобы ослепить всех своим кафтаном.

— А я и сам не знаю, — вздохнул Куракин...

Из-за болезни ног князь двигался, как черепаха, сверкая подобно языческому идолу. Полина Шварценберг объявила гостям, что бал откроется венским вальсом — паром Наполеона с молодой императрицей. Куракин сказал Лабенской:

— Любопытно, впрок ли пошли ему уроки танцев?

Сад и павильон осветились лампами, Шварценберг велел запустить в небо фейерверк, когда приехал Наполеон; музыка заиграла, и от одной паршивой свечки, выпавшей из канделябра, разом вспыхнула матерчатая обивка. Меттерних крикнул:

— Спасайте нашу гордость Европы! — и поспешно выбежал прочь, следом за императором и Марией-Луизой...

Стены павильона обтягивало полотно, расписанное масляной живописью, и оно разгорелось — со свистом, как порох. Смельчаки руками отдирали от стен обивку, затапывали пламя ногами, но все было тщетно. Пламя, буйно ревущее, мигом охватило весь павильон, началась паника. Людейское орущее стадо ринулось к выходу в сад. Но в единственных дверях павильона толпа не могла протолкнуться. Самые угодливые кавалеры стали мерзавцами! Они кулаками отпихивали женщин, обрывали им шлейфы платьев. А русский посол сохранял врожденную вежливость, почти немисливую в этих условиях...

Даже трудно поверить, на что способен хорошо воспитанный человек, уважающий женщин! Куракин считал нужным не только пропустить дам впереди себя, но и удостоить каждую церемонного поклона. Уже охваченный пламенем, посол России в этом скотском кавардаке оставался единственным

рыцарем. Многие женщины выскочили на улицу нагишом — платья на них сгорели. Очевидец этого бедствия (брат посла Алексей Куракин) извещал друзей в Петербурге, что в две минуты здание рухнуло. «Сегодня вынули из праха тело княгини Полины Шварценберг... она пыталась спасти детей; до такой степени обезображена, что ее узнали только по ожерелью и кольцам. А госпожа Лабенская при смерти...»

Куракина спасла случайность. Уже рушился потолок, пока он там кланялся, но тут какие-то молодые звери, жаждущие спасения, ринулись вперед, увлекая за собой и посла. Дымясь и полыхая огнем, Куракин обрушил перила, его схватили за ноги, выволокли в сад... Наполеон спросил:

— Кто это? Неужели русский посол? Воды, воды...

Воды не было. Золотое шитье на кафтане посла расплавилось, образовав вокруг тела некий раскаленный панцирь, и когда люди пытались содрать с князя одежду, то обжигались — так была горяча она, словно сковородка. Куракина спасли бриллианты! Пока не перегорели все нитки, пока бриллианты не осыпались с него, он еще выносил пламя, хорошо бронированный слоем алмазов. Но пострадал жестоко: у посла обгорели уши, с левой руки кожа слезла, как перчатка, кроме того, посла здорово помяли в давке... На следующий день Париж наблюдал выезд Куракина на дачу в Нельи: впереди шел легион поваров и лакеев, врачи и артисты, играли оркестры, дюжие лакеи несли золотой паланкин, в котором расположился Куракин, весь перебинтованный, а за ним шагали члены посольства, с ними и веселый полковник Чернышев...

— Глупые люди, — говорил Куракин художнику Руа, делавшему портрет с обгорелого посла. — Все меня спрашивают о том, сколько стоили бриллианты, потерянные мною в пожаре, и никто еще не спросил: «Сашка, небось тебе жарко было?..»

Пламя этого пожара видели и на окраине Парижа, даже в старинном саду бывшего монастыря фельянтинцев... Маленький Виктор Гюго (ему было тогда восемь лет) забыл своего отца, бросившего семью ради молодой итальянки, зато мальчик обожал крестного Виктора Лагори как родного. Лагори скрывала от полиции Софи Гюго, много лет влюбленная в этого человека. Она прятала его от посторонних глаз в руинах старой часовни, в самой глубине сада, он появлялся в ее комнатах тайком, всегда неожиданно... Женщина принесла ему свежие газеты: Наполеон по случаю

своего брака объявил амнистию. Лагори решил покинуть убежище, а мадам Гюго убеждала его:

— Не делай такой глупости. Какая амнистия? Подумай сам, что осужденные по делу Моро, Пишегрю и Каду-даля давно отсидели все сроки, но... хоть одного из них выпустили?

Лагори ответил, что это было при Фуше.

— Но сейчас-то вместо Фуше министром полиции стал Рене Савари, герцог Ровиго, знающий меня... как солдата!

Савари принял Лагори почти с восторгом:

— Приятель, где же ты пропадал все эти годы? Меня даже император спрашивал: куда же делся этот бродяга Лагори?

— Скрывался, да, ибо не люблю сидеть в тюрьмах. Теперь амнистия. Хотя и приговорен заочно к смерти, но...

— Да перестань! — смеялся Савари, излучая радость. — Я тебя знаю. Будь спокоен. Живи. Никто мешать не будет.

Лагори верил к любимой женщине, распевая:

От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тужусь, играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом.
Чужбина мне — страна моя родная...

— Ну, вот и все, — сказал он ей. — Савари это не гиена Фуше, он принял меня хорошо. Теперь я свободен...

В дверях квартиры появились четыре агента:

— Генерал Лагори? Ни с места. Именем императора...

Без суда и следствия его заточили в замок Ла-Форс, Савари сам и сказал ему, что заключение пожизненно:

— Не обижайся на меня, Лагори! Ла-Форс все-таки лучше Кайенны, где даже тарелка с супом, еще не остывшим, уже шевелится от обилия москитов...

В тюрьме Лагори встретил генерала Мале.

— Какие новости от Моро? — шепнул тот.

— Моро расстрелял бы меня, узнай он только, как я глупо попался. Ведь я готовил тебе побег.

— Утешься, Лагори! Я сам устраю тебе побег. Лишь бы Наполеон убрался из Парижа подальше...

Кто бы мог подумать, что эти люди на целых три часа отберут Париж у Наполеона, возвращая его в лоно республики.

7. БЫТЬ БЕДЕ ВСЕНАРОДНОЙ

Перед отъездом Рапателя в Россию генерал Моро много писал, желая, чтобы написанное им попало в руки Баркляя-

де-Толли — для ознакомления. «Может, русским,— говорил он,— пригодится и мое мнение...» Дашков обещал переслать записку Моро с дипломатической почтой. При консуле в Филадельфии появился секретарь Павлуша Свињин, очень быстро набросавший с натуры портрет Моро, и Моро одобрил рисунок:

— Вы очень талантливы, мой юный друг.

— Я стараюсь,— отвечал Свињин...¹

Этого человека, казалось, собрали по кусочкам, словно мозаику из различных узоров смальты: окончил Благородный пансион в Москве, Академию художеств в Петербурге, плавал переводчиком на эскадре Сенявина, побывал в плену у англичан, занимался матросской самодеятельностью, стал академиком за картину «Отдых после боя князя Итальянского графа Суворова», он же писатель, дипломат, хороший литограф и на все руки мастер... Все это в двадцать четыре года!

— Если вы не сломаете себе шею на приключениях,— предрекал ему Моро,— вы очень далеко пойдете.

Свињин (которому суждено стать еще и прототипом Хлестакова в комедии Гоголя «Ревизор») отвечал Моро:

— Я стараюсь... Но кто это видит?

Моро предсказывал нападение Наполеона на Россию ранней весной 1812 года, Моро допускал отход русской армии, анализировал тактику Наполеона:

— Он привык наваливаться всей массой и, не шадя резервов, сразу опрокидывает неприятеля на спину. Зато он теряется и даже приходит в замешательство, встретив упорное сопротивление. Корсиканский темперамент плохо приспособлен для долгого противоборства. Секрет успеха Наполеон видит в одном решающем сражении. Но он легко победим, если не делать того, что тактически выгодно для Наполеона.

— Так неужели нам отступать? — возмутился Свињин.

Моро ответил, что своими отступлениями он обрел славу «Нового Ксенофонта» и в умелом отходе не видит ничего для себя позорного. Европейские страны, по его словам, побеждены Наполеоном еще и потому, что у них отсутствовал немаловажный фактор пространства, необходимый для маневра:

¹ Свињин П. П. (1787—1839) — впоследствии издатель журнала «Отечественные записки». Его акварели американского цикла изданы в США в 1930 г.; в 1953 г. Русский музей в Ленинграде приобрел для альбома Свињина, в которых встречаются зарисовки с генерала Моро, его имени Моррисвилль и прочее.

— Их армиям просто некуда было отступать. Вы же, русские, можете ретироваться далеко, и с каждой милей, нагоняя вас, Наполеон будет ослабевать. Генеральная же битва у границ ничего вам не даст, но она много даст Наполеону!

Моро так горячо хотел бы помочь России, что Дашков известил канцлера Румянцева: вот удобный момент для привлечения его к нашим делам! «Г-жа Моро,— писал он,— получила блистательное образование в Париже... она никак не может приспособиться к здешнему грубому обществу, ее слабое здоровье страдает от климата». Сам же генерал Моро, несмотря на сильный характер, видимо, тяготится бездействием. По его понятиям, сообщал Дашков, «есть только две армии — русская и французская, но последняя уже развращена... Моро признал, что Россия, пожалуй, единственная страна в мире, где он мог бы пользоваться наибольшим счастьем». В консульстве сочли нужным поговорить с Рапателем:

— Вы уезжаете, а Геркулес остается с женским веретеном своей прекрасной царицы Омфалы... Что скажете?

Рапатель сказал им такое, что они ахнули:

— Мой генерал еще не знает, что его Омфала отправила в Париж на имя генерала Дарю просьбу о дозволении ехать во Францию, дабы там пользоваться услугами врачей на водах в Барраже или Пломбьере. Беда в том, что Моро так нежно любит свою жену, что не станет мешать ее капризам.

Павлуша Свиньин пылко упрекал Рапателя:

— Почему вы, капитан, не предупредили генерала?

— Жаль его огорчать. Он и так слишком несчастен...

Дашков ответил: разобшение семьи Моро опасно для самого Моро! В тот же день он написал Румянцеву, что мадам Моро едет в Париж не ради примирения мужа с Наполеоном: «Разве что чудо может примирить их. Моро не скрывает своего гадкого мнения о Бонапарте, а у него здесь так много шпионов, следящих за ним...» Дашков спросил Рапателя:

— Вы едете через Стокгольм, а в этом случае возможно, что вы встретите там Бернадота... Однако мадам Моро своим капризом поставила всех нас в дурное положение.

— Да,— согласился Рапатель, читая мысли консула.— Если мадам Моро окажется во Франции, мой генерал вряд ли вступит на русскую службу, ибо Наполеон всегда способен выместить свою злобу даже на женщине с ребенком.

— Вот именно... это нас и пугает,— сказал Свиньин.— Все-таки вы, Рапатель, скажите генералу о жене его.

Рапатель отложил этот разговор с генералом до самого дня расставания, когда матросы уже ставили паруса.

— Даже если и так,— ответил ему Моро,— я буду располагать судьбой, как велит мне совесть гражданина.— Дома он мягко упрекнул Александрина за обращение к Дарю, которого не уважал:— Опять твои креольские фокусы...

Александрина, плача, доказывала, что лечение на водах — лишь предлог для возвращения во Францию, ее беспокоит, что в Америке невозможно дать образование дочери:

— Ей уже восемь лет, и ты даже не заметил, как они проскользнули мимо нас... самые проклятые годы! А что ты? Или ты решил навсегда остаться Веллизарием?

Моро не хотел обижать Александрина.

— Файф,— позвал он любимую собаку и запустил пальцы в шерсть на загривке пса, лаская его.— Нет, я не Веллизарий,— сказал он жене.— Веллизария ослепили, а меня только изгнали. Я все вижу. Все понимаю. Конечно, разлука с тобою и дочерью — тяжкое испытание, но я не буду тебя удерживать. Поезжай, если хочется. Мы встретимся во Франции, но Франция тогда будет уже другая... без Наполеона!

Вечером он снова перечитал письмо Бернадота, потом из шкафа достал свою старую саблю. Моро долго сидел молча, опустив подбородок на тяжелый эфес оружия. Бронзовая гарда эфеса была украшена выразительной головой галльского петуха с широко разинутым в крике клювом...

А для чего кричат петухи? Чтобы будить людей?

— Я уже проснулся,— тихо сказал Моро.

.....
Бернадот писал Моро, что все великие события лишь дело случая. Слепой рок хватает людей за волосы и влечет их в неведомое... Когда он выбивал англичан с острова Вальхерн, ему попались в плен шведы, союзные Англии, и они вернулись домой, разнося по Швеции молву о его гуманности. При Ваграме Наполеон дважды ставил его и саксонцев под убийственный огонь пушек, и битва завершилась скандалом с императором. Бернадот уехал в Париж, когда англичане высадились у Флиссингена. Фуше сам возглавил оборону страны, по его приказу Бернадот выбросил англичан с материка в море, и ярость Наполеона уже не знала границ. Он злился на Фуше и Бернадота не потому,

что англичан с позором прогнали, а потому, что Франция оказалась способна побеждать без вмешательства его «гения». Для Фуше это закончилось отставкой, а Бернадота спровадили в Рим, откуда он, пользуясь услугами мадам де Сталь, и отправил это письмо в Филадельфию...

Этим дело не кончилось! Шведский король Карл XIII, уже старый, детей не имел. В риксдаге возникли прения — кому наследовать престол? Обнажив шпаги, офицеры горланили, что они не забыли человеколюбия маршала Бернадота: «И пусть он станет королем нашим!» Растерянный Карл XIII *усыновил* Бернадота, сделав его наследником престола. С якобинской татуировкой «СМЕРТЬ КОРОЛЯМ» будущий король Швеции последний раз вошел в кабинет Наполеона. На столе уже лежал текст клятвы Бернадота, дабы Швеция в союзе с Францией отомстила России за потерю Финляндии.

— Подпишись,— велел Наполеон, заранее уверенный, что все им сказанное будет немедленно исполнено.

— А я уже не маршал Франции,— захотел Бернадот.

— Но ты же француз!

— Теперь я — швед.

— Ваше высочество, обещайте, что Швеция...

— Швеция ничего не обещает вашему величеству!

Кратко и ясно. Мария-Луиза была уже беременна. Тысячи поэтов Франции слагали торжественные оды, воспевая в них священное чрево императрицы. Газеты, судившие об этом событии жалкой прозой, закрывались за «вредное направление». Особая государственная комиссия следила за тем, чтобы поэты, бряцая на кимвалах, не судили о зачатии наследника слишком откровенно. Авторы удачных дифирамбов награждали денежными призами. Никто еще не знал, что родится, но то, что еще не родилось, Наполеон заранее титуловал «Римским королем»... Деспотизм всегда очень страшен вблизи, но в отдалении он способен вызвать смех!

Бернадот повидался с полковником Чернышевым:

— Известите Санкт-Петербург, что я, став человеком с севера, огражу Россию с севера же, только бы ваш Кузюв поскорее развязался с турецкой войной на юге...

Наполеон тоже повидался с атташе Чернышевым; разговаривая с ним, он вращал перед собой шар глобуса.

— Вот большая комета,— показал он на Россию,— но я уже перестал понимать ее эволюции... Кажется, ее пути расходятся с моей кометой, потому я обязан при-

нять некоторые меры, чтобы мы случайно не столкнулись во вселенной.

Теперь Чернышев напугает Куракина, а Куракин станет пугать Александра... Что ж, пора пригласить Лористона.

— Коленкур утверждает, что я сделал его своей марионеткой. А как бы он хотел? Чтобы я стал марионеткой в руках Коленкура?.. Вам, Лористон, предстоит побыть в Петербурге именно моей послушной марионеткой. Все мои инструкции можно легко уложить в одном слове — молчать!

Но как молчать? Лористон ведь знал, что гигантские армии империи уже концентрируются за Одером, и в Петербурге посла Франции изведут дотошными запросами.

— Что я могу сказать в оправдание, сир?

— Вы скажете, что Россия введена в заблуждение. Вам, конечно, не поверят. Тогда вы сознайтесь, что Франция проводит маневры. Вам снова не поверят. Тяните время сколько можете. Наконец, ответите Румянцеву, что я передвигаю войска, дабы пресечь возможные волнения в Пруссии, а это есть наше дело, и пусть русские в мои дела не вмешиваются.

Лористон отъехал, а Коленкур вернулся в Париж, где император встретил его оскорбительно агрессивно:

— А, вы стали русским! Вас купили! Вы продались!

— Меня,— огрызнулся Коленкур,— можно считать русским в той же степени, в какой князя Куракина вы считаете французом... Я уже предчувствую развитие событий, как в Петербурге предчувствуют их тоже. Позволю заметить, что Россия — не германское герцогство, какое легко обратить в вассала. Вы сталкивались с русским солдатом на чужой земле, но вы не знаете, каков он на своей! Наконец, и крестьянство...

— Не пугайте меня, Коленкур. Россия развалится сама по себе. Крестьяне разбегутся, а дворянство, боясь разорения, заставит Александра подписать мир на любых условиях. Иначе они придушат его, как придушили и папеньку...

Коленкур процитировал слова Александра, сказанные им прощание:

— «Я не сделаю первого выстрела, я допущу вас истребить Неман... Испанцев нередко разбивали в бою, но они не побеждены, а ведь у них нет ни нашего климата, ни наших ресурсов... Я скорее отступлю до Камчатки, чем уступлю в чем-либо. Наполеон еще не знает моего народа!»

В середине чтения Наполеон вставил:

— Эти чертовы дела в Испании мне дорого обходятся! — Затем он отвечал Коленкуру:— Александр слишком обворожил вас любезностями. Вы привыкли там в Петербурге танцевать, мотать мои же деньги на представительство и совсем потеряли голову. Между тем все уже ясно... У меня теперь обеспеченный тыл: не станет же император Франц бить меня по затылку, ибо какой же дедушка будет воевать со своим зятем, если речь идет о сохранении престола для его же внука?..

«Римский король» уже явился на сцену истории (и Коленкуру слышал в Петербурге, что говорили русские: как бы этому корольку не пришлось быть нищим студентом в Вене?). Беспольный разговор продолжался пять часов, они ни к чему не привел, ибо Коленкур остался убежденным противником войны с Россией, а Наполеон снова запретил ему жениться на мадам Казини, доказывая, что нельзя быть счастливым с женщиной, которая бросила своего мужа... Коленкур чуть не плакал:

— Но она бросила его ради любви ко мне!

— А вас бросит ради любви к другому. Не спорьте, я стою на страже, Коленкур, вашего же счастья...

Блестящие приемы в Тюильри уже закончились, ибо молодая жена скучала в обществе французов. Изменилось и отношение к русским — их стали считать слишком «дикими». Светское общество Парижа стало собираться в салонах Сен-Жермена, где бывал и князь Куракин; играя с дамами в шарады, он смотрел фокусы дрессированных собачек. Наполеон сказал:

— Этот старый мот столь беспечен, будто он приехал на курорт подлечить свой желчный пузырь. Мне очень жаль этого вельможу века Екатерины, но курс его лечения закончится плохо! Моей жене прискучили все эти татарские рожи...

Он решил устроить Куракину такой же всеевропейский «концерт», каким ранее уже отпотчевал Уитворта Меттерниха, объявляя войну Англии и Австрии. Куракин был поставлен камергерами в центре ковра, украшенного пчелами.

— Куда делся ваш секретарь Нессельроде?

(Нессельроде благоразумно отбыл в Вену, где склонил голову перед Меттернихом, на которого он уже тогда молчал.)

— А куда же делся ваш атташе Чернышев?

(Чернышева и след простыл. При обыске в его квартире сыщики подняли ковер, их зашатало от ужаса —

под ковром весь пол был выстлан секретными документами Наполеона.)

— Я не понимаю,— сказал Наполеон,— ради чего вы остаетесь в Париже? На что вы, русские, надеетесь? Где ваши друзья или союзники? Швеция? Но вы отняли у нее Финляндию. Пруссия? Но в Тильзите вы отхватили от нее Белосток. Может, Австрия? Но я отрезал от нее Тернополь, и вы его алчно проглотили... У вас был только один друг — это я! Европа не станет ждать нашествия ваших полчищ, объединенные народы Европы упредят ваши коварные удары из-за угла...

Бедный Куракин! Не в его-то годы переносить такое. Да и что он видел в этом Париже? Пожар у Шварценберга да фокусы собачек, а в конце всего — еще и этот «концерт».

— Ваше величество,— ответил он Наполеону,— как посол великой державы, сохраняя достоинство этой державы, я вынужден затребовать у вас паспорта.

— А! — обрадовался Наполеон.— Вы и сами проговорились. Теперь все видят, что вы желаете войны со мною. Вы ведете себя, как Пруссия перед Иеной! Я не желаю вам зла, князь, но вы еще не раз пожалеете об этом разговоре...

— Ваше величество, не пожалейте о нем сами.

.....

Накануне этих событий, еще весною 1811 года, оренбургский губернатор докладывал в Петербург, что жители Бугуруслана наблюдали на небесах пучок из шести ярких линий; будто стрелы в колчане, они быстро сблизились между собою, а затем, расходясь, исчезли в мировом пространстве. Вслед за тем над Россией (и над Европой) явилась необычная комета красного цвета с длиннейшим хвостом; ее отлично видели также в Сибири; эта комета, очень большая, имела плотное ядро, будто сгусток раскаленного металла, она тащила за собой по горизонту яркий хвост. «Я за всю жизнь,— писал очевидец,— подобной кометы не видывал. Все лето вплоть до осени она горела на нашем небе». Впрочем, тогда никто еще не думал о «летающих тарелках», публичка в Петербурге гуляла по набережным даже ночью, любуясь небывалой спутницей Земли, освещавшей половину неба. Однако с появлением этой кометы сами по себе загорались леса, пожары истребляли города и селы, в Туле сгорел знаменитый Оружейный завод. Во французской провинции Шампань был отмечен тогда небывалый урожай прекрасного винограда, овощи на огородах росли круп-

нее обычных. Дело специалистов объяснить странности этого явления, а я, очень далекий от понимания таких вещей, могу лишь сослаться на мемуары современников... Кстати, в России старики крестьяне встретили комету с подозрением:

— Это не к добру... быть беде всенародной!

8. БОЛЬШОЙ РАЗЪЕЗД

Бертье доложил, что Кутузов с малыми силами пленил на левом берегу Дуная большие силы турок, а теперь отъезжает в Бухарест, дабы принудить султана к миру... Ответ Наполеона: «Как понять этих грязных собак, этих турецких мерзавцев? Кто мог предвидеть, что они допустят разбить себя?..»

— Но это не изменит моих планов,— добавил он.

В январе 1812 года маршал Даву разграбил шведскую Померанию. Риксдаг, избирая Бернадота, не думал, что Наполеон обидит своего бывшего маршала. Карл XIII, уже выживший из ума, восседал на троне, по бокам его он велел поставить два кресла, в них расположились кронпринц Карл-Юхан, бывший Бернадот, и его жена, бывшая Дезире Клари, которая даже у подножия престола не расставалась с пазальными спицами. Чванливые шведские аристократки с отвращением разглядывали будущую королеву: «Неужели эта карга была невестой Наполеона?» Знатная графиня Левенгаупт, представляя ей выводок дочерей, с небывалой надменностью произнесла:

— Вашему королевскому высочеству должно быть известно, что мои дочери состоят в ранге принцесс крови.

На что будущая королева Швеции ответила:

— Очень приятно, а я дочь трактирщика из Марселя...

Шведов тешила идея реванша, чтобы — с помощью Франции! — вернуть Финляндию, закидать крыши Петербурга ядрами с кораблей. Бернадот навестил русское посольство в Стокгольме, где его радушно принял барон Григорий Строганов, еще не успевший вручить верительных грамот.

— Вы их вручите мне, ибо мой «папа» уже ничего не соображает,— сказал Бернадот.— А мы с вами должны поладить. У шведов свихнулись головы. На улицах открыто харицают Россию. Я переломлю эти настроения. Я укажу Швеции новую цель — унию с Норвегией! Отсюда, из тиши Стокгольма, тщетность Наполеона видна еще лучше. Сообщите в Петербург, что, если Наполеон осмелится начать войну с вами, ему придется считаться со мною и шведской ар-

мией. Я отомщу ему за все, даже за то, что моя жена любила его. Но прежде мне крайне необходимо повидать вашего государя... хотя бы в Або!

Естественно, возник разговор о Моро.

— Я снова напишу ему,— обещал Бернадот.— Думаю, что сейчас, именно сейчас, Моро следует быть в Европе... Но в Европу уже отплыла Александрина Моро!

Лористон перед Румянцевым делал большие глаза.

— Вас ввели в заблуждение,— горячо доказывал он.— О каких передвижениях войск вы толкуете? Этого не может быть. Ради бога, проверьте свои источники информации...

Барклай-де-Толли четко докладывал Александру:

— Наполеон собирает за Одером армию, размеры которой превосходят всякое воображение. Одних только лошадей мобилизовано сто восемьдесят тысяч. Попутно армия гонит миллионы голов убойного скота, и вся эта орава мяса пронумерована, как полки и батальоны...

— Очень может быть,— сказал Александр.— Лористона более не теребите. Мы все узнаем и сами.

Румянцеву он показал письмо прусского короля, который слезно умолял простить его: этот слизняк в политике, обуянный страхом, включил свою армию в состав «Великой армии» Наполеона, а теперь просил у царя извинения.

— Вызывайте австрийского посла,— велел царь.

Венский посол Сен-Жюльен или ничего не знал, или умело притворялся. Николай Петрович Румянцев, ловко маневрируя словами, пытался выудить из него если не правду, то хотя бы намек на правду: останется ли Австрия нейтральной? Сен-Жюльен, увертываясь от прямых вопросов, заклинал Румянцева, что Габсбурги еще никогда не пылали такой любовью к России. После этого Александр показал канцлеру копию с договора Меттерниха с Наполеоном: Австрия обязана ударить по России со стороны Галиции, командовать корпусом будет князь Карл Шварценберг. Этот разоблачительный документ раздобыл в Вене атташе граф Петр Шувалов... Александр сказал, что теперь сам будет разговаривать с Сен-Жюльеном.

— Я очень рад,— сказал ему царь,— что блистательным Вена симпатизирует моему кабинету, мне это приятно.

— Ваше величество, иначе и быть не может.

— Но иначе бывает! — К носу венского врунишки был приставлен текст австро-французского договора о совместном нападении на Россию.— Вам нечего сказать? — спросил

царь.— Тогда я стану говорить... записывайте! Если император Франц намерен ограничиться комедией, я буду довольствоваться тем, что мне известно об этой комедии. Но если он пошлет против России войска, это ему дорого обойдется. Вы быстро забыли благородное поведение князя Голицына, когда он не стал бить вашего Фердинанда в Галиции. Вена должна знать — у России всегда найдется шесть лишних дивизий, дабы устроить веселый пикник на лужайках Пратера. Эти шесть дивизий — клянусь вам! — дойдут до Вены даже в том случае, если армия Наполеона доберется живой до Москвы... Записали?

В конце марта Бернадот прислал в Петербург графа Левенхольма — подписать союзный трактат между Швецией и Россией.

— Спасибо Бернадоту! — сказал царь, ратифицируя его.— За это мы гарантируем Бернадоту унию с Норвегией...

Было объявлено, что Главная квартира переносится в Вильно. Михаил Орлов просил у царя срочной аудиенции. Еще в Тильзите он оказал армии большие услуги, и Александр запомнил умного и храброго кавалергарда.

— Итак, я слушаю вас, поручик.

— Государь, насколько я знаю историю России, она никогда не имела денег, а привыкла воевать в долг. Но теперь не останемся ли мы должны не только Англии, но и своему же народу, уже достаточно обнищавшему? — Орлов предъявил две ассигнации, каждая в двадцать пять рублей.— Вы можете отличить их? Одна из них настоящая.— Царь не заметил между ассигнациями никакой разницы.— Однако,— пояснил Орлов,— настоящая подписана от руки, а на фальшивой подпись гравирована. Уликой-фальши служит вот этот, едва заметный штрих, пересекающий букву «Х». Я проверил слухи: в обозах «Великой армии» едут тридцать четыре фургона с такими вот денежками...

Александр сказал, что с этим следует мириться, денежную реформу можно провести лишь после победы. На это Орлов ответил, что страну ожидает финансовая катастрофа:

- И когда? Когда мы ожидаем нашествия?

— А как быть? — ответил Александр.— Не можем же мы именно сейчас подорвать доверие к нашему рублю.

Орлов в ту пору состоял адъютантом при князе Петре Полконском, квартирмейстере армии. Александр указал ему:

— Повидаемся в Вильно, вы мне еще пригодитесь. Поезжайте через Шавли, проведите обстановку в Литве..

За Шавли встретился знакомый полковник Иван Дибич — из корпуса Витгенштейна, прикрывавшего пути к столице от Курляндии. Подле Дибича ехал на лошади незнакомый офицер.

— Иван Иванович, а кто с вами? — спросил Орлов.

— Карл фон Клаузевиц... пруссак! Он бежал от своего короля, дабы не служить Наполеону. Светлая голова, но, жаль, — сказал Дибич, — по-русски не смыслит...

Проезжая Литвой, Михаил Федорович был угнетен картинами бедности жителей, даже ксендзы жаловались, что не стало селедки. Весна была холодной, зелень не проросла. Вильно встретило его музыкой, бальными вихрями, красотой польских пани и паненок. Орлов слышал, как Александр, беседуя с графиней Шуазель-Гуффье, сказал: «Генерал Моро — моя давняя симпатия, воистину честный человек!» К столу виленских аристократов подавались апельсины и ананасы, выращенные в зимних теплицах Закрета, от свежих роз струился тончайший аромат. Князь Петр Волконский ждал своего адъютанта.

— Меттерних напуган, но, кажется, решил играть в шахматы на двух досках сразу — с нашим государем и Наполеоном. Он прислал сюда послом Лебцельтерна...

Лебцельтерн, родственник Нессельроде, в беседе с царем вел ухищренную политику канцлера Меттерниха:

— Между нашими кабинетами не должно быть недоумений, и корпус князя Шварценберга будет послан в Россию лишь для создания видимости, что мы остаемся союзны Парижу.

— Чем вы можете заверить свое обязательство?

— Чем угодно, — склонился Лебцельтерн.

Вену не следовало выпускать из ежовых рукавиц.

— Тогда пусть мой посол остается в Вене, а силы корпуса Шварценберга да не превьются сил корпуса князя Голицына...

Орлов ужинал с генералом Балашовым, который остроумно рассказывал, как он выживал из Ревеля эскадру адмирала Нельсона. Барклай-де-Толли мало ел, скромно пил, он сообщил в разговоре, что у него в министерском портфеле лежит до двадцати проектов — как победить Наполеона.

— Пишут разные люди, но особенно забавно, что среди всех планов два начертаны полководцами Франции — Моро и Бернадотом, оба они из якобинцев. Кстати, они-то лучше всего и разгадали слабости Наполеона и его армии...

.....
Перед тем как покинуть Париж, Наполеон одобрил

проект Храма Славы, который должен украсить высоты Монмартра, отражая величие его власти. Наполеона перед отъездом навестил министр военных снабжений граф Лакюз де Сессак:

— Увы, все чрезвычайные фонды страны исчерпаны, где вы возьмете, сир, денег на войну с Россией?

— Ну, Сессак! — смеялся Наполеон. — Я предлагаю вам экскурсию в мои подвалы, где собраны богатства Голконды.

В подвалах Тюильри хранились его личные запасы — 380 миллионов франков золотом. Конечно, сверкающая Голконда ослепила Лакюз де Сессака, но никак не обрадумила:

— Через два месяца здесь будет пусто. Турецкая империя богаче Франции, янычары дерутся не хуже «ворчунов», но русские устраивают султанам постоянные кровопускания... Надеюсь, сир, вы хорошо изучили походы короля Карла Двенадцатого?

— Шведский король не знал географии: идя на Москву, незачем было ему соваться в Полтаву.. Если я тронусь на Киев — Россия схвачена за ноги, на Петербург — я держу ее за глотку, и только владея Москвой, я могу заверить весь мир, что Россия лишилась своего сердца...

Франция напоминала гигантское депо для заготовки «пушечного мяса». Но голод уже выедал страну изнутри, подобно крысе, выжирающей головку сыра, чтобы оставить от него лишь корки. Провинции обнищали, торговля заглохла. Конскрипты, дезертируя, прятались по лесам. Как раньше рабочие восхваляли *консула Бонапарта* за порядок и дешевизну продуктов, так теперь они проклинали *императора Наполеона* за развал в стране и дороговизну. Нормандия уже восстала! Франции угрожала новая Вандея — на новый лад. Знал ли это Наполеон? Да, знал и скрывался от народа в загородном Сен-Клу; отсюда же он и отъехал в Дрезден с неразлучным Бертье.

— Армия всегда живет лучше народа, — разглагольствовал он в дороге. — Но это страшное чудовище, оно разрывает меня, если не кинуть ему добычи... Я дам им Россию!

При свете факелов въехали в Дрезден, переполненный королями и придворными, ждущими появления светила. Здесь Наполеон последний раз в жизни надыхался финишом, который бесстыдно кадили перед ним. Не помещаясь на земле, император уже был на седьмом небе. «Пояс Ориона» переименовали в «Пояс Наполеона»; театр

Дрездена был украшен видом солнца с надписью: «Я уже не так прекрасно, как Наполеон!» Именно в Дрездене Наполеон пришел к выводу, как бы подводя главный итог всей своей жизни:

— Я достиг такого могущества, что в один месяц могу расходовать двадцать пять тысяч людей. Помножим эту цифру на двенадцать, и станет ясно, что в год я могу уничтожать четверть миллиона. Много это или мало? Я сам не знаю. Но я уже настолько велик, что для меня нет глупой необходимости задумываться о гибели лишнего миллиона...

Бертье сказал баварскому королю, что император рассуждает о людях, как о бездушных ядрах:

— Пожалуй, даже интенданты о запасах обуви на складах судят с большею бережливостью, нежели он о людях.

Французы уже растворились в массе «Великой армии» — среди вестфальцев, пруссаков, баварцев, вюртембержцев, гессенцев, кроатов, саксонцев, голландцев, иллирийцев, датчан, швейцарцев, испанцев и португальцев. Дрезден провожал Наполеона набатом колоколов, мощными хорами поющего духовенства. Что ж, «молитесь, жирные прелаты, Мадонне розовой своей. Спешите! Русские солдаты уже селят лошадей...».

За Торном император попал в самую непролазную гущу своей армии, карета с трудом прокладывала путь среди орудий и лошадей, шагающей инфантерии, рысящей конницы, из фургонов солдаты на ходу переключивали в ранцы патроны и сухари, походные мельницы перемалывали зерно в муку, ревели стада обреченных быков и коров, блеяли овцы... На земле несчастной Пруссии, уже шатавшейся от разорения, немцы «Великой армии» грабили немцев же, они срывали с крыш солому, били горшки на кухнях пруссачек, тащили за ноги визжащих поросят. Вот и Польша... Наполеон обещал полякам «освобождение», и герцогство Варшавское вмиг «освободилось» от хлеба и денег, от лошадей и сена. Житницы опустели. Петухи перестали будить людей, цыплятки уже не бегали по дворам...

— *Vive l'empereur!* — орали пьяные солдаты.

На берегах пограничного Немана бивуачили польские уланы. Ни один француз не смел там появиться, чтобы не настороживать русских. В ночь с 22 на 23 июня, почувя возле погасшего костра, уланы проснулись от топота копыт. Из тумана вырвались всадники — Наполеон, Бертье и Дюрок, с ними был Коленкур в сюртуке, при шляпе

Император и Бертье скинули мундиры, облачились в польскую форму. Все трое по мокрой от росы траве прошли к реке. Слева виднелись костелы и ворота древнего Ковно, река текла спокойно, в камышах чуть всплескивала сонная рыба... На берегу стояла изба-развалюха, из ее окошка, затянутого паутиной, Наполеон и Бертье разглядывали противоположный берег. Наполеон шепнул:

- Россия... я впервые вижу ее. Так близко...
- Как там тихо и пустынно,— сказал Бертье.
- Да, они спят, еще ничего не знают.
- Почему вы перешли на шепот, сир?
- Как и вы, Бертье...

От дверей раздался звончайший голос Коленкура:

— Я заклинаю вас — не переходите Неман, не будите сон России... Мы погибнем, если эта страна проснется!

Паутина на окошке вдруг стала вибрировать.

Это паук приступил к своей дневной работе.

— Все хотят есть, — сказал Дюрок и засмеялся...

Через полгода русские люди будут читать на заборках афиши о поимке главного военного преступника: «Приметы сего человека: он росту малого, плотен, бледен, шея короткая, толстая, голова громадная, волосы черные. Ловить и приводить в полицию всех малорослых».

О-о, сколько было тогда поймано «наполеонов»! А потом в участке, под розгами, доказывай, что ты не Наполеон:

— Христом-богом прошу — смилуйтесь. Не был я Напулевоном и никогда не буду... На што нам все это? Да у меня детки и жена брюхата. Мне бы тока до базара, штобы, значица, порося продать. Видит бог, какой я Напулевоном?

9. НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ

26 июня, сохраняя порядок и суровое безмолвие, русская армия покинула Вильно. Перед тем как ставка собралла все документы, Александр снова повидал Орлова:

— Сопроводите генерала Балашова, едущего к Наполеону с письмом, и вы сами понимаете смысл моей просьбы...

Парламентеры галопом вымахали к аванпостам неприятеля Горнист исполнил сигнал — не стрелять. Русским офицерам завязали глаза, их повели за руки, как водят малых детишек. Наконец повязки с лиц были сорваны.

Балашов и Орлов увидели перед собой грознолютого маршала Даву.

— Не лучше ли мне счесть вас пленными? — спросил он; Балашов показал пакет: от Александра к Наполеону. — Я сам передам его императору, — протянул руку Даву.

— Нет, — возразил Балашов, — я должен не только лично вручить письмо Наполеону, но имею и устное поручение...

Даву замешкался, глянув на генерала Ромёфа (и в этот момент Орлов понял, что Ромёф правды не скажет).

— Мы не знаем, где император, — произнес Ромёф.

Все они знали! Наполеон от переправ возле Гродно уже двигал армию к Вильно, не желая принимать посланца царя, пока столица Литвы не будет им занята. Он часто справлялся у Бертье: сколько тысяч пленных взято?

— Тысяч? Русские не спешат сдаваться. Нам достался только пьяный гусар, спавший с бабой на сеновале. Он устроил нам в штабе тарарам, как в хорошем трактире...

Последним уходил из Вильно граф Орлов-Денисов — донской казак. Французы с криками радости врывались в город, когда он еще рубился на площади, выбив саблю из рук графа Сегюра; при этом казачий полковник Ефремов со словами: «А ну-кась» — перевернул пику тупым концом и так треснул принца Гогенлоэ, что тот, расставшись с седлом, сокрушил каской доски забора. Пленный, он жаловался: «Багаж пропал! Мы без него не можем...» Наполеон между тем подъезжал к Вильно, терзая Бертье вопросами о трофеях:

— Где люди? Где пушки? Почему они не сдаются?

— Зато наш генерал Сен-Женье уже сдался со всеми пушками и солдатами. Теперь, сир, из русского арьергарда казаки настойчиво требуют, чтобы мы вернули багаж пленных.

— Верни мы им багаж, так они пропьют его...

На постоялом дворе Бертье раскатал карты.

— Что вы думаете делать, Бертье?

— На вашем месте я ограничился бы занятием Вильно, и Коленкур, кстати, солидарен со мной в этом мнении.

Наполеон сразу же вышел из себя:

— А-а! Коленкуру не терпится к Казини, а вам, Бертье, тоже захотелось под одеяло к маркизе Висконти.

— Это невыносимо, наконец! — вспылил Бертье, срывая со стола карты. — Почему мне, именно мне, влетает больше других? Потому что я постоянно у вас под рукою?

Наполеон ласково потрепал его за ухо:

— Ну-ну, Бертъе! Нельзя же быть таким горячим...

Еще на понтонной переправе он поздравил свою армию со вступлением на землю *неприятеля*. Поздравление императора стало сигналом к грабежу. Кавалерия на своем пути сжала весь хлеб, еще незрелый. Кто из горожан не успел запастись мукой, тот сразу ощутил голод. Женщины прятались — их насильовали; лошадей загоняли даже на чердаки — их реквизиовали; лавки закрылись — все было расхищено. Аристократам тоже досталось: из окон с треском вылетали на мостовые полнозвучные рояли и нежные арфы, разломанные паркеты служили хорошей растопкой для солдатских кухонь. Вильно мигом обезлюдело, а жаловаться некому. Наполеон вступил в омертвелый город, не заметив в жителях даже примитивного любопытства к своей почтенной персоне. Он занял дворец, который только что покинул Александр, и отсюда осуждал поляков и виленцев за отсутствие «патриотизма» в народе:

— Где молодежь? Где лошади? Где хлеб и деньги?..

На счетах своей бухгалтерии Наполеон заранее уже списал в расход 20 000 солдат, убитых при взятии Вильно, но русские отошли, не приняв боя: война начиналась как-то не так, как он привык начинать. Наполеон велел устроить бал. Император никогда не был оригинален в общении с дамами. Каждой он задавал стереотипные вопросы: «Вы замужем? Давно ли? Сколько у вас детей? Надеюсь, они жирные? Они толстые?..» Он не был похож на человека из легенды: маленький, с выпирающим брюшком, волосы прилизанные, лицо тускло-бледное, улыбка редкая. Для него ставили подобие трона с подушкой для ног, которую он сразу отпихивал, резко командуя:

— Дамы, садитесь! Дамы, почему не танцуете?..

Русские, оставив Вильно, отказались от генеральной битвы на рубежах, и потому Наполеон решил представить визит Балашова как яркую победу своего могучего духа перед сломленным духом российской армии. Известны его слова, сказанные Бертъе: «Александр уже струсил, и через два месяца Россия будет лежать у моих ног...» В кабинете сквозняк хлопал оконной форточкой, когда он принял Балашова. Вот и самая достоверная фраза, которой начал беседу Наполеон:

— Из этой же комнаты Александр отправил вас ко мне, и разве не удивительно, что вы встретили меня в этой же комнате? — При этом он закрыл форточку, но сквозняк распахнул ее снова. — Ради чего мы воюем? Если

Александр так уж хочется побеждать, пусть он бьет монголов или персов...

С небрежным видом Наполеон вскрыл пакет. Александр в письме указывал ему, что Россия не давала Франции никаких поводов для войны и вся ответственность за эту войну целиком на совести французского императора.

— Я,— сказал Наполеон,— не за тем пришел в Вильно, чтобы дискутировать о морали. Я не виноват, если сам рок управляет вашей страной, вышедшей из азиатских кочевий. Я лишь устраняю все то, что мешает моим порядкам в Европе.

Балашов ответил: его визит — это крайняя уступка России, и впредь Россия уже никогда не станет вступать в переговоры о мире. Наполеон отвечал ему с большой грубостью:

— Мне смешно! Те времена, когда Екатерина бросала Европу в трепет и открывала в Париже модные лавки, давно кончились... Вы уже погублены мною. Я разделил ваши армии: Барклай с князем Багратионом больше никогда не увидятся.

Сквозняк стучал форточкой, тогда Наполеон сорвал ее с петель и вышвырнул на улицу — прямо на головы прохожих, словно желая показать Балашову, как он умеет устранять все то, что ему мешает. Он сказал — очень спокойно:

— Не глупо ли требовать от меня, чтобы я вернулся за Неман! Все, что мною занято, остается моим. Это мое ремесло — ремесло солдата... Ладно. Увидим, чем все кончится.

За обедом в присутствии Балашова он бесцеремонно глумился над Бертье и Дюроком, делая из них каких-то болванчиков, а Коленкура спросил: правда ли, что Москва — это большая деревня, переполненная церквями? Коленкур сказал, что в Москве множество дворцов, каких нет в Вене и Париже.

— А церковей — да, много,— хмуро добавил он.

После обеда Коленкур увлек Балашова в свой кабинет.

— Вы должны быть тверды,— сказал он наедине. Если бы вы знали, какой у нас падеж лошадей, все шляхи покрыты их трупами. Армия разбегается, мародерствуя. В вашей победе сейчас заинтересована не только истощенная Франция, но и вся Европа. Передайте поклон моим друзьям в Петербурге...

Балашову в ставке императора было все-таки легче, нежели Орлову в ставке маршала Даву. Орлов заметил, что его «высокомерие является неизбежным следствием почестей, на которые он надеется» в случае победы. Даву поставил Орлова под строгий контроль своего штаба, малейшая оплошность поручика могла обернуться трагедией. Орлова больше всего интересовал *дух* неприятеля, настроения его командиров... Французы почему-то решили, что Балашов привез мирный договор и дело лишь за росчерком пера Наполеона, а тогда им не грозит погружение в зеленую бездну русских лесов, где — таинственно для них! — сейчас перемещаются в просторах родины две русские армии Барклая и Багратиона...

Генерал Ромёф наивно пытался у Орлова:

— Мы не знаем, что и думать... Неужели вы откажетесь подписать мир с нашим великим императором?

— А вы... Вы согласны на мир, Ромёф?

— Хоть сейчас, — отвечал несчастный Ромёф (которому судьба уже предписала гибель при атаке на Бородино).

Адъютант маршала Даву, польский офицер Задера, поразил Орлова скорбным прямодушием отчаявшегося патриота:

— Несчастливая Польша, избравшая себе в палачи императора французов. Все поругано, как на псарне, все разграблено. А нас еще вынуждают участвовать в чужих преступлениях... Ах, matka боска, не послушались мы мудрого Костюшки!

— Задера — ко мне! — раздался гневный клич Даву.

При следующих свиданиях Задера делал Орлову знаки, предупреждая, что общение с ним запрещено. Но Даву было не удержать генерала Сорбье, который с бутылкой старки сидел на лафете пушки и орал, пьяный, на всю улицу:

— Они там с ума посходили! Надо быть безумцем, чтобы забираться в Россию... Я уже вижу свои кости без плоти, догнивающие в лесном овраге. Бедная жена, бедные дети!

Генерал Роге открыто проклинал императора, Мюрат брызжал, а принц Евгений Богарне, пасынок Наполеона, упал в уныние. Даже отчаянные сабреташи, которым давно уже нечего терять, кроме головы, даже эти закаленные рубаки испытывали тревогу. Кто же радовался? Пожалуй, одни лишь молодые офицеры, жаждущие приключений в экзотической стране — России. Их напыщенный оптимизм оправдывался надеждами на добычу, на повы-

шение в чинах, на успех у женщин в будущем. Орлов с жалостью смотрел на этих молодцов: «Скоро вы поумнеете. Но вернетесь ли в Париж... вряд ли!»

Обедая при штабе Даву, поручик стал подшучивать над офицерами, не пощадив и генералов, а Даву, не вытерпев, ударил по столу так, что бокалы запрыгали:

— Фи, поручик, что вы там говорите?

Орлов в ответ трахнул по столу так, что ножки стола подкосились, а соусник разлетелся вдребезги:

— Фи, маршал, а что вы говорите?

Даву был ошарашен. Эта пикировка маршала с поручиком с наглядным показом физической силы произвела на французов сильное впечатление. Орлов выехал в Вильно, где его поразили разрушения в городе, запуганный вид жителей. «Вильна, — писал он, — имеет вид города, взятого штурмом. Лавки закрыты, по улицам ходят только солдаты, евреи арестованы...» Он застал в городе чиновников, не успевших бежать с армией, они спрашивали его — что им делать? Орлов советовал:

— Пусть ваши жены берут детей и нагоняют армию, которая примет их как должно. Вам же, господа, советую оставаться на местах, дабы посылно вредить неприятелю...

Балашову он доложил, что в армии противника пищевых рационов осталось на двадцать дней, и — точка.

— А что они дальше жрать станут? Землю?

— Всех лягушек переловят, нагребятся. Жаль лошадушек, — вздохнул Орлов. — Все поля и дороги вымощены их телами, даже конница Мюрата едва таскает ноги.

— Ну, так им и надо! — мстительно ответил Балашов...

Орлов выведал немало. Путем умозаключений он проник и в помыслы Наполеона, а богатая интуиция культурного человека, помноженная на аналитический ум, скоро уже даст в руки полководцев России материал для тех планов, которые давно тревожили холодный разум Баркляя-де-Толли.

Перед отъездом из Вильно поручик встретил Наполеона на ступенях крыльца, император громко прищелкнул пальцами.

— Где-то я вас уже встречал, — сказал он.

— Возможно, в Тильзите, сир.

— Но выглядели вы тогда иначе... совсем иначе!

— И это возможно, сир, — не возражал Орлов.

— Я запомню вас, поручик. В следующий раз я сразу же сочту вас своим военнопленным...

Вернувшись в Главную квартиру, Михаил Федорович дал императору полный отчет о виденном, особо отметив:

— Наполеону и его маршалам не удалось даже окружить нас, как ни старался Мюрат, загнавший свою конницу. Наконец, генералы обескуражены отсутствием с нашей стороны упорного сопротивления. Они не понимают этой войны.

— Ну, пусть не понимают и дальше,— сказал царь...

22 июня в Видзах было созвано экстренное совещание в Главной квартире, среди высших военачальников сидел и поручик Орлов,— так высоко ценили тогда его знание противника! Но за этим же столом Орлов увидел и того прусского офицера, которого однажды встретил по дороге в Литву:

— Вы были с Дибичем, я забыл вашу фамилию.

— Клаузевиц,— был ответ.— Карл фон Клаузевиц. Пустое имя могу дополнить собственной характеристикой: изменник своему королю, я никогда не стану изменником отечеству...

После совещания Александр отличил Орлова:

— Отныне вы мой флигель-адъютант с зачислением в свиту. Теперь вы вправе, поручик, входить ко мне без доклада в любое время дня и ночи. Если я сплю, разбудите меня...

...Орлов был хорош собою, богат и знатен. Силы непомерной — одной рукой шутя останавливал карету. Волосы офицера свисали на лоб (такая прическа называлась тогда «эсперанс»). Впереди его ожидала ослепительная карьера И никто ведь не думал, что этот молодой человек, могущий войти в спальню царя даже ночью, откроет новую страницу русской истории — станет первым декабристом в России!

.....
Наполеон со свитой выехал в Закрет, где собирался отдохнуть (от чего?), как на курорте. Его сопровождали Дюрок и Бертье, Ней и Бессьер, не понимавшие, почему их великий император застрял в этой никудышной Литве, с которой уже содрали последнюю рубашку. Богатое имение Закрет, лежавшее под Вильно, славилось в ту пору, как Сен-Клу под Парижем, как Сан-Суси под Берлином, как Царское Село под Петербургом... Вот и приехали! Дюрок разочарованно свистнул:

— Не пьян ли кучер? Не ошибся ли дорогой?

От Закрета осталась груда развалин, под копытами лошадей маршалов сухо трещали выбитые плашки разно-

цветных паркетов. Все тропические теплицы разбиты, апельсиновые деревья выдернуты из кадок. Император наступил на сгнивший в земле ананас и, понюхав увядшую розу, спросил растерянно:

— А почему в Закрете не работают фонтаны?

В чашах фонтанов кисли солдатские нужники.

— Ну что ж,— рассудил Наполеон,— отдохнуть здесь не удастся. Но, я думаю, в Закрете можно разместить госпиталь для раненых солдат. Жаль, нет с нами Коленкура: я бы сунул его носом в один из этих фонтанов и спросил: неужели и теперь русский царь Александр не заключит мира?..

Кавалькада всадников развернулась на Вильно, за ними поспешала карета императора. Цезарь оставался в гибельном плену цезаристских воззрений: ему казалось, что Россия и царь — одно неразлучное целое, главное в этой войне запугать царя, а народ — великий русский народ! — смирится со всем, лишь бы царь-батюшка оставался доволен. Дюрок в этом сомневался: история не однажды страдала и от самолюбия монархов, а потому, по его словам, не следует думать, что русский царь был счастлив при Аустерлице и в Тильзите.

Наполеона он только рассмешил:

— А, Дюрок! Два месяца, говорю я вам...

Отношения его с маркизом Коленкуром были натянуты, и Коленкур, не умеющий не переживать, убеждал Бертье:

— Хоть вы-то остановите его! Он потерял чувство осторожности, свойственное даже тиграм и крокодилам.

— Ах, маркиз! — отвечал постаревший Бертье, хлопая над грудами штабных документов. — Мне от императора уже влетало не раз. Попробуйте сами остановить его.

— Ну, а если мы... остановим? — спросил Коленкур.

— Он... *упадет*, — ответил Бертье.

Наполеон сам и вызвал давно назревавший скандал.

— Вы, кажется, опять мною недовольны? — спросил он Коленкура, складывая на груди руки. — Александр умеет обращаться с послами. Что скажете в защиту русского кабинета?

Лицо дипломата исказилось, когда император, держа его за пуговицу, повторял: «Вы русский... сознайтесь, вы стали русским?» На это Коленкур с дерзостью отвечал.

— Вы разучились слышать правду. Но я лучше других французов, которые привыкли аплодировать вам в любом случае. Я горжусь тем, что не принадлежу к числу

подхалимов, толкавших вас к походу в Россию — на гибель армии.

Наполеон, поняв, что перешел грань дозволенного, стал убеждать маршалов в том, что его поход на Россию — самое политичное, самое разумное предприятие в его карьере:

— Два месяца, и с Россией будет покончено.

— Нет! — крикнул Коленкур. — С нею никогда не будет покончено. Я требую отставки... посылайте меня хоть под ножи в Испанию, только бы подальше от вашего величества.

— Тише, тише, — дергал Коленкура сзади Дюрок.

Наполеон не привык к сопротивлению:

— Коленкур, вы мне уже надоели... Что вы придираетесь к каждому моему слову? Мы же с вами старые друзья. Он поспешил в кабинет. Двери захлопнулись.

Но бегство императора не остановило Коленкура:

— Он бонится правды! Он не знает русских, как изучил их я, его же посол... Не глупо ли судить о России по мартам и анекдотам? Дюрок, черт возьми, да отпустите же меня!

Позже он писал в своих мемуарах: «Герцог Истрийский (Бессьер) тянул меня за одну полу, а князь Невшательский (Бертье) за другую; оба они уговаривали, они умоляли меня не отвечать... тщетно пытались увести». Коленкура с большим трудом успокоили. Маршал Ней говорил:

— Счастье никогда не изменяло нашему императору. С ним всегда везло. А вдруг повезет и теперь? Не пройдет и двух месяцев, как мы узнаем, кто прав — вы или Наполеон?

Неожиданно раздался едкий смех Бертье:

— Дались вам эти два месяца! Вы все тут ненормальное... Не лучше ли нам напиться, чтобы ни о чем не думать?

Наконец император выступил с гвардией из Вильно, мутное молчание лесов и болот обступало со всех сторон, а где-то, невидимые и неслышные, кружили в путанице непролазных проселков русские армии, сходящиеся к Смоленску. В одной из русских деревень старуха швырнула в Наполеона камень.

— Она безумна, — сказал император. — Но где же трофеи? Почему я не вижу знамен и пушек... где же пленные?

Проливные дожди расквасили дороги в липкую жижу, в ней застревали орудия, потом нахлынула нестерпимая жа-

рища, выжигавшая траву и овсы, начался кровавый понос, из «Великой армии» он хлестал ручьями. Наполеон утешал молоденькую жену в письме: «Страна прекрасна, и меня уверяют, что так будет и до самой Москвы...»

10. НА ПЕРЕПУТЬЯХ

Разделенные большим расстоянием, две русские армии соединились в Смоленске, и Наполеон радостно воскликнул:

— Наконец-то они мне попались!

В соборе Ольгитрии шла благодарственная служба в присутствии Барклая и Багратиона. Пospели яблоки, их урожай был необычен. Грудами плоды лежали на улицах Смоленска. Колокола храмов звонили. Оркестры играли. Пахло яблоками...

Наполеон вышел к Смоленску.

— А ну-ка, устройте мне фейерверк! — потребовал он.

Смоленск был зажжен брандсугелями, город запылал, высокими свечками сгорали древние храмы. Коленкур дремал у костра и был разбужен голосами.

— Смотрите, Бертье! — восхищался Наполеон. — Какое прекрасное зрелище... Смоленск — как извержение Везувия. Теперь нет сомнений, что здесь я приму от царя *мир*...

Но Барклай-де-Толли увел свои войска Московской дорогой. Ночью завязался бой с русским арьергардом у Влутинной горы, и Наполеон велел Жюно идти на поддержку Нея:

— Вы еще не маршал — вот случай отличиться... Все, все смотрите на Жюно: это лев, сейчас он страшен!

Мюрат (тоже из породы «львов») уже разграбил все ризницы смоленских соборов, так что не хватало кортежи карет для размещения золота, серебра и ценностей. Жители города жаловались князю Понятовскому, что их грабят, их раздевают на улицах, но князь ответил: «Грибили москалей и будем грабить... Зато у вас будет французская конституция! А теперь пошли вон, дураки!» На курьерской эстафеты, прибывшей из Парижа, Наполеон узнал, что в Бордо пришел корабль, на этом корабле приплыли жена и дочь Моро¹.

— Девочке восемь лет, — напомнил Бертье.

— А что им нужно в моей Франции?

— Мадам Моро писала Дарю, что нуждается в лечении.

¹ По другим сведениям, это известие было получено Наполеоном в Смоленске, а уже в Москве (в начале сентября).

— Прекрасно! — воскликнул Наполеон. — Моро сам летит в мою западню. Арестовать его жену с ребенком вместе. Держать их в Венсенском замке на хлебе. Моро слишком любит их, он придет по их следам, будет валяться у меня в ногах... Я растопчу его, Бертье! Превращу в грязь, в слякоть...

Жюно не стал маршалом, спятнв у горы Валутиной.

— Пустите меня... пустите к жене, — плакал он.

Жюно в лесах под Смоленском потерял разум, он не пошел на помощь маршалу Нею, который не мог понять, как обычная стычка с арьергардом у Валутиной горы вдруг сама по себе разрослась до масштабов кровавой битвы. Непонятная для опытного Нея, эта битва не стала понятнее от слов Наполеона, который прискакал к Валутиной горе, потом сказал:

— Мои маршалы начинают трепать меня по всяким пустякам... В чем дело? Окружайте их всех, пленяйте их!

Коленкур записал тогда фразу Наполеона: «Барклай пошел с ума! Его арьергард будет взят нами, если только Жюно ударит в него...» Но Жюно не полез в буреломы за Неем.

.....
Вместе с канцлером Александр торопливо выехал в Або, куда плыл морем и шведский крокпринц Бернадот, но корабль его задерживала буря. Бывший якобинец оставил «папочку» умирать, все дела королевства он быстро прибрал к своим рукам. Бедным шведам не дано было знать, что их будущий король уже наладил работу тайной полиции, ибо уроки общения с Фуше и Савари не пропали для него даром. Александру было забавно познакомиться лично с человеком, который свалился на престол Швеции, как клоп падает с потолка.

— ...Как вы освоились с новым положением?

— Очень быстро, — отвечал Бернадот. — Недаром же существует древняя истина: «Не мы от королей, а короли от нас».

Время было дорого, и Бернадот понимал, что продвижение Наполеона к Смоленску обязывает царя сидеть в Зимнем дворце, а не кататься по финским захолустьям для свиданий.

— Мне известно серьезное положение в России, — сказал Бернадот. — Не менее оно серьезно и в Швеции, где еще немало рыцарей мечтают о турнире с вами. Я так много воевал, что мне это дело опротивело. Когда я стану королем, я скажу шведам: пусть эта война станет для них

последней. Но прежде хочу слышать: чем я могу помочь вашей стране? — Царь ответил, что Швеция нейтральна, и этого пока достаточно. — Нет, — горячо возразил гасконец, — я не желаю оставаться нейтральным, если идет война с Наполеоном...

Во время их беседы вошел тихий Румянцев:

— Смоленск... сдан. Барклай отходит к Москве.

Бернадот предчувствовал, что по следам русской армии тронется и Наполеон; ибо он еще не получил победы над русскими, а без уничтожения противника он не мыслит войны. Александр ответил, что ему очень трудно объяснить в стране постоянное отступление Барклая, ибо народ порицает Барклая, как изменника. Он вынужден передать армию Кутузову:

— Этот старик популярен в нашем простонародье...

— Так чем же я могу вам помочь? — Бернадот рассуждал конкретно, как полководец: со времен войны со шведами Россия держала в Финляндии гарнизоны на случай нападения. — Сейчас эти ваши войска, — сказал Бернадот, — просиживают последние штаны по финским хуторам в бездействии. Отводите их сразу в Курляндию — против маршала Макдональда, идущего на Ригу, против Йорка и Клейста. А я заверяю вас, что мои шведские бузотеры будут сидеть дома и помалкивать...

Этот благородный жест Бернадота усиливал армию Витгенштейна сразу на 10 000 штыков. Море еще сильно штормило, но Бернадот, высказав главное, уже заторопился в Стокгольм. После его отплытия Александр признался Румянцеву:

— Все монархи предали меня, поставив Наполеону войска для надругательства над Россией. А этот якобинец, сорвавшийся с виселицы, оказался порядочнее всех монархов. Спору нет, мы, благодарные, закрепим на престоле Швеции эту новую скороспелую династию Бернадотов...

Румянцев доложил, что в Або на корабле Бернадота прибыл и капитан Рапатель. Он просит подорожную до Петербурга, деньги у него водятся, а по-русски он ни бум-бум.

— Зовите его ко мне, — распорядился Александр.

После якобинца-короля предстал второй якобинец, в чине капитана. Александр с места в карьер поздравил его с чином полковника русской армии, просил изучать русский язык. Рапатель, воюя в Германии, свылся с языком немецким.

— Вот и хорошо, — сказал Румянцев. — На стороне Рос...

сии доблестно сражается «Немецкий легион». Вместе с финскими гарнизонами вы поплывете до Ревеля, а мы обеспечим ваше появление в отрядах Дибича хорошей рекомендацией... Мы понимаем, что адъютант генерала Моро не может быть плохим офицером! Счастливого вам пути, колонель...

Отправив Рапателя, царь велел Румянцеву:

— Сразу пишите Дашкову в Филадельфию, чтобы Моро ехал в Стокгольм, а Бернадот все уже знает. К тому времени, как Моро будет с нами, мы уже выберемся за Вислу, и Моро окажется кстати... если не в России, так в Европе!

К этому времени семья Моро находилась в Бордо.

.....
Жюно не пришел. В дело при Валутиной горе врезался Мюрат с кавалерией, но получил отпор от казаков Орлова-Денисова, и тот кратко и убедительно доказал Мюрату, что русские держатся в седлах крепче его французов... Боевые порядки Нея трещали, как и лесные буреломы. К ночи генерал Павел Тучков повел солдат врукопашную — на «ура»! Генерал шел впереди и первым получил штыковой удар. Не один раз французы всаживали в него штыки. Удар прикладом по голове избавил Тучкова от сознания... Луна осветила золотое шитье мундира, и он очнулся от возгласа: «О, женераль!»

Французы отвезли Тучкова в госпиталь Смоленска. Его судьбою озаботился сам Наполеон, и потому для Павла Алексеевича нашлись даже бинты. Но рядом с ним врачи обкладывали раны французов сеном или соломой. Санитары рвали на перевязки древние акты смоленских архивов, бинтовали раны бумагами времен Лжедмитрия, эпохи Петра Великого и веселой Елизаветы... Трое суток подряд, не умолкая, над горящим Смоленском надрывно рыдали церковные колокола.

Для Тучкова отвели в городе избу, где и оставили для поправки, взяв расписку, чтобы не вздумал бежать, — его должны отвезти в Нанси. Вечером кто-то вошел с улицы, по-французски справившись о здоровье. «Я,— вспоминал Тучков,— не обращал большого внимания, полагая, что то был какой-нибудь французский офицер, отвечал ему на вопрос сей кое-как обыкновенной учтивостью...» И вдруг — по-русски:

— Вы разве не узнали меня, Павел Алексеич?

Тучков увидел перед собой Михаила Орлова:

— Вы-то как сюда попали? Тоже... в плену?

— Нет, — рассмеялся Орлов. — Поздравляю вас с новым командующим армией — Голенищевым-Кутузовым, который и прислал меня парламентаром, дабы о вас справиться.

«Сердце мое затрепетало от радости, услышав неожиданно звук родного языка; я бросился обнимать его, как родного брата». Орлов дал Тучкову выплакаться на его груди.

— Все образумится, — утешал он генерала. — Ваши братья кланяются, а дома у вас все здоровы. Мы отходим на Москву.

О пребывании Орлова в Смоленске было доложено Наполеону, и он встретил флигель-адъютанта с улыбочкой:

— Что-то мы стали часто встречаться... Я еще не надоел вам? — Орлов молча поклонился, и Наполеон заметил на его груди завитой жгут пышного аксельбанта. — Раньше у вас его не было... вы уже в свите государя? Поздравляю, Орлов, и от души радуюсь за вас. Но ваше особое положение при священной особе императора позволяет мне быть с вами предельно откровенным. Согласны ли выслушать старого ворчуна?

— Да, сир, — согласился Орлов.

— Но прежде обещайте, что мои слова в точности будут доведены вами до слуха вашего благородного государя.

— Несомненно, сир...

В минутной паузе Орлов внятно слышал скрип сапожек императора и противный треск пожаров. Внутренне он готовил себя к восприятию той перемены, какая должна произойти в сознании Наполеона, потерпевшего крах в стратегии, — теперь он станет искать не военного, а политического решения, и если не сыщет решения в политике, то будет вынужден вернуться опять-таки к военному разрешению войны.

Наполеон нюхнул табаку, протянул табакерку:

— Прошу! И долго вы собираетесь отступить? Неужели не понятно, что этим отступлением русские полководцы бесчестят и позорят свою армию? Вы дрались на дуэлях, Орлов?

— Как и все молодые офицеры, сир.

— И что делали после поединка?

— Пили шампанское, становясь друзьями.

— Именно это я и предлагаю вашему царю...

Наполеон пустился в длиннейшие рассуждения, что ему надоело гоняться за Барклаем, а теперь за Кутузовым, как за «солеными зайцами», лучше честно скрестить оружие

— А когда мы скрещивали его нечестно, сир?

— Ну, хорошо,— мягко произнес Наполеон и даже потрогал аксельбант на груди Орлова.— Теперь,— сказал он,— я согласен на мирный диалог даже без генеральной битвы. Вот оно, политическое решение! Созрело...

Орлов напомнил о приезде Балашова в Вильно:

— Надеюсь, он предупредил ваше величество, что визит его — крайняя уступка России, и могу заверить, сир, что Россия не станет рассуждать о мире до тех пор, пока хоть один ваш солдат останется на русской земле, с оружием.

Орлов возвращал его к военному решению, и Наполеон стал волноваться, его сапожки скрипели отчаянно:

— Орлов, не смейте дерзить мне... Я напишу государю, и он вас накажет! Я не многого и требую от вас: донесите до своего царя, что я согласен распить шампанское. Наконец, его заблуждения извинительны, а я люблю и уважаю русских.

— Вы этот тезис и доказали, сир!

— Оставьте дерзости. Вы сейчас в моих руках, я могу позвонить, и вы поедете в Нанси следом за Тучковым. Но я могу при встрече с Александром дать вам и самую лучшую аттестацию, что ускорит вашу карьеру.— Орлов ответил ему, что помириться с царем он может, но вряд ли он способен сейчас примирить разгневанный русский народ.— С таким характером, Орлов, вы карьеры не сделаете,— ответил Наполеон, вроде бы даже с искренним сожалением.— Так где же вы решили заканчивать войну? На Иртыше? На Камчатке?

Орлов глянул на карту, накрыл Париж ладонью:

— Разве этот город плох для подписания мира?

— Но это же смешно! — воскликнул император, не смеясь.— Я скоро буду в Москве, а вы станете пайньками. Я уже не сержусь на царя. Я простил его. Прощаю и вас, Орлов.

— Сир, а я-то чем провинился?..

Отпуская Орлова, Наполеон все время с настойчивостью (почти заносчивающей) просил — очень просил! — Орлова убедить Кутузова и царя в необходимости мирного решения войны, и в этот момент Наполеон совсем не был похож на того самоуверенного властелина Европы, каким жители Европы привыкли его постоянно видеть... Обо всем этом Михаил Федорович и доложил Кутузову, который велел Орлову нагнуться:

— Я тебя, сынок, поцелую. Иди с богом, отдохни...

Далее было Бородино, далее была Москва.

.....

Расстояние от Москвы до Парижа курьерская почта Наполеона покрывала ровно в 15 дней с поправками в два-три часа. Пока в эту регулярность не вмешались казаки графа Платова, иные эстафеты прибывали в Москву даже за 14 дней, после чего курьеры сваливались, как мертвые... Франция (да, пожалуй, и большая часть Европы) жила в полном неведении того, что случилось с «Великой армией», но бюллетени императора были успокоительны: русские побеждены, а Москва город богатый.

В таком же неведении находилась и Александрина Моро, задержавшись с девочкой в гостинице Бордо, где и ожидала из парижской канцелярии Дарю позволения ехать на воды. Конечно, откуда же было знать женщине, что где-то скачет курьер из России, а в его сумке лежит распоряжение императора о заточении ее в казематах Венсеннского замка...

Бискайский залив по ночам громыхал зимними штормами. Крыши вечернего города поливали затяжные дожди. В саду гостиницы мокли опавшие сливы. Уложив дочь в постельку, Александрина распустила перед зеркалом длинные волосы, тоже готовясь ко сну... В дверь крепко постучали.

— Я не одета, — предупредила Александрина.

Мужской голос со странным акцентом ответил, что сейчас это не имеет никакого значения, и дверь открылась.

Незнакомый человек от порога сказал:

— Ключ, мадам! Закройтесь изнутри. У нас нет времени, но вы должны безоговорочно довериться мне.

— Кто вы? — испугалась Александрина.

— Я не могу назвать вам себя, но это и не столь важно. Сейчас вас арестуют. Спасение — только в бегстве. Со стороны сада что-то звякнуло в стекло, и она увидела верх садовой лестницы, поднятой до второго этажа.

— Не понимаю... что все это значит?

Незнакомец стоял спиной к дверям, решительный:

— Внизу полно переодетых сыщиков. Если мы спустимся в вестибюль, вы с ребенком и я с вами будем все арестованы. Остался последний путь — через окно...

Инстинкт подсказал Александрине, что этому человеку не только можно, но даже необходимо довериться.

— Но я же с ребенком... я его не оставлю!

— Открывайте окно, мадам. Садовник наш друг. Я спущу вашу дочь на руках. Ради всех святых, заклинаю спешить...

Они оказались в темном саду. Садовник шепнул:

— За мною... мы проскочим в другую калитку.
У калитки их ждал кабриолет. Лошади рванули.
Александрина, еще не осознав опасности, сказала:
— Но вы же, сударь, не француз...

В темноте кареты блеснули белки глаз незнакомца:

— Я итальянец, но что это меняет? Ваш супруг боролся за свободу Франции, как я борюсь за свободу Италии...

Кучер бешено гнал лошадей в сторону моря, оглушительный ливень гремел по верху кареты, шум моря нарастал. Кабриолет остановился на мокром причале, возле него волна, идущая с моря, раскачивала загадочный парусник.

Александрина крепко-крепко прижала к себе девочку:

— О, боже! Куда же плывет корабль?

— Успокойтесь — вы будете в Лондоне.

— Я хочу вернуться к мужу — в Америку.

— Поздно. Генерала Моро в Филадельфии нет.

— Где же он?

— Он плывет вам навстречу, и, когда встретитесь с ним, не забудьте сказать ему: филиладельфы исполнили свой долг. Запомните это имя, мадам: Филипп Буонарроти!

За волноломом уже начиналась страшная качка...

11. МУЖЧИН И ЛОШАДЕЙ!

По каналам Марининской системы Петербург загодя эвакуировал внутрь страны ценности Эрмитажа, но Медный всадник остался на месте — как символ России, вздыбленной над пропастью...

Армия Витгенштейна, берегущая столицу со стороны Курляндии, откатилась до Риги перед натиском французской армии Макдональда, прусских колонн Йорка и Клейста. Пепел московского пожара, казалось, осыпал и Петербург: не было свадеб и танцев, на омертвевших улицах — тишина, редкие прохожие; роскошь исчезла; офицеры гвардии демонстративно шили мундиры из грубого сукна солдатских шинелей. Банк и ломбард пустовали. Никто не имел денег. Богатые люди, дабы иметь монету, сдавали в лом на Монетный двор старинные сервизы, а бедные кормились чем бог послал. На лицах жителей застыла глубокая печаль. Храмы переполняли верующие. От множества свечей, пылавших неугасимо, в церквах было жарко, как в бане; люди взывали о здравии фельдмаршала Кутузова, о спасении родины от супостата. Но в настроении столицы все разом изменилось, когда до берегов Невы дошла весть об отступлении Наполеона из Москвы:

— Побежал-таки, окаянный! В клетку бы его...

После бегства Наполеона русские мужики еще долго снашивали мундиры «ворчунов» с галунами. Детишки играли султанами с киверов. Даже в начале XX века на зипунах крестьян видели пуговицы с номерами дивизий «Великой армии» Наполеона. Из сабель кавалерии Мюрата получались отличные кухонные ножи или косы для полевых работ. Сельские кузнецы перековывали медные кирасы в большущие сковороды для жарения яичницы... В деревне ничто даром не пропадало!

Осень была теплая, благодатная, и никто из французов не хотел верить в русские морозы. «Здесь как в Фонтенбло»,— говорили они, радуясь. Стужа в этом году началась позже обычного, но внезапные морозы для русских были столь же губительны, как и для неприятеля. Проиграв сражения на путях к Смоленску, Наполеон мчался дальше — прочь из России, он обгонял свою армию, скользя полозьями саней по трупам, быстро заметаемым снегом. Волчьи стаи бежали следом, Русь еще не ведала такого засилия хищников... Это был крах! Но даже не полководца. Но даже не политика. Это был закономерный проигрыш игрока-авантюриста, уже неспособного мыслить реально... Всем понятно, почему царь дал Кутузову титул князя Смоленского, зато всем смешно, что Наполеон присвоил маршалу Нею титул князя Московского!

Под Оршей, пока донцы графа Платова насмерть бились с Даву, император сжигал свои бумаги, велел бросать в пламя костров и знамена. При нем была доза яда, чтобы отправиться на тот свет сразу, если казаки схватят его за шкуру. Одет он был в богатые шубы, ни холода, ни голода не терпел, а окошки кареты занавесил, чтобы не видеть, как истребляются остатки его бывшего величия. Он мечтал о воздушном шаре, который унес бы его из России.

— Коленкур,— сказал он,— положение сейчас таково, что я могу внушать почтение Европе только из залов Тюильри. О моем отъезде никто не должен знать. Я буду называться фон Рейсвалем, бывшим секретарем маркиза... Коленкура!

Дипломат понял: Наполеон желает опередить в Париже известия о гибели «Великой армии». Он отмолчался.

— Вы поедете со мною, и думаю, что нам в дороге не будет скучно. Армия доберется до Вильно, там пополнит запасы и преградит русским ордам дорогу в Европу...

Император тайно покинул армию в Сморгони, вослед

ему неслись проклятья ветеранов: «Он бросает нас с Мюратом, как в Египте бросил с Клебером...» Коленкур был удивлен: Наполеона в дороге терзала лишь одна мысль — как бы его не поймали, как бы проскочить до Парижа неузнанным. Даже в Вильно не знали о проезде императора. Он завтракал в предместном трактире, долго рассказывая дурацкие анекдоты, над которыми сам и смеялся. За это время на улице кучер замерз. Что за беда? Покойника спихнули с облучка наземь, его место занял другой. Проскочив на большой скорости Варшаву и Пруссию, император задержался в Бунцлау для ремонта саней. На постоялом дворе он накупил ворох дешевых стеклянных побрякушек для своей Марии-Луизы и сказал, что молодых женщин иногда следует баловать... Впрочем, половину этого барахла он тут же подарил Коленкуру:

— Может, я еще разрешу вам жениться на мадам Казини, хотя не вижу проку от разведенной женщины...

17 декабря 1812 года, когда часы над Францией готовились отбить полночь, император подъехал к Тюильри, где его никто не ждал. Швейцар с фонарем в руке не узнал ни великого императора, ни его спутника. Коленкур с трудом уговорил открыть им двери... За день до их возвращения газета «Монитор» опубликовала бюллетень № 29, в котором Наполеон возвещал о победах над Россией, о том, что его подвели лошади, ему мешали морозы. Наполеон вызвал к себе министра военных снабжений графа Лакюзэ де Сессака, потребовал:

— МУЖЧИН И ЛОШАДЕЙ! Через три месяца я должен иметь новую армию в полмиллиона человек. Вы читали мой бюллетень? Кажется, вы оказались правы, когда в подвалах Тюильри пытались предостеречь меня. Но я был ослеплен фортуной, мне ведь всегда так везло... мне так везло! Весною начнем все сначала. Моя армия остается в Вильно, и я, поверьте, никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас...

Орлов-Денисов последним оставил Вильно и первым ворвался на эти промерзлые улицы. Казаки хотели рубить справа налево, но, осмотревшись, поняли: рубить уже некого. Город был свалкою мертвецов, полуживые еще полчили по снегу, на кострах обугливались трупы замерзших, громоздились штабеля умерших, а в домах, занятых под госпитали, разбитые окна были заделаны ампутированными конечностями.

— Вот это мармелад! — сказали казаки...

Орлов-Денисов проскакал через город, на окраине его, в низине Понари, выводящей дорогу в гору, раскинулся целый табор отступающих французов; лошади не могли преодолеть крутизны, скользили, падали, умирали, их пристреливали; обратно в низину скатывались с горы пушки, давя несчастных, гроыхали тяжелые фургоны с добром, раздавившая упавших, и граф Орлов-Денисов крикнул на батареи:

— Чего разинулись, мать-растак? Бей в эту ярмарку — никогда не промахнешься, зато Георгия заработаешь...

Понари стали второю Березиной. Дорога в гору буквально была выстлана золотом из разбитых фургонов Наполеона и его маршалов, драгоценные кружева лежали пышными горами (здесь же, по уверению самих французов, они потеряли массивный золотой крест с колокольни московского собора). 30 ноября Михайла Илларионович Голенищев-Кутузов, князь Смоленский, въехал в Вильно, потрясенный увиденным.

— Господи, да что же это такое? — говорил старик, всплескивая руками. — Ведь я тут губернаторствовал... чистенький городочек был. Мать моя, пресвятая богородица.

Пленных заставили убирать трупы. Крючьями цепляя покойников, они просто шалели от удивления: из отрепьев так и сыпались часы, бриллианты, слитки золота, жемчуга. По ночам казаки тайком от начальства примеряли на себя мундиры королей и маршалов, они хлестали пикантное кло-вужо из фургонов Наполеона, отрывали благородным шамбертенном:

— Вкуснота! И в нос шибает. А дух не тот...

В декабре Александр приехал в Вильно, где его встречал Кутузов; через лорнетку разглядывая павших французских лошадей, император удивлялся отсутствию хвостов:

— Михайла Ларионыч, отчего они англизированы?

— Англизированы — да, только на русский манер. С голоду они, бедные, хвосты одна другой обгрызали...

Был устроен парад, Кутузов обратился к войскам:

— Сотоварищи мои! Я счастлив, предводительствуя вами, русскими, а вы должны гордиться именем русских, ибо сие имя было, есть и будет знаменем победы!

Яркие лампы над виленским замком осветляли слова: СПАСИТЕЛЮ ОТЕЧЕСТВА, — они относились к Кутузову, и Александр (хотя он и не любил старика) на обед провозгласил:

— Вы спаситель не только России, но и всей Европы...

25 декабря 1812 года торжественным манифестом по всем городам и весям России — было всенародно объя-

явлено, что Отечественная война завершилась победой. Но за войной Отечественной неизбежно следовала другая. «Без нас Европе не быть свободной,— рассуждали тогда офицеры.— Наполеон опять наберет мужиков и лошадей, даст пинка королям всяким, и начнется бойня сначала».— «Не совершаем ли мы непоправимой ошибки,— возражали иные.— Наполеон по башке получил и больше на Русь не сунется. Так не лучше ли нам, русским, иметь в Европе одного ласкового льва с остриженными когтями, нежели своего голодных и злобных шакалов?..»

Кутузов в беседах с царем предупреждал его:

— Мы тоже изнурены, мороз да бескормица кусали нас не меньше французов. Я привел в Вильно толику войска, с которым даже Пруссию или Польшу от французских гарнизонов нам не избавить. Подтянем резервы, государь. Обновим пушечные парки. Ремонтируем кавалерию. Наконец, и обувка нужна... Мы же тут все поборвались, обносились и прохудились!

С 1 января 1813 года на русской земле не сохранилось ни одного вооруженного неприятеля, зато уцелели разоруженные, которые потом, оттаяв в дворянских усадьбах, так и прижились в России навеки — гувернерами, кондитерами, садоводами, музыкантами, танцмейстерами, наконец, просто нахлебниками. Россия пострадала от нашествия жестоко, но она сберегла свои интеллектуальные силы, способные быстро восстановить и потери материальные. Никогда еще не был таким ярким пламень русского патриотизма в народе-победителе. Именно в эти дни на весь русский народ, на всю его армию ложилась сугубая ответственность за освобождение Европы, в которой еще властно хозяйничал Наполеон со своими вассалами... Русский кабинет неустанно вел «психологическую войну»: корабли Балтийского флота блуждали у берегов Франции, оставляя возле городов и гаваней пакеты листовок, в которых призывали галлов сбросить с себя ярмо корсиканского насилия, не давать обезумевшему от крови императору мужчин и лошадей. Голенищев-Кутузов напомнил царю о недавнем расстреле в Париже республиканских генералов — Мале и Лагори:

— Костер погас, но искры его еще светят свободе. Не может так быть, чтобы умнейший народ Европы покорялся ивергу слепо и безголосо, подобно скотам бездушным.

— Моро на пути в Европу,— скупно ответил Александр.

.....
Снежная вьюга исхлестала все лицо Рапателя:

— Клаузевиц, вы что-нибудь видите?
— Движение колонны. Большой. Прямо на нас.
— Это, случайно, не маршал Макдональд?
— Макдональд уже отвел войска до Тильзита, это выбирают на родину мои земляки... корпус генерала Йорка!
— Йорк? Разве шотландец?
— Обычный славянин-кашуб, опруссаченный в казармах настолько, что ничего не помнит, кроме своего короля...
Дибич выехал навстречу Йорку. Вьюга кончилась. Морозило. Сверкали снега. На чистом небе — яркие, чистые звезды.

— Хальт! Кто идет? — крик из прусской колонны.
— Мы идем... русские, — отвечал Дибич.
Впереди проступила мощная фигура самого Йорка:
— Иду я! И разнесу любого, кто помешает мне.
Дибич поднял руку, задерживая его движение.
— К чему притворяться? — сказал он. — У меня под знаменами мало людей и пушек, у вас их много. Вы можете опрокинуть нас с дороги, но... Что дальше, Йорк?

Клаузевиц тронул свою лошадь — ближе к Йорку:
— Ваше превосходительство, не станете же вы проливать прусскую кровь на прусской земле ради спасения маршала Макдональда и его солдат, угнетавших народ Пруссии?
— Ах, это вы, Клаузевиц! — узнал его Йорк. — Русские вас здорово приделали... не пожалели и полушубка с валенками! Вы для меня не пример: я подчиняюсь воле своего короля.

— Но король подчинил себя и Пруссию воле императора Наполеона, так не пора ли вам, генерал, стать умнее? И когда вы рассудите этот казус, тогда я стану для вас примером.

В руках Йорка блеснули пистолеты, большие кирки которых были украшены головками наполеоновских «орлов».

— Прочь с дороги... застрелю! Я сидел в крепости еще при Фридрихе Великом, так теперь, когда моя голова поседела, не сидеть же мне в Кюстрине и при виуках его.

Рапатель вывел лошадь из глубокого сугроба.

— Все-таки поговорите сами, — сказал он Дибичу.

— Йорк! — гаркнул Дибич. — Я уже отрезал вас от Макдональда, могу отрезать от обозов и пушек. На это у меня сил хватит! Йорк, я ведь тоже кончал кадетский корпус в Берлине... Нет, Йорк, Россия не нуждается в завоевании Пруссии, она стремится единою лишь к освобождению ее.

Йорк убрал пистолеты в седельные кобуры:

— Ну хорошо. Я ведь тоже не хочу драться. Ночь

холодная. Разойдемся. Разведем костры. Подумаем...

Ночью казаки перехватили французского офицера с письмом Макдональда, который требовал от Йорка ускорения марша к Тильзиту.

— Дружище,— сказал ему Рапатель,— зачем ваш маршал расстреливает солдат за их разговоры о бегстве Наполеона?

— Вранье, и мы не верим русским бюллетеням.

— Скоро поверите... Находясь в русской армии, я знаю положение в армии Наполеона лучше вас, французов.

— Простите, с кем говорю? — спросил офицер.

— Полковник Рапатель, адъютант генерала Моро.

— Моро? Не может быть.

— В этой войне все может быть. А вам, французам, не хватит ли быть рабами, впряженными в триумфальную колесницу?..

Под утро началось братание русских солдат с пруссаками. Йорк некстати получил письмо от короля: «Не перетягивайте веревку. Наполеон есть великий гений!» Йорк, тугодумный, еще колебался. Он звал Клаузевица и Дибича, в избе на окраине местечка Тауроген они распивали литовскую водку.

— Если король меня расстреляет,— сдался Йорк,— прошу озаботиться судьбою моей вдовы и детей. Я понимаю, что прусский офицер должен думать сначала о Пруссии! — Он сказал, что завтра будет ждать их на Пошерунской мельнице.— Пусть я стану тем роковым камнем, что сдвигает лавину...

В последний день 1812 года на Пошерунской мельнице Йорк подписал с русскими конвенцию: его корпус отделялся от армии Макдональда, готовый выступить за свободу Пруссии. Раздался жуткий скрип. Это ветер развернул крылья мельницы, и она со скрежетом провернула круг тяжелого жернова. Клаузевиц сказал Рапателю, что поворот колеса истории свершился:

— Мне хотелось бы, чтобы все немцы Германии даже через сто и через двести лет помнили этот день... Бедный Михель! Все хотели сожрать плоды труда твоего, все хотели выспаться с твоей бедной Эльзой, и только одна Россия бескорыстно пришла на защиту маленького, обиженного немца. Да будет проклят тот, кто в будущем оскорбит память этого дня! Крутитесь, крылья мельницы, вращайтесь, жернова истории...

.....
В убогом трактире Вильковишек, где отъедались офи-

церъ Наполеона, счастливые от сознания, что России им больше не видать, вдруг появился страшный солдат в лохмотьях, бородатый, с закопченным лицом. Он приставил ружье к стенке. •

— Господа, покормите меня. Пустите к печке.

Он отряхнул с себя вшей, и ему закричали:

— Иди, иди отсюда. Откуда ты взялся такой?

— Я — арьергард «Великой армии» великого императора. Неужели не узнаете меня? Я маршал Ней... князь **МОСКОВСКИЙ!**

— Арьергард? Так где же сам арьергард?

— Я и есть арьергард,— и Ней накинулся на еду...

...«Мужчин и лошадей!» — требовал Наполеон.

12. В КОТЛЕ ЕВРОПЫ

К весне 1813 года Наполеон уже был способен расправить крылья своих «орлов» над рядами новой полумиллионной армии. Конскрипция была жестокой: допризывники стали призывниками. Этих нежных юношей, почти мальчиков, прозвали «мариями-луизами». Наполеон взял из казны 300 миллионов, в подвалах Тюильри у него осталось еще 160 миллионов — его личные деньги:

— Этого пока хватит, чтобы вернуться на Вислу...

По дорогам провинций шатались конные жандармы, вылавливая дезертиров. Чтобы избежать конскрипции, деревенские парни клещами выламывали себе передние зубы, отрубали себе пальцы. Наконец, поскольку молодоженов не брали в армию, все мужчины мигом переженились. Когда невест не осталось, нарасхват пошли под венец с юношами и вдовы старухи.

— Бертье,— указал Наполеон,— всех беззубых и беспалых взять тоже... они вполне могут служить в обозах!

Люди тогда понятия не имели о «тотальной войне», но именно такую войну император для них и готовил. В январе 1813 года Наполеон снова виделся с флигель-адъютантом Михаилом Орловым, присланным в его ставку. Но зачем Орлов ездил, о чем говорил с императором — это навеки осталось тайной...

.....

Течения рек Европы как бы заранее определяли естественные этапы освобождения — Висла, Одер, Эльба и Рейн (старая граница старой Франции). Висла была уже за нами, князь Шварценберг оставил Варшаву, но, щадя самолюбие «гоноровых» поляков, русские войска в Варшаву не входили.

Освобождение начиналось с Пруссии: «Шумели в первый раз германские дубы. Европа корчилась в тенетах. Квадриги черные вздымались на дыбы на триумфальных поворотах...»

Кутузов привел в Калиш всего 18 000 солдат.

— И это все? — спрашивали его.

— Грязь на дорогах задерживает подход резервов...

Стратегия совмещалась с политикой. Англия уже воевала с Америкой, а ружья продавала России за наличные. Князя Рейнского союза продолжали кланяться в сторону Парижа, как мусульмане в сторону Мекки. Бернадот еще не высадил в Померании шведских десантов. Меттерних не верил в поражение Наполеона, сначала он решил, что бегством из России тот выманивает русских на легендарные поля аустерлицев и ваграмов. По мнению Меттерниха, пусть Россия и Франция бьются до потери сознания, а потом Австрия, во всем ее блеске, займет в обескровленной Европе первенствующее положение. Наполеона он хотел заменить на престоле Франции его австрийской женою Марией-Луизой, а уж с нею-то Вена всегда поладит. Но — как бы в отместку планам Меттерниха! — уже раскручивались крылья Пошерунской мельницы. Пруссаки еще не убивали оккупантов, но уже стали поколачивать. У французов отнимали ружья со словами: «Поносил — и хватит. Теперь будем носить их мы...» Пруссия, независимо от решения короля, строилась в колонны. Рядом с профессором шагал булочник, подле учителя вышагивал парикмахер. Фридрих-Вильгельм III просил у Наполеона прощения за «измену» Йорка, обещал его повесить, а перед Кутузовым он льстиво заискивал. Полководец нуждался не в короле, а в народном ополчении Пруссии, высоко оценивая отвагу старого Блюхера, светлые головы Шарнхорста и Гнейзенау. Эти замечательные в прусской истории люди, уже опозоренные Наполеоном, клялись: «Кровью своим позор Иены и Ауэрштедта!»

Наполеон забросал Пруссию листовками: «Я недоволен вами, — писал он. — Я оказал вам честь, возвысив вас до французов. Но я могу и лишить вас благ моей конституции... Я опустошу ваши земли, заселив их другими народами, вы страдаетесь». Фридрих-Вильгельм от подобных угроз трепетал.

— Ах, бедная моя Луиза! — прослезился он. — Какое счастье, что ты не дожидая до этих ужасных дней...

Александр припугнул коллегу: если и далее сдерживать гнев народа против Наполеона, то весь гнев Пруссии может обернуться против короля, а тогда возможна и... револю-

ция. Наверное, революции он боялся все-таки больше Наполеона, а потому уступил. Кутузов оформил боевой союз с Пруссией, из Калиша он обратился к пруссакам с воззванием — к оружию, братья! Кавалерия Чернышева ворвалась в улицы Берлина, жители Дрездена вывезли саксонского короля из города на тачке, как вывозят мусор на свалку. Одер остался позади — Эльба уже слышала шелест знамен России и Пруссии. Русские партизаны вломились в Гамбург, горожане сами разделались с гарнизоном французов, но, стреляя в них, они кричали странные слова: «Ура! Теперь-то мы попьем кофейку с сахаром...» Кутузов долго смеялся, когда ему рассказали об этом:

— Кому что дорого! Немцы без кофе дня не проживут, как мы, грешные, без чаю, а Наполеон кофе пить запретил...

Полководец готовился ехать в Дрезден, где саксонцы рады были его видеть гостем. Лейб-медик Виллие давно внушал Кутузову: «Не пренебрегайте шинелью, ваше сиятельство. Что вы — как поручик, в одном мундирчике...» Но старик верхом поехал в Дрезден, опять в мундире. Александр пригласил его в свою теплую карету. Качаясь на мягких диванах, Кутузов снова доказывал, что надобно усилить политический нажим на коварную Вену, ибо с одними пруссаками пройти Европу из конца в конец — иметь неприятности.

— Легче всего лезть на Эльбу, но как воротимся? Будет рыло в крови, — именно так он и сказал царю...

Но Вена еще уклонялась от союза. Таурогенское соглашение Йорка с русскими, Калишское воззвание Кутузова к пруссакам — все это казалось Меттерниху и прочим меттернихам актами разрушительного, почти якобинского значения. Народ, по их мнению, должен оставаться за оградой политики. А партизанская война из лесов России была уже перенесена Кутузовым на просторы Европы, где и городов побольше и дороги получше. Как иголка, блуждающая в теле человека, пока она не коснется его сердца, — так же для Наполеона были очень опасны глубокие, всегда неожиданные уколы партизан в тылу его армии, на его же коммуникациях. Конечно, русским партизанам помогало превосходное знание французского и немецкого языков, их гуманное отношение к жителям... Вскоре из кавалерийского рейда на берегах Заала вернулся богатырь Михаил Орлов — уже в чине ротмистра гвардии.

— Ваше сиятельство, — доложил он Кутузову, — своими глазами вчера видел Наполеона. Скакал как бешеный с Дюроком и мамелюками. На Заале уже собраны его силы, и,

ударь он покрепче, боюсь, не прикнула бы к нему и Вена...

— Ожидая от Меттерниха всяческих пакостей!

— А вы не больны ли, ваше сиятельство?

— Что-то недужится, но терпеть можно...

Не доехав до Дрездена, Михаил Илларионович остановился в силезском городишке Бунцлау, где прусский майор фон Марк уступил ему второй этаж своего дома. Был апрель, по утрам пели птички. Встревоженный, в Бунцлау приехал Виллие, лучший врач армии, а прусский король срочно прислал к больному своего лейб-медика Гуфеланда, и тот сказал Виллие:

— Простите, коллега, я вас оставляю. У меня репутация лучшего врача в Европе, и на старости лет не хотелось бы запятнать ее смертью столь великого человека...

Весь израненный в битвах, истощенный волевым напряжением героики 1812 года, Кутузов отвергал все лекарства.

— Съешь сам, если ты меня любишь,— говорил он Виллие.

Он еще был способен диктовать адъютантам по несколько страниц кряду, все помня, не ошибаясь в деталях. Но подписывать бумаги уже не мог. Царь встал перед ним на колени:

— Простишь ли меня, Михайла Ларионыч?

— Я уже простил тебя, государь,— ответил полководец.— Но зато Россия никогда не простит...

Он ушел из жизни непобежденным, его имя навеки осталось свято в русском народе. Его похоронили на Невском проспекте Петербурга — в Казанском соборе, куда свозили военные трофеи, и он спит мертвым сном под шелест знамен поверженного противника. Но после его кончины русская армия стала терпеть поражения — непростительные для ее чести!

.....
Дрезден, как и вся Саксония, нравился русским: всюду чистота, саксонки очаровательны, еда в трактирах дешевая, вкусная, ребятишки с горшками ходили по русским караулам, угощая солдат горячим супом. «Меня прислала к вам мама, попробуйте, это она сварила для вас!» — говорили они. Заезвайся офицер или солдат на улице, его сразу обступали добрые, вежливые люди, иные знали русский язык:

— Не угодна ли помощь? Если вам стало скучно, не навестите ли мою семью? Мы вместе пообедаем, выпьем шива...

Командующим русско-прусской армией был назначен

генерал Витгенштейн; лейб-медик Виллие застал его в Дрездене.

— Кутузова нет. Государь просил не разглашать войскам это печальное известие до тех пор, пока вы, Петр Христианович, не одержите над Наполеоном хотя бы одну победу...

Наполеон — через лазутчика — все уже знал.

— Прекрасная новость! — воскликнул он, обращаясь к Бессьеру. — Вы, герцог, оповестите об этом наши войска, чтобы не один я пыхтел здесь от радости...

Бессьер, герцог Истрийский, командовал его кавалерией. Честный человек, он сказал, что благороднее будет послать трубача в русский лагерь с соболезнованием.

— Не будь бабой! — обругал его император. — Дюрок, пошли лазутчиков, и пусть они испортят настроение русским...

Наполеон сильно сдал, он как-то обрюзг, отяжелел, сделался сонливым; Бертье стал многое забывать, путался в бумагах, брюзжал. Наполеон выехал из Веймара к армии со словами:

— Наполеона нет — я снова генерал Бонапарт!

Сражение при Люцене открыли русские, им противостоял маршал Ней, на глазах которого Бессьера убило ядром. Это же ядро повалило еще кого-то, но кого? Ней не рассмотрел.

— Послать гонца по шоссе к Веймару, чтобы император пошевеливался! — кричал Ней. — Пусть он не думает, что здесь фуражиры дерутся из-за сена — сейчас будет бойня...

Наполеон прискакал, а Ней был уже весь в крови.

— Ты ранен? — спросил император.

— В ногу. Это кровь лошадей, убитых подо мною...

Юные «мариин-луизы» не отваживались бежать под градом русских ядер, и тогда Наполеон сам повел их за собою:

— Или вы решили прожить сто лет? Не выйдет... Чего бояться? Кому придет свой час, тот умрет и без помощи ядер!

Он все время подтягивал с Заалы резервы, и к вечеру его силы намного превысили мощь союзников. Когда царь ехал с поля битвы, ему освещали дорогу фонарем, чтобы конь не наступал в темноте на умирающих. Рано утром он разбудил прусского короля и сказал, что сражение при Люцене нет смысла возобновлять вторично — лучше отступить...

Фридрих-Вильгельм предался отчаянию.

— Я знал, чем это кончится. Наполеон велик, а все мы — ничтожны... Шарнхорст, вы слышите меня?

Шарнхорст, раненный при Люцене, лежал в соседней комнате и еще не знал, как близка его смерть.

— Я все слышу,— ответил он.— Если Attila modern пойдет на Берлин, сжигайте его, как сожжена и Москва, только не порывайте с Россией — она последняя надежда нашей Пруссии!

Наполеон вступил в Дрезден с саксонским королем, покинувшим свою столицу на грязной тачке. Не зная, чем умиловить зверя, горожане прислали к императору депутацию почтенных людей, чтобы он отказался от мщения городу.

— Не распинайтесь! — оборвал он их речь.— На окнах ваших квартир еще висят гирлянды, развешенные в честь татарских полчищ Александра, мостовые Дрездена еще осыпаны цветами, которыми ваши же дочери закидали казачьих лошадей... Кого хотите обмануть? Меня? Стыдитесь, господа...

Утром 8 мая в замке Вушен, где расположилась Главная квартира царя, услышали залпы пушек со стороны Бауцена.

— Теперь он от нас не отвяжется,— сразу приуныл прусский король.— Зачем я связался с русскими? Французы снова загонят меня в Мемель, где я буду сидеть на одной салаке с вареным картофелем... Ужас, ужас!

Александр велел Витгенштейну поспешить к войскам:

— Скачите к Бауцену, я выезжаю за вами.

— Но я не могу покинуть ваше величество...

Командующий как прилип к царю, так уже и не отлипал во все время битвы. Сам не решался командовать, зато бравым голосом четко передавал приказы императора. Александр заметил вдали маршала Нея со свитой, крикнул на батареи:

— Никитин! Видишь ли ты эту блестящую кучу генералов? Свали мне хоть Нея, и я ничего для тебя не пожалею...

Ней доложил Наполеону:

— Опять эти дьявольские батареи Никитина! Вчера Бессьера, а теперь — Дюрока... Можете полюбопытствовать сами, сир: Дюрок таскает по земле все свои кишки...

Дюрок, почти обезумев, старался запихнуть в себя обривно выпадающие внутренности, уже измазанные в грязи.

— Сир! — вопил он.— Это конец... конец! И не толь-

ко мне, всем конец... Разве Ланн не просил вас перед Ваграмом? Теперь прошу я: не мучайте больше Францию! Я так хочу еще жить, сир... застрелите меня, сир! Это конец...

Наполеон понял, что хирурги тут не помогут:

— Терпи, Дюрок: у каждого из нас своя судьба...

— Яду! Отравите меня, застрелите меня... умоляю! Даже раненых лошадей и тех пристреливают из жалости.

— Нет, Дюрок, *умри сам*...

Наполеон снова побеждал, но уже не мог закреплять свои победы кавалерией, которая почти вся полегла в сугробах России. Был уже пятый час вечера, и генерал Витгенштейн, охрипший от крика, призвал свое поражение:

— Ваше величество, не пора ли вам заменить меня графом Милорадовичем или Барклаем-де-Толли? Счастлив служить вам, но вы и сами видите, что Бауцен мною проигран.

— Хорошо,— ответил царь (и через подзорную трубу он долго разглядывал Наполеона).— Я не желаю быть свидетелем своего поражения. Воля господня, прикажите отступить...

Наполеон, заложив руки за спину, издали невооруженным взором молча пронаблюдал, как на лошадях отъехали прочь русский царь и прусский король. Саксония осталась в его руках, он стал подсчитывать свои потери и ужаснулся:

— Еще один Люцен, еще один Бауцен, и мы, Бертье, можем укладывать ранцы... Каковы же наши успехи, Бертье?

Бертье сказал: пленных нет, трофеев нет. Русские и пруссаки отступили в идеальном порядке, не потеряв и фургона.

— Как? — удивился Наполеон.— Эти негодяи не оставили мне даже гвоздя с веревочкой? Хорошенькая война...

Меттерних прислал ему поздравление с победами, но предупредил: боевой союз Австрии с Францией был действителен до тех пор, пока эти страны сражались на территории России. Наполеону много не надо, чтобы понять этот намек.

— Мерзавцы! — сказал он.— Я дал Шварценбергу жезл своего маршала, хотя в Париже из него мог бы сделать швейцара. Пусть этот боров прется куда хочет: куда придет, оттуда и убежит... Нет, я не побежден! Барклай с Блюхером могут отрезать меня даже от Франции — для

меня важнее всего остаться здесь — на Эльбе, у Дрездена и Лейпцига.

Однако обоюдное истощение требовало перерыва в боях, потому в Плесвице маркиз Коленкур договорился с русскими о временном перемирии. Наверное, ему, блистательному дипломату талейрановской школы, было неловко вести переговоры с молодыми адъютантами царя — Михаилом Орловым и графом Павлом Шуваловым... Опечаленный, он им сознался:

— Вы напомнили мне самые счастливые дни моей жизни — Петербург весь в снегу, волшебная музыка балов, оголенные плечи красавиц... О-о, как бы хотелось вернуть эти блаженные дни! Но уже все кончено. Император прав: он упадет, если остановится. Остановить же невозможно.

— Разве он не остановлен? — спросил Орлов.

— Он еще не падает, — ответил Коленкур. — Он еще велик, как и Вандомская колонна в Париже, спаянная из стволов ваших же пушек, отгремевших при Аустерлице...

Меттерних встретился с Наполеоном в Дрездене, где еще недавно он, лстящий, провожал императора в поход на Москву. На этот раз все было иначе, иным казался и Меттерних.

— Вы захотели войны? — хохотал Наполеон. — Именно вас мне и не хватало. Я разбил русских и пруссаков, теперь очередь за вами... увидимся в Вене! Я расколочу все стекла в окнах вашего Шенбрунна. Мой сынок, Римский король, давно уже спрашивает: «Папа, когда пойдем лупцевать венского дедушку?» Я женился на дочери вашего императора, хотя сердце уже тогда подсказывало мне: не делай этой глупости, ибо Вена изменчива, как и все ваши венские женщины.

— Мир или война зависят от воли вашего величества.

— Так чего вы хотите? Чтобы я отказался от завоеваний? Рожденные на престолах вправе быть разбитыми. Даже разбитые вдребезги, они утешаются возвращением на свои престолы. Но я, сын звезды счастья, я так не могу... нет! — сказал Наполеон. — Я существую до тех пор, пока меня боятся. Моя армия, да, простудилась в России, но она верит в меня.

— Ваша армия устала, она тоже мечтает о мире.

— О мире могут мечтать только мои маршалы, скучающие по своим перинам. Я же видел, Меттерних, как самые храбрейшие плакали под Смоленском, как молочные младенцы...

Меттерних рассуждал продуманно: если у Наполеона и поражения и победы одинаково ведут только к войне, а мир является лишь передышкой, Европе никогда не видать мира.

— Поберегите хотя бы свою нацию! — сказал он.

— Молчать! — ответил Наполеон. — Вы имеете дело с человеком, для которого один или два миллиона людей ничего не значат. — Он отпустил грязное выражение, и Меттерних постыдился запечатлеть его в записи этой беседы. — В походе до Москвы я сохранил французов, я спас всю старую гвардию, за меня расплачивались поляки и вы... немцы. Вы, Меттерних, не пожалели для меня своих же немцев, так не смейте сейчас жалеть и моих французов. Да-да! — вызывающе продолжал Наполеон. — Я теперь жалею, что женился на вашей эрцгерцогине, но ваш император... А кстати, чем он сейчас занят?

— Играет на скрипке в оркестре на водах Теплица.

— Пусть играет и дальше. Надеюсь, он и без вашей сказки допрет своим умишком, что, свергая с престола меня, своего зятя, он свергает свою же дочь. — Помолчав, Наполеон спросил: — Выкладываете! За сколько продались Англии?

Меттерних, даже оскорбляемый и обруганный, умудрялся хранить невозмутимое спокойствие, что делало ему честь.

— Я ехал в Дрезден, сир, глубоко жалея вас, как великого человека. Теперь я окончательно убежден: вы погибли!

Наполеон сложил на груди руки, спокойный:

— Если даже и так, то под руинами моего престола я без жалости похороню весь этот паршивый мир...

13. ГЕНЕРАЛ МОРО С НАМИ!

Казнь генералов Лагори и Мале потрясла Моро, он долго не мог взять себя в руки... Он желал мести.

Встревожен мертвых сон — могу ли спать?

Тираны душат мир — я ль уступлю?

Созрела жатва — мне ли медлить жать?

«После позора в России, — писал Моро, — Наполеон... станет посмешищем Европы. Несмотря на безумные предприятия, он еще понимает войну лучше тех, кто действует сейчас против него». По слухам из Европы, по письмам от Рапателя он пытался разгадать ход событий. В амери-

канских газетах уже писали о голоде в Нормандии, на дорогах Франции появились «бродячие скелеты»; в департаменте Юра люди поедали падаль; в департаменте Сомма целая армия в 50 000 нищих, обезумев от голода, громила богатые фермы и замки. Наконец, в городах Франции появились воззвания: «Мира! Война тирану! Народ, восстань! К оружию...» В эти дни мадам де Сталь (через редакции американских газет) переслала ему письмо Бернадота, а Дашков вручил послание императора Александра.

— Каковы ваши условия на русской службе?

Вопрос Дашкова показался Моро бестактным:

— Это не я России, а Россия оказывает мне честь, приглашая стать под ее знамена. Какие ж тут условия?

Остерегаясь шпионов, он всюду утверждал, что не покинет Америки, пока не вернется жена из Франции, а Дашков тем временем приготовил ему фальшивый паспорт на имя Джона Каро, жителя Луизианы. Отплытию в Европу мешала война! Английский флот блокировал берега США, топя все корабли, выходящие из гаваней. Россию эта война никак не устраивала — она нарушала американскую торговлю через Одессу, и царь выступил посредником в переговорах. Делегация конгрессменов готовилась плыть в Петербург на корабле «Нептун», и британский адмирал Кокберн соглашался пропустить «Нептун» через линию своей брандвахты... Дашков предложил:

— Может, и вы, Моро, поплывете с делегатами?

Моро сказал: французский посол Сесюрье не сводит с него глаз, а многие конгрессмены — его приятели:

— Все эти янки страшные трепачи, особенно когда они выпьют, Джон Каро будет сразу разоблачен, Сесюрье даст знать в Париж о моем отплытии, и тогда судьба Александрины может завершиться скверно...

Павлуша Свинын предложил свой вариант побега:

— У меня есть на примете быстроходный бриг «Ганнибал», вы, Андрей Яковлевич, можете готовить почту для Петербурга, а этого зазнавшегося Кокберна я беру на себя!

Свинын с апломбом будущего Хлестакова сумел доказать Кокберну, что от плавания «Ганнибала» в Петербург зависит судьба всей войны в Европе, и непреклонный адмирал согласился пропустить корабль через кольцо морской блокады. Море затянул туман, а шкипер спрашивал Свинына:

— Так мы плывем в Петербург, сэръ?

— Но бросим якоря в шведском Гетеборге...

Сначала был шторм, и Моро отлеживался в каюте, читая книги, вместо трубки курил гаванские сигары. «Ганнибал», отличный ходок, быстро летел под парусами. В пути случился пожар, который, к счастью, и загасили совместными усилиями команды и пассажиров... Чарли не раз говорил Моро:

— Господин, почему мне так страшно?

— Не бойся, мальчик. Все хорошо. Но если нас поймают французские корсары, ты, дитя мое, отвернись, когда меня станут вешать. И не бросай Файфа — у него никого нет...

Услышав свое имя, верный пес, лежа под койкою генерала, начинал молотить хвостом. Плавание складывалось удачно, в конце июня завиднелись норвежские берега. На подходах к Гетеборгу английский крейсер остановил «Ганнибала» ядром, выстреленным под нос.

— Обещаю вам, — сказал Павлуша Свиныни, — что я этого английского невежу заставлю сейчас же извиниться.

На шлюпке он отправился в сторону крейсера. Что там наболтал, за кого себя выдал — неизвестно, однако на борт «Ганнибала» скоро поднялся сам британский командор.

— Честь имею, — представился он Моро, — капитан фрегата «Гемодрэй» Джеймс Чатон... Чем могу служить?

Павлуша за его спиной делал какие-то знаки. Но Швеция была уже рядом, и Моро не стал предъяснять фальшивый паспорт, назвавшись своим подлинным именем.

— Тогда, — сказал Чатон, — я не жалею того ядра, что запустил под ваш форштевень. Англия уважает вас, и могу порадовать: ваша супруга уже в Лондоне...

27 июня Моро, Свиныни, Чарли и Файф сошли на берег в Гетеборге, где губернатор Эссен отвел для них дом с прислугой; он же сообщил, что Бернадот уже высадил шведские десанты в Померании, с нетерпением ожидая своего друга. В крепости Штальзунд кронпринц Юхан выступал в окружении множества генералов и важных придворных, как настоящий король. Жестом он удалил всех, чтобы обнять Моро:

— Прости. Но приходится блюсти этикет. Ты смеешься? — Моро напомнил Бернадоту о татуировке «СМЕРТЬ КОРОЛЯМ», с которой королю в общую баню с верноподанными не сунуться. — Не смейся, — ответил Бернадот, — такое же клеймо было и на груди Мале, расстрелянного в твоим Лагори...

Моро поделился с ним планами. Он мечтал выступить

против Наполеона во главе Французского легиона, считывая набрать его из числа пленных в России.

— Ты мыслишь в духе времен революции,— отозвался Бернадот.— А сейчас для французов понятие славы дороже патриотизма. Они не пойдут за тобою. Им стала противна республиканская дисциплина и честность гражданская. Наполеон за эти годы развратил их грабежами и насилиями, а ты... Не будь наивен, Моро: как ты можешь с этим бороться?

— Я бы расстреливал,— сказал Моро.

— И получил бы пулю в спину. Не забывай, что традиции Рейнской армии — это только прошлое Франции.

— Неужели его не вернуть, Бернадот?

— А кто же возвращает людей к прошлому?

Утром Моро был разбужен знакомым голосом.

— Рапатель, Рапатель! — обрадовался он.— Дай посмотрю на тебя. При мне ты не скоро стал бы полковником...

Рапатель сказал, что за участие в подписании Таургенской конвенции он причислен к штатам царской свиты¹. Файф, громко лая, положил лохматые лапы на плечи Рапателя, и тот дал ему облизать свое лицо. Чарли стоял в сторонке, блаженно и глупо улыбаясь, получив замечание от Моро:

— Перестань ковырять в носу. Это так некрасиво...

Сначала Моро спросил, каким образом Александрина вдруг оказалась в Лондоне? Рапатель и сам не мог догадаться:

— Но, судя по ловкости, с какой ее выкрали из-под носа ищеек Савари, тут не обошлось без филладельфов. Стоит ли теперь волноваться. На водах Бата она поправится...

Он сказал, что Александр ждет Моро в Праге:

— Но у вас будет русский адъютант — Мишель Орлов!

Берлин встретил генерала народным ликованием:

— Моро с нами! Да здравствует Моро...

Будущий декабрист князь Сергей Волконский до старости не забыл тех дней: «Моро был предметом восторженности берлинских жителей в пользу его. При месте жительства его было непрерывное стечение народа и в пользу

¹ Во французской литературе принято мнение, что Рапатель получил в России звание флигель-адъютанта, но русские источники не подтверждают этих сведений, хотя и признают близость Рапателя к свите императора.

его манифестации, и беспрестанно вызывали его на балкон его дома восклицаниями народа». Моро смущенно спрашивал Рапателя:

— В чем дело? Отчего мне такие почести?

— Когда садишься обедать с чертом, надо прихватить ложку побольше. Вот вы и есть такая большая ложка для обеда с Наполеоном... Как же не понять, что шведы, немцы и русские надеются видеть вас главнокомандующим армиями всей коалиции против Наполеона. А такое высокое положение в войсках коалиции сопряжено со званием генералиссимуса...

Моро ответил Рапателю, что ему страшно входить в славную семью Валленштейна, Ришелье, принца Евгения Савойского и, наконец, знаменитого Суворова:

— Суворов и на том свете поколотит меня...

От лазутчиков Бертье узнал, что в обозах русской армии тащатся возы с банными вениками и мочалками — яркое свидетельство тому, что Россия взялась за войну основательно. Наполеон еще не вернул, что император Франц объявит войну ему, своему зятю (черта корсиканца, убежденного в святости семейного клана). Мармон допытывался у Бертье: «Где же предел его ненасытности? Неужели наша судьба — прыгать в могилу за этим сумасшедшим?..» Маршалы требовали от императора уже не военного, а политического решения.

Наполеон отчитывал маршалов за их пассивность:

— Вы без меня как дети без няньки. На что вы способны? Теперь вы обогатились в походах, вас окружает царственная роскошь, прелести бивуаков вам стали противны... Я начну все сначала. Я окружу себя молодежью из простого народа, которая еще не думает о титулах и замках, с ней я открою новую свою историю — с новых побед! Без вас...

Плесвицкое перемирие затягивалось. Наполеон согласился на мирную конференцию в Праге, надеясь, что, пока дипломаты болтают, он подтянет резервы. Но союзники тоже усиливались. Меттерних выдвинул перед Францией условия к миру, которые — он знал это — для Наполеона заведомо неприемлемы. Прага встретила русских недружелюбно. Почтом здесь пользовались австрийские офицеры — все с тростями в руках, высокомерные и кичливые... Войска коалиции состояли из трех армий: Богемскую возглавлял князь Шварценберг, Силезскую — генерал Блюхер, а Северную — кронпринц Бернадот, в каждой из трех армий сражались рус-

ские. Прусская армия, раньше годная лишь для парадов, теперь для парадов не годилась, но стоило Блюхеру рявкнуть: «Форвертс!» — и его парни как бешеные кидались в штыки. Даже Наполеон пугался их натиска. «Эти скоты кое-чему научились», — говаривал он...

Оставался один день до конца перемирия. Орлов с утра намылил щеки, начал скоблить себя бритвою. К нему вошел неизвестный господин, очень моложавый, в синем дорожном полуфраке, при шпорах. Увидев Орлова, страдающего перед зеркалом, он бросил перчатки на дно своего цилиндра, который ловким движением отправил точно на подоконник.

— Не так, не так! — сказал он нервно. — Ну кто же так делает? — Двумя взмахами бритвы он моментально омолодил лицо Орлова со словами: — Вот только теперь вы вполне годитесь в адъютанты генерала Моро.

Орлов в удивлении привстал с кресла:

— Обычно адъютанты представляются своим генералам.

— Ничего плохого, если генерал представится своему адъютанту. Я только что из Берлина, Рапатель подсказал, где найти вас в Праге... Вы, Орлов, уже завтракали?

— Вы меня побрили, а я вас покормлю.

— Превосходно! — согласился Моро. — Не вы ли автор Плесвицкого перемирия? И что хорошего сказал вам Колленкур?

— У меня от его слов волосы встали дыбом. Мне и Шумилову он задал вопрос: «Когда вы, русские, побьете нас столь хорошо, чтобы наш дикарь образумился?..»

Моро выплюнул на ладонь косточку от вишни:

— Вот одна такая дробина, угодив в Наполеона, способна принести всей Европе долгожданное спокойствие. Но среди его маршалов не сыскать нам Курция, согласного миновать в пропасть. Им страшно с ним, но еще страшнее без него...

Орлов спросил его об отношении к войне. Моро сразу же сказал, что вопрос поставлен неправильно:

— К войне можно относиться двояко — глазами Марса или сердцем Макиавелли. Если вас тревожит политическое будущее войны, то вы спешите заглянуть в бездну загадок.

- Разве не ясно, что борьба идет за свободу?

В моем представлении, — ответил Моро, — любая война — линия, вытянутая в бесконечное пространство. Разве мы способны предвидеть, что ждет прямую там, где мы еще не бывали? Так же и с войнами. Начиная войну с одной целью, в конце ее народы приходят к обратным резуль-

татам. В истории бывало, что борьба за свободу оборачивалась народам новым закабалением, еще более худшим. А иногда бывало и так: народ, брошенный в войну силами тирании, вдруг освобождался от тиранов... Да, мы сражаемся за свободу, но в конце этой борьбы, Орлов, будьте готовы к иовой!

«Какое правительство,— писал в эти дни Моро,— следует установить, если будет разрушено существующее (Наполеона)? Я не знаю, какие господствуют взгляды в этом отношении в стране, которую *роялизовали* в продолжение десяти лет. Что же касается меня, то я совершенно свободен от предрассудков...»

С политикой они покончили, перешли к делам батальным. Орлов к слову помянул многих полководцев Россин, сознательно умолчав о Суворове, что не осталось незамеченным генералом Моро:

— Не надо шадить мое самолюбие. Потерпев поражение от Суворова, я не изменил к нему отношения... Будь я на месте Наполеона, я бы ставил в Париже не Вандомскую колонну, а именно памятник вашему полководцу. Ведь если приглядеться к сатаиниской кухне Бонапарта, легко заметить, что самые горячие блюда он готовит по рецептам Суворова... Не удивляйтесь! Бонапарт еще в начале карьеры многое похитил из его тактики, но замаскировал это столь непроницаемым флером, что не всякий теперь догадается — где тут Бонапарт, а где Суворов? Поверьте моему опыту, Орлов: когда историки будущего станут ковыряться в победах Наполеона, они вскроют их первоисточники — победы вашего Суворова...¹

В конце Пражской конференции Меттерних отверг все мирные предложения Коленкура, жестко указав ему:

— Вы опоздали! Срок перемирия истек...

От пригородов Праги и далее, через холмы и леса, сразу запылали громадные костры, видимые очень далеко, и пламя этих костров возвещало народам Европы, что война продолжается. Меттерних объявил — Австрия примыкает к коалиции.

— Вене уже надоело смотреть на войну из окошка, наш император скорбит о положении своей дочери Марии-Луизы...

.....

¹ Знакомые с авторитетным мнением Моро, декабристы придерживались таких же взглядов на развитие военной школы армии Наполеона (Прокофьев Е. А. Борьба декабристов за передовое русское военное искусство. Изд-во АН СССР, 1953).

Французы укрепились с армией в Дрездене. Через ночной город передвигалась артиллерия, канониры шагали с зажженными фитилями, отчего было еще страшнее. Несчастные саксонцы, боясь репрессий, торопливо сжигали карикатуры на Наполеона, брошюры о французских зверствах.

Вступив в войну, Австрия заполонила коммуникации нескончаемыми обозами. Со стороны казалось, что вся империя Габсбургов переставлена на колеса: скрипучим таборам не было конца, а союзники не могли продвинуть свои войска — дороги плотно забиты. Самой армии Шварценберга пока не было видно, зато из края в край перемещались телеги и фуры, из которых торчали прически женщин и головы детей, следующих за солдатами, дабы подбирать добычу.

— Глядя на это,— сказал Орлов царю,— я вижу наших казаков благороднейшими рыцарями. Даже в армии французов мародерство намного пристойнее: их жены остаются возле домашних очагов, а детям они не показывают ужасы войны...

Александр навестил Моро в восемь часов утра, когда генерал еще был в постели. Жестом царь предупредил, что вставать необязательно. (Кстати, Доде считал, что именно в это утро Моро подал царю совет — уклоняться от битвы лично с Наполеоном, но всегда навязывать бой его маршалам. Так это или не так — неизвестно.) Александр звал Моро к обеду, обещая представить императору Францу и прусскому королю. Орлов предупредил Моро, что ему предстоит свидание с сестрою царя, Екатериною Ольденбургскою, бывшей невестой Наполеона, ныне — вдовой. Первое свидание с русским императором произвело на Моро приятное впечатление:

— Он прост. Очень мил.

— Да,— согласился Орлов,— наш государь не только умеет, но и очень любит очаровывать людей...

За обедом прусский король был приветлив с Моро, и только лишь, зато император Франц удивил его словами:

— Мы, конечно, не забыли унижения при Гогенлиндене, и все-таки я благодарю вас за человеколюбие, правил которого вы всегда придерживались в войне с нами. Ваша славная Рейнская армия не разбила на кухнях моих верноподданных ни одного горшка, не задрала юбки ни одной девице. Поверьте, Моро, я говорю это вам от чистого сердца...

Бернадот уже вошел в среду монархов Европы, которые, кажется, простили ему якобинское прошлое. Но с Моро было все иначе, и, сидя между двумя императорами, генерал ощущал некоторую скованность. Проницательный, как бес-

тия, Александр искусно перестроил разговор с войны и политики на театральные новости. Серьезный разговор состоялся позже, в покоях Александра, где царила его обаятельная сестра Екатерина Павловна, глядевшая на Моро с большим женским любопытством. Моро догадался, что именно женщина станет говорить все то, что не хотел бы говорить Александр.

Но беседу начал именно он — с вопроса:

— Как вы относитесь к Шварценбергу?

— Раньше,— ответил Моро,— я сам не стал бы его даже бить. Я послал бы против него любого дежурного генерала при штабе, и от князя Шварценберга уцелела бы лишь память в аристократическом «Готском альманахе».

— Пожалуй,— сказал царь с улыбкою.— По милости Вены у меня по ночам уже шевелится под головою подушка. Сейчас австрийцы выдвигают именно Шварценберга... Создание любой коалиции — всегда процедура противная, ибо каждый из союзников прежде думает о себе. А как вы мыслите об Англии?

— Англия на особом положении в Европе, в коалиционных войнах она может позволить себе проиграть все сражения, но зато выигрывает последнюю, самую последнюю битву, чтобы предстать перед Европой в ореоле главного победителя.

— Боюсь, что так и случится,— сказал царь, глянул на сестру.— Вы, конечно, и сами уже догадались о той роли, которую я предназначал вам, вызывая вас из Америки.

— Да, государь. Вызвать человека из Америки — это не то что позвать человека из соседней комнаты...

— А я давно уважаю вас,— подхватила Екатерина Павловна.— На мне от Меттерниха шевелится даже одеяло. Нишей доблестной армин не пристало, чтобы ею командовали из Вены всякие оборотни. Не станем поддерживать и Блюхера: очень милый и храбрый старик, но он пользуется головой Гнейзенау. Теперь о Бернадоте: он не имеет значения в коалиции, ибо в Померании выставил шведскую армию в скуднейших размерах. Вот и получается, что один лишь вы, давний соперник Наполеона, способны возглавить все армии коалиции...

.....
Рапателю и Орлову, своим адъютантам, Моро жаловался, что плохо высыпается, по ночам его опять преследует давний кошмар: дороги отступления, разбитые коницей, и кузнечный фургон, опрокинутый в канаву, из кото

рого неопрятной грудой вывалились на дорогу новенькие подковы и гвозди.

— Это нервы,— утешил Рапатель.— Каждому из нас не грех почаще вспомнить ту надпись, что была на кольце мудрейшего царя Соломона: «И это пройдет...»

— Не все в жизни проходит. Я никогда не был суевен, но этот проклятый ящик мучает меня уже много лет. Я избавлюсь от него, увидев его пустым, и усну спокойно!

14. ЯДРО

Косная, реакционная империя Габсбургов не могла смириться с тем, чтобы ее войска подчинились генералу Моро — республиканцу! Меттерних соглашался ввести Австрию в состав коалиции при неукоснительном условии: все союзные армии обязаны быть под жезлом их маршала Шварценберга. Александру, очевидно, было неудобно перед Моро, и Екатерина Павловна снова звала его к себе — на чашку чая.

— Мы в дурацком положении,— сказала она.— Вы и сами понимаете, что, не уступи мы Вене с их Шварценбергом, и коалиция сразу даст такую трещину, что потом ее не заделать никакими клятвами... А мы так рассчитывали на вас!

Моро ответил, что служить под окрики битых им австрийских генералов он не намерен:

— Я совсем не желаю переносить те унижения и муки, что сократили жизнь великого Суворова.

— Потому-то,— сказала Екатерина Павловна,— мы предлагаем вам пост военного советника при русской ставке.

— Благодарю. Покидая Филадельфию, я ведь заранее согласился на все условия, какие мне предложит Россия.

— Ах, милый Моро! — удрученно произнесла женщина, подливая ему в чашку сливок.— Все было бы иначе, и этот мерзавец Меттерних не мог бы ни к чему придаться, если бы вы хоть на время войны отказались от своих убеждений.

— Научите, как это делается,— пошутил Моро.

— Об этом вам лучше всего расскажет Бернадот.

— *Sunt si que*. Бернадоту светит королевская корона, а у меня фригийский колпак якобинца, который еще с юности приколочен к моей голове большими гвоздями...

Моро был оскорблен, но, подавив в себе самолюбие, он с чистой совестью остался советником при Главной квартире, допущенный ко всем секретам русских штабов.

Под стенами Дрездена, занятого войсками маршала Сен-Сира, возникла неприличная ситуация: русская армия (главная ударная сила в Европе, больше всех сделавшая для разгрома Наполеона) подпадала под влияние тупой бездарности Шварценберга. Наполеон находился в Лузании, угрожая оттуда вторжением в Чешскую Богемию, и Александр в беседе с Моро выразил уверенность, что ожидать его возле Дрездена нет смысла:

— Он там завяз, вроде почтальона в грязи, а я вас прошу ради соблюдения формы представиться князю Шварценбергу и его внушительным менторам — Лангенау и Радецкому...

Орлов при этом перевел для Моро русскую поговорку: «Назвался груздем — полезай в кузов». Он держал под узды лошадь генерала, накрытую под седлом вальтрапом из голубого бархата, расшитого золотыми колосьями. Моро дал лошади шпоры, за ним поскакал Орлов, между всадниками, вывалив из пасти красный язык, мчался неутомимый и верный Файф.

— Мне это противно, — вдруг произнес Моро.

— Я вам сочувствую, генерал, — ответил Орлов...

Шварценберг не желал видеть Моро, а его генерал Радецкий еще не забыл Гогенлиндена, где был опрокинут французами, и он, кажется, намеренно оскорбил Моро:

— Для меня вы... перебежчик. Я с удовольствием передал бы вас в лагерь Наполеона, и пусть он вас судит...

Лангенау был помешан на географии, он пытался доказать Моро, что в искусстве поражения противника главное условие — это овладение истоками его рек.

— Надо же так! — восхитился Моро. — Теперь-то я понял, в чем причина поражения Наполеона в России: смуты, глупому, захватить те родники, из которых берет начало русская Волга, и тогда русские сами бы сложили оружие...

Моро с Орловым молча возвращались обратно в станку. Вдали виднелся гигантский мост через Эльбу, ведущий к Дрездену, зелень Королевского парка, между живописными саксонских деревушек петляла дорога на Бауцен, на открытых полянах, среди садов, перебегали французские стрелки.

— Среди них, — сказал Моро, — наверняка есть и такие, что были со мною при Нови и Гогенлиндене... Что за судьба?

Сражение под стенами Дрездена постепенно ожесточилось. В открытом поле Александр устроил военное совещание

ние. На траве раскинули походный стол. Чтобы ветер не унес карты, их придавили по углам камнями. Моро явился с русскими генералами, был приглашен и Шварценберг со своими менторами. Стали говорить, что, пока Наполеон околачивается в Лузании, можно смело предпринять штурм Дрездена:

— Сен-Сир не выдержит натиска и сдаст город.

— Сен-Сир,— ответил Моро,— это мой давний ученик, и не пойму, почему вы столь дурного о нем мнения? Я предлагаю не штурм Дрездена, при котором наша армия расплющит лоб о стены города, а лишь обложение его с батареями...

Русские поддержали Моро, а Шварценберг обещал, что во время обложения устрасит Наполеона своими демонстрациями, маневрируя с обозами. Моро с раздражением сказал:

— Наполеон не тот человек, которого можно устрасить маршами да еще с обозами. Зато его демонстрации уже не раз вынуждали противников оставлять позиции...

Казалось, на том и порешили. Но в штабе Богемской армии (ночью!) Лангенау убедил Шварценберга составить диспозицию к утрениему штурму. Вернее, даже не штурм, а лишь попытку к штурму они желали обратить опять-таки в демонстрацию силы. Диспозиция была составлена по всем правилам бюрократического идиотизма: «Первая колонна марширует влево, разворачиваясь направо; вторая колонна марширует направо, после чего разворачивается налево...» Курьеры с приказами поскакали, а союзников даже не оповестили. Но именно в это время Наполеон, словно метеор, летел к Дрездену. Бауценское шоссе не могло бы пропустить через себя целую армию, которая (при движении единой колонной) вытянулась бы в длиннейшую «кишку». Наполеон расчленил армию на ряд отдельных, укороченных колонн, длиннув их фронтально — проселками, но в общем направлении на Дрезден...

Было еще темно. Моро проснулся от грохота артиллерии. В соседней комнате Рапатель уже заряжал пистолеты.

— Что случилось... ты не знаешь?

— Сам удивлен. Но дело, кажется, разгорелось.

— Странно. Надо поспешить. А где мои сигары?

В карман серого пальто Моро опустил коробку сигар, и бросил на голову высокий цилиндр. Чужа дорогу, Файф радостно визжал. К удобным сапогам американского фермера Моро прицепил шпоры, и только эти шпоры выдавали в нем военного человека. Было туманно, впереди слышалась канонада. Спрессованный угар сгоревших поро-

хов наполнял долины дымом, в котором метались фиолетовые языки пушечного огня. Моро придержал лошадь. Он увидел кузнечный фургон, опрокинутый взрывом в канаву. Дверцы его были сорваны с петель, а внутри фургона зияла странная пустота.

— Что вы остановились? — спросил Рапатель.

— А куда же делись все гвозди? Куда подковы?

— Да их же растащили... спешим, генераль.

В пороховом чаду битвы, словно в тумане, качались высокие метелки гусарских султанов, похожие на камышовые стебли, растущие из чудовищного болота. И гусары исчезли.

.....
На Рекницких высотах было тесно от множества штабных офицеров, окружавших Барклая и его помощников.

— Видите, что творится, — сказал Барклай, поворачивая к Моро свое плоское, бледное лицо. — Шварценберг начал штурм, не предупредив нас... За ним уже послали!

Александр, свесясь из седла, беседовал с лазутчиком, сообщившим, что Наполеон уже в Дрездене со своей армией. Заметив Моро, император вытянул руку в сторону битвы:

— Что за бедлам? Неужели такими вот вивисекциями я должен расплачиваться за «дружбу» с Веною?

— Сир, — отвечал Моро, — у России не десять армий, и всего одна, и ее надобно поберечь. Велите Барклаю ослабить давление Мортье на левом фланге. А справа дивизии Нея? Тоже неплохо, черт побери... Надо выкручиваться!

— Возможно ли отменить эту дурацкую диспозицию?

— Если поспешить, то — да...

Громы артиллерии сотрясали почву и воздух, испуганный Файф крутился между ног лошади своего хозяина. Панограма обширной битвы прояснялась. Шварценберг прибыл вместе с Лангенау — оба пристыженно-жалкие, сами не понимающие, что они натворили. Теперь всю вину сваливали на Наполеона, который, не спросясь у них, дураков, проник в Дрезден, а не остался торчать в Лузацин. Моро возвысил голос на Шварценберга и на его паршивую «няньку» Лангенау:

— Кто вам позволил изменять решение военного совета армий всей коалиции? На что вы, господа, рассчитывали? Или на свой гений, или на энтузиазм союзных армий?

Шварценберг ответил (и довольно-таки резко), что «энтузиазм» — слово из лексикона якобинских клубов, и в его армии энтузиазм заменяется послушанием. Грубый и

мек вывел Моро из терпения, он швырнул под ноги шляпу, которую и поддал носком фермерского сапога.

— Теперь-то я понимаю, почему французы колотят вашу милость семнадцать лет подряд... Отменяйте диспозицию!

— И быстрее,— поддержал Моро царь.

Шварценберг с Лангенау покинули Рекницкие высоты, и оба они... пропали! В русской армии все делалось на бешеном аллюре ординарцев и адъютантов. Но в австрийской все проходило через канцелярию. Пока они там писали и переписывали, еще четыре колонны, во исполнение их ночной диспозиции, вломились врукопашную, погибая от чужой глупости...

— Михаил Богданыч,— окликнул царь Баркляя,— вы оставайтесь здесь, я с Моро проеду до батареи Никитина.

Всадники спустились с горы, узкая тропа вела их вниз между камней и кустарников. Александр сказал:

— У меня сегодня очень нервничает лошадь. Прошу вас, поезжайте впереди, а Рапатель — за мною.

— Извольте, сир,— ответил Моро, занимая место впереди царя.— Поверьте моему опыту...

Эта его фраза осталась незаконченной.

Французское ядро обрушилось с высоты.

Оторвав правую ногу, оно пробило седло.

Пробив седло, пронзило насквозь и лошадь.

Пройдя через лошадь, раздробило и левую ногу.

Сначала упал Моро, сверху его придавило животное.

— Моро! — крикнул Александр.— Что с вами?

— Это *смерть*,— простонал Моро.

Рапатель в ужасе закрыл глаза ладонями:

— О, боже... почему не я выехал вперед?

Лейб-медик Виллие никогда не покидал ставки.

— Спасите хоть голову Моро,— велел ему царь.

— Боюсь, что только голова и останется...

Примчался Орлов, из казацких пик он, человек бывалый, ловко соорудил носилки, а Виллие указал ему:

— В деревню Нетниц... до ближайшего дома!

Правая нога, оторванная ядром, осталась в кустах. Крестьянская семья в Нетнице, увидев Моро, разом сгребла всю посуду с обеденного стола, на котором Виллие сразу же начал обрабатывать обрубок ноги. Моро во время операции алчно сосал крепчайшую сигару. Два больших ядра, видимо воняя, разнесли весь угол дома, но мужественный врач не прекратил работы.

— Левую ногу не спасти,— предупредил он.

— Так отрежьте ее... только скорее!

Появился Павлуша Свиный, Моро просил дать вторую сигару.

— Мошенник Бонапарт! — произнес он со страшным надругом.— Он и здесь оказался счастливее меня...

Из мемуаров Наполеона, сочиненных им на острове Святой Елены: «Местный крестьянин принес королю саксонскому валявшуюся на поле битвы ногу вместе с сапогом и высказал догадку, что ранен какой-то важный офицер. Полагая, что по сапогу можно узнать, кто именно ранен, король прислал этот сапог мне. При осмотре его удалось установить одно — сапог не был английского или французского изделия...»

Оторванную ногу разглядывали маршалы и генералы.

— Удивляюсь! — сказал Бертье.— Такой странной обуви с таким сложным рантом в Европе вообще не производят.

Ординарец Гурго вдруг суматошно закричал:

— Собака! Откуда взялась эта дикая собака?

С поля битвы в шатер императора забежал громадный пес и, сильно перепуганный, дрожа, забился под стол. На ошейнике собаки прочитали надпись: «Принадлежу гражданину Ж.-В. Моро»,— и тогда все поняли, чей был сапог.

— Правосудие неба свершилось! — обрадовался Наполеон.

Коленкур записал его слова: «Это моя звезда, моя! Смерть Моро будет одной из важных страниц моей истории». И все время битвы под Дрезденом он возвращался к Моро:

— Моро сам не пожелал лучшей судьбы. Я был к нему добр и все прощал. Но он отвернулся от меня, и его звезда навеки погасла. Его честь и его заслуги перед Францией никогда не будут ратифицированы французской историей. Франция запомнит только меня... одного меня!

...Исподволь в армии был распространен слух, будто император сам зарядил пушку ядром, сам точно прицелился, сам выстрелил и сам же убил «изменника» Моро.

— Vive l'empereur! — восклицали «мари-луны».

Шварценберг отступал; его войска, не долго думая, тут же сдавались Наполеону заодно с «хурдой» (как называли казаки награбленное), а поверх «хурды» плакали женщины и дети. Под проливным дождем Орлов сказал Александру

— Причуды венского вальса! Ружья у австрийцев устроены столь отлично, что при дожде они не стреляют...

— Все они босяки! — выразился Александр...

Он уступил для Моро свою карету, но бедняга — даже на рессорах — не мог вынести ее тряски. Для сопровождения его был выделен почетный эскорт на лошадях. Из гренадерского полка богатырей Орлов выбрал десять человек одинакового роста и шага, чтобы поставить их под носилки. Дожди зарядили надолго, над лежащим Моро солдаты устроили балдахин из своих шинелей. «Дорога через горы, — писал Павел Свиньин, — была ужасная, трудная даже для здорового человека, но генерал сносил все трудности, не подавая знаков ослабления. В этом непоколебимом духе мы находили новые причины к надежде, особенно после первой перевязки, когда его раны были найдены в лучшем положении... быстрые потоки заграждали дорогу, глубокие пропасти и kloкочущие бездны едва позволяли на тропе держаться его носильщикам!»

Под грудями одеял в изуродованном теле еще шла борьба за жизнь, хотя Моро однажды уже сказал Рапателю:

— Пропал! Хорошо хоть, что умираю ради великого дела... Если б не это проклятое ядро! Круглый кусок негодного металла, а как много несет он страданий... Пропал я.

Тридцатого августа гренадеры донесли его до чешской деревни Лаун; Моро, лежа в чистой горнице, собрался с силами, желая известить Александрина о себе: «Бонапарт все еще счастлив, — писал он в Лондон. — Мне сделали операцию как нельзя лучше. Хотя мы отступили, но только для того, чтобы соединиться с Блюхером. Извини мое маршье, я люблю тебя и целую ото всего сердца. Поручаю Рапателю дописать письмо», — и на этих словах он выпустил перо из пальцев.

— Больше не могу, — сказал Моро Рапателю. — Допиши сам, что хочешь. — Орлову он подарил саблю, на эфесе которой галльский петух разинул клюв в воинственном призыве. — Возьмите от меня на добрую память. Видите, как горланит задира? Это хороший символ нашего будущего, Орлов...

На рассвете 2 сентября 1813 года он умер, и крик деревенского петуха совпал с последним вздохом его.

Михаил Орлов навестил в ставке Александра:

— Ожидаю ваших распоряжений — какая земля должна быть счастлива, растворив свои недра для останков Моро?

— Моро погиб под знаменами русской армии, разве можно отдавать его чужбине? Пусть Рапатель везет в Петер-

бург, а при погребении отдать почести русского фельдмаршала...

В Праге тело Моро подвергли бальзамированию. Рапатель и Чарли везли его через Варшаву, где и переночевали, не расставаясь с мертвецом, в комнате гостиницы. Ближе к ночи старый лакей принес им свечи, кивнул на покойника:

— Он лежит и не знает, что именно в этой вот комнате Наполеон, убегая из России, признал свое поражение словами: «От великого до смешного — один шаг...»

Петербург встретил Рапателя ледящим ветром, бедный Чарли совсем замерз, он доверчиво жался под шинелью полковника. Все заботы о погребении Моро взяло на себя военное министерство, в церкви св. Екатерины вскрыли подвал, где покоились два польских короля — Станислав Лещинский¹ и Станислав Понятовский... Рапателю сказали, что на том свете республиканцу Моро, наверное, будет безразлично близкое соседство двух коронованных особ.

— Мертвому все равно, — не возражал Рапатель...

Похороны состоялись 2 октября в присутствии двора, генералитета и всего дипломатического корпуса. Несмотря на холодную погоду, возле церкви и внутри ее собралась очень большая толпа петербуржцев — и знатных и простолюдинов. Факельщики в черных одеждах открывали движение пушечного лафета, в который были впряжены рослые кони в черных пелеринах. Вдоль всего Невского выстроились шпалеры войск гвардии, размеренно стучали барабаны, обвитые траурным флером, ветер с Невы шелестел низко опущенными знаменами.

В подвале храма было душно, пылали факелы и свечи. От этого дня сохранилась запись: «Внезапно явились две фигуры и с плачем кинулись на гроб. То были адъютант покойного и его маленький негр. Сердце мое умилилось при этом зрелище оплакивания Моро, продолжавшем терпеть изгнание и по кончине своей. Маленький негр был так жалок...»

Гроб закопали. Свечи и факелы погасили.

Рапатель нанял коляску и отвез осиротевшего Чарли и Гатчину, где оставил его в сиротском доме для бедных.

А сиротских домов для богатых и не бывает!

¹ Станислав Лещинский похоронен в городе Нанси (Лотарингия) но его череп и часть скелета погребены в Петербурге.

Вернувшись из Петербурга, Рапатель заехал в Теплиц, где у подгулявшего мадьярского помещика он выиграл в карты на шестерку с тузом сказочную белую лошадь, которой все восхищались. Даже Александр и тот ему позавидовал.

— Берегите ее, Рапатель,— сказал он.— А если надумаете продавать, я куплю ее у вас сразу же.

Рапатель барышничать с царем не желал, обещая подарить лошадь, но прежде он въедет на ней в Париж... Жезл фельдмаршала, возложенный на могиле Моро, оставался в церковном подвале, а память о Моро нуждалась в монументе — именно на том роковом месте, где его сразило роковое ядро.

— Лучшим же украшением памятника, я мыслю, будет фригийский колпак якобинца... но как это сделать?

— Я поговорю с государем,— обещал Орлов Рапателю.

Александр тактично не возражал против фригийского колпака, русские офицеры собрали деньги по подписке; памятник Моро был поставлен под Дрезденом (гравюры с видами монумента продавались тогда во всех столицах Европы). Вдове Моро было предложено переселиться в Россию, на этом настаивал и Рапатель, писавший ей в Лондон: «Вы обязаны это сделать, если не для себя, то ради нашей дочери». Россия с небывалой щедростью оплатила Александринае ее вдовство: она получила сразу полмиллиона рублей, ее дочь стала фрейлиной императрицы, еще ребенком обретя пожизненную пенсию в 30 000 рублей. Александринае присвоили права маршалши (la maréchale Moreau). Павлуша Свиныйн отправился в Лондон — с письмами к мадам Моро и указами царя.

Рапатель по секрету сообщил Орлову, что в Праге остался архив Моро, чрезвычайно ценный для истории революции:

— Он не должен попасть в чужие руки. Я не доверил его Свиныйну, а все бумаги лучше бы отправить в Лондон...

Орлов выделил конвой для сопровождения кареты с архивом генерала. Судьба распорядилась с ним чересчур жестоко: на карету напали французские драгуны, и все бумаги Моро внимательно просмотрел сам Наполеон.

— Странно,— сказал он Монтолону,— годы не исправили этого человека, и он умер с такими же претензиями к обществу, как в юности. Эти чувства не могла перебороть

в нем даже его красивая креолка, которую он очень любил...

Но кое-что из бумаг Моро он обратил в свою же пользу: Наполеон стал насыщать манифесты забытыми девизами времен революции, он сулил народам свободу и равенство, император бессовестно перенимал для себя те самые лозунги, защищая которые погибли его враги — генералы-республиканцы. Обращаясь к лучшим чувствам французов, Наполеон спекулировал на этих чувствах, дабы спасти от разрушения самого себя, свою империю, свой пышный престол, свое непомерное величие.

.....
Проиграв великую «битву народов» при Лейпциге, он болезненно уснул на складном стульчике возле мельницы, смертный из смертных, душевно опустошенный, и когда пробудился, то увидел, что большая часть горизонта охвачена гигантским заревом — это пылало море костров армий его противников, только к западу сгущалась ночная тьма, лишенная всякого света, именно в этом мраке исчезала его отступавшая, разбитая армия. Бертье сказал маршалам: «У него такое же выражение лица, какое было и в Сморгони, когда он бежал из России, только теперь уже не может свалить вину на русские морозы и лошадей». Дотащив свою измученную армию до тихого Эрфурта, Наполеон снова принял надменную позу:

— Я еще способен отыграться той картой, которую и поставлю на последний лафет последнего орудия...

Меттерних уже решил спасти Наполеона, чтобы сохранить его Францию — как могучий резерв для политического давления на Россию, и потому Шварценберг всюду где можно устраивал Наполеону «золотые мосты» для спасения его армии. Богатейшая империя Габсбургов оставила свои войска без обуви и одежды; на перевязки венские врачи кромсали мешковину соляных кулей, отчего раны разъедали еще больше; австрийцы разбегались, армия на глазах таяла, зато обозов в войсках Шварценберга даже прибавилось, и казалось, что в этой войне за освобождение Европы Австрия задалась целью — освободить Европу от всего, что плохо лежит. Русским давно осточертели такие союзнички, и, увидев где-либо их обозы, они без лишних разговоров переворачивали все фургоны кверху колесами. Зато уж Блюхер всегда был солидарен с русскими в их наступательном порыве. Командуя русскими войсками, он освоил и русский язык, но в пределах двух сокрушающих фраз:

— *Вперед, ребята... Пошел!*

Пруссаки звали его «генерал Форвертс», русские имевали Блюхера «генерал Пошел». Орлов предлагал Александру:

— Не устроить ли в Эрфурте новую Березину?

— С кем? — отвечал царь. — С одним Блюхером? Я же не могу каждый раз тащить в бой Шварценберга за волосы...

Отоспавшись в Эрфурте, Наполеон за два дня преодолел Тюрингенские леса, его отход прикрывали Мармон с Бертраном, тысячи французов с бранью швыряли ружья в канавы. Мюрат тишком, как ворышка, бросил своего гениального шурина и помчался в Неаполь — спасти корону! Не лучше Мюрата повел себя и Бернадот: он оставил союзников без помощи, самовольно открыв войну с Данией — ради приобретения Норвегии. Наполеон, как боевой слон, нечувствительный к ударам мечей, растаптывал все очаги сопротивления, и 1 ноября 1813 года он убрался сам и убрал за Рейн свою армию — во Францию. С этого дня открывался новый этап войны, завершающий, но и самый мучительный; перед русской армией стала задача: «Внести оружие во французские пределы, продлить войну до полной капитуляции в Париже!» 1 января 1814 года, русские солдаты шагнули за Рейн, готовые к новым жертвам... Франция встретила их сильнейшими морозами, все было завалено глубокими снегами. На первом же марше армия недосчиталась множества солдат — они... *замерзли*. Смерть русских от холода на земле Франции кажется каким-то диким парадоксом, но так и было.

Наполеон спешно формировал новые войска, он преступно разжигал ненависть и страх перед армией России, он уверял население страны, что все русские — людоеды:

— От европейцев они это умело скрывают, хотя втайне всегда питаются человечиною. Казаки же особенно любят вареное мясо молоденьких женщин или зажаренных младенцев.

Департаменты были засыпаны манифестами и прокламациями императора, в них писалось, что нашествие азиатов осквернит чистоту крови галлов, русские казаки и башкиры превратят французов в новую породу людей — диких и косяглазых...

Его последняя карта — на последнем его лафете!

Но вызвать новую народную «шуанерию», подобную испанской гверилье, схожую с партизанской войной в России, Наполеону не удалось: он запугал Францию, но он ее не вдохновил.

Зато Рапатель уже стал бояться встречи с Францией:
— В этом русском мундире не стану ли я испытывать на себе ненависть родины? Куда мне деваться? Ехать после войны в Испанию или в Грецию, чтобы сражаться за чужую свободу?

Орлов поправил на лбу модный кок «эсперанса».

— Вы затеяли обидный для меня разговор. Разве когда-либо вы слышали от кого-либо, что после победы двери России для вас закрыты? Оставайтесь у нас и пишите себе мемуары.

— Вы предвосхитили мою просьбу, Орлов,— сказал Рапатель.— Под этот неумолчный шелест знамен я повидал многое, и обидно, если со мною все это исчезнет... Да! Вот дойдем до Парижа, и я буду просить о русском гражданстве.

— К сожалению, у нас есть только подданство. Но даже в монархической России мы умудряемся быть свободными...

Весна быстро прогрела Францию, снова зацветавшую белыми яблонями. Все больше русских могил оставалось на чужеземных погостах, над убитыми музыканты играли на волторнах, офицеры палили из пистолетов и плакали. Хоронили, как правило, без гробов (даже генералов укладывали в шинелях). В Труа из разбитых уличных фонарей вытекало на мостовые масло, и солдаты, чтобы добро зря не пропадало, подставляли под жирные струи сапоги, нуждавшиеся в смазке. В предместьях Труа, где питьевые пруды были завалены трупами, Орлов дал отличный завтрак пленному генералу Рейнье. Салфеток в обозе не нашли, а денщик, далекий от политической этики, сунул под тарелки афишки Наполеона, предупреджавшего, что «надвигается орда людоедов, казаков, татар и санюлотов».

Рейнье оказался милейшим человеком.

— Странная жизнь, колонель! Вы были адъютантом Мора, а я состоял при нем еще в кампании на Рейне, и разве мы думали тогда о конце... *таком конце?* На переправе в Майнце я слышал, как маршал Даву ляпнул императору прямо в лицо: «Вы, сир, сыграли с нами неплохую шутку! Не затем ли и протащили французов до Москвы, чтобы пригласить их в Париж?»

Орлов сказал, что плен для Рейнье закончился:

— Вы свободны! Советую переждать где-нибудь в провинции это время. Если поиздержались, мой кошелек и вашим услугам.

Было жарко. Над сбитыми спинами лошадей ронялись жирные, крупные мухи. Дома крестьян зарастали хмелем.

— Все это очень трогательно, — ответил Рейнье. — Но вы не думайте, что под каждым булыжником Парижа растет белая бурбонская лилия. Если не будет империи, то... республика?

— А мы не решаем судеб Франции, — сказал Орлов. — Мы боремся лишь за свержение династии Бонапарта, за то, чтобы Европа отдохнула от войн... хотя бы полвека!

Над деревнями вились ласточки, армия топала дальше, а среди офицеров иногда возникали опасливые настроения: «Не учинят ли нам французы такое же потчеванье, какое устроили им в двенадцатом мужики да бабы наши?» Но все было спокойно, лишь однажды Орлову пришлось здорово поволноваться... В одной из деревень его обступили французенки, громко взывая о пощаде. Показывая на молодую крестьянку, женщины наперебой кричали, что ей только что было предложено раздеться и лезть в котел с кипящей водой... «Что за вдор?» Плачущая молодница проводила Орлова до своего дома; с робостью открыв перед ним двери горницы, она крикнула:

— Вот он! Хотел меня зарезать и сварить...

Возле громадного камина, в толщу которого был вмазан не менее громадный котел, стоял обалдевший фейерверкер-артиллерист и держал в руке большую сверкающую бритву.

— Что ты, дурак, натворил тут? Сознаться.

Указывая на хозяйку, служака храбро защищался:

— Помилуйте! Это не я дурак, это вот она дура самая последняя. Я ей, глупой бабе, русским языком, честь честью, втемяшиваю: «Мутерхин, вассер кохен» — и, бритву наточив, показываю на котел: мол, нужна для бритья водичка погорячее. Чего ж тут не понять? Сколько стран и городов прошагал, а эдакова сраму со мною ишо не случилось.

— Да пойми, олух царя небесного, тебя с этим «мутерхином» понимали в Саксонии и Пруссии, а здесь — Франция.

— Но во Франции-то мы тоже должны бриться!

— Дайте ему воды, — сказал Орлов крестьянке...

Франция не казалась русским такой уж прекрасной, какой они раньше ее представляли: «Славны бубны за горами!» — и солдаты видели земляные полы в жилищах, страшную дороговизну дров, убогость кухонной утвари, скудость питания. Всюду царили бедность и грязь, ужасало множество клопов, отсутствие бань в обиходе. Офицеры из дворян, воспитанные гувернерами-французами, тоже были обескуражены, но иначе: их удивляла безграмотность провинции, где люди жили, как в клетках, ничего не зная, что

творится за три лье от их селений, и даже близость Парижа не сделала их более культурными. Некоторые офицеры, получившие блестящее образование в пансионах Москвы и Петербурга, теперь чувствовали себя обманутыми с самого детства, а сельские кюре не могли ответить на их мучительные вопросы:

— Где же та Франция, на которую мы молились? Франция светочей ума и свободы? Неужели все это надо искать в одном Париже? Нам так много трезвонили о процветании под скипетром Наполеона, неужели всю философию упрятали в зарядные фуры артиллерии? Неужели имена Вольтера и Руссо бесследно померкли перед славой Маренго, Иены и Ваграма? Если это так, то мы недаром докатили до вас свои пушки...

Впереди лежал старинный городок Фер-Шампенуаз.

Русские двигались к нему от Витри, со стороны Шалона шел на рысях неутомимый Блюхер. У него была высокая температура, он пересел в коляску и нечаянно закатился прямо к французам, но успел рявкнуть: «Пошел!» — и донские казаки в сабельном исступлении рубки избавили старика от плена. Развернув свой корпус на соединение с русскими, Блюхер повел его на Фер-Шампенуаз... Наполеон еще кружил вокруг да около Парижа, и один безграмотный урядник прислал в ставку донесение: «Анператор претси аж на Москву!» — это вызвало в штабах бурное веселье, хотя урядник в общем-то был прав: Наполеона иногда заносило не в ту сторону. Догорали костры, уланы дремали в седлах, а чтобы во сне не упасть, упирались пиками в землю. Выходило солнце — солнце Фер-Шампенуаза!

Войска двигались без дорог — по гладкой равнине, играла музыка, пели и плясали «песельники». Пехота скоро отстала, не в силах угнаться за конницей и конной артиллерией. Маршалы Мармон и Мортье вели дивизии, чтобы подкрепить императора, совсем неготовые встретить русских на подступах к Парижу. У маршалов была хорошая конница, недавно выведенная из Испании, но кавалергарды с уланами не знали, что она хорошая, и мигом растрепали ее, как плохую. Блюхер поспел русским на помощь, когда кирасиры укладывали палашами — прямо на шоссе! — шестую тысячу французской пехоты. Мортье с Мармоном убедились в тщетности сопротивления и, побросав пушки и раненых, бежали к Парижу...

Александр со свитой выехал в Фер-Шампенуаз, в дороге его перехватил гонец князя Васильчикова с запискою: впе-

реди возможна встреча с неприятелем. Царь не поверил:

— Откуда его взяли? В глазах у князя двоится...

Через лорнетку он смотрел на спешащего к нему всадника. Золотые гроздья аксельбантов ритмично качались на его груди, в опущенной руке блистал палаш, с которого ветер срывал капли свежей крови... Это был Орлов, и царь крикнул ему:

— Вы что? С утра пораньше уже рубились?

— Да! — подскакал Орлов. — Гляньте вправо: две дивизии Пакто и Амье... шестнадцать пушек!

— Откуда их вынесло? — удивился Александр.

— Очевидно, шли на randevу с маршалами...

Помимо пушек французы тащили 80 фургонов с боеприпасами и 200 000 пищевых рационов для армии своего императора. Орлов пучком травы вытер палаш, предупредив, что за войсками Пакто и Амье князь Васильчиков уже развернул кавалерию.

— С ним гусары, — сказал он. — Хотят драки...

Французы, как и войска маршалов, не ожидали встретить русских поблизости от Парижа. Их солдаты ошибочно приняли царя за Наполеона, стали бросать вверх шапки: «Vive l'empereur!» Конная батарея Маркова открыла огонь. Марков навесил залп поверх голов французов, задев ядрами гусар Васильчикова, а войска Пакто еще громче возгласили славу Александру.

Вся свита царя с бранью накинулась на Маркова:

— Прочь от пушек! Ну кто же так стреляет?

Васильчиков (тоже поверх французов) перебросил четыре ядра подряд в своего же императора, думая, что бьет в Наполеона, — его смутили приветственные выкрики французов. Ошибка прояснилась, но Александр не скрывал испуга:

— Я думал, что меня ожидает судьба Моро.

— А вот и *каре!* — доложил Рапатель...

Французские колонны упруго и быстро улитками сворачивались в крепкие каре. Со стороны на это смотреть было даже забавно. Став неуязвимыми для сабель кавалерии, они медленно, как большие черепахи, отползали к Фер-Шампенуазу, в сторону Сен-Гонтских болот. Вокруг них кружились кавалерийские смерчи, полыхали сабли, но каре оставались нерушимы.

— Воздадим им должное! — произнес Орлов. — Эти люди сделаны из железа. А с добрым сердцем даже в шашки не выиграть.

В клубах взбаламученной пыли артиллерия ломала ядрами одно каре за другим, но, поредевшие, они смыкались в новые, еще более плотные. Наконец пушкам удалось пробить эти людские стены, в их бреши ринулись уланы с казаками, вырубая всех, кто не сдавался. А они — нет! — не сдавались, из гущи каре слышался голос раненого генерала Пакто:

— Умрем, французы, за великого императора.

— Эти не сдадутся, — решил Рапатель.

— Похоже, что так, — согласился Орлов.

Париж был рядом, и никто не хотел умирать.

— Позвольте умереть мне, — вдруг сказал Рапатель, уже растирая в ладонях уши красавицы лошади, чтобы она стала злее. — Попробую уговорить их... К чему лишняя кровь?

— Рискните, Рапатель, — согласился царь.

Шпоры — в бок, и лошадь (белая как снег) резким галопом, выкидывая из-под копыт сочные комья сырого дерна, вынесла Рапателя перед геройским и стойким каре французов. В русском лагере печально пропели серебряные валторны. Рапатель помахал руками, показывая, что оружия не имеет.

— Французы, добрые французы! — прокричал он. — Я тоже француз, и вы должны мне поверить. Россия не питает вражды к нам. Русская армия не знает чувства мести. Никто не спорит, что император Наполеон принес вам много славы...

— Великий император! — грянуло из каре.

— Но он принес Европе страдания, кровь...

Ряды каре раздвинулись, будто в заборе открыли калитку. Из гущи спрессованных тел лошадь вынесла французского офицера. Он держал в руках пистолеты, украшенные золотыми головками императорских орлов наполеоновской гвардии.

Это был брат Рапателя... его *родной брат*.

— Так умри же, отродье Франции! — кркнул он.

Пистолеты грянули разом — из двух стволов.

Лошадь Рапателя, ощутив свободу в стремях, вихрем унеслась обратно — прямо в русский лагерь, где горнисты оторвали от губ валторны... Артиллерия сокрушила центр каре, в которое первым вломился богатырь Орлов.

— Шпагу! — повелел он Пакто. — Кладите шпагу...

Французы уже не стреляли, но оружия не выпустили. Между ними ходили русские, отнимали ружья:

— Ну хватит, все... довольно! Париж-то — вон он...

Орлов подвел к царю белую лошадь Рапателя:

— Бедняга обещал подарить ее вам. Она ваша.

— Нет, Орлов,— отказался Александр.— На этой удивительной лошади вам еще предстоит въехать в Париж.

Фер-Шампенуаз — последняя битва на земле Франции
Вдалеке уже завиднелись высоты Монмартра.

16. ПЕРВЫЕ В ПАРИЖЕ

В праздничных рядах Пале-Рояля, там, где шумно торгуют магазины, соблазняя донских казаков «часами с музыкой» и говорящими попугаями, там, где перед витринами фланируют веселые парижанки, кокетничая с русскими офицерами и не боясь, что их дети станут «дикими и косоглазыми», там, где старый Блюхер три дня без просыпу пьет шампанское и режется в карты, угрожая немедленно взорвать мосты Парижа и растащить все сокровища Лувра, там, где шелкают шары бильярдov и под мотив вульгарной песенки «Мальбрук в поход собрался» звенят до утра фишки рискованного лото,— там, в отдельном кабинете ресторана, Михаил Федорович Орлов собрал друзей:

— Европу и народы ее мы от деспотии Наполеона избавили. Не пора ли теперь подумать о своем несчастном отечестве, дабы избавить народ великий, народ российский от постыдных тягот крепостного состояния, от нужды бесправия...

Орлов был сегодня в генеральском мундире, при сабле Моро, с которой уже не расставался.

— Друзья, станем же первыми! — воззвал он.— Я предлагаю образовать тайное общество честнейших и благороднейших людей, для которых народ, свобода и отечество да будут навеки святы! Мы назовем наш союз ОРДЕНОМ РУССКИХ РЫЦАРЕЙ... Другого названия я не мог придумать, и, кажется, через сто или через двести лет станут называть нас иначе.

Он сел, опустив подбородок на эфес сабли, как это делал и генерал Моро. С эфеса, гневно разевая свой клюв, кричал петух, зовущий людей к пробуждению.

Петухи кричат на святой Руси.
Скоро ль будет день на святой Руси?

ЭПИЛОГ. МНИМЫЕ ИНТЕРВЬЮ

А если я скажу вам, что последний ветеран «Великой армии» Наполеона умер в Саратове, вы мне пове-

рите? А если я скажу вам, что, рожденный в 1768 году, он скончался в 1894 году, вы мне тоже поверите?.. Моя беда: не умею заканчивать романы и завидую тем, кто умеет. Меня не спасет даже то обстоятельство, что следующий роман, «Париж на три часа», связан с этим романом... И сейчас я хочу пофантазировать в пределах реального, придерживаясь точных исторических фактов. Представим, читатель, что я, ваш покорный слуга, вернулся в прошлое. Начнем с того момента, как я навестил в Петербурге графа А. А. де Бальмена, бывшего русского комиссара на острове Святой Елены. Александр Антонович уже ничего не видел, ему предстояла сложная операция по снятию катаракты...

— Наверное, вы будете спрашивать о Наполеоне... Ну, что Наполеон? Обычный человек, как и все люди. Только более капризный, чем все. Он напоминал актера, который ушел со сцены, не доиграв роли, всеми освищенный. Мне, честно скажу, уже поднадоели все банальные о нем вопросы.

— А если я задам вопрос не банальный?

— Постараюсь ответить.

— Правда ли, что Наполеон был плохим кавалеристом?

— Да, это не Мюрат. Но у меня есть доказательства тому, что Наполеон умел держаться в седле... Однажды в горах на острове Святой Елены он совершал прогулку верхом. Его сопровождал конвой англичан. Чтобы избежать надзора, Наполеон совершил на лошади прыжок в пропасть. Англичане поскакали к Лоу, дабы известить его о самоубийстве Бонапарта. Но когда Лоу примчался в Лонгвуд, он застал императора за обедом.

Мы легко разговорились. За окнами кабинета плавали синева морозных улиц вечернего Петербурга, от печей исходило приятное тепло. Бальмен наизусть цитировал Корнели и Расина, в его книжном шкафу я заметил разрозненные номера парижских альманахов, которые публиковали его... стихи! Он был поэтом. Впрочем, французская литература остановилась для Бальмена на Альфреде де Виньи.

— Вот Бальзака я уже не читал, — сознался он.

Я спросил — где его застала Отечественная война?

— Весну двенадцатого года я встретил в Триесте. Вы догадались, кем я был в русской армии... Едва Наполеон выехал из Сен-Клу в Дрезден на «съезд королей», я тронулся по его следам. Вместе с его армией я вступил в Вильно, откуда и был отозван министром Барклаем в Смоленск.

— Смоленск? Там Орлов имел беседу с Наполеоном.

— Но меня уже не было в России... Из Смоленска я попал в Лондон, где, кстати, удостоверился в благополучном прибытии жены Моро, затем проследил и пути самого генерала Моро до его свидания с Бернадотом в крепости Штральзунда.

— Какое на вас впечатление произвела жена Моро?

— А никакого... Эта креолка, говорят, все уже давно промотала. Тут была ее дочь, госпожа Курваль, которая, думаю, и не прожила бы, если бы не пенсия от казны России.

Я смотрел в пустые, полумертвые глаза графа Бальмена, которые видели слишком много для жизни одного человека.

— Верно ли то, что Наполеон в Вильно спросил Балашова, какие дороги ведут в Москву, и Балашов якобы ответил, что дорог много, так, например, шведский король Карл Двенадцатый избрал дорогу до Москвы через Полтаву?

— О том, что такой разговор был, я слышал ото многих. В частности, и от графини Шуазель-Гуффье, жившей в Вильно, где она не раз встречалась с Балашовым, Александром и Наполеоном... А почему вы меня об этом спросили?

— Потому что в обществе существует мнение, будто Балашов сочинил свой остроумный ответ гораздо позже.

— А зачем ему сочинять позже, если об этом он говорил сразу по возвращении из Вильно? Балашов был как раз человеком едкого остроумия. Дурака бы и не послали! Но мне в голову приходит порою кошунственная мысль: не затем ли Александр отправил к Наполеону *генерала Балашова*, чтобы к рукаву его мундира пристегнуть *поручика Орлова*? — Бальмен сказал, что теперь Орлова помнят как декабриста, но забыли, что он был крупнейшим агентом разведки, и, если зачеркнуть эту сторону его жизни, образ Орлова как человека сразу же потускнеет.— На эшафоте декабристов была уже готова шестая петля — лично для Орлова, но его брат Алексей, приятель нашего Николая Первого, на коленях ползал перед царем, слезно вымолив для брата прощение...

Сам же Бальмен был женат вторым браком на сестре декабриста Свистунова и знал многих декабристов. Я спросил его — какова же была разведка французская?

— Наполеон имел у нас лишь случайных наблюдателей, но разведки не было и не могло быть. Ни за какие

деньги не мог он купить даже лазутчика, чтобы тот забрался в Тарутинский лагерь Кутузова... Если его шпионы что и узнавали, так все сходилось в Вильно, а уж из Вильно передавали ему в Москву. На это уходило время, данные обесценивались в дороге.

— Почему он не пошел прямо на Петербург?

— Я однажды спросил его об этом. Наполеон ответил мне так, будто опасался нехватки в продовольствии. Наверное, он решил, что по дороге на Москву ему будет сытнее.

— А где вы были в конце войны?

— Состоял при английской армии.

— Вы были ранены при Ватерлоо?

— Нет. Мне всадили нож в спину при Витри-ле-Франо, когда я пробирался через Францию с известием к Веллингтону. Это уже после бегства Наполеона с острова Эльба.

— Как вы относитесь к герцогу Веллингтону, который при Ватерлоо вдруг произвел Англию в главную победительницу?

— Наполеон был прав, считая герцога пузырем, раздутым англичанами. Уверен, будь тогда при Наполеоне Бертье, а не Груши, и Лондону не пришлось бы кичиться... Помню, что в Виее художник Изабе отказался портретировать Веллингтона. «Извините,— сказал он,— но я пишу только исторических лиц...» На прощание я разрешаю вам задать банальный вопрос.

— Кто сжег Москву? — спросил я.

— Не знаю,— ответил Бальмен.— Но я вспоминаю, что на острове Святой Елены жила девочка Бетси Балькомб, которую Наполеон обучал географии. Однажды она спросила своего учителя: «Бони, ответь честно — это ты сжег Москву?» И тогда Наполеон ударил себя кулаком в грудь, приняв гордую позу: «Я!» — ответил он девочке... Вот и судите сами.

...Этот разговор с Бальменом мог состояться еще до 1843 года, когда знаменитый окулист Сисель сделал ему операцию по снятию катаракты, а через пять лет Бальмен умер.

Конечно, император Николай I никогда и ни под каким соусом не принял бы меня, но я уже предупредил читателя, что все наши интервью будут воображаемыми, при обязательном соблюдении исторической истины. Допустим, что я представился журналистом из Берлина, поставляющим всякие сплетни в болтливую газету «Тетка Фосс», которую

Николай I любил почитать на сон грядущий... Здесь же позволю себе маленькое предисловие к предстоящей беседе.

Смерть Наполеона не вызвала во Франции сожаления, но в 1840 году граф Бертран вывез его останки с острова Святой Елены в Париж, гроб с телом императора был помещен в Доме инвалидов, и началось всенародное ликование. К тому времени сам Наполеон уже потерял реальные черты, стараниями бонапартистов он постепенно превращался в человека-легенду, делаясь неким символом былой славы Франции. Правительство Николая I всегда было в натянутых отношениях с французским кабинетом, и вскоре официально Петербургу представился удобный случай вызвать скандал в Париже, а заодно подорвать доверие публики к премьер-министру Франсуа Гизо. Именно с этого я и начну свою беседу с русским императором...

— Ваше величество,— сказал я, кланяясь,— как могло случиться, что Наполеон, повинный перед Россией своим нашествием на нее, оказался закован в российский мрамор?

— А так ему и надо! — браво отвечал Николай...

Гроб с прахом Наполеона долго не имел саркофага, и премьер Гизо, желая повысить свой престиж в народе Франции, хлопотал о его сооружении. Я спросил, правда ли, что именно Россия — о, злая ирония судьбы! — участвовала в сооружении гробницы императора Наполеона.

— Да, для создания гробницы архитектор Висконти считал пригодным красный порфир. А я уже давно хотел подставить ножку этому болтуну Гизо...

— Висконти не сын ли маркизы Висконти?

Император оказался не в меру говорлив.

— Вы имеете в виду метрессу Бертье? Я ее помню. Ей было уже за шестьдесят, но лицо оставалось без единой морщинки. Кстати, вашей «Тетке Фосс», право, будет не лишне знать, что случилось с самим Бертье... Это было в Бамберге, где он жил у нас в штабе, хотя мы и не считали его пленным. Он казался очень равнодушным человеком. Конечно, быть при Наполеоне столько лет — можно и устать. Бертье стоял у окна, когда в Бамберг входила наша кавалерия. Цокот копыт заглушал все звуки, и мы даже не заметили, когда Бертье исчез. Мы кинулись на улицу — Бертье лежал на панели с разбитой головою. Так и осталось для нас тайной, то ли он выпал из окна случайно, то ли решил покончить с собой...

— Ваше величество, мы уклонились от темы.

— Я никогда не уклоняюсь! — грозно глянул на меня самодержец всея Руси, и тут я заметил, что строго в профиль

линии его лба, носа, подбородка и живота составляют одну вертикальную линию.— Висконти помешался на красном порфире для гробницы, которого во Франции не было...

Франсуа Гизо послал геологические экспедиции в древние каменоломни Египта; обыскали все горы в Пиренеях и Вогезах, ничего нужного не нашли, а в палате пэров уже возникла перебранка, Монталабер в гневной речи заклинал Францию не обращаться к услугам каменоломен николаевской России.

— Я политикой не занимаюсь,— важно соврал Николай I,— для этого дела у меня есть Нессельроде... Гизо перепахал носом Европу и Африку, но все напрасно, а этому Висконти приперло — подавай ему бордовый порфир, и никакого другого не надо! Является ко мне граф Клейнмихель с докладом: искомый для Висконти камень имеется только в моей великой империи... Еще бы! — гордо произнес Николай, составляя идеальную вертикаль самодержавной власти.— Я глянул на Клейнмихеля и говорю: *дать*.

— И что же было далее, ваше величество?

— Клейнмихель затрепетал. Я вызываю Нессельроде. Тоже трепещущего. «Ты кто? — говорю.— Почему я должен узнавать о поисках порфира со стороны?» Нессельроде пытался доказать, будто министерство иностранных дел к геологии отношения не имеет. Пришлось мне самому заняться политикой! Ведь если русский мрамор облетит Наполеона, мы тем самым накажем гордыню французов, а сам Гизо... вылетит в отставку.

Понятен ход мыслей императора: выкапывая в Карелии порфир для Наполеона, он подкапывался под кабинет Гизо.

— С интересом слушаю, ваше величество.

— Да! — сказал император.— Все, что исходит лично от меня, все интересно... Моя империя пришла в движение, как пироскаф на Неве с его дымом и колесами. Порфир ломали на берегу Онежского озера. Губернатор тамошний трепетал. Весь в ревности и усердии. Я обещал ему Аниу на шею. Геморрой и рога от жены он уже имел... Годится для «Тетки Фосс»?

— Она будет восхищена, ваше величество.

— Я думаю! — сказал император.— По моему ведению Наполеон оказался в пиковом положении. Я его замуровал в русский камень. Гизо потом клялся и божился, что не хотел оскорбить памяти великого императора, но... Кто ему поверит?

Русский порфир большущей глыбой был в 1846 году выломан из недр Карелии и отправлен во Францию. Через

два года Висконти талантливо обработал его в саркофаг известный теперь всему миру Но туристы в Париже, посещающие усыпальницу Наполеона, вряд ли знают, что за этим камнем таилась политическая интрига... Россия всегда очень экономно расходовала свои каменные ресурсы, а порфир продавала за границу с баснословной пошлиной. Николай I уступил Гизо камень без взыскания пошлины, что насторожило оппозицию его кабинета. Работы по выломке камня обошлись русеской казне в 200 000 франков, печать Европы утверждала, что Гизо подкуплен именно за эту сумму Но это неправда: Россия никаких взяток Гизо не давала, а порфир не дарила Франции — она продала его за наличные, лишь не взяв пошлины в 6 000 франков.. Этот политический скандал совпал по времени с февральской революцией 1848 года, он помог свержению не только Гизо, но и короля Луи Филиппа. Впрочем, последняя информация уже не для «Тетки Фосс»!

.....

Как заметил наш историк А. З. Манфред в конце своей монографии о Наполеоне, теперь в Доме инвалидов весьма малоллюдно, французам уже не любопытно видеть гробницу своего кумира. Но в прошлом веке бонапартизм с его легендой о великом императоре увлекал не только Францию, эта легенда волновала и русское общество. Наполеон из легенды был уже другим. Простой и доверчивый, он делился хлебом с солдатом, чуждался блеска и суеты власти, озабоченный лишь величием Франции и благом своих подданных. В посмертном культе из личности Наполеона были аккуратно ампутированы все дурные оттенки, зато выпячены наружу все доблести. Нет, такой Наполеон был уже далек от личного честолюбия, он хотел мира и счастья всем на родах. А воевал только потому, что его вынуждали к тому коварные происки кабинетов Лондона, Вены и Петербурга.

Недавно в нашей стране вышла книга В. М. Далинга «Историки Франции», в которой автор указывает, что даже в наши дни еще не сложилось равнозначного отношения к Наполеону один автор пишет о нем как о гнусном тиране, мелком негодяе и завистнике, другой возвышает героя до небес как образец благородства и величия. Ведь об этом человеке можно рассуждать и крайне примитивно: народы Европы много лет подряд убивали и калечили друг друга только потому, что какому-то плюгавому корсиканцу вдруг захотелось стать властелином Европы... Это, повторяю, примитивно, но доля истины в этом есть! Потому и понимаю ненависть к нему Льва Толстого

Наверное, именно это и заставило меня навестить Ясную Поляну, где я спросил писателя:

— Как вы относитесь к императору Наполеону?

— А я не желаю и слышать об этом негодяе, — ответил Лев Николаевич. — Светлых сторон в его личности вы не сыщете. Сначала исчерпайте до дна все страшное и темное, что ему присуще. Тогда на самом деле, может, и сыщется единая крупница добра... Жалкая, обрюзгая фигура человека с брюхом. Вон он, я вижу, шляется по острову Елены в своей дурацкой шляпе, изображая гения. Авантюрист в политике. Международный бандит, живший доходами с убийства ни в чем не повинных людей... Все ради славы! — брезгливо сказал Толстой. — А что слава? Только дым — вонючий и гадостный¹

Бонапартистская легенда о Наполеоне, излишне приторная, для Толстого, конечно же, была отвратительна.

— Его вознес Беранже, ему бряцал на кимвалах Байрон, кадил ему наш Лермонтов, потом притащили в Париж разложившийся труп, стали кричать о герое... А был ли Наполеон героем? Как человек, он попросту малоинтересен, даже фигуры Барраса и Мюрата цельнее и забавнее. Мазурик он, вот кто! — поставил точку великий писатель. — Это дуракам кажется, что Наполеон был двигателем мира. На самом же деле — ребенок с игрушечной лошадкой, сидя на которой он воображает, держась за тесемочки, будто он руководит чужим движением...

Писатель-гуманист, Толстой отвергал кровопролитие, он отвергал войны как способ разрешения политических задач: «Египетская экспедиция — злодейство. Ложь всех бюллетеней — сознательная... На Аркольском мосту упал в лужу, то есть не шагал со знаменем, как изображают на картинах. Любит ездить по полю битвы. Трупы и раненые — его радость. Брак с Жозефиной — успех в свете. Три раза исправлял реляцию сражения при Риволи — все лгал... И потом это сумасшествие — принять в свое ложе дочь кесарей» (Марию-Луизу).

— Ложь и величие, — говорил Лев Толстой, — потому только, что слишком велик объем преступлений. И в конце жизни — позорная смерть... Он фальшив насквозь, как публичная женщина. Вы, мол, простые люди и дурачки,

¹ В этом мнимом «интервью» я использую высказывания о Наполеоне Л. Н. Толстого, запечатленные им в переписке с писателем А. И. Эрнстом, опубликованной в журнале «Голос минувшего» (1913, январь, с. 171—173)

а я, гений, вижу в небесах свою звезду... Никогда не пишите о Наполеоне!

— Лев Николаевич, но вы-то писали.

— Жалею, что многого не знал тогда. Теперь самый драгоценный материал — все о Святой Елене! И как он там притворялся великим. Меня страшно волнует это чтение. Его поза там гадка и отвратительна. Ах, какая жалость, что я не коснулся еще этой темы. Помните, молодой человек, для нас не может быть Наполеона с развернутым знаменем на Аркольском мосту — это подхалимы придумали. Для меня есть Наполеон, упавший задницей в грязную лужу. Вспомните его трусость восемнадцатого брюмера. Вот он, подлинный Наполеон! А вы мне тут говорите — герой... величие... слава... Чепуха все это.

Софья Андреевна Толстая предложила мне чашку чаю, но я уже потянулся к шляпе и зонтику:

— Благодарю, мне пора на поезд.

— Вы куда собираетесь ехать? — спросил Толстой.

— Спешу застать в живых последнего офицера «Великой армии», последнего кавалера медали «Острова Святой Елены».

— Как? — удивился Толстой. — Еще не все передохли?..

Свою мнимую встречу с писателем я прошу отнести к 1880 году, когда Лев Толстой рассуждал о Наполеоне примерно так, как описано мною выше. Из Тулы я выехал в Саратов, и там мое последнее интервью станет концом этого романа...

Саратов — душный, пыльный, жаркий, в садиках обывателей поникли чахлые ветви акаций. Городовой в белой рубахе беззаботно дремал, прислонясь к тумбе, обклеенной фишками о гастролях Николая Фигнера. На мой вопрос, где живет господин Жан Батист Николая де Савен, он сказал, что такого не знает:

— Есть тут, правда, один, только не Савен, а — Савин. По-французски — да, горазд, так и сыплет... Идите, сударь, на Грошовую, там и спросите. Да и на воротах писано...

Мне уже приходилось читать, что Савен-Савин учил французскому языку молодого Н. Г. Чернышевского; теперь вот и Чернышевского, а его учитель еще здравствует. На пустынной Грошовой улице выглядывал из зелени крохотный домишко в три окошка, на калитке висела дощечка с надписью: «Дом поручика Николая Андреевича Савина». Внутри дворика квохтали куры, седая старуха положила редиску, в медном тазу, булькая, варилось клубничное

варенье. Бодрый старичок сидел на завалинке с красной лентой Почетного легиона в петлице ветхого сюртука. Он приподнял над головою старомодный картуз:

— Изволю осведомиться, сударь, кого ищете? Ах, меня... В таком случае прошу называть меня по-русски... Авдотья!

Дряхлая старуха с трудом разогнулась над грядами.

— Это моя доченька,— сказал мне Савин, велел ей поставить самовар.— Прошу в комнаты..

Он начинал боевую жизнь, когда в России молодо запевал Гаврила Державин, а теперь готовился вступить в литературу Максим Горький. Конечно, я ожидал встретить в Саратове беспомощную развалину, дышащую на ладан, а застал крепкого и бодрого старца, никогда не болевшего, не знающего, что такое очки. Мне было известно, что Савин проделал в конце XVIII века походы в Египет и Палестину, сражался в Испании, был при кровавых штурмах Аккры и Сарагосы, сидел в тюрьмах испанской инквизиции, наконец, двинулся на Россию...

За самоваром мы начали разговаривать.

— Николай Андреич, а где вы попали в плен?

— На Березине... Там, знаете ли, практически было невозможно спастись. Об этом много уже писали — во Франции, в Германии, в России, я все это читал. Но никто, мне кажется, не сумел донести до читателя весь кошмар нашего положения. Как последний очевидец этих событий, я могу сказать, что Кутузов и впрямь устроил всем нам у Березины хорошую мышеловку. Как вырвался Наполеон — даже не представляю.

Русская речь Савина была чистой, без акцента.

— А кто вас пленил, Николай Андреич?

— Казаки... Они впихнули меня в шатер графа Платова, где его сиятельство с другим сиятельством, Строгановым, изволили водочкой забавляться. Платов встал, как даст мне тумака по шее, помню, еще сказал: «Развелось вас тут — не пройти и не проехать!» А граф Строганов засмеялся и водкой угостил.

— В каком чине вы были тогда?

— Лейтенант Второго гусарского полка.

— И сразу отправили сюда, в Саратов?

— Сначала в Ярославль, там я стал учителем фехтования. Учил офицеров тамошнего гарнизона. Ух, и пили же мы...

— Шампанское? — наивно понадеялся я.

— Какое там! Водку... самую настоящую водку. А пили

так, что страшно вспомнить. Потом уж я сюда переехал, да так и остался. Возвращаться на родину расхотелось. Была тут, в Саратове, мадам Пикер, вдова кондитера, которая учила детей французскому. Потом стал учительствовать и я. Женился на местной, бог доченьку дал, а жену прибрал... Ни о чем не жалею! Были у меня золотые денечки, встречал золотых людей!

— А вот во Франции... как родственники-то?

— Может, и остались, да что им до меня? Забыли. Франция тоже забыла. Вычеркнули из списков — и все, будто и не было такого человека. Франция только из русских газет узнала недавно, что в Саратове еще живет последний ветеран «Великой армии». Ну, тут посыпались адреса, приветствия, «Фигаро» объявила подписку, то да се... А я восемьдесят два годочка в Саратове прожил, куда ж мне теперь? Не поеду! Мне французское правительство медаль прислало...

— Покажите, мне любопытно, — сказал я.

Это был экземпляр медали «Острова Святой Елены», на зеленом муаре ленты круг из темной бронзы с профилем Наполеона и датой его смерти — 5 мая 1821 года. Давалась такая медаль только тем ветеранам Франции, которые сражались за нее с 1792 года... Вот и опять всплыл XVIII век!

— Все вымерли... я остался последним. Но жить не надоело, — засмеялся Савин. — Мне хорошо живется, поверьте. Меня здесь все знают, все любят. Помирать стану со словами признательности к русским людям, которые ни разу не упрекнули меня прошлым. Все простили, даже помогли... Да и сейчас помогают! — сказал Савин. — Я вот на базар хожу только сам. Моя доченька обязательно не то купит. Так ведь иду я с кошелкой, меня каждый остановит — надо ль помочь?

На окнах полыхали яркие герани в горшках, Савин показывал мне свои рисунки и акварели, портрет Наполеона, изображенного на краю скалы — глядящим в даль океана.

— Это я рисовал уже в России... по памяти!

На другой картинке Наполеон ехал верхом на верблюде через палящий зной пустынь, вдали виднелись пирамиды Хеопса и загадочная морда египетского сфинкса. Я осторожно выводывал у старика, каково же теперь его отношение к Наполеону.

— А какое ж оно может быть? — с грустью ответил Савин. — Теперь для меня Наполеон — это моя молодость, это моя красота, моя слава и гордость... Может, мне и

было тогда очень плохо, но сейчас-то мне с ним хорошо!

Николай Андреевич Савин скончался в ноябре 1894 года в возрасте 127 лет; жители Саратова хоронили его за счет города, поставили ему памятник с надписью: «ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ АРМИИ» Меня как-то даже не удивляет, что он жил и умер у нас, в России, в которую однажды пришел с оружием. Русский человек свиреп в бою, но великодушен и щедр с побежденными... Сейчас передо мною лежит портрет Николая Андреевича Савина, а саратовским краоведам я советую поухаживать за его могилу. Странно! Я вот иногда думаю, что моя бабушка, Василиса Минаевна Каренина, ведь была тогда молодой девушкой и, наверное, она еще могла бы слушать рассказы Савина о тех временах, которые для меня, для автора, стали далекой историей...

Чувствуете ли вы, как смыкаются поколения?

1 января — 17 апреля 1983 года
Рига

ПАРИЖ НА ТРИ ЧАСА

Роман

ПРЕДДВЕРИЕ

Один император, два короля и три маршала с трудом отыскали себе для ночлега избу потеплее.

Наполеон молча скинул шубу на лавку. Бертье смахнул мусор с крестьянского стола и раскатал перед властелином Европы упругий свиток походной карты.

Взгляд императора едва скользнул по ней.

— Можайск... Вязьма, — сказал он сипло от простуды. — Даст ли отдых нам Дорогобуж? Осторожность у нас выдается теперь за отвагу, а отвага происходит от осторожности...

Он медленно опустился на лавку, скрипнувшую под ним. Растопырив пальцы маленьких, изящных и давно не мытых рук, император надолго погрузил в них свою тяжелую голову.

«Великая армия» тянулась во мгле загадочных дорог, она пропадала и гибла в косых заснеженных перелесках. Сражение под Малоярославцем принесло Наполеону лишь отчаяние. Даже «старые ворчуны», как любил называть он свою гвардию, сегодня встретили его молчаливо... Наполеон глянул на соратников из-под пальцев — зорко, почти с опаскою. Вот они, делившие его славу: Мюрат, принц Евгений, Даву, Бессьер и неутомимый Бертье — его зеркальное эхо его приказов.

За мерзлым окном избы клубились синие вьюги.

Тихо, но озабоченно император спросил о курьере из Парижа.

Нет, отвечали ему, курьера сегодня не было.

Безмолвие затянулось...

За печкой таинственно шуршали мудреные русские тараканы. Мужиковатый Даву тяжело и хрипло дышал в потемках. Рассеивая мрак, принц Евгений (пасынок императора) задумчиво растепливал одну свечу от другой. В приделе избы, за стенкою, плакал разбуженный ребенок. Мюрат вдруг не выдержал и по-юношески легко пробежался вдоль широкой половицы.

— Мне надоело это! — выкрикнул он порывисто. — Кругом — леса, леса, леса... можно сойти с ума от этих бесконечных лесов. Но я, сир, презираю все — и русских рабов, не знающих благородства, и эти леса, в которых они прячутся... Бессьер, дайте мне остатки вашей кавалерии. Я брошусь на русские батальоны, я открою любую дорогу... хоть до Варшавы!

— Ничего я не дам, — мрачно ответил Бессьер.

Неаполитанский король промолчал, и тогда Наполеон медленно оторвал голову от стола.

— Довольно бравады, — сказал он внятно. — Мы и так слишком много сделали для славы Франции... Кажется, что имено теперь настало время задуматься о спасении чести!

Судьба армии была решена, и она покатилась по Большой смоленской дороге — навстречу неизбежной гибели.

Иногда, уставая ехать в карете, Наполеон пересаживался в седло. Лошадь императора была одета в зеленую, расшитую золотыми галунами шубу. Нелепый меховой чепец укрывал ее голову от стужи.

Внешне император был спокоен, но часто спрашивал о курьерах из Парижа: проскочив через Вильно, они бесследно пропадали в русском безлюдье. Только в Михалевке, под Дорогобужем, ему доложили, что один из курьеров прорвался мимо платовских казаков. Наполеон заметно оживился.

Но из прибывших бумаг выяснилось, что 23 октября 1812 года Париж, столица его баснословной империи, принадлежал уже не ему, а — другому человеку...

Бертье, читая рапорт герцога Ровиго, запнулся.

— *Имя?* — грозно потребовал от него император. — Что вы примолкли? Скорее прочтите мне имя...

Бертье выпрямился и четко выговорил:

— Клод Франсуа *Мале!*

Наполеон резко повернулся к свите:

— Разве моя армия знает об этом безумце?

Многие пожали плечами: одно имя мало что говорило.

Граф Филипп Сегюр, слышавший за первого остроумца во Франции, поспешил отшутиться за всех.

— Сир, — улыбнулся он, легкомысленно шаркнув ногою, — всех безумцев Парижа знает один лишь доктор Дебюиссон!..

Наполеон был растерян, и это заметили все.

— Генерал Мале, кажется, принял меня за генерала Бонапарта, у которого можно отнять дивизию, между тем он забыл, что я — император, а моя империя — не дивизия... Что ему было нужно, этому искателю приключений? — выкрикнул Наполеон. — Если мой скипетр, то он слишком тяжел для такого слабоумца!

— Вы ошибаетесь, сир, — ответил старый грубиян Даву. — Таким людям, как генерал Мале, ваш скипетр не нужен. Они переломили бы его о свое колено, словно палку...

Ночь в Дорогобуже была проведена беспокойно.

Париж был отнят у него. И кем же? — республиканцем в обветшалом мундире, который бежал из больницы для умалишенных.

«Где же предел моей власти и насколько она велика, если человек выбежал из бедлама — и столица могучей империи пала к его ногам?» Париж потускнел в его глазах. Правда, он еще не потерял своего очарования. Император испытывал к этому городу почти ревнивое чувство, как и любимой женщине, осквернившей себя в чересчур пылких объятиях другого...

— Генерал Мале, — бредово шептал Наполеон, — кто бы мог подумать? Бригадный генерал Мале... негодяй!

Армия наконец-то дотащила свои ноги до Смоленска.

Комендант города поначалу даже не хотел открывать ворота: в толпе прозябших и нищих калек он не сразу признал бранные остатки когда-то Великой армии, наводившей ужас на всю Европу. Смоленск был выжжен — как и Москва! Среди обгорелых развалин кучами валялись непогребенные трупы завоевателей, бродили толпы дезертиров и мародеров. («Лица, закопченные дымом бивуаков, красные и свирепые глаза, всклокоченные волосы делали их всех похожими на преступников...») Наполеон, опираясь на плечо Армана Коленкура, пешком поднялся по взгорью от Московской заставы до Новой площади в центре города, где для него была приготовлена квартира. Все четыре дня подряд он не покидал своего убежища, а тяжкие раздумья императора иногда прерывались вспышками самого дикого, самого необузданного гнева...

Генерал Мале по-прежнему занимал его мысли!

— Неужели вся моя власть покоилась на песке? — спрашивал он. — Неужели достаточно одного слабого толчка, чтобы все мое величие оказалось прахом? Мне думалось, что искры революции уже затоптаны. Но... что скажут теперь в Европе?

Отсюда, из Смоленска, император слал письма (которые лишь в 1907 году появились в русской печати) министру полиции Савари — герцогу Ровиго. Наполеон спрашивал, как могло случиться, что на целых три часа Париж был отдан во власть республиканцев? Каждое письмо к Савари император заключал словами: «Засим молю Бога оградить Вас своим святым покровом». Удивительная фраза Наполеона из его смоленского письма от 11 ноября: «Господин герцог Ровиго, я желаю, чтобы все, что имеет отношение к делу Мале, было опубликовано... Это пустое дело, но убедить в этом публику можно лишь путем оглашения...» Коленкуру он сказал:

— С этими французами, как и с женщинами, нельзя разлучаться на долгое время: они обязательно изменят...

Наполеон все чаще возвращался в своих мыслях к Парижу, и в медвежьем захолустье Сморгони он покинул армию, устремившись во Францию. Сопутствовали ему, кроме Коленкура, польский офицер Вонсович и верный мамелюк Рустам. Забившись в глубину крытого возка, Наполеон бежал от армии *тайно*, неузванный и таинственный. В дальнейшем же, если речь заходила о генерале Мале, император отзывался о нем с легким пренебрежением.

— Ах, этот жалкий маньяк! — отвечал он, как бы не сразу припомнив, о ком идет речь. — Но стоит ли говорить о нем?

.....
Впрочем, и позднейшие историки еще долго спорили (и по сию пору спорят) — был ли в полном разуме человек, читавшийся отнять Париж у императора Наполеона, чтобы вернуть его законному владельцу — *народу* Франции!

Арман Колёнкур четко зафиксировал фразу Наполеона, сказанную им еще в Михалевке. «Этот бунт, — говорил он, — не может быть делом одного человека...» Существенное признание!

Наполеон вроде бы желал оглашения всей процедуры разговора генерала Мале, но потом сам же утвердил версию, будто генерал Мале был лишь ненормальным одиночкой, но только безумный одиночка — в его понимании! — мог вырваться на власть императора. Между тем, как пишет

советский историк А. З. Манфред, «он еще в России, под Дорогобужем, когда ему было доложено дело Мале, понял его истинный смысл. То был республиканский заговор, в том не могло быть сомнения...».

Наполеону было бы невыгодно (и даже опасно!) признать перед миром и Францией, что Мале не был одинок, что за ним стояли мощные подпольные силы той революции, которые еще действовали, которые ему, Наполеону, так и не удалось растоптать, — и потому лживая версия о Мале как о «безумном одиночке», очень удобная для императора, надолго утвердилась в литературе, поддерживаемая историками-бонапартистами.

Между тем Наполеон знал, что подлинная правда о заговоре Мале, страшная для империи, таила в себе угрозу всему его деспотизму...

Именно тогда Талейран и сказал:

— Ну, вот! Это уже начало конца...

Этот человек никогда не был одиночкой, у него были ресурсы и было содействие. Он был членом большой организации.

Паскаль Груссе. Заговор генерала Мале

Судьба была против него, и он погиб жертвой тирана. Но великими были дерзания его.

Ж. Ф. К. де Лавинь. Эпитафия Мале

НЕ БОЙСЯ «ЧИХНУТЬ В МЕШОК»

Давно отошли в прошлое восторги тех славных дней, когда фунт бастильского камня стоил на рынке дороже фунта жирной говядины. Ах, какие чудовищные брошки мастерили тогда из него ювелиры — патриоты республики! Но булыжники тюрьмы Ла-Форс, разобранной в 1840 году, не попали в число священных реликвий и закончили свой век на мостовых Парижа, сухо громяхая под колесами спешащих дилижансов. Боже мой, как давно это было!

В эпоху наполеоновской империи улочка Паве еще хранила на фасадах домов вывески времен Рабле — золоченые рыб и волосы Дианы, бегущих оленей и завитые крендели колбас. Старинный замок Ла-Форс тяжело осел в землю и

перекрестке Паве, а новейшая улица Королей Сицилии срезала его сбоку наискосок, обнажив при этом застарелую копоть на стенах. Дожди быстро смыли ее, и в памяти парижан навсегда угасли отзвуки карнавалов, когда шуты в маскарадных платьях пылали живыми воющими факелами. Давняя старина... Потом здесь поселились короли Наваррские, и эти же камни по ночам прислушивались к шепоту Изабеллы, подсыпавшей яд в бокалы прискучившим любовникам. Под этой же вот крышей прозвучали и злоречивые наветы кардинала де Биражу, которому народная молва приписывает сооружение прохладного фонтана — несколько долгих-долгих веков тихо журчал он под самыми окнами замка Ла-Форс...

Майор Мишо де Бюгонь, комендант парижской тюрьмы Ла-Форс, был старым закаленным ветераном. Корявые пальцы его, прнученные сливаться воедино с эфесом сабли, теперь тоскливо перебирали гроыхающие ключи от секретных камер. Как бывалый солдат, комендант высоко ценил чужое мужество и потому отзывался о своих постояльцах с искренним уважением.

— Вот ключ от восьмой камеры,— говорил де Бюгонь своей толстухе жене.— Разве я могу сказать что-либо скверное о генерале Лагори? Ведь это он был адъютантом у Моро, когда тот сорок дней пробивался через Шварцвальдское ущелье. Правда, тогда было время республики, и генерал Лагори донныне ей верен.

— Не забывай, что у нас император,— отвечала разумная жена, поворачивая над огнем камина вертел с индюшкой.

— Да,— вздыхал тюремщик,— сейчас император... А вот тебе и номер пятый, угловая камера южной башни! Поверь: мне стыдно глядеть в глаза генералу Гидалю, который сидит там. Ведь я служил сержантом в его полку, и он всегда был так добр с нами, солдатами... Это настоящий республиканец!

— Но сейчас у нас император,— снова напоминала жена.

— Великий император! — восторженно подхватывал де Бюгонь, и, волоча по камням ногу, помятую в атаке при Аустерлице, он уходил проверять запоры тюремных камер...

Говорливые прачки Парижа, полоскавшие белье возле фонтана, иногда видели в одном из окон замка лицо секретного узника. Повиснув на прутьях решетки, он спрашивал их:

— Француженки, в Париже ли сейчас император?

И каждый раз прачки отвечали по-разному: Наполеон после Тильзита сражался в Испании, он охотился в Фонтенбло, ездил на торжества в Эрфурте и очень редко находился в столице. Но однажды, осмелев, женщины попросили узника назвать себя. И в ответ он крикнул им из окна тюремной башни:

— Слушайте: я — бригадный генерал Клод Франсуа Мале... Неужели же патриоты Франции забыли мое имя?

Но имя генерала Мале давно находилось под негласным запретом. Полицейский бюллетень гласил: «Мале упрям, он сторонник якобинства и недовольства, многие черты его характера говорят о том, что это человек очень решительный и всегда готов на любые авантюры». Министр полиции Савари — герцог Ровиго — внес свою лепту в характеристику нашего героя. «Мале, — писал он, — искренне вошел в революцию, с большим жаром исповедовал ее принципы. Для заговора он обладал тем характером, который отличал еще древних греков и римлян...»

Верно подмечено! Мале и сам говорил о себе:

— Мы не последние римляне, за нами идут другие...

Генералу было уже за пятьдесят. Сухощавый и ладно собранный, Мале казался даже несколько изящен, как юноша. Уроженец гористой Юры, он был стремителен в поступках и порывист в жестах, но поступь имел плавную, почти неслышную. Крупные, как миндалины, вишневого оттенка глаза, седые волосы, сочный смех. Речь его звучала всегда гортанно и певуче.

Он любил жену и был любим женою.

Старики надзиратели, ветераны войн революции, отзывались о Мале почти с нежностью: ведь этот узник был окружен для них ореолом героических битв за права Человека...

— Наш орел! — говорили они восхищенно. — Конечно, разве генерал Мале усидит в этой клетке?

Да, было время, когда француз спрашивал француз:

— Скажи, что ты сделал для республики такого, чтобы быть повешенным в случае, если победит контрреволюция?

Мале еще юношей, в мундире «черного мушкетера», прославился в салонах Парижа насмешливым умом и порицанием монархии. «Эти Капеты!» — говорил он о Бурбонах, презрительно именуя королей по фамилии. Во время казни Людовика XVI он сидел в кабачке перед открытым окном — как раз напротив эшафота; когда же голова ки

роля выкатилась из-под ножа в корзину, Мале поднял бокал с легким вином:

— Вот так славно соскочила! Ну-ка, выпьем...

Под знаменами обновленной Франции он сражался за республику в армиях Моро и Пишегрю; дым бивуачных костров, голодная жизнь солдата, громкие победы на маршах — он сроднился с этим и не мыслил судьбы иной. Париж, когда он снова появился в нем, показался генералу уже не тем городом, каким представлялся все эти годы, проведенные в дозорах и битвах. Было что-то подозрительное в обжорстве и веселости жителей, а генерал Бонапарт, первый из трех консулов, сразу насторожил Мале своим непомерным властолюбием зарвавшегося упрянца.

Правда, консулов пока было трое, но...

— Что задумался, Мале? — спросил его однажды Бонапарт.

— Три консула, — ответил Мале. — Наверное, совсем неплохое издание короля в трех аккуратных томиках. Но читать-то их все равно приходится с первого тома, с первой страницы.

Бонапарт шутливо потянул его за яркую мочку уха, в которой висела круглая оловянная сережка.

— Как тебе не стыдно, Мале, — упрекнул он его дружелюбно. — Ты же знаешь, что я отпетый республиканец.

— Впрочем, — заключил Мале, — три томика настолько плоски, что со временем их можно переплести в один том потолще.

— Шутишь, Мале?

— Нет, я уже вижу, как этот «толстяк» будет называться.

— Ну! Как же?

— Цезарь...

Виктор Гюго был в ту пору еще мальчиком.

Но много позже он вспоминал об этом времени:

Веку было два года. Рим сменил уже Спарту.
И шагал Наполеон вослед Бонапарту...

.....
— Я, — говорил Мале друзьям, — остаюсь верен идеалам республики и успокоюсь лишь в том случае, когда стану пить вино из черепа убитого мною деспота... Корсиканец идет себя так, будто вся революция делалась ради его возвышения.

Мале уже распознал в молодом Бонапарте непомерное властолюбие и алчность к абсолютной власти; после 18 брю-

мера он, начальствуя в Дижоне, ожидал приезда первого консула, чтобы арестовать будущего властелина. В этом его поддерживал тогда Бернадот и другие офицеры-республиканцы. Кажется, Бонапарт догадался о ловушке и в Дижон не приехал...

Встреча меж ними все-таки состоялась.

— Мне, — сказал консул, — привелось служить в артиллерии с капитаном Мале... не ваш ли брат? Но он убежденный роялист, а почему же вы решили остаться якобинцем?

Ответ Мале был таков, что из дивизионного генерала его разжаловали в бригадные. Бонапарт перевел его комендантом в Бордо, но это не образумило Мале: в 1802 году он выступил с протестом против обращения первого консула в пожизненного.

— Веселенькая капуцинада! — гремел Мале в гарнизоне. — Однако в ней недостает сущего пустяка: всего лишь миллиона французов, сложивших головы за уничтожение как раз того, что ничтожный корсиканец так блистательно восстанавливает...

Наполеон понял: вот он — враг, которого следует или запугать, или подкупить. Но угрозы оказались бессильны: Мале смолodu не боялся «чихнуть в мешок» (так говорили тогда о смерти на эшафоте). Титулы и богатство его не прельщали — он оставался, не в пример другим, убежденным якобинцем. Скоро в Париже состоялось первое вручение знаков Почетного легиона; не был забыт и Мале, которого Бонапарт возвел в командоры ордена. Тогда же Мале созвал друзей на веселую пирушку и торжественно возвел своего повара в кавалеры Почетной ложки...

Наконец, Бонапарт превратился в императора Наполеона, но Мале отказался присягать императору!

Вся Франция дала ему присягу, но только не Мале.

Он проживал тогда в Ангулеме, и префект донес императору слова генерала, сказанные им в частном порядке.

— Нация французов потеряла достоинство. Несчастные трусы, они уподобились тем лягушкам, которые на своем загнивающем болоте все-таки выквакали себе короля.

Префект доносил, что в день коронации Наполеона только один дом в Ангулеме не был празднично иллюминирован — это был дом генерала Мале, из окон его дома весь день звучали возмутительные якобинские песни. «Даю словечко чести, — сообщал префект, — что генерал Мале, несмотря на внешнюю любезность, является одним из главных противников правительства...» Префект просил сослать мятежного генерала куда-нибудь подальше, а гарнизон Ангулема,

зараженный якобинством, рассассировать по дальним гарнизонам... Мале оставался верен себе:

— Мне ли бояться чихнуть в мешок?

«ЗАГОВОР ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ»

Сейчас, когда споры о Мале затянулись почти на два столетия (в эти споры были вовлечены лучшие писатели Франции и наши лучшие историки, включая Евгения Тарле), когда было сломано немало копий в дискуссиях, а истина не раскрылась, лишь искуснее засекретилась под паутиною безжалостного времени, — мне, конечно, не внести в эти разногласия предельной ясности — я способен лишь следовать фактам...

Фактов же почти нету! Остались одни догадки.

Говоря о филадельфах, историки активно оперируют словами: очевидно, вероятно, возможно, допустим, предположим, еще не доказано, надо полагать и так далее.

Итак, филадельфы! Что мы знаем о них?

Тайное «Общество филадельфов» во Франции ставило себе целью освобождение всех народов мира от тиранов, невзирая на то, в какие бы благородные тоги они ни рядились. Среди филадельфов были не только офицеры-республиканцы, давние враги Наполеона, но и простые рабочие, врачи, нотариусы, писатели, садовники, буржуа и рядовые солдаты. Французские филадельфы смыкались с «Обществом адельфов» в Италии, и здесь начинаются тайны движения карбонариев. Адельфами руководил знаменитый Филипп Буонаротти, потомок Микеланджело, величайший конспиратор своего века, провозвестник утопического коммунизма. Именно этот человек держал в своих руках неосязаемые для непосвященных тончайшие нити заговоров, подрывавших престолы венценосцев мира...

Да, Наполеон знал о существовании филадельфов и адельфов, но его изошренные в сыске шпионы оставались бессильны перед их идеальной конспирацией. Да, в Петербурге тоже были извещены о филадельфах, но император Александр I не мог предполагать, что таинственные связи Буонаротти дотянутся даже до Петербурга... Догадки, предположения, гипотезы! О-о, как много их накопилось за эти годы. Итальянские и французские историки сколько уже перепархивают старинные архивы, отыскивая хоть какие-нибудь намеки, чтобы намеки обратились в нерушимые исторические факты.

.....

Вот подлинный *факт*: генерал Мале, посланный сражаться в Италию, был принят в «Общество филладельфов» своим же адъютантом Жаком Уде, известным по кличке Фелипомен. Генерал Мале подчинился своему адъютанту, обретя подпольное имя — *Леонид*. Кажется, это не укрылось от ищеек Наполеона, и тогдашний министр полиции Жозеф Фуше установил за генералом Мале негласное наблюдение.

В 1807 году Мале вышел в отставку и перебрался в Париж, чтобы готовить свержение Наполеона. Филладельфами был изготовлен поддельный указ сената, обращенный к народу:

«Сенат экстренно собрался и объявляет, что Наполеон Бонапарт изменил интересам французского народа, он издевался над народной свободой, судьбой и жизнью соотечественников... Нескончаемая война, ведущаяся с вероломством, вызванная жадной золотом и новых завоеваний, дает пищу честолюбивому бреду одного-единственного человека и безграничному корыстолюбию горсти рабов, начала политической жизни истощаются день за днем в делах сумасбродного и мрачного деспота...»

Внешне же казалось, что империя процветала! Ее архиканцлер Камбасерес был избран почетным президентом «Общества наполеоновских гурманов». В быстро нищавшей стране бонапартисты обжирались лакомствами, похищенными у других народов, они со знанием дела запивали деликатесы благовонными винами.

— Ничего,— говорил Мале,— скоро мы заставим эту сволочь отрыгнуть на панель все сожранное и выпитое. А штаб восстания мы разместим именно во дворце Камбасереса.

— Но почему? — удивлялись друзья.

— Потому что этот ничтожный человек печатью архиканцлера утвердит все что угодно, лишь бы сохранить свое кресло, лишь бы у него не отняли тарелку, из которой он привык насыщаться... Будем учитывать и продажность казенной бюрократии!

Новое правительство должны были возглавить испытанные борцы — как Лафайет, как гонимый генерал Морю, как адмирал Трюге и прочие... Мале готовил декреты к армии и народу.

— «Солдаты! — диктовал он. — У вас нет больше тирана... В своем стремлении к власти Наполеон *погиб*. Сенат

устраняет его нелепую династию. Вы больше не солдаты императора, отныне все вы служите только народу...» Что еще непонятно?

Непонятен был срок начала восстания, которое сулило несомненный успех лишь в отсутствие Наполеона, когда его не будет в столице. Франция вступала в 1808 год, уже обескровленная войнами, никто не верил в официальную радость рекрутов, призываемых на очередную бойню; леса по ночам освещались тысячами костров, возле которых грелись голодные дезертиры... Куда же теперь Наполеон развернет свои армии? Куда и когда? Где та добыча, которая соблазнит его грабительский вкус? Мале уже рисовал картины будущего демократической Франции:

— Народ пойдет за нами, ибо мы несем ему мир... вожделенный мир! Мы отменяем воинскую повинность, мы провозгласим свободу слова и культов, свободу прессы и театра. Политические узники, независимо от их убеждений, обретают свободу!

Наконец весной Наполеон поспешно отъехал в Байону, чтобы оттуда, со стороны Пиренеев, готовить вторжение своих полчищ в беззащитную Испанию... Кажется, момент назрел.

Генерал Мале сказал любимой жене:

— Если со мною что и случится в эти дни, ты не жалея обо мне... В этом мире насилия и лжи я не останусь последним римлянином! За мною пойдут другие, для которых чихнуть в мешок — пара пустяков. Береги себя и нашего сына Аристиды...

.....
Жозеф Фуше... В годы революции он сбросил с себя рясу священника, чтобы сделаться палачом. Фуше прислуживал чиновник Демаре, в прошлом тоже патер из провинции, который сбросил с себя личину якобинца, чтобы сделаться сыщиком. Но был в этой теплой компании официальных живодеров и подлинный интеллигент политического надзора — Этьен Дени Паскье, пламенный оратор-юрист; потеряв отца на гильотине, сам он едва избежал гильотины, а при Наполеоне сделался префектом тайной полиции, обретя славу мастера по раскрытию заговоров.

Демаре навестил Паскье в его кабинете и спросил:

— Знаешь ли генерала Лемуана?

— Чуть-чуть,— сказал Паскье, все зная о Лемуане.

— Поговори с ним... со слезою в голосе.

Лемуан знал мало, но и того, что он знал о предстоящем восстании, оказалось достаточным для арестов среди фила-

дельфов; на квартире Мале нашли груды сабель и карабинов. Фуше вызвал Паскье и выдрал его за ухо, как нашкодившего щенка:

- Что я скажу теперь в оправдание императору?
- То, что скажут нам арестованные филладельфы.
- Но они ничего не скажут ни мне, ни тебе...

Так и случилось. Следствие сразу зашло в тупик. Полиция не имела главного для осуждения заговорщиков — улики... Сабли и карабины в счет не шли: кто не имел их тогда? Однако Наполеон даже из отдаления Байоны четко выделил именно генерала Мале. «Трудно найти большего негодяя, чем этот Мале... надо выяснить его связи в этом заговоре», — писал он Фуше. Среди многих имен, подозрительных для императора, мелькнуло имя и генерала Гидаля, служившего в Марселе... Фуше особым бюллетенем извещал императора: «Можно ли дать название заговора всем тем проискам, в которых нельзя раскрыть ни истинного вождя, ни способов исполнения, ни сообщников, ни собраний, ни переписки?..» Наконец, Фуше прямо объявил заговор генерала Мале *«заговором предположений»*. Это слишком уж странно для инквизитора, который ясно видел цели филладельфов, который разгадал и сообщников Мале, но был явно заинтересован в том, чтобы скрыть все это от императора. Есть подозрение, что Фуше хотел использовать движение филладельфов в своих — корыстных! — целях. То, что было необъяснимо для министра полиции, то не казалось загадочным для самого Фуше, если знать звериное нутро этого страшного оборотня великой империи Наполеона... К его несчастью, Наполеон это понял! Понял и весь гнев, предназначенный для Мале, он обрушил на своего же министра. «Объясните мне роль Фуше в этих делах, — писал он канцлеру. — Что это? Сумасшествие? Или насмешка (надо мною) со стороны министра?»

Фуше наградил верного Паскье пощечиной.

— Что новенького? — вежливо спросил он при этом.

— Молчат... никто ни в чем не сознается.

— Значит, они молодцы! — похвалил Фуше филладельфов.

.....
Назначив своего брата Иосифа королем в Мадриде, а шурина Мюрата *посадив* на престол в Неаполе, император Наполеон вернулся в Париж — раздраженный, придиричивый, нетерпимый.

— Несносным шумом вокруг имени Мале, — заявил он Фуше, — вы создаете ему репутацию, какой он не заслужил

вает. Тем самым вы позволяете обществу думать, что мое положение и мой престол в опасности. Между тем французы должны знать, что они счастливы жить под моим скипетром, а недовольных среди них быть не может... Это я недоволен вами, Фуше!

Филадельфов и якобинцев подвергли превентивному заключению — без суда. Мале был водворен в Ла-Форс не за то, что он сделал, а лишь за то, что он мог бы сделать. А сделать он мог бы, конечно, многое. Удайся тогда мятеж в Париже, и, может быть, вся история Европы пошла бы иным путем — путем демократических преобразований; возможно — хочу я верить! — наша древняя Москва сохранилась бы до наших дней той «белокаменной», какой и была она до исторического пожара 1812 года...

Наверное, императору все-таки доложили, что не генерал Мале, а полковник Уде — великий архонт (глава филадельфов); именно этот Уде связан с Буонаротти! И наверное, император Наполеон как следует подумал, а потом уже четко решил:

— Полковник Уде умрет у меня в чине генерала.

«Кем же умрет генерал Гидаль?» — мог бы спросить Фуше...

ПОСЛЕДНИЕ РЕПЕТИЦИИ

Генерал Гидаль был схвачен при попытке проникнуть в Ла-Форс, и Фуше небрежно спросил его на допросе:

— Вам хочется разделить участь Мале?

— Сидеть в камере с Мале, наверное, приятнее, нежели в вашем кабинете. Но... в чем же я провинился?

— В том, что вам не сидится спокойно в Марселе...

Гидаль вернулся на юг Франции, где (если верить слухам) филадельфы имели тысячи сторонников с оружием, готовых на все ради новой революции. Между тем в поведении Мале ничего не изменилось. Обычно он просыпался среди ночи, с помощью дешевого телескопа наблюдал за движением небесных светил, а по утрам столярничал у самодельного верстака... Поручик Лакомте, служивший в тюрьме помощником коменданта, однажды привлек его внимание. Почти заботливо, как отец, Мале расправил на груди поручика жиденький аксельбантик и заглянул в глаза юноши:

— Вы еще очень молоды... Наверное, я думаю, сумели наделать немало долгов в Париже?

— Как и каждый офицер, живущий только службою.

— Так вот, — предупредил Мале. — Советую распла-

тяться с заимодавцами, ибо скоро вам предстоит дорога в Испанию.

— Какая чепуха! — расхохотался поручик...

Майор Мишо де Бюгонь потом спрашивал Лакомте:

— Что он сказал тебе, сынок?

— Советовал расплатиться с долгами в Париже, считая, что скоро мне предстоит сражаться с гверильясами в Испании.

— Конечно, чепуха! — согласился майор. — Прежде наш великий император покончит с блудливою Австрией...

Но через неделю Лакомте уже отплывал в Барселону, чтобы погибнуть от руки партизан под стенами Сарагосы... Выходит, Мале знал гораздо больше того, что может знать узник Ла-Форса.

Демаре навестил Паскье, предупредив его:

— Когда наш император будет сражаться на подступах к Вене, от этого Мале, наверное, следует ожидать всяких дерзостей.

— Есть основания к таким подозрениям?

Демаре сказал, что итальянский бандит Сорби, сидя в тюрьме Ла-Форса, что-то пронюхал о планах Мале, а теперь желал бы продать генерала как можно дороже.

— В обмен на свободу, — заключил свой рассказ Демаре.

— Об этом стоит подумать, — ответил Паскье...

На квартире коменданта де Бюгоня состоялась тайная встреча бандита Сорби с префектом тайной полиции.

— Ну что ж, — сказал Паскье. — Свобода — тоже товар, имеющий свою ценность. Ты даешь мне свой товар — сведения о Мале, я расплачиваюсь с тобой верной купюрой — амнистией...

Сорби выболтал ему такое, что Паскье поспешил к министру с невероятным известием: генерал Мале, даже в застенке Ла-Форса, снова готов выступить против Наполеона:

— Он ждет, когда императора не будет в Париже.

Фуше нехотя разрешил освободить Сорби:

— Но он явно перестарался в сочинении своих фантазий! Сидя в замке Ла-Форса, невозможно свергать правительства. Впрочем, его величеству об этом будет мною доложено...

Пятого числа каждого месяца в пять часов вечера секретный узник поворачивался лицом в сторону заходящего солнца и пять минут посвящал размышлениям о том, что им сделано для пользы народа и что еще предстоит сделать.

Так повелевал закон филадельфов, и одновременно с генералом Мале тысячи его соратников тоже обращали взоры к погасающему светилу... Мале, как и все якобинцы, постоянно был готов к смерти, естественной или насильственной — это не так уж важно: «Если жизнь не удалась, человек погружается в смерть, как в летаргический сон, и, дождавшись в смерти лучших времен, он воскресает для новой жизни, которая будет лучше той, которую ранее он покинул...»

Мысли филадельфов точнее выразил поэт Гёте: «Кто жил достойно в свое время, тот и останется жить во все времена!»

.....
Поверим на слово Жозефу Фуше, писавшему, что вскоре любое упоминание о филадельфах приводило Наполеона в содрогание; император предполагал, что «эти люди имеют опасные разветвления в его армии». Кажется, полковник Жак Уде сознательно не был удален им из армии, чтобы следы великого архонта не затерялись в гуще народа. Между тем тюрьма на улице Паве, где сидел генерал Мале, явно привлекала филадельфов. Что-то слишком часто стали они наезжать в Париж, пытаясь обмануть бдительность стражей. В сферу наблюдения Паскье тогда попали многие филадельфы, ищущие личных контактов с узником. Не ощущать наличия крепкой и мыслящей организации, связанной с именем Мале, было уже нельзя, но лицо Жозефа Фуше по-прежнему оставалось бесстрастным, как гипсовая маска.

— Вы опять об этих фантазиях Сорби,— недовольно говорил он Паскье.— Но стоит ли придавать значение словам человека, который способен выдумать даже полет на Луну, только бы ему доставили сладкое блаженство личной свободы...

В мае 1809 года генерал Мале видел из окошка камеры прачек, которые горевали у фонтана Биражу, сидя на кучах белья. Они оплакивали мужей, пропавших без вести в Испании, сыновей, убитых в излучинах Дуная... В эту яркую весну армия императора безнадежно застряла напротив Вены, в бессмысленной бойне под Эйслингеном полегло сразу тридцать тысяч французских юношей, а Наполеон в хвастливом бюллетене распорядился считать эту сомнительную битву своей победой. Но истина дошла до Парижа, гарнизоны роптали, в народе Франции появилась растерянность. В следующей битве, при Ваграме, император обласкал полковника Жака Уде своим высочайшим вниманием:

— Полковник, отныне вы — мой бригадный генерал и подтвердите мужеством, что вы достойны этого высокого чина...

Уде и его полк были брошены в самое пекло битвы, а генерал Уде был жестоко изранен выстрелами в спину — из засады! Великий архонт успел продиктовать пять предсмертных писем, одно из которых было адресовано генералу Мале...

Тяжко было видеть тоскующих прачек у фонтана.

— Не плачьте! — крикнул им Мале. — Скоро придет мир...

Его схватили при попытке к бегству, когда в соборе Парижской богородицы готовились запеть благодарственный «Те Деум» в честь победы Наполеона над Австрией. Со взводом барабанщиков Мале хотел ворваться в собор, чтобы со священного алтаря провозгласить народу и всей Франции:

— Император убит... да здравствует Республика!

Барабаны заглушили бы вопли отчаяния бонапартистов, а для легковверных парижан были заготовлены прокламации на бланках сената. Мале казалось, что французы устали приносить жертвы своему «Минотавру», он сумеет увлечь гарнизон за собой, а сам Бонапарт уже не осмелится вернуться в Париж, отвергающий его ради мирной жизни... Паскье навестил министра Фуше.

— Выходит, что Сорби был прав, — сказал он. — Генерал Мале имеет своих людей даже в сенате. Иначе откуда бы взялись эти официальные бланки, на которых напечатаны криминальные слова: «Бонапарта нет, долой корсиканца и его полицию, отворим все тюрьмы Франции настезь...» Что скажете вы теперь?

— Мале... *спятил*, — сказал ему Фуше.

— Напротив, — возразил Паскье. — Мале как раз очень здраво учитывал настроения публики в Париже...

Мале поместили в секретную камеру. Мишо де Бюгонн сам проверил засовы и с тех пор носил ключи от темницы мятежного генерала на груди — подле дешевого солдатского амулета.

— Бедный Мале, — признался он толстухе жене. — Конечно, он малость рехнулся: в самый-то торжественный момент, когда весь Париж возносит хвалу императору за его победу, и вдруг явиться в святом алтаре... с барабанным боем! Да, такое не каждый придумает. С этим Мале надо быть осторожнее...

Мягкими, но скорыми шагами горца Мале обходил ки

меру по диагонали — крест-накрест. Он размышлял. Он анализировал.

Через год состоялось бракосочетание разведенного Наполеона с молоденькой австриячкой. По этому случаю была дарована амнистия, которая не коснулась ни Мале, ни его филладельфов. Жозеф Фуше получил титул герцога, но его подозрительные колебания уже не располагали Наполеона к доверию; на пост министра полиции выдвигался Савари (он же — герцог Ровиго).

Однако Мале до сих пор ни в чем не сознался, а упорство генерала смутило даже сановников империи, склонных поверить в его невиновность. Ощувив это, Мале личным посланием потревожил услады новобрачного. «Я постоянно жду Вашей справедливости,— писал он Наполеону,— но вот прошло уже два года, а я все еще в заключении». Одновременно с этим Савари получил ходатайство от мадам Мале о пересмотре дела ее мужа...

Между Савари и Демаре возник краткий диалог:

— Черт побери, так кто же этот Мале?

— Всего лишь бригадный генерал.

— Виноват он или оговорен? — спрашивал Савари...

Не так давно в Ла-Форсе освободилась камера: Мале лишился приятного соседа, аббата Лафона, выступавшего в защиту папы римского; священника, как повредившегося в разуме, перевели в клинику Дебюиссона. В эти дни, составляя рапорты о поведении узников, де Бюгонь начал отмечать «ненормальную веселость бывшего бригадного генерала». Жене он говорил:

— И с чего бы ему веселиться? Впрочем, этот аббат Лафон тоже был хороший дурак... Я вот думаю: неплохо бы нам отправить и Мале на лечение, пока еще не поздно...

Однажды он еще не успел позавтракать, когда ему доложили, что генерал Мале выразил настоятельную необходимость видеть коменданта тюрьмы у себя в камере.

— В такую-то рань? Чего ему надобно? — Однако не поленился подняться в башню.— День добрый, генерал!

Мале смахнул с колен курчавые стружки:

— Велите прибрать в моей камере, господин майор. Новый министр наверняка пожелает нанести мне визит...

— Герцог Ровиго? — изумился майор.— С чего бы это?

— Велите прибрать! — кратко закончил Мале...

Спустившись в свою квартиру, старый комендант — в ответ на вопрос жены — лишь небрежно отмахнулся, как от мухи:

— Надоел он мне! Опять какие-то бредни...

Но караульный уже дергал шнурок колокола, возвещая о прибытии в тюрьму высокого гостя. Мишо де Бюгонь жестоко поплатился за свою недоверчивость: он был вынужден встретить министра в халате, в туфлях на босу ногу. Герцог Ровиго (тоже старый республиканец!) похлопал коменданта по животу:

— Берите пример с меня: я давно уже на ногах...

Министр действительно навестил генерала Мале, и тот встретил его за верстаком, стоя по колено в стружках.

— Вы, я вижу, — начал герцог любезно, — недаром проводите здесь время. Что это будет у вас — табуретка?

— Скорее, престол великой империи. Мне осталось только выдолбить круглую дырку посередине...

О чем они рассуждали затем, майор не все расслышал, но Мале дважды возвысил перед министром голос.

— Какие глупости! — фыркнул он. — Изменить нации, к которой сам принадлежишь, нельзя. Изменить можно только правительству. Вам должна быть известна эта классическая формула. А о будущем человечества никак нельзя судить по его настоящему, ибо настоящее очень часто бывает обманчиво...

Ровиго что-то отвечал, но Мале взбунтовался снова.

— Пока нации имеют идолов, — гневно выговаривал он, — равенства быть не может, ибо властитель, хочет он того или не хочет, но он все равно стоит над судьбами людей...

Дверь с лязгом распахнулась, и герцог Ровиго, запахиваясь в малиновый плащ, поспешно выскочил из камеры Мале:

— Газеты не присылать. Верстак отберите.

— А... телескоп? — спросил де Бюгонь.

— Звезды тут ни при чем. Оставьте...

После этого случая майор де Бюгонь пригласил генерала Мале к себе на квартиру, они вместе хорошо поужинали.

— Услуга за услугу, — сказал комендант. — Вы предупредили меня о нечаянном визите Савари, а я сообщая вам, что недавно арестован и заточен в ужасный Венсенский замок генерал Виктор Лагори, приятель изгнанника Моро... Оба они, если я не ошибаюсь, как раз из вашей веселой компании!

Мале был подавлен этим известием (Лагори был необходим ему в Париже и непременно на свободе — для связи с эмигрантом Моро; в нужный момент оба они, Мале и Лагори, должны были выступить одновременно ради свержения Наполеона).

— Как он попался? — сухо спросил Мале.

— Дурак! Сам же явился в приемную герцога Ровиго, надеясь на указ императора об амнистии по случаю его свадьбы. А до этого Лагори скрывался на улице Фельянтинок, где давно проживала его любовница — мадам Софи Гюго с детьми...

Мале отпил вина из бокала, губы его порозовели.

— Я хотел бы видеть Лагори!

— Скоро, скоро, — утешил его де Бюгонь.

— Не понял.

— Сейчас поймете. Мадам Софи Гюго, помимо женских страстей, занята страстями и политическими. Она уже хлопочет, чтобы ее обожателя перевели из Венсеннского замка в Ла-Форс, который, благодаря моему доброму сердцу, славится на всю Францию мягкостью тюремного режима...

— Кто помогает ей в этом? — спросил Мале.

— Представьте, ваш бывший сосед — прелат Лафон, которого еще при Фуше сочли спятившим. У него какие-то связи...

Мале понятливо кивнул. Он-то знал, что цели роялистов и папистов иногда парадоксально смыкаются с целями революционеров — в общем негодовании против династии Бонапартов. (Андре Моруа писал, что Софи Гюго добилась свидания с возлюбленным: «Он сгорбился, исхудал, пожелтел, челюсти его судорожно сжимались... Савари говорил, что его только вышлют из Франции: изгнание — это милосердие тиранов. Вмешательство женщины сильного характера все изменило...»)

Лагори появился в Ла-Форсе вместе с фоллиантами Вергилия и Горация, при встрече с Мале он сказал ему радостно:

— Надеюсь, тебе будет приятен горячий привет от генерала Моро из заокеанской Филадельфии...

Мале врезал сподвижнику такую крепкую затрещину, что голова Лагори жалко мотнулась в сторону.

— Меня, — жестко рассудил Мале, — более обрадовало бы, если бы ты остался на свободе... Что за глупость — поверить в амнистию императора? Как ты посмел явиться к Савари за отпущением грехов и принять на веру слова

о милосердии императора? Тебя следовало бы расстрелять по суду филадельфов.

— Прости, Мале... я сплеховал,— покаялся Лагори.— Но я никогда не изменял делу, которому мы служим. Прости...

— Ладно. А что Гидаль?

— По-прежнему в Марселе. Там все готово...

По тайнственным каналам в камеру Мале притекали самые новейшие сведения о делах в империи; обо многом он узнавал даже раньше парижан. Свидания он имел (правда, частые) только с женою. Префект полиции заподозрил было мадам Мале и намекнул об этом майору, но де Бюгонь сразу вспылил:

— Обыскивать ее не стану! Лучше уж в отставку.

— Да,— согласился Паскье, поразмыслив.— Пожалуй, вы правы, майор: обыскивать женщину — верх безнравственности...

Комендант снова, в который уже раз, отметил в рапортах «ненормальную веселость» генерала Мале. А что он знал о нем? Да ничего... Три заговора прошли через жизнь генерала — три неудачи. Первый еще в Дижоне, на самом срезе веков, когда «шагал Наполеон вослед Бонапарту», второй заговор, когда Цезарь разбойничал в Байоне, не удался и третий, когда Наполеон сражался на полях Австрии... Но Мале не унывал.

— Будем считать,— говорил он Лагори,— что репетиций было уже достаточно и в финале этого грандиозного спектакля Наполеон лишится своего нескромного сидалища — престола...

.....
Возле фонтана Биражу на улице Паве иногда появлялась женщина с мальчиком. Печальным взором она скользя по окнам страшного тюремного замка, отыскивая в них лицо любимого человека. Это была мадам Софи Гюго, влюбленная в Лагори, а мальчик — ее сын, будущий писатель Франции, который почти не знал своего отца, зато обожал того самого человека, которого любила его несчастная мать.

Итак, три заговора — три трагические неудачи.

Никто не знал, что здесь, в каменном застенке Ли Форса, вызревает еще один — четвертый, и самый решительный!

Мадам Гюго с сыном уходила в даль тихой улицы Паве

В один из пасмурных дней Мале сказал Лагори:

— Слушай, а не пора ли мне сойти с ума?

ДИАГНОЗ: ОСТРОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО

В тюрьме появился новый узник — неистовый корсиканец Боккеямпе, имевший несчастье быть земляком самого императора. В семействе его, очевидно, сохранились какие-то предания о молодых годах Бонапарта, который, став владыкой Франции, категорически пожелал, чтобы люди имели короткую память. К сожалению, память у Боккеямпе была превосходной, и он никак не мог забыть того, что Наполеон предал свою маленькую родину.

Угодив в застенок, Боккеямпе создал для себя железный режим: с утра пораньше хватал в руки что попало, начиная высаживать двери камеры. Короткий перерыв на обед и прогулку, после чего Ла-Форс снова наполнялся чудовищным грохотом.

— Оставь. Что ты хочешь доказать этим? — говорил ему Мишо де Бюгонь. — Успокойся, сынок.

— Я хочу доказать, — отвечал корсиканец с бранью, — что на этом свете должна быть христианская справедливость...

Однажды его должны были везти на набережную Малакке, где велось следствие. Боккеямпе стоял в коридоре, невдалеке от раскрытой камеры Мале, и зябко ежилась от холода. Рука генерала показалась наружу, выбросив в коридор шинель.

— Да, сегодня прохладно, — прозвучал голос Мале...

Накинув шинель, Боккеямпе сунул в руку в карман, ощутив шорох бумаги. В полицейском фиакре он сумел тайком развернуть записку. Прочел: «Не бойтесь! Вызов ничем не угрожает. Ваше дело застряло у префекта; назначенное для разбора не ранее весны. И прекратите, пожалуйста, стучать — вы мешаете не только мне...» Сказанное подтвердилось, и Боккеямпе, в знак уважения к генералу, перестал дубасить в двери. А через несколько дней узники Ла-Форса прогуливались внутри двора, с огородов парижских предместий доносились запахи чебреца и мяты.

Мале первым заметил котенка — всеобщего любимца, который застрял на карнизе, под самой крышей тюрьмы, жалко мяуча от страха и одиночества. Арестанты стали сощещаться меж собой и не могли придумать способов выручить животное из беды.

Боккеямпе отошел в сторону, чтобы помолиться. Потом он сорвался с места и вдруг... пополз, будто ящерица, вверх по тюремной стене — выше, выше, выше! Почти прилипший к древним камням Ла-Форса, издали он казался распятым,

приколоченным к стене. Комендант тоже подбадривал корсиканца криками:

— Так, так, сынок... Еще! Ну, немного...

Котенок, увидев лезущего к нему человека, закрутился на узком карнизе, прутиком вздыбливая хвостик. И вот, вскинув руки, корсиканец схватил его за шкурку — метнул в ближайшее окно камеры. Падая затем в колодезь тюремного двора, Боккеямпе чудом вывернулся — полет! — и уже повис на ветвях дерева.

— Молодец, сынок! — похвалил его майор.

Но ветви дерева снова качнулись, и земляк великого императора теперь явно удирал по гребню каменной стены.

Арестанты суматошно загалдели. Часовой вскинул ружье.

— Стреляй! — велел ему де Бюгонь.

Но тут Мале ударил ногой по ружью — роковая пуля, шелкая по булыжникам, запрыгала вдоль двора, поднимая пыльцу.

— Боккеямпе! — крикнул он в сторону беглеца. — Остановись и возвращайся обратно... слышишь? — Фигурка отчаянного парня застыла на фоне вечернего неба. — Ну же! — припечатал генерал Мале крепкой руганью. — Я кому сказал — возвращайся...

Беглец сгорбился и, в раздумье помедлив, спрыгнул в глубину двора. Майор де Бюгонь протянул руку Мале:

— Благодарю вас, генерал... На старости лет вы благородно избавили меня от бесчестного убийства!

Когда арестантов разводили по камерам, Боккеямпе, едва не плача, вдруг задержался перед Мале.

— Я вам поверил, — сказал он. — Но... зачем? Зачем вы остановили меня? Сейчас я был бы уже на свободе...

Мале обнял несчастного корсиканца:

— Ты ничего не понял и потому сердись... Пойми же: скоро мне понадобятся такие отважные люди, как ты!

Было ясно — генерал Мале опять что-то задумал.

Неуловимые для полиции нити уже сошлись пучком в его камере — теперь Мале сплетал из них прозрачную паутину, чтобы набросить ее потом на громоздкую империю Наполеона.

Но герцог Ровиго в это время был озабочен тревожными докладами префекта Тибодо с юга Франции: там, в Марселе и Тулоне, оживились якобинские настроения, к недовольным примыкают итальянцы и даже испанцы, размещенные в гарнизонах Прованса. Тибодо сообщал, что готовится

мятеж под руководством генерала Гидаля, но — по словам Тибодо — повстанцы не начнут мятежа до тех пор, пока не получат сигнала из Парижа...

Савари нервно отбросил со лба непокорную челку.

— Что за чушь! — сказал он себе. — Кто может дать сигнал из Парижа? Тибодо всегда мерещатся страхи...

В апреле 1811 года Тибодо настойчиво просил Савари, чтобы арестовали Гидаля, иначе он, префект, не ручался за спокойствие всего Прованса. Это вывело министра из терпения, в ответном письме он отчитал Тибодо за панику, Савари писал, что префект не смеет даже заикаться о том, будто «при режиме его императорского величества (Наполеона) возможно устраивать заговоры. Напротив, убедите себя, что это невозможно...»

Челка министра полиции была на манер наполеоновской!

Хороший лакей всегда подражает своему господину...

Тюремная надзирательница Аделаида Симоне тишком передала Мале крохотную записочку.

— Это вам... из Марселя, — шепнула она.

Гидадь сообщал, что Наполеон, кажется, задумывает войну с Россией, а в Марселе все готово: «Наши дела идут успешно. Только что я получил известие из Германии (порабощенной Наполеоном), что и там имеем верных союзников. Я укрепляю наши позиции в Италии...» Прекрасно! Россия останется нерушима, а Италия с Испанией скоро обретут свободу от корсиканского деспотизма. Только бы не случилось беды с Гидадем: он слишком горяч, особенно когда заглянет в большую бутылку...

Однажды ночью майор Мишо де Бюгонь был разбужен по тревоге: в камере генерала Мале слышны чьи-то голоса. Накинув халат, ветеран поспешил в башню. Сомнений не было — Мале с кем-то разговаривал. «Неужели и правда спятил?..» Майор откинул шторку и в ужасе закричал:

— Боккеямпе! Вы-то как сюда попали?

Пока он возился с ключами, отпирая засовы, случилось чудесное превращение: мирно похрапывал Мале, а больше никого в камере не было. Комендант кинулся бежать на другой этаж, он открыл камеру корсиканца — тот дрыхнул, словно окаянный.

— Что за чертовщина! — перепугался майор...

Утром он нанял трубочиста, которого и спустил в дымовую трубу. Но трубочист объявился лишь на следующий день — он вылез из подвала соседнего дома, отказавшись

рассказывать что-либо. Очевидно, генерал Мале хорошо владел тайнами старинного замка. Майор даже не осмелился сделать ему выговор:

— Боже мой! Что еще вы задумали на мою седую голову?

Мале — благодушный и спокойный — сидел перед ним, раскладывая пасьянс на стареньких картах времен революции. В его колоде не было ни королей, ни дам, ни валетов — их заменяли яркие символы Свободы, Гения и Равенства.

— Что еще? — спросил он. — Скоро вы получите письмо с бережной Малакке, в котором будет говориться обо мне...

— Да? — вполголоса откликнулся де Бюгонь.

— Конечно! Без меня ведь никак не обойдется, — смеялся Мале, ловко тасуя картишки.

— Вы еще можете смеяться?

— И будет сказано, — пророчил Мале, — что я готовлю побег с целью перебраться под знамена Россни, которой уже многие служат... Но вы, майор, не верьте этому. Русская армия справится с нашим императором и без моих услуг. Вы меня поняли?

Майор вернулся на свою квартиру и выразительно покрутил перед женою пальцем возле своего виска. Она его поняла:

— Ну и пусть его заберут от нас... куда надо!

.....
Всю зиму узник держал начальство в постоянном напряжении; по тюрьме ходили упорные слухи, будто по ночам генерал Мале вылезает гулять на крышу; караульные, простояв на посту в его башне с неделю, оказывались уже негодными — он успевал их распропагандировать, и при ходилось менять их как перчатки.

— Сударь, — не раз упрекал де Бюгонь генерала, — за вашу судьбу я спокоен. Но, прошу, пожалейте хоть свою нежную супругу, которая так много лет страдает!

Мале отделялся шутками. Однако комендант не оценил юмора арестанта, приписывая его легкомыслие некоторой расстроенности разума. Он укрепился в этом мнении, когда Мале куском мела разрисовал стену своей камеры, точно воспроизведя на память план улиц Парижа. На месте же площадей с их казармами и правительственными учреждениями он изобразил головы собак, кабанов, шакалов и всяких гадюк. Непонятные стрелы рассекали кошмарный чертеж, расходясь почему-то (тогда на это не обратили

внимания!) от казарм Десятой когорты Национальной гвардии, размещенных на улице Попинкур.

— Я придумал новую игру,— пояснил Мале коменданту.— И сейчас ознакомлю вас с ее несложными правилами...

— Сотрите все! — велел де Бюгонь, не дослушав.— Сегодня к вам придет жена, а у вас не стена, а бред взбесившегося топографа. Лучше я велю приготовить для вас букет цветов.

Разрешая свидание мадам Мале с мужем, добряк де Бюгонь осторожно намекнул ей:

— Вы не сердитесь, мадам, на старого солдата, но мне кажется, что ваш почтенный супруг уже... Сами понимаете: он не всегда здраво располагает собой и своими поступками.

Жена генерала, еще моложавая женщина, в черных траурных одеждах, бегущих от плеч до полу, стояла перед ним — робкая и печальная, как олицетворение вечной скорби. Кажется, в этот момент они отлично поняли друг друга.

— Может, вы и правы,— произнесла жена генерала.— Но... что мы можем сделать для здоровья моего мужа?

— Я подумаю,— решил майор, сердечно жалея женщину.

Наступила зима. Поздним вечером во двор Ла-Форса въехал полицейский фургон, из него вывели генерала Гидаля... Увидев Мале, он сразу начал ругать префекта Тибодо:

— Эта сволочь все-таки допекла министра своими доносами, и вот я здесь... Но ты не волнуйся, Мале: Прованс начнет и без меня, когда начнется в Париже...

.....
Мале шел навстречу обстоятельствам, а обстоятельства складывались в его пользу. Не только жена, он и сам ходатайствовал, чтобы его перевели в клинику доктора Дебюиссона. «Там,— писал он министру полиции,— я согласен ждать в менее неприятных условиях справедливости его величества...»

При свидании с мадам Мале герцог Ровиго сказал ей:

— Утешьтесь! Я не вижу особых причин, препятствующих перемещению вашего супруга в тюремную клинику...

Комендант тюрьмы до конца точно не знал, насколько он прав в своих догадках, но рехнувшись, считал он, совсем незачем томить в тюрьмах. В рапортах он так и отписывал на набережную Малакке, что генералу Мале надо

поправить мозги, а жена майора подзуживала его поскорее избавиться от генерала:

— Ты и так, бедный Мишо, бережешь этого Мале лучше яйца. Спятил он или не спятил, но без него нам будет спокойнее...

Действительно, с двумя остальными генералами в Ла-Форсе комендант управился бы: Лагори терпеливо выждал перемен к лучшему, а воинственный Гидаль, поджидая сурового суда, напивался по вечерам, в минуты же ангельского смирения он вырезал ножницами из бумаги силуэты прекрасных женщин.

— Ты права, душа моя,— соглашался де Бюгонь с женою,— мы должны избавиться от этого шального якобинца. А то не только он, но скоро и мы с тобою окажемся в бедламе...

Собрался консилиум врачей, и генерала Мале было решено перевести из казематов Ла-Форса в пансион для умалишенных знаменитого психиатра доктора Дебюиссона.

— Там будет вам лучше,— сказал де Бюгонь.

— И я так думаю,— ответил Мале.— Благодарю вас за все. Наверное, я был слишком беспокойным постояльцем в вашей чудесной бесплатной гостинице для избранных.

— Ну что вы! — смутился старый драбант.— Извините меня тоже. Иногда я вмешивался в ваши дела не совсем кстати. Но у меня, поверьте, нет иных доходов, кроме этой проклятушей службы на благо нашего великого императора. Желаю вам как можно скорее поправиться, генерал!

Мале ответил майору учтивым поклоном:

— Я освобождаю камеру... Знаете, для кого?

— Для кого? — спросил майор.

— Для министра полиции Савари, герцога Ровиго...

Вот тут бедный майор, кажется, окончательно поверил в «сумасшествие» генерала. Мале, покидая Ла-Форс, громким голосом обратился к окнам мрачной цитадели:

— Прощайте, мои друзья! И ты — Боккеямпе, и ты — Гидаль, и ты — Лагори! Прощайте все... скоро мы встретимся!

За углом улицы Паве карета замедлила ход, на подножке ее вскочила мадам Мале. Генерал подхватил ее в свои объятия.

— Сними перчатки,— сказал он жене,— и дай мне свои нежные руки... Любовь моя! Вспомни наше свадебное путешествие во Франшконтэ — мы не разнимали тогда рук ни на дороге...

Скоро карета вкатилась на улицу Святого Антония.

— Сейчас мы снова расстанемся, Клод.

- Да, милая Мадо. Но уже ненадолго...

.....
Доктор Дебюиссон был психиатром новейшего, гуманного толка. Он отвергал варварские приемы лечения, практикуя обращение с больными мягкое и добросердечное.

Генерала Мале по прибытии в больницу лишь заставили окатиться ледяною водой, и он предстал перед Дебюиссоном нагишом, накинув на плечи только чистую простыню.

— Сбросьте ее,— велел Дебюиссон.

Простыня упала к ногам генерала, и Дебюиссон невольно вздрогнул. На груди пациента красовалась четкая татуировка: голова Людовика XVI, прижатая к плахе ножом гильотины.

Врач нацепил очки, попросил Мале подойти ближе.

— Что это у вас, генерал, за странный натюрморт? — спросил он.— Судя по тяжелой челюсти, это лицо из династии Бурбонов, а ножик отнюдь не для разрезания дичи.

— О да! — охотно отозвался Мале.— Изо всех способов народной медицины, чтобы избавиться от перхоти в голове, самый удачный пока придуман только один — это гильотина...

Дебюиссон властно поднял ладонь, сказав:

— Довольно! Я сразу разгадал вашу болезнь, Мале: вы — отчаянный якобинец. Так и запишем... для истории.

Генерал Мале признательно склонил голову.

— Лучшей болезни,— отвечал он,— вы просто не могли бы придумать. Любопытно — каков же будет ваш диагноз? На грифельной дощечке Дебюиссон начертил крупно:

ГЕНЕРАЛ МАЛЕ — ОСТРОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО

— Вот мой диагноз для каждого из якобинцев,— закончил он веско.— Можете повесить это на дверях своей комнаты.

— Благодарю вас, доктор. Теперь я спокоен: смерть от почтенного благоразумия мне, во всяком случае, отныне не угрожает.

Итак, генерал Мале сделался официальным сумасшедшим великой Французской империи. Пятого числа каждого месяца в пять часов вечера он на пять минут обращал свои взоры к заходящему солнцу: «О великое светило! Что я сделал на благо свободы?..»

«МОИ ЛЮБЕЗНЫЕ СУМАСШЕДШИЕ»

Республика сняла оковы не только с узников Бастилии, но и с умалишенных знаменитого Бисетра. До падения королевского режима во Франции (впрочем, как и в других странах) психические больные считались опасными для общества, наравне с бандитами, и сажались на цепи в тюрьмы — с той лишь разницей, что охраняли их не солдаты, а капуцины. Дебюиссон считал себя учеником великого гуманиста Филиппа Пинеля, но пансион его скорее напоминал убежище для пройдох и авантюристов всякого рода, нежели клинику для умалишенных. Солидный «Maison de Santé», в котором только решетки на окнах свидетельствовали о лишении свободы, был окружен старинным садом; тихая улочка Святого Антония упиралась в глухое предместье Парижа, и тучи голубей вечно кружили над крышею пансиона.

Невольные (или слишком вольные) пациенты доктора Дебюиссона имели хороший стол, каждый — отдельную комнату и свободный доступ к ним родных и приятелей. «Сумасшедшие» же здесь пребывали особые, и с ума они сходили каждый на свой лад: так, например, чиновники проворовывались, генералы терпели поражения на полях битв, роялисты пламенно желали восстановления прежней династии, а придворные не умели угодить императору.

Это были настоящие «сумасшедшие» — не чета тем орущим дуракам, которых без лишних слов вяжут в смиренные рубахи!

Все эти люди, чтобы не сидеть в тюрьмах, предпочитали «лечиться» от подобных «сумасшествий» в пансионе доброго доктора Дебюиссона, стремительно богатевшего от наплыва великосветских гонимых. И министр полиции Фуше, конечно, догадывался об истинном значении пансиона. Почему знать! — может быть, он и сам рассчитывал когда-нибудь... подлечиться; всего ведь не предугадаешь, времена тяжелые. Так что лавочка эта не была прихлопнута и Савари, который требовал от больничной администрации одного: удерживать пациентов в пределах высокого забора, окружавшего этот странный бедлам эпохи Наполеона.

— Все-таки вы следите, — наказывал Ровигу врачам. Не все же здесь хорошие симулянты. Наверное, бывают ведь и тяжелые случаи душевных заболеваний...

Из числа старых знакомцев Мале встретил здесь своих заклятых врагов — роялистов, которые волею судеб отныне признавали его своим единомышленником. Это был чудо-

вишный парадокс того безобразного времени, когда граф Жюль де Полиньяк приветствовал якобинца Мале радостным возгласом:

— А-а, вот мы и в одном «комплоте», мой любезный дегенерат! Не пора ли для начала составить партию в триктрак?

Маркиз де Пюивер, сидевший еще в тюрьмах Конвента, тоже был несказанно рад видеть генерала Мале.

— Я имею все основания, — заметил он кляузно, — быть недоволен вами: когда-то вы сажали меня, теперь сами выглядываете на мир через щелку. Учитесь же, генерал, логике событий...

Маркиз де Пюивер, братья Полиньяки, Бертье де Совиньи, испанский священник Каамано — они, как знойные мухи, кружились вокруг генерала. Их привлекало в нем мужество и стойкость убеждений, какими сами они не обладали. И он оказался снисходителен к роялистам — играл в триктрак, распивал по вечерам шамбертень, но оставался по-прежнему малодоступным и гордым. Вот он снова появился на дорожках больничного сада — быстроглазый, с ухмылкой на тонких губах; он ни перед кем не заискивал, первым разговора не начинал, одним кивком головы одинаково отвечая на приветствия маркизов и полупьяных мотильщиков.

Иногда Мале присаживался к старенькому клавесину, тихо распевая давно забытый романс:

Они прошли, этих праздников дни,
И не вернутся уже они.
У вас было то для ваших побед,
У вас было то, чего больше нет...

Свистнув, он подзывал больничного пуделя, гулял с собакой по саду, размышляя о чем-то в своем одиночестве. Тут однажды к нему подошел аббат Лафон, сказавший:

— Генерал, наши цели, кажется, совпадают? И мне и вам одинаково мешает жить один человек — император Наполеон, он же и генерал Бонапарт...

.....

Скоро Мале уединился в своей комнате, и среди пансионеров «Maison de Santé» возникли слухи, будто генерал занят историей войн из эпохи Французской республики.

— *Войн?* — удивился маркиз Полиньяк. — Вот уж никогда не поверю... Не войн, господа, а демагогии, столь любезной его якобинскому сердцу. В дымящемся навозе революции он, как петух, будет выкапывать зерна, давно уже сгнившие.

Сплетни великосветских «идиотов» доходили до генерала, но он не придавал им значения. Мале трудился над книгой, которую ему хотелось бы назвать «ХРЕСТОМАТИЕЙ РЕВОЛЮЦИИ». Обращаясь к потомству, Мале хотел заранее предостеречь Революцию Будущего от скорбных ошибок великой Революции Прошлого:

— К сожалению, многие из нас считали революцию завершенной, когда они дорвались до высшей власти... Не в этом ли и таится печальная развязка нашей революции?

И вот однажды, фланируя по коридорам клиники, де Пюивер заметил краешек бумаги, торчавший из-под дверей комнаты Мале. Маркиз не отличался особой щепетильностью в вопросах чести и, потянув бумажку к себе, вытащил наружу всю страницу рукописи. С удивлением он прочел: «Люди не хотят повиноваться прежним деспотам. Но, единожды вдохнув дурмана свободы, они уже забывают о мерах предосторожности. Скоро замешивают новую квашню из лести и славословий, чтобы слепить для себя из этого зловонного теста нового Идола. И власть этого искусственно созданного Идола бывает для нации гораздо опаснее, нежели примитивный деспотизм эпох, уже разрушенных Революцией...» В этих словах Мале разоблачал культ Наполеона!

Маркиз де Пюивер ворвался в комнату генерала.

— Поздравляю! — кричал он, размахивая листом бумаги. — И вы прозрели, мой генерал! Только побывав в море революций, мы поняли, как покоен был бережок старой монархии...

Мале вырвал из рук маркиза свою страницу и грубо отшвырнул от себя чересчур восторженного гостя.

— Убирайтесь вон! — зарычал он в бешенстве. — Вы ничего не поняли, светлейший скудоумец, и никогда меня не поймете...

Вечером того же дня Мале снова повстречался в саду с Лафоном; элегантный толстяк аббат носил под сутаной короткие штаны-culottes — из черной сверкающей парчи.

— Что-то вас давно не видно, — улыбнулся он генералу.

— Давно, — согласился Мале. — Но когда черт стареет, он всегда становится немножко отшельником...

Оба они, по уверению Паскье, «придумали себе душевные болезни и добились перевода в клинику». Генерал еще в тюрьме Ла-Форса обнаружил в соседу по камере изворотливый гибкий ум. Мале почему-то сразу решил, что аббату наверняка недостает личной храбрости, но зато Лафону нельзя было отказать в разумности. До ареста он был

скромным кюре в приходе Бордо. Надо полагать, пастырь он был далеко не мирный, ибо радел больше всего о папе Пии VII, нежели о нуждах своей паствы. Римского папу из заточения Фонтенбло он не выручил (папа и не знал, что у него есть такой заступник), зато сам Лафон угодил под сень гостеприимного пансиона для сумасшедших.

— Здесь мне хорошо,— признался аббат со вздохом,— а мыслям моим просторно, как арабу в пустыне...

Вскоре к их обществу присоединился испанский священник Каамано. Три различных по духу человека, они ненавидели Наполеона в трех ипостасях: генерал Мале — как республиканец узурпатора, аббат Лафон — как страдалец за главу унижаемой церкви, а испанец Каамано — как патриот, родина которого была растоптана сапогами наполеоновской гвардии.

— Главное — выждать,— убеждал Лафон.— Наполеон тоже не вечен, когда-нибудь сдохнет. Даже одна случайная пуля может решить судьбу его самого, его империи и нас с вами!

— Значит,— вставил Мале, ухмыльнувшись,— дело только за императором? Надеюсь, я верно вас понял?

— Безусловно. Какие могут быть сомнения, генерал?

Лафон, опытный прохиндей, и сам не заметил, как попался в ловко расставленные перед ним сети.

— Хорошо, аббат,— со значением намекнул Мале,— когда-нибудь я напомню вам об этом милом разговоре...

Рукопись «Хрестоматии Революции» на столе генерала медленно разбухала. Исписывая страницы безобразным почерком, Мале все перестрадал заново: победы и поражения, предательства и благородство, опьянение торжеством и даже нищенство в заброшенных гарнизонах возмущенной Ванден.

— До каллиграфии мне очень далеко,— как-то сказал Мале аббату.— Нет ли у вас знакомого переписчика?

— А что вы сочиняете, коварный якобинец? — Лафон шуточно погрозил генералу пухлым пальцем.— В вашем возрасте писание любовных мадригалов для дам уже сомнительно.

— Согласен, что возраст критический для якобинца, а для поэта и подавно! В мои пятьдесят восемь лет неплохо бы качать на коленях сопливого внука или строить амуры с молоденькой кухаркой. Однако...— Тут генерал шлепнул ладонью по неряшливой рукописи.— Вот, разрешаю взглянуть.

Аббат раскрыл «Хрестоматию Революции» с удивительной поспешностью, словно только и ждал этого момента, но — странное дело! — начал с последней страницы. Дважды прочел ее.

— Ну? — спросил его генерал.

Медленным жестом аббат снял с переносицы очки.

— Но это же не конец! — сказал он. — Я думал, что вы пойдете много далее в разъяснении своих принципов. Если бы ваши идеалы, как и мои, оказались завершены, то вы (простите великодушно) не сидели бы здесь на правах помешанного!

Мале понял аббата с первых же слов.

— Я продолжу, — заявил он.

И он — продолжил... Теперь работали вместе. Генерал писал, коряво и грубо, а Лафон героически продирался сквозь заросли генеральских выводов, красивыми оборотами он старательно приукрашивал по-солдатски лапидарную речь генерала.

— Удивительно! — ворковал аббат. — Люди, владеющие речью, бывают скованны, как только сядут к столу. А прекрасно пишущие совсем беспомощны в разговоре. И только бездарности вроде меня умеют прилично делать и то и другое.

— Вы, кажется, льстите мне? Хотя ваша лесть и тонкая.

— Просто я хотел сделать вам приятное: вы же ведь, военные люди, всегда любите, чтобы оружие было хорошо заточено...

Были найдены толковые копиисты: капрал Рато, служивший в гарнизоне Парижа, и смывленный студент Бутри — приятель Каамано. Люди они были молодые, в зарботке нуждались, а потому исполняли переписку бумаг генерала весьма охотно и бойко.

— Торопитесь, — наказывал им Мале...

В своих писаниях он рискованно зашел весьма далеко. Победно прошагав под возгласы «Марсельезы», Мале обрисовал худший вид «Карманьолы» — танец буржуазии, которая отплясывала на братских могилах, и в ушах распутных девок сверкали серьги, сделанные в форме крохотных гильотин. Мале уже подбирался к тайнствам восшествия на престол Наполеона, к секретам его побед и власти... И теперь аббат Лафон с трусливой поспешностью разжижал страницы «Хрестоматии Революции».

— Эта фраза, — иногда говорил он, — звучит под вашим пером сразу на двадцать лет каторги в Кайенне. Я позволю

себе исправить ее... вот так! Теперь вы получите за нее в худшем случае три года Венсеннского замка. Это уже не так страшно...

Капрал Рато и студент Бутри мало вдумывались в текст, который им давался для переписки. Но если бы они исполнили работу не машинально, то, пожалуй, могли бы заработать и больше, отнеся эту рукопись прямо на набережную Малакке — к министру полиции. С помощью жены Мале возобновил связи с бывшими друзьями в армии, и теперь Рато часто разносил по Парижу его письма, причем адресатами иногда были военачальники и с громкими именами. Пребывание в их богатых передних льстило захудалому капралу; уповая на связи опального Мале, честолюбивый Рато втуне надеялся устроить свою карьеру. Он был бы удивлен, узнай только, что Мале уже раскусил его хиленькое тщеславие; мало того! — он мысленно уже включил капрала Рато — как маленькое звено — в цепочку событий будущего...

Мадам Мале тем временем посетила ближние к Парижу города, где ее знали. В ответ на выраженные ей сожаления по поводу печальной участи мужа она как бы удивлялась:

— Вы ошибаетесь, мой супруг давно уже на свободе. Правда, он еще не совсем оправился после пережитого, но службе его болезнь помешать не может...

Досыта напитав провинциальное общество подобными слухами, она проверяла их действие в самом Парнже, чаще прежнего появляясь в столичном свете. Иногда ее спрашивали:

— Вас можно поздравить, мадам Мале? Говорят, в Руане вас видели уже вместе с мужем? Каковы сейчас его планы?

Ответы умной женщины были весьма осторожны. Лишь скользящие полупамятки, которые можно истолковать двояко:

— Ну, у вас какие-то запоздалые сведения...

Так постепенно, как бы исподволь, полуофициальное мнение Парижа было подготовлено к тому, что генерал Мале реабилитирован и бодрствует где-то в гарнизонах провинции. В эти же дни, подтверждая слухи, до Мале дошло известие из придворных кругов об увлечении Наполеона книгами о геройских походах короля Карла XII. Мале в гневе воскликнул:

— Значит, ему все еще мало! Так пусть же идет на Восток и пусть отыщет свою Полтаву, а русские позаботятся, чтобы свернуть ему разжиревшую шею. Великий Рим он

превратил в никудышный департамент своей империи, но мы еще посмотрим, какой департамент получится у него из Москвы!

.....

Франция не отвергала военный гений Наполеона, но французы не мирились с условиями империи того же Наполеона: личность императора они зачастую отделяли от государства... О хорошем правителе обычно говорят, что он «покрыл страну школами и больницами», а Наполеон покрыл Францию казармами и тюрьмами, которые строились на протяжении всего его правления. Для кого же столько тюрем? Для преступников? Нет. Сам император объяснял в указах, что тюрьмы создаются «для тех, кто не может быть осужден по недостатку улики, или же для тех, чей публичный процесс грозил спойствию государства». Иначе говоря, варварское беззаконие возводилось в ранг абсолютной законности... Этого мало! Армия пожирала хлеб быстрее народа и с большей алчностью. Нехватка продуктов вызвала их чудовищную дороговизну. Страна зашаталась от голода. Лебеда, отруби, жмыхи и лесные орехи заменяли народу хлеб. А бунтующих бедняков расстреливали, не щадя при этом и женщин. «Забота» императора о голодных выразилась в его распоряжении: от каждой буханки хлеба богач обязан отрезать горбушку в пользу голодающих. Наконец в феврале 1812 года Наполеон, боясь народных волнений, повелел открыть в Париже бесплатные столовые, и тысячи парижан выстраивались в длинные очереди, чтобы получить от щедрот императора миску государственной баланды. А газеты Наполеона — без тени юмора — извещали читателей, что они благоденствуют под скипетром гениального вождя и полководца, во всем мире давно царит повальная нищета и все другие народы (читай: еще не покоренные Наполеоном) «завидуют счастливому жребию и довольству своих французских товарищей». В это же время, когда писались эти строчки, женщины Франции делали аборты, чтобы их дети не служили «пушечным мясом», а иные спешили вызвать преждевременные роды, дабы избавить своего мужа от рекрутчины. О том, что французам предстоит поход на Россию, поговаривали давно, и умные люди предчувствовали результат его:

— Стоит нашему императору лишь чуточку споткнуться на пороге России, и все народы подымутся против этого зарвавшегося гения... все-все — от Рейна до Сибири!

Генерал Мале тоже думал об этом, рассуждая:

— Почти двадцать лет подряд французы не вылезают

из кровавой бани, и главное сейчас — вернуть всех наших солдат из тех стран, в которые они проникли ради грабежа и насилия, ради удовлетворения честолюбия императора...

Так он говорил. А так он писал: «Вот нам (филадельфам) и нужно поспешить... Французскому народу прежде всего необходимо свободное суждение о вещах. Нужно сделать так, чтобы он мог сказать: хочу или не хочу этого ребенка?..»

В канун вероломного нападения Наполеона на Россию между генералом и аббатом Лафоном состоялся короткий, но весьма значительный разговор. Начал его аббат — с вопроса:

— Не кажется ли вам, что карету империи Наполеона не так-то легко остановить, а еще труднее — направить по иному пути. Пока вы будете менять в упряжке лошадей...

— Лошади тут ни при чем! — перебил Мале. — Они только тянут, везет же кучер. Карета государства не должна замедлить ход, пока кнут одного кучера переходит в руки другого. Пассажиры спросонья и не заметят, что их повезли по новой дороге.

— Та-ак, — призадумался аббат. — Но охрану этого кнута, а иначе — скипетра, Наполеон доверил самым верным церберам.

— Мне ли не знать об этом? Но у меня на каждого пса уже заготовлен ошейник. Вот, взгляните на этот брульон...

Мале протянул аббату список людей в Париже, которых следует изолировать в первую очередь: герцог Ровиго, генерал Гюллен, капитан Лаборд, Паскье, Демаре и прочие.

— О! Я вижу, что у вас все продумано...

Они долго молчали. Больничный пудель царапался в дверь, тихо поскуливая. Со свечей капал прозрачный воск.

— Странно другое, — заметил аббат, стряхивая задумчивое оцепенение. — Почему все заговоры последних лет, как справа, так и слева, заканчивались позорными провалами?

— Это потому, друг мой, — убежденно заверил его Мале, — что в числе сообщников всегда находились предатели.

— Какое же средство против этого бедствия?

— Возможно только одно средство: число лиц, посвященных в тайну заговора, следует сократить до минимума.

— Вы не ошибаетесь, мой генерал? — спросил аббат, и румяные брыли его щек утонули в черных кружевах пышного жабо.

— Верьте мне! — строго ответил Мале.

Этот разговор впоследствии сыграл немалую роль.

Священник Каамано вдруг «излечился» настолько, что это признал не только доктор Дебюиссон, но подтвердила и полиция. Однако возвращение в Испанию ему было запрещено, и он поселился на тихой улочке Нев-Сент-Жиль.

— Очень хорошо, что вы остаетесь в Париже, — сказал ему Лафон на прощание. — Времена переменчивы, и вы еще можете быть полезным во славу десницы божией.

Мале трудолюбиво копался в огороде, помогая садовникам, которые его боготворили. Горбатой жене больничного гробовщика, родившей девочку, он принес две влажные от росы камелии. Мале положил цветы на подушку, и лицо пожилой горбуны вдруг похорошело от счастья. Глаза ее увлажнились от слез, и при отблеске свечей они вдруг сверкнули, как драгоценные камни.

— Вы прекрасны сейчас, мадам, — сказал ей Мале. — Желаю вам быть счастливой матерью.

Гробовщик наклонил кувшин, темное вино, глухо булькая, медленно заполнило две пузатые кружки.

— Генерал, я хочу угостить вас... Выпьем!

— За Францию, — отозвался Мале. — Простые люди, я сейчас уйду, но вы не забывайте меня, — неожиданно попросил он трогательно. — Помните меня, бедного генерала Мале...

Несмотря на позднее время, в вестибюле пансиона его поджидал капрал Рато с заплаканными глазами.

— Что с вами, юноша? — спросил генерал.

— Такое несчастье, — всхлипнул Рато. — Говорят, наш резервный батальон должен выступить из Парижа ~~ни~~ Вильно.

— На Вильно? Значит, безумие продлевается...

Мале отвернулся к окну. Перед ним темнел ночной сад, и ветви деревьев таинственно шумели, вытягиваясь под ветром. Генерал барабанил пальцами по стеклу, раздумывая:

«Значит — Россия?.. Значит — исход!..»

Он повернулся к Рато даже с улыбкой.

— Не тревожьтесь, — утешил капрала. — Я замолвлю за вас словечко, и вы, как единственный сын у матери, не будете участвовать в этом последнем пиршестве Царя...

«Неужели Наполеон настолько уверен в своем счастье, что решится напасть на Россию?» — этот вопрос горичко

обсуждался среди пациентов Дебюиссона, и вскоре сомнения подтвердились: Великая Армия вдруг шагнула за Неман, безлюдные печальные пространства поглотили ее в своих пределах. За обеденным столом Мале торжественно поднял бокал:

— Мои любезные сумасшедшие, мои дорогие кретины, идиоты и просто дураки! Могу вас поздравить: отныне во Франции появился человек, который намного глупее генерала Бонапарта, а именно — император Наполеон... Надеюсь, что скоро наш доктор Дебюиссон будет иметь еще одного пациента! Ну-ка, выпьем...

А что? Мале словно подслушал, что в эти дни говорил морской министр Декре архиканцлеру Камбасересу: «Император у нас рехнулся, положительно он сошел с ума. Он заставит всех нас полететь кувырком, и все это, вот увидите, кончится грандиозной катастрофой...» Камбасерес промолчал.

.....
Молчание! Великое молчание нависло над Францией...

Парижские газеты, не получая точной информации из России, заполняли страницы разной ерундой. Журналисты бесплодно спорили, какая пьеса нужна для развития героики, возникла глупейшая дискуссия, какое пение лучше — итальянское или французское? «После взятия Смоленска, — писал Савари, — все желали одного — заключения перемирия». Это мнение наблюдателя из окон набережной Малакке. Но до генерала Мале из далекой Америки дошел голос опытного стратега Моро. «Великий человек, — писал он о Наполеоне, — в России чрезвычайно унизился, и кажется, что в Смоленске он окончательно потерял свой разум...» Это правда, что продвижение Наполеона к Москве вызвало в кругах правительства почти панику. «Отныне император — человек погибший» — именно так говорили о нем министры... Наконец, до Франции дошло известие о битве при Бородино, которую Наполеон повелел считать поражением русской армии, и на площади Инвалидов пушки Парижа салютовали сто раз подряд. В середине октября был распубликован очередной бюллетень Великой Армии, в котором сообщалось о занятии Москвы, покинутой жителями и охваченной грандиозным пожаром.

Роялисты приуныли, и только Мале оставался весел.

— Чему вы радуетесь? — обидчиво спросил его Бертье де Совиньи. — Гороскопы гадалки Кленорман подтвердились: Наполеон уже сидит в берлоге русского медведя.

— Ну, — отшутился Мале, — он свалился в эту берлогу

по недоразумению. Посмотрим, каково-то он из нее выберется, когда одноглазый медведь проснется с рычанием.

— Вы имеете в виду Кутузова? — спрашивали его...

Мале не поленился принести карту России.

— Смотрите! — сказал он. — Наполеон попал в условия, в каких ему бывать еще не приходилось... нигде в Европе. Отступление Баркляя и Кутузова — не от страха и не от слабости россиян. Нет, — утверждал Мале, — это, скорее, великолепная западня, в которую наш император залезает сам, еще не догадываясь, куда и зачем он лезет... Москва для него и станет задвижкой, которая разом захлопнет эту западню!

В мемуарах людей того времени мы находим одно удивительное совпадение. Именно в эти дни умнейший человек Парижа, князь Талейран де Перигор, — в частной беседе с маркизою Куаньи — сказал буквально следующее:

— Вот самый удачный момент, чтобы ЕГО низвергнуть...

В лечебнице для душевнобольных, почти одновременно с Талейраном, точно так же думал и генерал Мале.

«КОНСПИРАЦИЯ» — «КАМПАНИЯ»

А затем всякие известия из России перестали поступать в Париж; по осенней, затянутой дождями Франции расплозились мрачные слухи об ужасах русской зимы, о неизбежной гибели от русских дикарей самого императора и всей его армии...

Вечером 19 октября Мале без предупреждения вошел в комнату Лафона.

— У меня серьезный вопрос... Можете ли вы представить, что императора более не существует?

В поднятой руке Мале держал шандаль со свечами.

— Разве получены новые депеши из России?

— Нет, — отчеканил Мале. — Но советую заранее проникнуться мыслью, что императора более не существует.

— Куда же он денется? — недоуменно спросил аббат.

— Наполеон уже пронзен пикою русского казака.

— Кто-нибудь во Франции знает об этом?

Мале выступил из тени, задул пламя свечей.

— Пока что об этом знают только два человека: я и вы! Причем, — добавил он, — смерть императора наступит тогда, когда мы с вами определим ее дату... Готовьтесь!

Руки аббата судорожно дернулись, рванули нитку, и горошины четок вдруг весело закружились по комнате.

— Генерал... Что вы задумали, генерал?

— Восстановить лишь то, что разрушил император.— Аббат при этих словах обессилению рухнул в кресло, но генерал Мале безжалостно закончил: — Да, я понимаю, что республика вам не по душе, но все-таки вам предстоит пририться с нею...

Выступление было назначено на конец октября, о чем Аделаида Симоне и предупредила генералов Лагори и Гидаля в их заточении. Мале велел жене приготовить крупные боны государственного казначейства, вынуть из нафталина мундиры.

— Один мундир,— наказывал он,— с выпушкой и басонами, генеральский. Другой — адъютантский, с аксельбантами. Шпаги возьми у Роже, он тебе не откажет. Пистолеты зарядишь сама потуже, как перед боем. И раздобудь полицейский шарф. Все это привезешь на квартиру испанца Каамано...

Филадельфы уже заготовили поддельный «сенатус-консульт», в котором говорилось о гибели Наполеона 7 октября под Москвой, далее следовал декрет, гласивший: «Так как императорская власть не оправдала надежд тех, кто ждал от нее мира и счастья французам, эта власть с ее институтами упраздняется». К власти должно было прийти временное правительство с президентом — генералом Моро, вице-президентом назначался знаменитый республиканец и ученый-математик — Лазар Карно...

— Осечки не будет,— сказал Мале жене.

Осечка в заговоре возникла по вине герцога Ровиго, который посетил Ла-Форс, любезно побеседовав с узниками-генералами:

— Лагори, ваше дело закончено. Нет смысла томить вас по тюрьмам империи, и вы скоро вернетесь в Америку к своему генералу Моро.— После чего министр повернулся к Гидалю: — А с вами у нас сложнее. Вы предстанете перед судом военного трибунала в Марселе... Прошу вас, господа, заранее экипироваться для столь дальнего дорожного путешествия.

Гидадь и Лагори тревожно переглянулись: заговор трещал по всем швам, и они заявили почти в один голос:

— Просим повременить с нашим удалением из Парижа, ибо вы сами должны понять, что надо собрать вещи, вернуть белье из стирки... уладить кое-какие дела.

Савари разрешил им отсрочить отъезд, а надзирательница Симоне в тот же день повидалась с Мале, предупре-

див его, что сроки мятежа следует перенести на ближайшие дни. Мале взвесил все обстоятельства и наказал общанице:

— Передайте Лагори и Гидалю, что в ближайшую из ночей их сон будет мною потревожен... неожиданно!

Встретив аббата Лафона, который при виде генерала пытался шмыгнуть за угол, Мале остановил его сердитым окриком:

— Стойте! Куда вы спешите?

— Я хотел бы навестить цирюльника,— растерялся аббат.— У меня уже заросла тонзура, не мешает ее вырить...

Генерал бесцеремонно обнажил его плешивую голову:

— О создании тонзуры, я вижу, давно озаботилась сама природа, и потому не советую тратиться на цирюльников. Вы, мой друг, от меня не отвертитесь. Укрепитесь в греховой мысли, что всевышний уже прибрал к себе вашего императора.

— Генерал,— понуро отозвался аббат,— не могли бы вы расправиться с его величеством без моего участия?

— Увы... но я спешу. И мне уже некогда подыскивать соратников более решительных. Придется брать за собой в бессмертие ту тряпку, из которой никак не выкроить знамени...

Днем 22 октября капрал Рато явился в больницу, выложив на стол генерала последние перебеленные им страницы «Хрестоматии Революции». Мале похвалил юношу:

— У вас отличный почерк. Если бы вы пошли по гражданской службе, из вас получился бы недурной канцелярист.

— Но я мечтаю быть офицером,— признался Рато.

— Вы заслуживаете этого. И скоро станете офицером.

— Я? Какое счастье... Да здравствует император!

— Не орите,— строго одернул его Мале.— Вы находитесь не в кабаке, а в приличном заведении для благородных психопатов. И здесь никому не позволено выкрикивать глупости...

— Извините. Но я так рад, так рад... а мои сестры теперь будут приняты в обществе... Правда, что я буду офицером?

— *Завтра*,— ответил Мале уверенно.— А сейчас слушайте меня с крайним вниманием. Вечером, сразу после девяти часов, вы должны быть на улице Нев-Сент-Жиль у известного вам испанца Каамано, туда же приведете и студента Бутри.

Рато выслушал и подобострастно кивнул:

— Я с удовольствием исполнил бы вашу просьбу. Но мне, господин генерал, нельзя покидать казарму в столь позднее время.

— Повторяю,— отчеканил Мале,— к девяти часам вы будете на улице Нев-Сент-Жиль со студентом Бутри. А командир вашего батальона будет извещен мною о вашей отлучке.

— Благодарю вас, генерал!

Проводив капрала до ворот, Мале вдруг спросил:

— Постой, ведь ночью, когда будешь возвращаться от Каамано, тебя без пароля не пропустят в казарму... верно?

— Точно так, генерал.

— Ты недогадлив... Так вот, не забудь узнать пароль по гарнизону Парижа на сегодняшнюю ночь.

— Будет исполнено, генерал.

Лафон по собственному почину навестил Мале.

— Мне совсем не хотелось бы,— сказал он,— чтобы вы сочли меня тряпкой... Я имею вполне законное право быть крайне взволнованным. Как слуга церкви, я далек от дыма сражений, а звуки органа для меня всегда были милее рева воинских горнов. Так извините, генерал, мою минутную слабость...

Мале, распахнув объятия, привлек аббата к себе:

— Не будем ссориться. Впереди у нас целая ночь, каждое мгновенье которой будет расписано в легендарных хрониках.

Лафон действительно справился с трусостью, во время ужина оставался благодушно-покоен. Затем генерал Мале предложил ему партию в карты, и аббат не отказался. Мале несколько раз подряд обыграл священника, и Лафон в своих мемуарах не забыл отметить, что «генерал был абсолютно спокоен и настолько хорошо владел собою, что я ему постоянно проигрывал...». Но постепенно настроение аббата менялось, и Мале ощутил это:

— Чем объясните потерю бодрости? Неужели проигрышем?

— Да, генерал. Честно говоря, я не очень-то люблю оставаться в дураках,— увильнул аббат от прямого ответа.

— Если так — отыгрывайтесь!

— Придется,— нехотя согласился аббат...

Пальцы его мелко вздрагивали, когда он вскрывал свежую колоду, и Мале потребовал от него выдержки:

— Возьмите себя в руки. Надеюсь, если задрать на вас сутану, то я увижу под нею штаны бравого мужчины...

Лафон молитвенно сложил ладони перед Мале, как перед святым распятием, он заговорил — порывисто и проникновенно:

— Послушайте, генерал: не может ли так быть, что мы оба настоящие сумасшедшие? Ведь иначе мы не сидели бы здесь. И, возможно, то, что нам кажется здраво, со стороны выглядит как поступок явно ненормальных людей.

— В истории деспотических государств нормальное всегда кроется в ненормальном. Поверьте мне, аббат, что тирания всегда ненормальными средствами преследует нормальные человеческие чувства... Мы сейчас самые здоровые люди во всей Франции, ибо мы желаем свержения деспотизма!

— Ну, хорошо, — покорно согласился аббат. — Допускаю, что это так. Но... пойдет ли за вами гарнизон Парижа?

— Армия устала от избытка крови и славы, она, как и весь народ, жаждет мира. Неужели вы думаете, — усмехнулся Мале, — что я оставлю гарнизону время для рассуждений? Заговор будет стремителен, как полет метеора, — вдохновенно рассуждал Мале. — Когда нет времени для исполнения приказов, тогда не остается времени и для анализа своих поступков...

— Допустим, — сказал аббат, — императора не стало. Но префект департамента Сена, граф Фрошо, даже поверив в гибель Наполеона, сразу же вспомнит о его сыне — Римском короле!

— Ну и пусть. — Под испытующим взглядом аббата генерал невозмутимо прихлебывал вино. — Вспомнит и никому не скажет... Что бы ни случилось, Фрошо будет помнить только о своей карьере. Чиновники же за эти годы так хорошо выдрессированы императором, что любое, даже иднотское, распоряжение выполняют как надо, лишь бы оно имело официальный характер...

— Так ли? — попробовал усомниться Лафон.

— Так, — заверил его Мале. — Любой чиновник стремится к сохранению своего чина, своего стула, своего жалованья. Все они беспринципны! Власть может переходить из рук в руки, но бюрократия слепо придерживается любой власти.

— Боже мой, — начал вздыхать аббат. — Что-то будет с нашей Францией, когда император узнает всю правду?

— Я расскажу, что будет... Наполеон бросит остатки

армии на своих маршалов и кинется в Париж. Но здесь хозяином страны будет уже *народ*, и только он!

Лафон выложил перед ним свой последний козырь:

— А куда же вы денете самого императора?

У филаделффов все было продумано заранее: республиканский генерал Лекурб должен возглавить народную армию в Булони на Марне, и эта армия схватит Наполеона живьем, независимо от того, кем он вернется из России — побежденным или победителем.

Два заговорщика, генерал и аббат, тихо разошлись по своим спальням, чтобы снова сойтись в полночь — в этот роковой час всех классических заговоров. Наверное, есть что-то злодейское в том кратчайшем мгновении, когда часовая и минутная стрелки сливаются воедино, как в любовном экстазе. Но этим стрелкам не суждено было совместить две разные натуры — республиканца и роялиста! Сейчас мы это пронаблюдаем, читатель...

Ровно в полночь две неслышные тени проскользили во тьме и спустились в сад. Из мрака выступила третья тень.

— Не пугайтесь,— шепнул Мале аббату.— Это садовник, которому я велел проводить нас... Дядюшка Суше,— окликнул его генерал,— где ты поставил лестницу?

— Как и договорились: вы соскочите с нее прямо в тень напротив часовни. А на улицах сейчас — ни души...

В руке генерала раскачивался тяжелый портфель.

— Что у вас в нем? — спросил аббат.

— *Будущее*,— отвечал Мале...

Первые капли дождя застучали по листве деревьев. Гром в отдалении расколол небеса над предместьями Парижа.

— Ливень,— сказал Мале, поднимая лицо.— Сейчас хлынет ливень. Взгляните, какие тучи нависли над Парижем...

Лестница стояла, прислоненная к высокой каменной ограде. Не выпуская портфеля, Мале решительно вскарабкался наверх.

— Высоко ли нам прыгать? — спросил аббат снизу.

— Ерунда,— ответил Мале, уже взобравшись на стену.— Прыжок в бессмертие еще никому не ломал ноги...

Он бросился вниз. Мягкая трава смягчила падение. Наверху показался Лафон, подбиравший края сутаны.

— Нет, генерал,— сказал он вдруг.— Как хотите...

— Что? — обомлел Мале.— Не желаете ли вы здесь и попрощаться со мною? Прыгайте, черт вас побери..

— А если я разобьюсь?

— Чушь! — в ярости воскликнул Мале. — Разве не найдется в Париже часовщика, который бы не собрал ваши винтики?

— Так и быть, генерал, — рассудил аббат. — Я уступлю вам и прыгну, но обещайте сразу же отпустить меня на покаяние.

Мале с проклятиями потрясал внизу кулаками:

— Утром я отпущу вас куда угодно, хоть к черту на рога, но сейчас-то вы просто обязаны прыгнуть... Ну!

— Я не могу. Здесь очень высоко.

— Не врать! В монастырях стены еще выше, а вы сами рассказывали, как сигали через них, чтобы поспеть к девкам...

Этот довод подействовал: с жалобным писком, почти шаркая спиной по стене, кулем свалился на траву аббат Лафон.

— Я сломал себе ногу, — моментально придумал он. — Клянусь, я не сделаю больше ни шагу.

Мале взял его за ухо и оторвал от земли.

— Хитрый лис! — обозлился он. — Даже если и сломал ногу, ты все равно поковыляешь за мною...

С черного неба хлынули бурные потоки дождя.

— Прекрати хныкать, — всю дорогу ругался Мале. — Странные пошли люди: их надо силком тащить к славе! Вспомните хотя бы патриота Курция, бросающегося в пропасть...

В доме испанца Каамано их уже поджидали Рато и Бутри. Скинув промокший плащ, Мале сразу же спросил капрала:

— Ты узнал ли пароль, мой мальчик?

— Конечно. Не ночевать же мне на улице.

— Каков же сегодня пароль по гарнизону Парижа?

— «Конспирация», а отзыв — «кампания».

Глаза генерала невольно расширились:

— «Конспирация»? «Кампания»? Ты не ошибся ли?

— Нет, генерал.

— Ну, что ж! Тем лучше для всех нас...

В этом пароле Мале чудилось счастливое предзнаменование. Он вывернул поля треуголки, чтобы она скорее прохла.

.....
Следующий его вопрос был обращен к Каамано:

— Была ли жена? Что оставила?

— Узел вещей, который я спрятал... вон там.

— Очень хорошо! — закрепил разговор Мале. — Значит, наше правительство уже распорядилось...

Вещи были на месте, жена его не подвела. Мале при всех встряхнул в руке толстую пачку банковских чеков.

— Капрал Рато! Утром получите патент на офицерский чин. А сейчас вот вам мундир — можете сразу переодеться.

Увидев мундир поручика, Рато ошалел от счастья.

— Я уже офицер! — в восторге выкрикивал он. — Какое счастье! Вот не ожидал... Да здравствует наш император!

Генерал Мале поднял ладонь, требуя тишины.

— Внимание. Я должен сообщить чрезвычайную новость: седьмого октября под стенами русского города Можайска император Бонапарт по имени Наполеон... *убит.*

— Какое горе для Франции! — разревелся Рато.

— Наоборот, — сурово продолжал Мале. — Это счастье для всей Европы... Сенат уже изменил форму правления, и вот тут, — генерал поднял над головой портфель, — уже лежат списки нового, республиканского правительства.

— Республика? — так и отшатнулся Бутри.

— Да. С империей покончено.

— Но...

— Молчать! — гаркнул Мале. — Слушайте далее... Сенат удаляет тех лиц, которые, занимая высокие посты, не могут отвечать требованиям нации. Так, например, сегодня же ночью будут арестованы министр полиции и комендант Парижа...

— Кто же заменит их? — удивился Бутри.

— Префект будет выбран народом, а комендантом Парижа назначен... я, господа! — Из портфеля был извлечен указ. — Вот бумага от сената, подтверждающая мое назначение. Мне, как вступившему в должность коменданта столицы, поручено арестовать вышепоименованных лиц... Поручик Рато!

Успев облачиться в новенький мундир, Рато исполнительно щелкнул каблуками сапожек, готовый на все.

— По моей просьбе вы назначены ко мне адъютантом.

— Повинуюсь, мой генерал!

Мале поднял кувшин с вином. При каждом глотке в мочке его уха качалась круглая тяжелая серьга из олова.

— Бутри! — позвал он, вытирая рот.

— Я, генерал...

— Мои полномочия в новой для меня должности вполне достаточны для назначения вас комиссаром полиции Парижа.

Бутри явно замялся. Испуг юного юриста перед Республикой был замечен генералом, но выбирать не приходилось: Мале перебросил ему трехцветный шарф комиссара полиции.

— Наденьте эту роскошь по всей форме и будете следовать за мной во имя закона и справедливости... повинуйтесь!

— Клянусь! — Бутри оглядел себя в зеркале; в нем быстро появился апломб начальника. — Куда мы идем сначала?

— В казармы Десятой когорты на улицу Попинкур.

Затем Мале повернулся к раскисшему толстяку Лафону, под которым растекалась большая лужа от мокрой одежды.

— А вы, дорогой аббат, нужны для секретного сообщения, ради чего и прошу вас выйти на лестницу... — На лестнице он влепил ему здоровую оплеуху. — Мне, — поморщился Мале с презрением, — просто не хотелось бесчестить вас при свидетелях. Черт с вами, дорогой святоша, не тряситесь от ужаса. Я отпускаю вас... Умоляю лишь об одном: если вы на старости лет задумаете писать мемуары, так не пишите, пожалуйста, что я был красавцем с огненными глазами. Прощайте, аббат...

.....
Все ушли, и тогда Лафон сказал Каамано:

— Знаешь ли ты, кто был между нами?

— Ты говоришь о генерале Мале?

— Да, о нем... Это единственный сумасшедший, которого я встретил среди всех «сумасшедших» доктора Дебюиссона.

— Я не совсем понимаю тебя, — признался испанец.

Аббат Лафон торопливо скинул сутану, схватил старый плащ капрала Рато, на самые глаза напялил плоскую шляпу.

— Что ты стоишь? — завопил он в отчаянии. — Через полчаса заставы Парижа будут перекрыты полицией... Бежим скорее!

— Куда же нам бежать?

— Не знаю. Но чем дальше — тем лучше.

И аббат в ту же ночь улизнул из Парижа — пропал, исчез, будто его и не было, он навсегда растворился в бурлящем войнами котле Европы. Но мемуары после себя все-таки оставил.

А что же Наполеон? Что делал? Что думал?

Россия не шла на мир с агрессором, она отвергала даже краткое перемирие и обмен военнопленными, и — после поражения войск Мюрата при Тарутине! — Наполеон решил покинуть русскую столицу, которую осквернил своим вандализмом.

Это случилось за три дня до мятежа в Париже...

Древнее московское «благоепие» не нравилось корсиканцу. Наполеону хотелось бы (и он сам говорил об этом), чтобы на месте русской столицы еще лет двести торчали одни обугленные руины... С этим он и вызвал маршала Мортье:

— Я ухажу. А вы еще побудете с дивизией в Москве, чтобы взорвать стены Кремля и дворцы его. Прошу вас уничтожить безобразные русские «мечети», эти русские святыни... Что вы так печальны, Мортье? Посмотрите на чистое небо. Разве не видите на нем прежний блеск моей счастливой звезды?

Он покинул Москву рано утром — с восклицанием:

— Горе тем, кто попадетс я мне на пути!..

Наполеон покидал Москву, имея еще большую армию, но эта армия влачила за собой такие громадные обозы награбленного добра, что напоминала дикую орду, которая скорее побросает в канавы оружие, но не расстанется с добычей... Наполеон, как тонкий психолог, отлично это понимал. Один солдат привлек особое внимание императора. Он был облачен в пышную «боярскую» шубу, уцелевшую с незапамятных времен, и Наполеон крикнул ему:

— Где ты раздобыл ее, приятель?

— Купил,— здоровысляще отвечал солдат.

Это вызвало бурное веселье Наполеона и его свиты:

— Купил? Интересно, у какого покойника?

Первую остановку Наполеон сделал в селе Троицком, здесь он скромно отметил день рождения своей сестры — Полины Боргезе. 21 октября император завтракал с маршалами в Красной Пахре, где находилось имение Салтыковых. Наполеон был задумчиво-сосредоточен, но выглядел еще бодро. Однако мысли его витали в облаках былого величия, он не мог расстаться с миром призрачных иллюзий. Именно в эти дни французы сняли осаду с Риги, отступив к Митаве, а император еще грезил о набеге

на Петербург, чтобы устроить там пожар, подобный московскому.

— На худой конец, — делился он замыслами с Бертье, — мы легко можем выйти к Туле, чтобы уничтожить там ружейный завод... Что скажете на это, дорогой кузен?

— Я озабочен другим: наши фланги уже стали обтекать русские отряды, а казаки Платова неотступно следуют нашим же маршрутом, и не учитывать их близости мы не имеем права.

— Была ли сегодня эстафета из Парижа?

— Нет. Очевидно, перехвачена казаками.

— О, боги! — возмутился император...

Арман Коленкур писал: «Запоздавшие эстафеты прибыли наконец, но они принесли нам известие, что казачий корпус и вооруженные крестьяне прерывают наши коммуникации за Гжатском, причем это зло, по-видимому, разрастается...»

Коленкур продолжал: «Мы были одни. У него был озабоченный вид, и, казалось, он чувствовал потребность излить душу.

— Дело становится серьезным, — сказал он мне. — Я все время бью русских, но это не ведет ни к чему...»

После кошмарной битвы у Малоярославца император заночевал в деревне Городня. «Повелитель мира» в долгом оцепенении изучал карту русских поселков, затерянных в буреломе. Маршалы хранили траурное молчание. Наконец он встал:

— У меня нет решения. Хочу спать! Решать будем утром...

«Утром его разум ведет упорную борьбу с чувствами. В этой борьбе тают, как снег, его гигантские силы. Он, подобно женщине, падает в обморок, теряя сознание. Но вот он очнулся, и тут ему доносят, что у Боровска появились казачьи разъезды... более он не колеблется». От императора слышат:

— Наше спасение в Смоленске, на теплых квартирах...

Филипп Сегюр заметил, что при оставлении Москвы император уже обладал недостатком благоразумия, но потом ему не стало хватать даже примитивной смелости: «Он устал. Эти два казацких налета вызвали в нем чувство омерзения...»

Осень же выдалась небывало затяжной, даже благодатной, а когда морозы нагрянули, с Великой Армией великого завоевателя было уже покончено, но — силой русского оружия! Именно на дороге к Смоленску Наполеону и суждено

было узнать, что Париж целых три часа принадлежал не ему...

Кутузов писал жене: «Сегодня я много думал о Бонапарте, и вот что мне показалось... Бонапарте неузнаваем. Порою испытываешь соблазн поверить в то, что он больше не гениален!»

ЗАВОЕВАНИЕ ПАРИЖА

Было два часа ночи. Мале подошел к дверям кордегардии Десятой когорты Национальной гвардии Парижа.

— Кто идет? — окликнул часовой. — «Конспирация»...

— ...«Кампания!» — ответил Мале, и перед ним широко распахнулись ворота столичной казармы.

Полковник Сулье, командир Десятой когорты, хворал. Он лежал на низкой египетской тахте, посреди ковров и разбросанной вокруг кожуры апельсинов. Полковник мутно посмотрел на вошедшего генерала и, казалось, вовсе не удивился внезапному появлению своего давнего сослуживца.

— Что с тобою, бродяга Сулье?

— Да знаешь, — зябко простонал полковник, — опять треплет лихорадка, которую я подобрал по дороге, когда переходили через болота По... А я тебя давно не видел. Говорили, ты был сильно болен. Как твои неприятности — кончились?

— Я уже выздоровел, а сейчас пронаблюдаю, как ты избавишься от своей болотной лихорадки. — Мале раскрыл портфель и бросил на тахту Сулье плотный пакет. — Для начала вот тебе чек Парижского банка на пятьдесят тысяч франков... Каково?

— Пора! — воскликнул Сулье, просяив. — Давно пора оценить заслуги таких старых драбантов, как я...

Командир когорты начал возиться с пакетом, распечатывая его, но Мале расчетливо опередил его словами:

— Послушай, ты, я вижу, еще ничего не знаешь.

— А что? — рассеянно спросил Сулье. — Разве что-нибудь случилось в Париже? Опять новости?

— Так знай, что император погиб под Москвою!

Сулье отбросил пакет и даже прослезился:

— Я знал, что с Россией нам лучше не связываться...

— Сейчас не время рыдать. Временное правительство уже готовит конституцию, а мир с Россией, а мир с Испанией — это ныне самое насущное в новой политике Франции...

— Скажи хоть, как все это случилось?

— Ты же, Сулье, хорошо знал нашего императора: он всегда крутился на своей кобыле где надо и не надо. Вот ему и досталось от какого-то казака из шайки атамана Платова.

Мале вслух прочитал командиру когорты указ сената о своем назначении комендатом всего Парижа.

— Рад за тебя,— ответил Сулье, вытирая слезы.— Наконец-то вспомнили о нас, ветеранах революции!

— А сейчас,— наказал ему Мале,— ты должен построить свою когорту полностью — как перед боем.

— Моя когорта всегда к услугам нации...— Сулье позвонил в колокольчик, вызвав дежурного капрала, чтобы тот пригласил капитана Пиккереля.— Сюда его, ко мне. И бейте сбор...

Пиккерель был помощником командира Десятой когорты.

— Милейший капитан,— сообщил ему Сулье,— радость всегда тащит за собой на аркане великое горе: меня наградили банковским чеком, а наш император пал у стен русской столицы...

И тут случилось невероятное — Пиккерель произнес:

— Ну, Сулье, у вас какие-то старые слухи! О смерти императора в Париже говорили давно. А сейчас солдаты только и болтают об этом... Неужели вы сами не слышали?

Мале с живостью повернулся к Пиккерелю:

— А что вы думаете по этому поводу, капитан?

Пиккерель от груди до пяток прозвенел саблей и шпорами.

— Я думаю так: армия засорена случайными людьми и выскочками, а сейчас, со смертью императора, возникнет давно назревшее перемещение в офицерских кадрах.

— Это время уже наступило! — произнес Сулье, потрясая перед ним банковским чеком.— Видите?

— Но меня,— авторитетно продолжал капитан Пиккерель,— беспокоит сейчас одно: императора не стало, и... Что же все французы будут делать без великого императора?

— А что вы делали, Пиккерель, когда императора еще не было у французов? — между делом обронил Мале.

— Я учился в Сорбонне, составляя атлас коровьих глистов.

— Вот и будете опять заниматься глистами...

Но Сулье все еще не мог успокоиться:

— Его уже нет с нами, и нация осиротела. Но что станет с Великой Армией? Как она выберется из русских лесов?

— Армии не существует,— ответил Мале.— Кутузов разбил ее полностью, и часть ее, которая не погибла, забрелась по ужасным пустыням, где ее ждет смерть от мужиков и медведей.

— Армия погибла? Вот как! — оживился Пиккерель.— Нет,— твердо решил он в эту минуту,— в таком случае глисты могут подождать, а я остаюсь в гарнизоне. Именно нехватка в армии офицеров даст всем нам очень скорое повышение в чине...

Когорта была построена и ждала одного — приказов!

Десятая когорта стояла под проливным дождем на казарменном дворе. Она стояла — четкая, невозмутимая, молчаливая.

— Бутри! — велел Мале.— Читайте указ неторопливо и выразительно, чтобы любой солдат проникся каждым словом...

Бутри встал под навес и развернул лист воззвания:

«ГРАЖДАНЕ И СОЛДАТЫ!

Бонапарта не существует. Тиран пал под ударами мстителей. Он получил то, что заслужил от нации и всего человечества. Если мы должны краснеть за то, что долго покорялись этому корсиканцу, то мы слишком горды, чтобы покоряться и его отпрыску... Мобилизуйте всю энергию, чтобы сорвать с себя постыдное ярмо... Нет уже того, кто проливал нашу кровь в несправедливых и возмутительных войнах. Умрем, если надо, за нацию, за общую свободу!»

Бутри, кажется, и сам был потрясен прочитанным.

— Я закончил, господин комендант,— сказал он.

— Благодарю вас... Капитан Пиккерель,— напомнил Мале,— передайте Сулье, что я забираю его когорту, как и договорились. В начале дня солдаты вернутся в казармы.

— Пожалуйста,— равнодушно отвечал Пиккерель.

— Впрочем, вы тоже последуете за нами.

Пиккерель, забежав вперед, встал перед когортой.

— «Конспирация»! — А отзыв: «Кампания»!

Когорта окружила тюрьму Ла-Форс, и Мале велел открывать ворота. Караульный сержант, растерянный, впус-

тил генерала, комиссара полиции Бутри и солдат в канцелярию замка.

— Сержант, сразу проведите нас к майору де Бюгоню...

Коменданту тюрьмы снилось в эту ночь что угодно — только не его бывший узник, от которого он так удачно избавился.

Стоя над его постелью, генерал Мале приказал:

— Комиссар, читайте указ сената...

Бутри, красуясь трехцветным шарфом, прочел указ об освобождении из-под ареста генералов Лагори с Гидалем и всех иных узников, на которых будет конкретно указано.

— Вы все поняли, майор? — спросил Мале.

— Какая-то галиматья, — отвечал комендант Ла-Форса. — Или вы разбудите меня, или читайте ваш указ снова.

— Хорошо, — сдержанно согласился Мале. — Вы, комиссар, читайте заново... Ну, теперь-то вы поняли, майор?

— Не понял! И, видать, никогда не пойму.

Бутри, быстро входя в роль полицейского, схватил коменданта за редкие пряди волос, торчавшие из-под колпака:

— Проснулись, черт бы вас драл?

— Еще бы не проснуться, молодой человек...

— Тогда убедитесь своими глазами. Читайте сами!

Де Бюгонь сам прочел указ сената, изготовленный в глубоком подполье филаделффов, колупнул пальцем поддельные печати.

— Ну? — настаивал Бутри. — Поверили?

— Нет.

— Вы что — неграмотный?

— Вот потому-то, что родители (вечная им память!) научили меня читать, я ничего и не понимаю...

— Объясняйтесь быстрее.

— Ваш указ фальшивый! — честно, даже не мигнув, заявил де Бюгонь. — Бумаги подобного рода скрепляются рукою министра полиции, а... Где же здесь подпись хотя бы префекта Паскье?

— Что за глупая формальность? — вмешался Мале. — Подписи Паскье вы не видите, но меня-то вы хорошо видите?

— Вас, да, вижу...

— Так какую же еще фурию вам надобно?

— Простите, генерал. Но, разбуди меня сегодня сами фурия, я бы удивился меньше, нежели увидев здесь вас, ибо никакая фурия не стала бы хлопотать об освобождении генералов Лагори и Гидала. Потому сейчас я потребую от вас одного...

— Ну! Скорее,— торопили его.

— Скоро не получится. Я вынужден отправить посыльного на набережную Малакке, чтобы этот указ подтвердил сам министр.

Миг раздумья, и спальня наполнилась хохотом Мале:

— Вот задача, ха-ха! Сразу видно, что он только что проснулся... Какой министр? Да ведь герцог Ровиго уже объявлен сенатом вне закона, почему и подпись его не имеет значения. Наконец во Франции нет уже герцогов. Все французы с гордостью именуют себя свободными гражданами республики...

Мишо де Бюгонь был смелым человеком, но и он стал мелко дрожать под своим одеялом. Мале подал ему панталоны:

— Мы отвернемся, щадя вашу стыдливость. Одевайтесь, майор, поскорее. Сразу начнем открывать замки камер!

Первым делом он освободил корсиканца:

— Боккеямпе, выходи! Наступил час, когда ты сможешь отомстить за свое поруганное отечество...

Гидаль с вечера крепко подвыпил. Накануне Саварн-Ровиго объявил, что в Марселе его ждут не дождутся инквизиторы трибунала. А потому, услышав ляг дверных запоров, рубака решил не сдаваться без драки. Фитиль ночника он сразу задул, и в темной и тесной камере началась страшная потасовка.

— Мой сатана сильнее вашего! — орал Гидаль, выкручиваясь из дружеских объятий. — Можете стрелять в меня, только бы все это кончилось! Плевал я на всех императоров...

— Опомнись, Гидаль, — говорил Мале. — Какой император? Его давно нет, а плюешься в меня... Хлебни вина и выслушай, — успокоил он друга. — Тебе командовать гвардией сената...

Два стражника уже вывели из камеры заспанного генерала Лагори, который держал в руках свои пожитки.

— Это ты, Мале? Чего будишь людей так рано?

— На том свете выспишься... Иди ближе, слушай: тебе предстоит сразу арестовать герцога Ровиго, ведь ты назначен на его пост — министром полиции.

— Я министр... вот как? — малость оторопел Лагори. — Вот поеду и наведу порядок. Теперь-то полиция не станет хватать людей прямо на улице... Где брать герцога Ровиго?

— В его же отеле на улице Святых Отцов. Поторопись, да прихвати с собою капитана Пиккереля с его солдатами.

Лагори показал на свой узел с вещами:

— Не знаю, куда деть все это?

— А что у тебя там?

— Да всякое барахло бездомного солдата.

— Бросай все к дьяволу!

— Ладно. Я поехал.

— Торопись, торопись,— горячил друга Мале.

.....
Вот она, улица Святых Отцов... В окнах кабинета герцога Ровиго всю ночь не угасал свет. Министр полиции торопливо дописывал очередное послание к Наполеону, чтобы утром оно с курьером уже полетело в глухие просторы России... Герцог писал размашисто и скоро, отбрасывая со лба косую челку; от его вещей и одежды сильно пахло мускусными духами. В кабинете с вечера было жарко натоплено, теперь между лопаток министра полиции выступал едучий пот, пропитавший его сорочку.

Донесение было обычным — *в империи все спокойно!*

Закончив составление рапортов, герцог Ровиго откинулся в глубину кресла и, полузакрыв глаза, прослушал мелодию старинного менуэта, исполненного часами-курантами.

Напряженная трудовая ночь была на исходе...

Он встал и, собрав бумаги, вызвал секретаря.

— Все это можно отправлять с первым курьером,— приказал он.— Я чертовски утомлен и потому прошу передать моей жене, чтобы утром она воздержалась от посещения меня.

Секретарь сортировал бумаги. В неостывшие сургучные печати на пакетах он вставлял голубиные перья — как требование повышенной скорости, чтобы курьеров нигде не задерживали.

— Ваша светлость, не прикажете ли разбудить вас в том случае, если возникнет какое-либо неотложное дело?

— Я не вижу никаких причин для возникновения подобных дел,— ответил министр.— Сейчас лишь один пожар способен разбудить меня, настолько я устал сегодня... Идите, дружок!

Секретарь с поклонами удалился. Тщательно закрыв за ним двери с очень сложной системой замков, герцог разделся догола, накинул длинную сорочку и с блаженством окунулся в царство атласных пуховиков. Половинка страницы любовного романа на сон грядущий — и свет гаснет в окнах министра...

Это был час, когда Десятая когорта уже занимала Париж для будущей республики генерала Мале.

Герцог Ровиго крепко спал.

Не будем мешать ему — скоро его разбудят.

.....
Три генерала, три республиканца, уже начали взламывать империю Наполеона, которая в Европе почиталась нерушимой. Совсем недавно Мале перемахнул через стену «Maison de Santè» — навстречу заветам своей якобинской юности.

Над спящим Парижем медленно поднимался занавес ночи. Десятая когорта острыми лучами расходилась по магистральям столицы, исполняя приказы нового коменданта. Все шло как нельзя лучше — без лишней суеты, с дальним прицелом на то будущее, которое обязано стать лучше настоящего.

Бутри охотно исполнял дела префекта полиции, а Рато, полный юного задора, направлялся к полковнику Раабе, чтобы вовлечь в заговор и корпус внутренней стражи Парижа.

Бум-бум... цок-цок! — шагали через город солдаты.

Люди, разбуженные этой ночью, уже начинали свыкаться с мыслью, что император Наполеон — этот великий из великих! — был убит под Москвою... И никто из французов, верных императору, не посмел даже заикнуться о верности династии Бонапартов — династии, имевшей законного наследника престола, которого недавно родила молоденькая Мария-Луиза... Впрочем, наверное, так и надо! Зато всюду слышалось — четкое:

— «Конспирация» — «Кампания»! Можете проходить...

ИМПЕРИЯ В ОПАСНОСТИ

Рато довел свой отряд до улицы Мнниме, где размещались казармы гвардии и внутренней стражи Парижа.

— А вы еще дрыхнете? — изругал он дежурного адъютанта.— Так дело не пойдет: солдат должен встать пораньше.

— Извините,— вскочил адъютант.— С кем имею честь?..

— Ты еще спрашиваешь? Где полковник Раабе?

Полковник Раабе, очевидно, тоже имел дурную привычку спать по ночам, но бывшего капрала это уже не устраивало.

— Колонель! — растолкал его Рато.— Пора вставать навстречу грядущему. Кто много спит, тот мало живет.

— У меня,— зевнул Раабе,— другое правило: лучше спать, чем жить. Тогда проживешь очень долго.

— Ладно. Прочтите-ка вот это.

Раабе едва нюхнул печати, сразу со всем согласился:

— Каковы будут распоряжения?

— Я забираю ваших солдат для нужд парижского коменданта, генерала Мале... А вы из казармы не отлучайтесь.

— Слушаюсь,— ответил полковник Раабе. Когда Рато удалился, он глянул на часы: было еще очень рано.— Что они там, с ума все посходили? — проворчал Раабе, и тут озорник Морфей снова повалил его на постель: это и спасло Раабе...

Дождь над Парижем уже стихал, когда отряды внутренней стражи строились на широком плацу. Рато тут же разбил когорта на части и, держа перед собой план действий, разработанный генералом Мале, быстро ориентировался:

— Лейтенант Пожо! Вы занимаете здание имперского банка... Капрал Бижу! Вам в парижское казначейство... Лейтенант Ренье! Вам состоять при ратуше на Гревской площади...

Батальоны выступили. Все заставы Парижа были закрыты, чтобы никто не смог убежать и никто бы не смог прийти на помощь бонапартистам в случае их сопротивления.

.....
Бутри быстро разлакомился на власть. Нет, он — конечно же — не прогадал: к чертям всю гордую латынь, старикашку Цицерона и нудные лекции. Он дубасил в массивные двери:

— Откройте, или взломаем сами...

В сопровождении отряда полиции Бутри с ходу вломился в здание префектуры. Господин Паскье был отличным чиновником и потому всегда приступал к своей должности еще засветло. Сейчас он уже поучал секретаря, как правильнее чинить перья, чтобы они имели должное острие, не царапали бумагу:

— Тогда при нажиме перо скользит как по маслу, а спинки букв приобретают элегантную выпуклость...

Тут же и ворвался к нему Бутри, словно бомба.

— А-а, ну, конечно! — заорал он с порога.— По всему видно, здесь еще блаженствуют при старом рухнувшем строе!

— Вы кто такой? Кто вас пустил сюда?

— Император убит! — выпалил Бутри, вскрывая пакет с указом.— Прочти, негодяй, и доверься благородству моих солдат, которые проводят тебя до казематов Ла-Форса...

Паскье всплеснул руками, как удивленная женщина:

— Но разве я виноват, что наш император скончался?

— Нечего было тебе торчать тут при живом императоре!

— Я вынужден протестовать. Это уже беззаконие.

— Эй,— повернулся Бутри к солдатам.— Ну-ка, тресните его по черепу, чтобы он не слишком заговаривался.

Один из солдат шагнул к префекту тайной полиции и буквально исполнил волю своего начальника. Паскье выпал из кресла.

— Тащите его,— велел Бутри; потом, распаяясь гневом, он обратился к солдатам с речью.— Граждане! — воззвал Бутри, указывая на хилого плачущего человека.— Вот он перед вами — душитель свободы, враг нации! Не верьте его слезам: сама история жестоко мстит ему сейчас за весь долгий перечень преступлений, свершенных им в угоду абсолютизма.

— Граждане,— вступился за себя Паскье.— Я не виноват... Клянусь своими детьми — это ошибка! Не виноват...

Но солдаты оказались решительны:

— Все так говорят, когда делать нечего! Пошли...

Паскье увели, и Бутри присел к столу, блестящая крышка которого еще хранила тепло рук арестованного. С поклонами вошел секретарь, выложив перед Бутри горстку очиненных перьев.

— Заточил, как было велено,— сказал он с подобострастием.— Какие у вас будут еще распоряжения?..

Одновременно был поднят из постели и Демаре, занимавший должность начальника Особого отдела при мини-стре полиции. Обязанный вскрывать тайны заговоров, уж он-то, казалось бы, предвидел события заранее. Но Демаре не смог предвидеть, что его схватят за ноги и потащат из постели, как лягушку...

— Что ты делаешь? — заорал он на офицера Десятой когорты.— Какое ты имеешь право арестовывать меня, самого Демаре! Я тебя, сукина сына, завтра же отправлю в Кайенну!

У офицера отец умер в Кайенне, и это решило судьбу Демаре. Офицер схватил его за глотку:

— Придушу сразу! Довольно ты издевался над честными французами. Дайте ему штаны... и тащите прямо в Ла-Форс!

— Что случилось? — попятился Демаре.

— Республика! — гордо отвечал офицер когорты. — Ты арестован не мною, а — народом... Посидишь — станешь умнее...

Демаре и Паскье встретились у ворот Ла-Форса.

— Паскье, ты что-нибудь понял в этой истории?

— Понял только одно — императора не стало.

— Для нас, Паскье, добром это не кончится.

— Да! Судьба империи была и нашей судьбой...

Мишо де Бюгонь приветствовал их дружеским поклоном

— Обещаю вам самые удобные камеры, — посулил он от чистого сердца. — До этого в них сидели два генерала — Гидаль и Лагори. Будьте любезны проследовать за мною...

Демаре отвечал майору бранью:

— Не издевайся! Неужели ты нас посадишь?

— Сажая не я, — ответил комендант, — я лишь охраняю посаженных. Ничего, — утешил он, — и здесь люди живут.

Перед взором Паскье, словно пасть чудовища, открылась скважина секретной камеры, и он в ужасе разрыдался:

— Боже милосердный, за что?.. За что мне это?

— Ну, сударь, — сказал де Бюгонь, — с таким настроением вступать в тюрьму не советую. Тут и без вас горя хватает...

Затем, оставив всякую сентиментальность, майор де Бюгонь достал ключи, и за верными псами империи сухо щелкнули замки. Дома коменданта ожидала жена.

— Бедный Мишо, ты сегодня еще не выпил кофе.

— Все некогда. Наливай поскорее... Чувствую, день будет горячий. Интересно, кого привезут следующим?

Итак, Париж понемногу уже переходил в его руки.

Мале выслушал о занятии банка, казначейства и городской ратуши, велел Бутри оставаться на посту префекта, а сам верхом поскакал к Вандомской площади, где его ожидал Боккеямпе. На этой же площади размещался штаб парижского гарнизона, а неподалеку жил командующий войсками генерал Пьер Гюллен...

Скромный часовщик из Женевы, работавший потом в прачечных Парижа, этот Гюллен был когда-то приятелем Мале. Вместе ходили на штурм Бастилии, плечо к плечу шагали в боевых походах. Но теперь рубаха-парень стал графом империи Наполеона, женился на гордой аристократке, верой и правдой служил престолу, и Наполеон высоко ценил службу Гюллена; там, где требовались особая твердость и жесткие меры, там всегда появлялся граф Гюл-

лен, рука которого карала беспощадно. Взята Вена — Гюллен губернатор Вены, пал Берлин — Гюллен комендант Берлина. «Я иду на Москву,— говорил Наполеон на прощание,— и ты оставайся комендантом Парижа... Если понадобится, я вызову тебя в Россию и отдам тебе азиатскую столицу». Но сейчас Гюллен охранял для Наполеона столицу Франции, и клыков этого зверя следовало бояться...

— Что будем делать с Гюлленом? — спросил Боккеямпе.

— Я решу с ним по совести,— ответил Мале...

Первая торговка появилась на площади. Генерал купил у нее лепешку с тмином, жевал ее на ходу.

— Солдат выстроить перед штабом,— приказал он.— Ни единого человека не должно выйти оттуда. В каждого, кто осмелится выбежать на площадь, стрелять боевым патроном.

Солдаты повиновались беспрекословно, оцепив здание штаба парижского гарнизона. Мале откусывал от лепешки, издали наблюдая, как маршируют люди. Потом оглянулся, с тревогой посмотрев на восток, определяя время. Солнце наплывало на Европу — в России уже начался горячий боевой полдень. И генерал Мале вдруг ощутил себя ее союзником в этой великой битве. Союзником тех безымянных мужиков-партизан, выходивших против Наполеона с вилами и рогатиной, как на волка, забравшегося в мирную овчарню. Что-то неуловимое, но вполне реальное как бы протягивалось отсюда, от Вандомской площади в центре Парижа, в заснеженные просторы возмущенной России...

— Придвиньте барабан,— велел генерал.

Тут же, под открытым небом, Мале писал на барабане помощнику коменданта столицы — генералу Дузе. Он выражал в письме полное почтение к старому солдату, говорил, что ему приятно служить с таким славным воином...

— Беги и отдай Дузе,— наказал Мале корсиканцу.— Старик произведен в следующий чин. Я слышал, он разорен процессом: ордер на сто тысяч франков обрадует его.

— Что еще? — спросил Боккеямпе.

— Тут все сказано. Дузе сразу же оповестит войска в Версале, Сен-Дени и Сен-Жермене... Смена правления и республика должны обрадовать всех честных французов.

— А ты — к Гюллену?

Мале дожевывал лепешку и поднялся с барабана.

— Да,— ответил он сумрачно.— Я решу с ним по совести, как этот ренегат и заслуживает от судьбы...

В это же время Мале вручил письмо с приказом об аресте капитана Лаборда: «Он слишком непопулярен, чтобы можно было оставлять его на свободе... Лаборда немедленно арестовать!»

— Этот вреднейший Лаборд,— добавил Мале на словах,— способен испортить любую музыку. Пусть Дузе не медлит...

.....
Пышный золоченый альков в стиле ампир укрывал графа и графиню Гюллен. Нет, что ни говори, а бывший водонос из прачечной неплохо устроил свою жизнь. Горничная внесла на подносе свежий номер газеты «Монитор», графиня сразу же развернула ее листы, отыскивая сведения из Роесии.

— Фи! — сказала она прислуге.— Опять неровно прогнали газету: с этой стороны холодная, а здесь обжигает, как уют.

— Ты всегда к ней придраешься,— вступился Гюллен за горничную, как и подобает демократу (хотя бы в прошлом).

— А ты всегда ее защищаешь. Тебе кажется, что я не знаю всех твоих шашней?.. Отвернись от меня, не могу слышать запах паршивой мастики. Что за гадость ты пьешь?

— Прости, моя сладость. Буду дышать в сторонку...

Он покорно отвернулся к стене и теперь едва-едва ощущал своим плоским задом нежный и горячий бок графини Гюллен.

— Опять победа! — сообщила супруга, пробегая газету.— Варвары бегут, а наш император, как всегда, торжествует!

В передней послышался странный шум, чьи-то голоса.

— Кто бы это мог быть? — насторожилась графиня.— Запрети своим подчиненным врываться в наш дом, когда они хотят.

— Это, наверное, Дузе,— вслух подумал Гюллен.— Станки, они очень любят начинать день пораньше.

— Но пускай не входит сюда,— заволновалась графиня.— Я не хочу, чтобы даже кастраты видели меня без парика...

Дверь с грохотом разлетелась. Раздался тяжелые шаги, а чьи-то руки бесцеремонно распахнули занавес алькова.

— Ты узнаешь меня, Пьеро? — раздался голос.

— Ай! — пискнула графиня, натянув на голову одеяло.

Два коменданта Парижа смотрели один на другого:

один должен уйти, а Мале должен заступить на его место.

В окнах спальни уже забрезжил рассвет.

— Нет,— сказал Гюллен,— я тебя не знаю.

— Неужели не помнишь меня, «черного мушкетера»?

— Мале! — выкрикнул Гюллен.— Неужели ты, Мале?

— Да, это я.

— Но что привело тебя сюда... в такую рань?

— Вставай. Сейчас все узнаешь.

— Что такое? — побледнел Гюллен.

— Ты больше не комендант Парижа. Правительство назначило на этот пост меня... Поднимайся! И будь любезен отдать мне шпагу, а заодно выложи и печать штаба Первой дивизии.

Гюллен сел на роскошной постели.

— Я, кажется, служил исправно,— начал бормотать он.— Но если... Впрочем, я привык повиноваться... И если ты говоришь, что надо... Я ни в чем не виноват. Ты сам знаешь, моя верность императору никогда не вызвала подозрений. Нет ли ошибки?

Мале резким громовым голосом оборвал его:

— Хватит блудить словами о верности! Твой император убит в России... Вот тебе и указ сената, подтверждающий мои слова. Если хочешь, я прочту его вслух, а ты пока одевайся...

Мале прочел указ, Гюллен накинул халат. Руки его тряслись, и тут на помощь своему мужу пришла графиня Гюллен.

— А где же приказ? — выглянула она из-под одеяла.— Мой друг, у этого генерала, если он принимает у тебя пост, обязательно должен быть на руках и приказ военного министра графа Дежана... Скажи, чтобы он показал его тебе!

— Да, да, да! — ухватился за эту мысль Гюллен.— Как это я не подумал сразу? Потрудись, Мале, прежде показать мне бумагу от самого Дежана... почему я должен верить словам?

Мале почти с отвращением ответил ему:

— Напрасно не веришь мне, Гюллен. Ну, давай, пройдем в кабинет, и я покажу тебе приказ... от самого Дежана!

Гюллен провел своего преемника в кабинет.

— Посмотрим... посмотрим,— жалко бубнил он.

Когда же обернулся, прямо в лицо ему смотрело дуло громадного пистолета, направленного точно — в рот!

— Опомнись,— прошептал Гюллен, и, опрокидывая мебель, он начал отступать в глубину комнаты.— Пожалей меня, Мале...

— А ведь ты, Пьер, был якобинцем,— сказал Мале и выстрелил.— Так вот тебе... как и хотел ты... от Дежана! Жестоко раненный в челюсть, Гюллен свалился на ковер. Полуголая графиня, забыв о приличии, рванулась в кабинет. Мале пропустил ее и, подумав, дважды повернул ключ в замке дверей.

Теперь генерал Гюллен был не опасен.

.....
Гораздо позднее Савари вспоминал, что «планы Мале осуществлялись безукоризненно, ни один из батальонов Парижа не оказал сопротивления». Французам, особенно солдатам, была уже безразлична судьба Наполеона — великого из великих.

— Ну и черт с ним! — здраво рассуждали они.— Хоть развяжемся с этой войной да разоидемся все по своим домам...

На улицах слышались возбужденные голоса:

— Наша армия в России погибла полностью! Конечно, в «Монитере» об этом писать не станут. Это надо соображать самому. Разве не знаете, что Кутузов уже вошел в Варшаву?..

Между тем генерал Дузе, недоумевающий, все еще изучал врученные ему приказы. Советовался с подчиненными:

— Я вижу ряды когорты из окон своего штаба. Да, вот они. Вот и приказы. Но кто мне объяснит, что все это значит?

По словам герцога Ровиго, «Дузе совсем потерял голову и, боясь ответственности, решил покориться» обстоятельствам. Но ему не хотелось подвергать аресту капитана Лабарда:

— Давно причислен к моему штабу! Такой милый, такой услужливый офицер... он ведь может обидеться.

Милый и услужливый офицер (об этом Дузе не ведал) был главным шпионом архитайной полиции Наполеона, которая возвышалась даже над министерством полиции, следила даже за Демаре, даже за Паскье и даже за этим старым дураком — Дузе...

Мале был прав в своих подозрениях: именно капитан Лаборд составлял секретные досье на врагов бонапартистского режима, и сам Мале был хорошо известен Лаборду как «предмет специального наблюдения за его опасным для государства умом...»

Сейчас капитан Лаборд стоял над душою генерала Дузе и несколько свысока внаштал ему с приятной улыбкой:

— Читайте, читайте. Интересно, что там пишут. Кажется, тут что-то и обо мне. Любопытно знать — что?

УЛИЦА СВЯТЫХ ОTCОВ

Улица Святых Отцов; время — начало седьмого часа...

Герцог Ровиго (Савари) почивал на роскошной постели, когда услышал крики людей. В сознании министра, затуманенном усталым сном, почему-то возникло бредовое представление о пожаре. В двери спальни уже дубасили чем-то тяжелым.

— Я слышу, все понял... спасайте архивы! Сейчас отпру...

Он выпутался из одеяла, и в тот же момент между дверных досок вклинились плоские приклады ружей.

В потемках спальни министр метался, то хватая впопыхах одежду, то нашаривая под подушкой заряженный пистолет.

— Я все понял! — кричал он, еще ничего не понимая. — Я же сказал — выносите архивы, спасайте дела... Ключи у меня!

Дверь вдребезги разлетелась, хлынул яркий свет, и на пороге спальни собственной персоной предстал генерал Лагори.

— Ну и ну! — сказал он, почесав за ухом. — Я брал твой будуар, словно испанскую крепость... Признайся, Савари, по чести: ведь ты небось здорово удивлен?

Из мемуаров герцога Ровиго: «Лагори был моим боевым товарищем в нескольких походах во время революции, и, несмотря на разницу наших политических убеждений, мы дружили...» Но сейчас от дружбы ничего не осталось. При виде Лагори герцог Ровиго обмяк всем телом и вяло опустился на постель.

— Ты думаешь, я только удивлен? — спросил он.

Лагори, стоя среди солдат когорты, весело улыбался.

— А я пришел к тебе, Савари, не просто так... По делу...

— Догадываюсь. Иначе бы не ломал двери!

— Ведь я пришел с одной радостной новостью.

— Какой же?

— Да ты арестован мною. Надеюсь, ты рад?

— Весьма, — и министр скривил тонкие губы.

Челка на его лбу взмокла от пота.

— Я понимаю, — продолжал Лагори, — ты, должно быть, здорово радуешься, что попал именно в мои дружеские

руки. Ведь ты имеешь дело с великодушным врагом, который еще никогда в жизни не мстил своему противнику!

— Спасибо,— скупой поблагодарил Ровиго.— Но, может быть, ты все-таки объяснишь мне, что происходит...

— За этим дело не станет,— отозвался Лагори.— Тебе, как министру полиции, конечно, хорошо известно, что твой бестолковый император седьмого октября погиб в России!

Герцог Ровиго понемногу приходил в себя, с некоторой надеждой он взирал на капитана Пиккереля.

— Седьмого? — переспросил он Лагори.— Но каким образом ты оказался здесь, а не в тюрьме Ла-Форс?

Рука его сунулась под подушку, где скрывался пистолет. Но Пиккерель с солдатами перехватил руку министра. От боли Ровиго совсем пригнулся к ковру, лицо его пошло пятнами. Однако он собрался с духом и заговорил снова:

— Послушай, Лагори! Ты напрасно дурачишь меня и этих солдат. Седьмого октября император был жив. Если хочешь, я покажу его письмо ко мне, датированное как раз этим числом.

— Ну, не ври! — ответил генерал спокойно.— Ты нас не проведешь. Это невысказано. Понимаешь ли сам, что это невысказано,— настойчиво (скорее, для солдат) повторил Лагори.

— А я еще раз говорю, что могу показать это письмо!

— А я тоже заявляю тебе,— настаивал Лагори в раздражении,— что император убит. Какое имеешь ты право не верить мне?

При этих словах Лагори слишком нервно подскочил к скрюченному министру, и герцог невольно испугался.

— Только не убивай, Лагори,— прохрипел он.— Хотя бы ради того пороха, которым дышали в одних сражениях... Вспомни об этом и не дай убить меня, как поганую собаку!

Благородный Лагори повернулся к солдатам:

— Ребята, разве мы с вами убийцы?

— Но здесь,— продолжал выхрипывать Савари,— сейчас здесь все говорит мне о грубейшем насилии и злодействе.— Лагори уже направился к выходу.— Не уходи! — призывал его герцог.— Не оставляй меня одного с этой казарменной швалью... Вспомни, что однажды я уже спас тебя! Неужели ты забыл, как я выкрутил твою судьбу из судебного процесса над генералом Моро?

Лагори вышел, а в спину ему еще летели слова:

— Ты помнишь?.. Ты не забыл?.. Не уходи!..

Повиснув на руках солдат, державших его, Ровиго бесильно затих, потом он поднял лицо к капитану Пиккерелю:

— Теперь я взываю к вам. Скорее!.. Как можно скорее отвезите меня в любую из тюрем Парижа... В этом мое спасение. И не только мое, но и ваше, капитан!

.....

После расправы с графом Гюлленом генерал Мале скорым шагом пересек Вандомскую площадь и поднялся на второй этаж здания штаба внутренней стражи Парижа.

— А, и ты здесь, Боккеямпе! — задержался он на лестнице штаба.— Скажи, успели или нет арестовать гадину Лаборда?

— Наверное, старик Дузе все уже сделал...

Дузе, оказывается, ничего не сделал. Когда Мале поднялся в его кабинет, генерал еще копался в полученных бумагах, а помогал ему в этом занятии... *сам* капитан Лаборд!

Мале подошел к столу и показал на Лаборда:

— Не я ли приказал арестовать этого человека?

— Где и когда? — притворился Дузе наивным малым.

— Здесь, в этих бумагах.

— Ну, значит, я еще не дочитал до этого места...

Мале распахнул окна штаба на площадь:

— Чтобы у вас не оставалось дурных сомнений, можете выглянуть на улицы: и штаб и комендатура уже оцеплены войсками... Лаборд, я знаю — все это вам не по вкусу, но отечество в опасности, а потому извольте отправиться под арест.

— Так уж сразу? Поймите, что я еще не завтракал...

Стремительным шагом он покинул кабинет Дузе.

— Дузе, куда понесло твоего помощника?

— Откуда я знаю? Наверное, к завтраку...

.....

Лагори удалился, и события в особняке министра на улице Святых Отцов непростительно затянулись. Герцог Ровиго — в ночной рубаше — стоял внаклонку, с вывернутыми назад руками, а солдатам уже надоело его держать в таком положении.

Люди не разговаривали — лишь старинные куранты, в бронзе и мраморе, не спеша отщелкивали роковое время, и тогда герцог, выждав удобный момент, снова обратился к Пиккерелю:

— А все-таки кто вы такой? И откуда ваши солдаты?

Пиккерель охотно объяснил.

— Так, значит, вы не заговорщики?

— Да нет,— вразброд отвечали солдаты.— Нас привел

сюда тот генерал, который накричал на вас и выскочил.

— Несчастные! Знаете ли вы этого генерала?

— Нет,— отозвались солдаты когорты.

Герцог Ровиго вздохнул почти с облегчением:

— Зато я хорошо знаю: это приятель преступника Моро, изгнанного в Америку, он бежал из тюрьмы, куда я же посадил его... Он погубит себя и вас! Но меня-то вы знаете?

Увы, солдаты его не знали. Это на миг обескуражило министра, но он уже ковал железо, пока оно горячо.

— Взгляните на мраморный бюст в углу,— сказал Савари,— и сравните его с моим лицом... Разве это не я?

Солдаты посмотрели на голову человека, высеченную из белого каррара и увенчанную лавровым венком патриция.

— Ну, сударь,— ответили ему.— Этот истукан, сразу видно, из святых отцов церкви... Но вы-то ведь не святой!

Савари снова поник, а Пиккерель шепнул ему на ухо:

— Они не знают, но я вас знаю. Хотя, скромный офицер, я не имел чести быть представленным ранее...

И тогда министр полиции обрушился на него:

— Ах, знаете? Если так, сразу арестуйте Лагори... Немедленно! — указывал герцог.— Стоит гвардии императора вскочить на коней, и — горе вам всем. За неисполнение же моего приказа вы будете расстреляны мною через полчаса!

— Не слишком ли быстро сыплются ваши пули? — обиделся Пиккерель, задетый угрозами за живое.

— Нет! — орал герцог.— Всего четверть часа нужно конным гренадерам, чтобы доскакать сюда от казарм...

Пиккерель искоса глянул на часы, и Савари (опытный ученик Фуше) сразу же заметил в нем смену настроения. Ага! Теперь, после удара хлыстом, должна последовать ласка.

— Я же по глазам вижу,— ворковал министр,— вы честный и благородный человек. Так не марайте себя преступлением, цели которого, я уверен, вам даже неизвестны... Не лучше ли мы совместно спасем этих обманутых и несчастных солдат?

Пиккерель совсем уже было размяк от речей министра, но тут Ровиго совершил оплошность: он вдруг вцепился в эфес его шпаги. Пиккерель возмутился такой подлостью:

— Лестью не купите! Я честный солдат нации...

Случайно бросив взгляд в окно, герцог Ровиго испугался. Он увидел, что возвращается Лагори, рядом с ним идет человек с обнаженной шпагой, а лицо его, как у палача, было закрыто капюшоном. Ровиго обратился к Пиккерелю:

— Не дайте меня убить... умоляю вас, капитан!

Пиккерель тоже выглянул в окно и в человеке с капюшоном узнал генерала Гидаля. Лагори и Гидаль, писал Савари в своих мемуарах, «ворвались ко мне как бешеные... Лагори остался позади солдат, что произвело на меня отвратительное впечатление».

Да! Иметь дело с Гидалем было труднее...

Гидадь не мог пожаловаться на недостаток жизненной энергии и доказал это даже сейчас, успев где-то позавтракать и выпить. Он сразу приткнул к шее министра ледяное острие своей шпаги, речь его перемежалась марсельскими ругательствами.

— Попался! Так это тебе, подлецу, отсыпают денег только за то, чтобы ты сортировал французов по тюрьмам?

— Гидадь? — вроде не сразу припомнил его Ровиго. — Ведь я думал, что вы уже в Марселе... Надеюсь, вас помиловали?

От этих подлых слов Гидадь рассвирепел. Его шпага чиркнула по шее министра, оставив на ней красную борозду.

— Убью! Но сначала ты поедешь со мной в сенат.

— Зачем? Чтобы продлить мой позор?..

Гидадь велел камердинеру герцога принести одежды.

— Да шевелись! — цыкнул он на министра полиции.

Но, выгадывая время, герцог Ровиго облачался в свой костюм нарочито медленно. Нечаянно он заметил секретаря, который заскочил в спальню и теперь растерянно торчал среди солдат. Надеясь на понятливость своего чиновника, министр сказал по-латыни — как бы в пустоту:

— Поспешите предупредить обо всем моего соседа. Пусть не тревожится. Заодно и жену... пусть она узнает.

Секретарь понял и помчался к дому члена Государственного совета — графа Реаля, который проживал по соседству на той же улице Святых Отцов. Однако молодой человек опоздал.

— Его сиятельство, — отвечал швейцар, — уже изволили отбыть. Великие времена уже наступили...

ВЕЛИКИЕ ВРЕМЕНА НАСТУПИЛИ

Ранним утром этого дня граф Николас Фрошо, префект департамента Сена, верхом на статной лошади не спеша возвращался в Париж от своей любовницы, которую он содержал на загородной вилле в предместье Ножан. Настроение было великолепное, пение птичек сопровождало его всю дорогу, и, впервые подумав о новом любовнике жены без неприязни, префект решил сегодня же обеспечить ему приличную должность в своей канцелярии. «Молодой человек стоит этого», — рассудил граф Фрошо.

На улице Святого Антония, почти напротив лечебницы доктора Дебюиссона, Фрошо издали заметил верхового, скакавшего ему навстречу. Это был курьер префектуры.

— Что-нибудь экстренное? — обеспокоился Фрошо, для которого с этого момента пенне птиц сразу же смолкло...

Курьер передал записку от одного из приятелей Фрошо, и префект узнал, что его с нетерпением ждут в ратуше на Гревской площади, а в конце писульки стоял жирный постскрипtum, вселивший в графа тихий ужас: «Императора не стало...»

— Боже, что будет теперь с нашей империей? — воскликнул Фрошо, потрясенный, и вонзил шпоры в бока лошади.

Куда-то быстро прошли солдаты, во все горло распевая:

Нам городским правленьем запас оружия дан —
Для всех людей порядочных и честных парижан.

Липкий комок грязи пролетел над головой Фрошо, и он поскакал дальше. Песня санкюлотов напомнила ему былое. «Боже, — раздумывал он, прыгая в высоком седле, — я ведь не молод... Неужели всю карьеру начинать сначала?» Он придержал свою запаренную лошадь возле казарм Десятой когорты:

— Где полковник Сулье? Скажите, что я желаю срочно переговорить с ним о наведении образцового порядка...

Ответ был для Фрошо обескураживающим:

— Сулье не усидел дома, он уже в ратуше Парижа готовит зал для размещения нового правительства... Разве вы не знаете сами, что великий час уже пробил!

И префект Фрошо далее пустил свою лошадь шагом. «В конце концов, можно неплохо устроиться и в республике...»

.....

Министра полиции увели, и Лагори решил для начала обжиться в его кабинете — за тем самым столом, за которым герцог Ровиго совсем недавно дописывал свои депеши в Россию... На лбу министра, как известно, не написано, что он министр,— один лишь мундир закрепляет за человеком его высокое положение. Лагори был твердо уверен в успехе переворота.

— Эй! Не знаете ли хорошего портного? — спросил он, уже начиная изнывать от трагического безделья.

— Как же,— отозвался секретарь,— мсье Пти-Пти шил еще на герцога Отрантского (герцог Отрантский — это Фуше)...

Пти-Пти был доставлен в кабинет министра полиции, Лагори издал первое государственное распоряжение:

— Мундир должен быть готов к полудню. Ну-ка, не трясьсь от страха, а сними мерку и живо принимайся за дело...

Потом Лагори велел заложить герцогских лошадей в карету и поехал на Гревскую площадь — в ратушу, где, по расчетам генерала, уже должны были собраться члены комиссии правительства новой Французской республики. Лейтенант Ренье с почетом встретил нового министра, салютуя ему шпагой. Лагори еще раз обозрел список лиц, подлежащих немедленному аресту:

— Арестован ли, дружок, этот негодяй Лапиер?

— Я не получал такого приказа,— ответил Ренье.

— Так поди и сразу арестуй его.

— Слушаюсь, генерал!

— Постой. А префект Фрошо собирает комиссию?

— Еще нет, генерал. Фрошо ночевал сегодня в Ножане, и его ждут с минуты на минуту. Он должен скоро подъехать.

— Хорошо,— прикинул Лагори,— я сейчас вернусь в министерство, а ты хватай этого живодера Лапиера...

Холеные лошади герцога Ровиго развернули карету и покатали ее с Гревской площади обратно на набережную. Лейтенант Ренье взвел курок пистолета и поднялся в канцелярию префектуры, где свора чиновников шалела от непонимания событий.

— Господа! — привлек их вниманье Ренье.— Кто среди вас по фамилии Лапиер? Сюда его — живого или мертвого.

Чиновники нестройной толпой отхлынули к окнам, похожие на скромных барашков, завидевших голодного волка.

— Лапиер! — помахал Ренье пистолетом, и толпа стала рассасываться перед ним, образуя трагическую пустоту вокруг затравленно глядевшего молодого франта в сиреневых панталонах. Чиновники выдавали его с головой, только б их не трогали...

— Иди-ка сюда, миляга Лапиер,— поманил его Ренье.

Но Лапиер вдруг рванулся вперед, панически вытянув руки, и сиреневые панталоны мигом исчезли из канцелярии.

— Стой! — Ренье припустился за ним.

Коридор кончался тупиком, но быстро настигаемая жертва толкнула боковую дверцу. Ренье лишь успел заметить широкую фаянсовую вазу, расписанную нарциссами, назначение которой понятно каждому,— и... задвижка шелкнула изнутри.

Из-за двери слышались заклинания Лапиера.

— Клянусь,— бубнил он,— я ни в чем не виноват. Я всегда был недоволен этим сатрапским режимом императора. Не преследуйте меня, лейтенант. Я взволнован и не могу оправдаться.

— Вылезай сюда,— говорил Ренье, силясь выломать дверь нужника.— Не позорь себя... от меня тебе не уйти!

Черта с два! Лапиер уже баррикадировался изнутри чем-то тяжелым. При этом он громко плакал, оправдываясь.

— Хватайте подлинных врагов нации! — кричал он.— А чего вы ко мне-то прицепились?

Впрочем, на Гревской площади граф Фрошо отчасти успокоился: его ждут, без него не начинают, значит, он нужен стране, он еще незаменим... Префект важно вступил в канцелярию.

— Господа,— уверенно начал он,— я этого давно ожидал. Поход в Россию не мог кончиться иначе. Но мы остаемся на своих местах, дабы исполнить гражданский долг перед нацией...

Перепуганные чиновники сообщили ему, что недавно приезжал некий Лагори, который...

— Кто приезжал? — не понял их Фрошо.

— Генерал Лагори.

— Я не знаю такого... Лапиера! — потребовал он.— Зовите ко мне Лапиера, и сейчас все сразу выяснится.

Ему объяснили, что господин Лапиер (правая рука Фрошо) заперся в туалете префектуры и не желает вылезать оттуда.

— Что за афронт! — возмущился префект и решительно отправился выручать своего любимца. Он долго барабанил в двери.— Это я, префект Фрошо... имейте мужество от-крыть двери...

Подошел с пистолетом Ренье и грубо вмешался:

— Занято. После него — я. А ты за мною.

— Помилуйте, как вы смеете... Я — граф Фрошо.

— Проваливай. Третий лишний.

— Лапиер, вы меня слышите? — взывал Фрошо.

— Да, господин префект, я слышу, что этот жестокий человек не уходит отсюда, а мне не оправдаться. Буду требовать открытого суда — с адвокатами и представителями сословий!

Фрошо в раздумье постоял перед дверью нужника:

— Ничего не поделаешь, милейший Лапиер: вам придется потерпеть, пока все разъяснится... Желаю мужества!

В кабинете графа поджидал бравый Сулье.

— Наконец-то и вы! — обрадовался он.— Такие великие события, что я не мог оставаться в постели.

— Да, да, конечно,— подхватил Фрошо.— Каждый честный патриот Франции на вашем месте поступил бы точно так же.

— Надеюсь, вы уже получили адрес на свое имя?

— Я только что вылез из седла,— ответил ошеломленный Фрошо.— Адреса не получал, но сейчас же велю предъявить таковой, если он на мое имя.

— Впрочем, это и не обязательно,— успокоил его Сулье.— Великие времена наступили, и вот... прочтите этот приказ. Я нахожусь здесь, чтобы охранять вас и ратушу, чтобы собрать побольше стульев для размещения нового правительства...

Фрошо прочел бумагу, но вместо привычной подписи коменданта Гюллена вдруг заметил росчерк — Malet.

— Мале? А где же Гюллен?

— Говорят, убит. Наповал.

— Простите, а этот Мале не тот ли... опасный заговорщик? Впрочем,— угодливо-торопливо добавил Фроше,— к этому человеку я давно питаю самое искреннее уважение.

— Да, это тот самый Мале! Ныне он комендант Парижа и гарнизона, временный командир Первой дивизии.

Сулье на минутку покинул кабинет. Фрошо перечитывал приказ заново, но тут вбежал запыхавшийся курьер префектуры:

— Господин Фрошо! С вами желает говорить министр полиции.

— Просите же. Немедленно.

Префект департамента Сена встал из-за стола и заранее направился к дверям, чтобы встретить столь высокого гостя. Но он так и застыл в неловком поклоне — перед ним стоял не герцог Ровиго, а совершенно незнакомый человек. Правда, в петлице его сюртука броско выделялась ленточка Почетного легиона, и поклон графа, таким образом, все же не пропал даром.

— Вы ошиблись,— улыбнулся ему этот незнакомец.— Я лишь врач министерства общей государственной полиции, доктор Рену... Нет, нет, успокойтесь! Я прибыл сюда лишь затем, чтобы узнать, не скрывается ли у вас в ратуше герцог Ровиго?

Минутная пауза. Немая сцена.

— Простите меня,— продолжил Рену.— Я по вашему лицу уже догадался, что министра здесь нет. Но меня послала сюда герцогиня Ровиго — она в отчаянии.

— Что же случилось?

— Случилось... Сегодня на рассвете министр полиции был похищен из своего дворца, его нигде не могут отыскать.

Фрошо схватился за голову:

— Боже мой, мы уже не так молоды, чтобы испытывать подобные катаклизмы политики... Что же нам делать?

Пятясь к дверям, доктор Рену откланялся:

— Позвольте мне продолжить поиски министра?

— Конечно,— рассеянно отозвался Фрошо.— И не забудьте выразить герцогине мое душевное соболезнование. Более я ничем не могу помочь! Но я всегда... запомните — я всегда готов к любым услугам его высокопревосходительства герцога Ровиго.

Герцог Ровиго, наспех одетый, восседал посредине наемного кабриолета. Слева от него сидел бранчливый генерал Гидаль, справа — не слишком-то трезвый кучер.

— Вы обещали доставить меня в сенат? — наемкнул Ровиго с опаскою.— Но тогда не лучше ли сразу завернуть налево?

— Сначала,— ответил Гидаль,— ты посидишь у меня в Ла-Форсе на гороховой диете, а сената тебе и не нюхать.

Впереди кабриолета выступали солдаты с оружием, в арьергарде следовал прикрывающий с тыла пикет когорты.

— Заворачивай,— велел Гидаль кучеру.— Что ты пьешь, приятель, с утра? Дай-ка и мне хлебнуть...

Встречая на улице знакомых, Гидаль широким жестом приглашал их к обеду — в гости (так он был уверен в успехе переворота!). Кабриолет, развернувшись, выехал на набережную Люннет, где находилось министерство юстиции. Здесь герцог Ровиго совершил ошибку, которая едва не стоила ему жизни...

— Стой, стой! — закричал ему Гидаль.

Но министр полиции вырвался из экипажа, со всех ног кинувшись бежать под защиту имперской юстиции. Солдаты арьергардного пикета бросились за ним с воплями:

— Держи его! Французы, держите...

Прохожие приняли самое активное участие в погоне за министром. Чей-то возглас из толпы был подхвачен другими:

— *Вора* держите! Хватайте вора...

Герцога сбили с ног. Избитый и сильно помятый, как вор, министр полиции был тут же возвращен в объятия Гидаля.

Ворота тюрьмы Ла-Форс гостеприимно распахнулись.

— Здорово, майор! — весело сказал Гидаль.— Надеюсь, ты не откажешь в приюте этому человеку?

Майор де Бюгонь невольно съежился под взглядом арестованного министра. Перестрелка глазами длилась недолго.

— Вы слышали приказ, майор? — надменно спросил его герцог.— Так исполняйте, что вам велит новый министр...

Сопровождая Ровиго, комендант сообщил, что Паскье и Демаре уже давно сидят в камерах, как голубки в клетках.

— Так что не вы первый,— утешил его тюремщик.

В ответ герцог Ровиго озлобленно огрызнулся:

— Не первый... Зато, надеюсь, буду последним! Не знаю, что из этого выйдет, но безумие должно кончиться.

Он высидел в камере минут пять и стал дергать шнурок сонетки, срочно вызывая коменданта Ла-Форса.

Майор Мишо де Бюгонь не замедлил явиться:

— Что вам угодно, сударь? Параша поставлена...

— Открой двери,— строго повелел герцог.

Майор открыл камеру и сам вошел внутрь. Щупая оторванный в уличной свалке ворот мундира, герцог Ровиго сказал:

— Есть ли в тюрьме такая секретная камера-одиночка, которую не сразу отыщут посторонние?

— Есть. В ней когда-то сидела принцесса Ламабль, в ней сидел и генерал Мале.

— **Переведи** меня туда... как можно быстрее!

В новой камере герцог ощутил себя уверенней, кулаком он обстучал массивные, обитые листовым железом двери.

— Как раз то, что мне сейчас требуется,— сказал он.— А теперь слушай... Принеси мне еды со своего стола, запри за мной двери, поставь бутылку с водою, а ключи от камеры забрось куда-нибудь подальше... Есть ли во дворе колодец?

— Бездонный, сударь!

— Вот и отлично. Забрось ключи в этот колодец.

Мишо де Бюгонь в точности исполнил приказ. Потом, крадучись, вышел на тюремный двор и, воровато оглядевшись, закинул ключи в мрачную скважину древнего колодца...

— Теперь можно и позавтракать,— решил герцог Ровиго, с большим аппетитом вгрызаясь в сочную куриную лапку.

Он плеснул себе вина, поднял кружку:

— За ваши успехи, генерал Мале! Не знаю, как вы, но я уже в безопасности... Теперь в опасности вы, генерал Мале.

Чего же боялся он? *Народа*, естественно.

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ИМПЕРАТОР!»

Мале засел в кабинете Дузе, суммируя сведения о событиях, поступавшие от исполнителей его приказов. Заговор разворачивался весьма успешно, по плану: опасные лица уже находились под замком, гарнизон подчинился новой власти, государственная машина начинала вращать колеса истории в обратную сторону.

— Боккеямпе,— сказал Мале,— проверь, арестован ли капитан Лаборд? Меня эта гадина все еще тревожит...

Стремительно покинув кабинет Дузе, капитан Лаборд в нерешительности задержался на парадной лестнице штаба, присматриваясь ко всеобщей суматохе. Вдруг он случайно заметил инспектора парижской полиции — Фавьё! Сержант Десятой когорты, стоя в дверях подъезда, не

пропускал Фавье в здание. Лаборд, поразмыслив, величавой поступью спустился вниз:

— Фавье! Ради чего вы сюда пожаловали?

— Необходимо срочно выписать ордер на арест английского шпиона, но этот сукин сын ночью уже смотался из Парижа... А меня, как видите, почему-то не пропускают.

Лаборд властно и резко приказал:

— Сержант, не задерживайте человека, находящегося при исполнении государственных обязанностей! Пропустите его...

Офицерский шарф, авторитетный голос — все это подействовало на сержанта, и он откинул штык своего ружья, пропуская Фавье в помещение. С этого момента события в Париже стали разворачиваться совсем в другом порядке...

— Следуйте за мной,— решительно велел Лаборд инспектору, быстро увлекая его в глубины кривых коридоров штаба.

В укромном месте, где их никто не мог видеть, капитан Лаборд торопливо изложил перед Фавье свои соображения:

— Смерть императора — главный козырь в руках заговорщиков. Может, это и правда, что императора не стало. Но эти люди ввергают Францию в ужасы республиканского правления!

— Так,— сразу понял его Фавье.— Но что можно требовать сейчас от меня, если Париж уже весь в паутине заговора?

— Требуется лишь твердость духа...

— А-а, вот ты где! — раздался голос: их настигал разгневанный Боккеямпе с обнаженной шпагой.

Лаборд ударил корсиканца ногой, выбив оружие.

Фавье накинулся сверху — зажал Боккеямпе рот.

— Что с ним делать? — просипел он.— Сегодня я выскочил из дому, не захватив наручников... Может, прикончим его?

— Вяжите шарфами,— велел Лаборд.

— Важите сами: у вас это всегда лучше получалось...

Совместными усилиями они перетянули корсиканца крепкими узлами, затискали в рот плотный кляп. Забросив связанного Боккеямпе в одну из пустовавших комнат штаба, полные отчаяния и решимости, они стали подниматься по лестнице.

— Начнете вы, Фавье,— диктовал Лаборд,— а я вас

поддержу. Только не давайте Мале говорить — его речь всегда убедительна, и тогда солдаты выбросят нас с балкона на площадь...

Впрочем, солдаты когорты оставались внизу, на площади, и уже не могли вмешаться в заговор против заговора...

.....
Мале сидел напротив генерала Дузе, когда двери распахнулись, выбитые ударом ноги, и в кабинет ворвались Лаборд и Фавье... Инспектор полиции Фавье уверенно заявил:

— Мале, всего два слова... Каким образом ты очутился здесь, а не в пансионе доктора Дебюссона? Почему ты не в больничном халате, а в этом мундире?

Дузе с робостью поднимался из-за стола:

— Но я... позвольте... но моя честь...

— Сидеть, черт побери! — резко оборвал его Фавье. — Ваше поведение тем более странно... Вы оправдываете его, если сразу же велите солдатам арестовать генерала Мале. Громадный абажур лампы, брызнув осколками, разлетелся вдребезги. Потoki чернил хлынули вдоль стола. Короткое замешательство — то, что нужно сейчас.

Мале уже стоял возле камина, прижавшись спиной к решетке, расписанной порхающими пчелами наполеоновской символики.

— Ни с места! — грозно произнес он.

Грянул выстрел — над головой Лаборда пуля разнесла курчавую голову мраморного купидончика.

— Караул, сюда! — завопил Фавье. — Скорее...

Рука Мале потянулась за другим пистолетом, но этот жест отразился в зеркале, и Лаборд перехватил его руку.

— Драгуны... ко мне! На помощь, — звал капитан.

Мале сбил его с ног, локтем высадил стеклянные двери на балкон — он не боялся прыгнуть со второго этажа прямо на Вандомскую площадь, но в кабинет уже ворвались драгуны. Падая на пол, генерал увлек за собой и драгун.

С грохотом рухнула каминная решетка — на ковер посыпались горящие угли, по комнате плыл сизый чад...

— Драгуны, — сказал Мале, — ваш император убит!

— Не верьте, — возразил Фавье. — Мале давно безумен, он говорит неправду. Это маньяк, помешавшийся на якобинстве.

— Прочь руки, — еще сопротивлялся Мале. — Лаборд, ты арестован мною, а я комендант Парижа и всего гарнизона.

— Заткните ему глотку! — неистово горланил Фавье.— Не слушайте, что он болтает. Он заговорщик и враг нации...

В кабинет нечаянно вбежал Рато.

— Кто посмел говорить о заговорщиках? — запальчиво произнес юноша, обнажая тонкую шпажонку.

Лаборд звал на помощь жандармерию:

— Что вы раскисли? Скрутите и этого безумца тоже. Разве не видите, что он — эмигрант и разбойник из шуанов...

Жандармы свалили Рато, затиснув в рот ему конец шарфа.

Мале в бешенстве отшвырнул от себя драгун:

— Убирайтесь! Меня-то вам вязать не придется...

Его отпустили, и он сразу посмотрел на часы:

— Что ж, и на этот раз сорвалось тоже... Однако Париж на целых три часа все-таки был *нашим* Парижем.

— Замолчите, безумец! — призывал Фавье.— Не губите себя далее словами. Или одной тюрьмы вам еще мало? Вы, кажется, захотели эшафота, чтобы чихнуть в мешок?

— Мне ли сейчас думать о своем спасении? — откровенно засмеялся Мале.— Верьте, это еще не конец... Скоро сюда явится одноглазый Кутузов с казаками, и они доломают в Париже то, чего не удалось за эти три часа сломать мне.

— Поберегите красноречие для суда, — посоветовал ему Лаборд.

— Для вашей комедии? Но я сказал все... *Dixi!*¹

.....
Народ Парижа стал собираться на площади, толпясь за линией оцепления, и генерал Мале вздохнул с огорчением:

— Теперь уже поздно... надо было раньше...

Деятельный Лаборд отправил скорохода с приказом в тюрьму Ла-Форс, чтобы срочно освободили министра полиции и его чиновников. Демаре и Паскье были выпущены сразу, но герцог Ровиго пережил еще немало скверных минут. Услышав грохот взламываемой двери, Савари вспомнил свои молодые годы, когда патриоты врывались в тюрьмы, чтобы прикончить неугодных народу узников. Неужели и он пропадет в этой камере?..

— Где комендант? — орал герцог через двери.— Позовите майора! Я вынужден защищаться.

¹ *Dixi* — я сказал, я закончил (лат.).

— Я здесь... уже здесь,— услужливо отозвался де Бюгонь.— Вам ничего более не угрожает. Но ключа от камеры у меня действительно нету. Нырять в колодец я не стану, но обещаю вашему высокопревосходительству сыскать проворного слесаря...

Мале был уже под арестом, хотя сеть заговора, раскинутая им над Парижем, была еще крепка. Расставленные по своим местам, солдаты Десятой когорты продолжали оказывать сопротивление. Освобожденный из тюрьмы Паскье подъехал к зданию префектуры, рассчитывая на почетную встречу. Но солдаты прикладами ружей вытолкали его обратно на улицу.

— Пошел прочь... изменник! — оскорбляли его.

Паскье перебежал улицу и спрятался в аптеке. Знакомый фармацевт угостил его каплями для успокоения нервов:

— Выпейте, сударь. Эти капли освежают дыхание...

Государственная машина империи Наполеона, который так любил хвалиться ее совершенством, была засыпана песком, отдельные части ее уже развалились, другие по привычке еще вращались, но со страшным скрежетом. (Наполеон позже и сам признал это: «Я думал, моя империя покоится на гранитном фундаменте, а на деле оказалось, что я все эти годы жил в кратере вулкана...») Учреждения империи потеряли свое бывшее значение, титулы не оказывали на людей своего прежнего влияния. И граф Реаль, бывший якобинец, а ныне член Государственного совета, никак не мог проникнуть в здание рауши.

— Лейтенант,— убеждал он стражу,— я граф Реаль. Неужели вы не знаете меня? В любой книжной лавке вы можете купить гравюру с моим прекрасным изображением...

Лейтенант Ренье отвечал со смехом:

— Но теперь нет графов!

— Послушайте, вы ведь из Десятой когорты?

— И когорты тоже нет,— отвечал Ренье.

— Как же так? — не мог опомниться Реаль.— Императора нет, герцога нет, когорты нет... Что же осталось от Франции?

— Осталась — Франция!

— А кто же теперь я в этой Франции?

— Вы только гражданин Франции.

— Благодарю вас. Я немного разобрался в этом. Но мне нужно исполнить поручение его превосходительства.

— Убирайся отсюда! — вспыхнул Ренье. — Ты уже надоел мне. Я же сказал тебе, что республика не терпит никаких превосходительств. Все равны, и все — граждане...

Заговор не был еще убит — заговор где-то даже продолжал развиваться, и Париж слышал стрельбу.

Капитан Лаборд мчался через площадь, а вдогонку ему летели шипящие пули. Заскочив в подворотню, он развел руками:

— Теперь и я ничего не понимаю.

— Кто там стреляет? — спросили его.

— Не знаю. Но это из здания префектуры. А мне надо срочно повидать Фрошо, чтобы тот не наделал глупостей... Граф верит всему, что писано на казенной бумаге и скреплено печатью.

Да, именно здесь, в префектуре Парижа, из последних догасающих искр заговора готов был вспыхнуть грандиозный пожар. Все объяснялось просто... Когда доктор Рену покинул кабинет префекта, Фрошо из полученных бумаг уяснил для себя, что с империей покончено, а сам он избран в состав нового временного правительства... Это его обрадовало:

— Меня не забыли — и очень хорошо.

Он двинулся напролом. Бюрократ до мозга костей, привычный не думать, а лишь повиноваться, Фрошо (невольно для себя) ковал железо, разогретое генералом Мале. Времени на размышление не оставалось, тем более что полковник Сулье был весьма ретив в исполнении приказов.

— К девяти часам, — твердил он, — правительство должно открыть заседание. Как лучше оповестить об этом народ?

— Я думаю — набатом со всех церквей Парижа.

Сулье в возбуждении потирал руки:

— Представляю, как заухает колоколья Нотр-Дам!

— Однако, — суетился Фрошо, — нам следует поторопиться, ибо любое промедление может вызвать волнения в Париже. Велю сразу открывать для депутатов парадные залы!

Сулье порывался грянуть над Парижем грозным набатом.

— Колокольный звон я беру на себя, — обещал он.

— День еще только начался, — жаловался Фрошо, — а я не чую под собой ног... Боже, — вдруг вспомнилось ему, — а какой чудесный рассвет был сегодня в Ножане!

Он вышел в соседнюю комнату, присел на софу, чтобы сменить сапоги на туфли, и тут к нему подошел один канцелярист:

— Ваше сиятельство, вы не ошибаетесь?

— В чем?

У подъезда снова вспыхнула стрельба.

— Знающие люди поговаривают, будто император нарочно и устроил этот заговор, чтобы проверить, насколько мы ему преданы.

— Вы старый фабулист,— отмахнулся Фрошо...

Переобувшись, он вернулся обратно в свой кабинет, когда обстрелянный капитан Лаборд уже проник в здание префектуры и теперь ругался с упрямым Сулье.

— По приказу министра Дежана,— настаивал Лаборд,— ваша когорта более не охраняет государственных зданий.

Граф Фрошо наострил чуткое ухо.

— Как бы не так,— брюзжал в ответ Сулье.— Дежан, да будет известно, уже не министр, его заменил генерал Гидаль.

Фрошо собирался поддержать Сулье, но случайно вошел секретарь герцога Ровиго, и Фрошо кинулся к нему:

— Вот и вы, Солонье!.. У меня голова кругом идет. Может, хоть вы скажете — подтвердилась ли эта ужасная новость?

— Что за новость?

— О гибели нашего императора.

— Это ложь. Ничего подобного.

— Значит, он жив? Уверены ли вы в этом?

— Несомненно!

Но полковник Сулье еще не сдавался.

— Кому верить? — рычал он из угла кабинета.— Вот у меня приказ, убедитесь сами... читайте. Ну?

— Вам всучили подделку,— ответил Лаборд.— Мале старый и опытный мистификатор, только и всего...

Граф Фрошо вдруг вспомнил, сколько он совершил сегодня преступных ошибок, и он широко открыл рот.

— Да здравствует император! — закричал граф, глядя в лицо капитану Лаборду, чтобы тот запомнил его восторг.

Сулье порывался что-то сказать о колокольном звоне над Парижем, но Лаборду этот дуралей уже надоел.

— Смиритесь перед очевидностью,— сказал он.— Вам и без того будет трудно реабилитировать себя...

Распахнув окна, граф Фрошо обратился к парижанам:

— Французы, наш великий император бессмертен! Тревожные слухи, возмутившие вас, порождены врагами порядка. Весть о гибели императора — провокация! Возвращайтесь к своим обычным занятиям. Каждый француз да останется на своем посту...

Сулье, опустив плечи, направился к дверям.

— Куда вы, полковник? — остановил его Лаборд.

— А что? — повернулся к нему Сулье.

— По-моему, вы и сами должны догадаться, что следует сейчас сделать. Ну-ка! Начинайте просить о пощаде...

Сулье отцепил от пояса шпагу и брякнул ее на стол:

— Я не боюсь смерти. Достаточно послужил Франции — пора и на покой. Но все-таки в этом, наверное, моя единственная ошибка, я ведь так и не понял, что же случилось с нами?..

.....
Инспектор полиции Фавье подошел к генералу Дузе, впавшему в столбняк, и вытер пот со лба генерала.

— Я выручу вас,— напрямик сказал он.— Но для этого вы должны слушать меня и повиноваться мне.

Дузе поднял голову, но опустил глаза.

— Говорите,— согласился он заранее.

— Покажите сейчас Мале войскам и народу. Я мог бы и сам это сделать, но... мы предпочитаем оставаться в тени! Вас же знают парижане, и они любят вас, как старого драбанта.

— А что я скажу народу?

— От ваших слов будет зависеть и ваша судьба. Не топчитесь, генерал. Прежде подумайте...

Мале и капрал Рато были выведены на балкон. Площадь волновалась под ними, сдавленная отрядами жандармерии.

Сгорбленный Дузе обнажил голову.

— Ты прости меня, Мале,— успел шепнуть он.

— Ничего. Не ты — так другой... мне все равно.

— Честные парижане! — начал Дузе хрипло.— Вот они, эти отщепенцы нации, эти враги законности и порядка... Слава всевышнему, император *жив*, и да здравствует император!

До балкона долетали возгласы бонапартистов:

— Расстреляйте их... сразу, немедленно!

— Нет, на гильотину их!

— А лучше зашить в мешок — и в Сену!

Капрал Рато не выдержал угроз, по-мальчишески всхлипнул.

— Брат мой,— сказал ему Мале,— те люди, у которых уже есть имя, должны нести его с честью. А те, у кого еще нет славы, обретут ее сейчас на этой площади... Мужайтесь!

Лаборд отозвал Фавье, нашепывая ему:

— Я уже проверил: аббат Лафон и Каамано исчезли, нигде не найти и студента Бутри. Но самое странное, что куда-то провалился этот буйный Гидаль... Знать бы, где он спрятался?

Виктор Лагори был взят в своем кабинете, где он поджидал портного с мундиром, а дождался появления герцога Ровиго.

— Напрасно тратили время на такую ерунду,— сказал он.— Могли бы походить и в моем мундире...

К одиннадцати часам дня полиция в бешенстве затаптывала последние искры заговора. Но сыщики сбились с ног, не в силах сыскать нового военного министра — генерала Гидаля.

— Три тысячи франков за его поимку! — объявил Савари.

Через каждые полчаса к нему приходили с докладами; возникали предположения, строились догадки — куда мог деться этот буйный человек? Вскоре награда возросла до пяти тысяч франков — полиция покрывалась липким потом, то ли от жадности, то ли от усердия. В полдень герцог Ровиго объявил:

— Моя последняя цена — десять тысяч за одну лишь глупую голову Гидаля! Я сейчас еду обедать, скоро вернусь...

Он вернулся, но уже в веселом настроении:

— Отыскался ли генерал Гидаль?

— Нет,— ответили ему.— Сейчас посылаются коинные разъезды по всем дорогам, начальники гаваней будут оповещены о задержке всех кораблей.

— Пусть казначей принесет сюда обещанную мною награду,— велел герцог Ровиго, и затем он потряс перед чиновниками пачкою ассигнаций.— Видите эти купюры? Я, министр полиции, честно их заработал! — Он швырнул деньги в ящик своего бюро.— Идите в Пале-Рояль,— засмеялся Ровиго,— генерал Гидаль обедает там. На моих же глазах он сожрал целого теленка...

Оказывается, Гидаль надолго застрял в ресторане, и ни

один шпион не догадался бы искать его именно там, где полно всякой публики, где любой человек всегда на виду.

— Знаешь, — сказал он хозяину ресторана, — мне совсем недалеко от министерства до твоего ресторана, и ты поджидай меня теперь каждый день после полудня... Открой еще бутылочку и на этом закончим: у меня немало всяких дел!

Он не успел расправиться с бутылкой, когда к нему подошел скромно одетый пожилой человек и слегка коснулся груди генерала белой эмалевой палочкой:

— Прошу вытянуть руки перед собой. Вы арестованы.

— О, дьявол! — фыркнул Гидаль, но капкан уже захлопнулся. Он был арестован последним — глупцам иногда везет...

«МЫ НЕ ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ!»

Мале не был одинок, и можно догадываться, что его поступками руководила изощренная в заговорах рука Буонарроти, жившего в Женеве на положении эмигранта. Заговор в Париже (и Савари понял это) не был обведен кружочком одного лишь города — в этот же день в Марселе собралась громадная толпа якобинцев. Но явился некто и объявил им:

— Братья! Только что стало известно, что в Париже все у нас сорвалось, а потому лучше всем разойтись...

Савари-Ровиго тогда же писал: «Это действительно более серьезно, чем я мог предполагать. Он (Буонарроти) имеет здесь мятежников, все якобинцы... а самый сумасшедший из них — Буонарроти!» Министр был недалек от истины, только вождь итальянских адеффов всегда бы в здравом разуме.

Позже Буонарроти и сам признавался друзьям:

— Я уже готов был мчаться в Париж, когда в Женеве узнали, что там все нечаянно провалилось... Мале и его друзья умерли достойно, как подлинныя революционеры, как опытные конспираторы. Никто из наших людей не был скомпрометирован ими во время допросов, на суде они ничего не показали против нашей организации... Судьи Наполеона лишь подержались за хвост гремучей змеи, но головы ее не обнаружили.

В глубоком подполье затаился тогда и знаменитый певец французской революции — Руже де Лиль, и капитан Лаборд был возмущен, когда полиция не могла разыскать его убежища.

Герцог Ровиго недовольно заметил Лаборду:

— Не вмешивайтесь не в свое дело! Зачем министерству рыть землю Франции, чтобы выкопать какого-то жалкого музыканта?

Лаборд оказался осведомленнее министра:

— А вы разве не знали, что Руже де Лиль, автор «Марсельезы», двоюродный брат генерала Мале? От этой «Марсельезы» до парижских событий двадцать третьего октября якобинцы провели четкую прямую линию. И не она ли, эта линия, трагически рассекла ваш кабинет, заодно в комической форме задев и вашу спальню? Простите,— извинился Лаборд,— но мне кажется, что «Марсельеза» еще не снята с нашего репертуара...

.....
23 октября 1812 года империя Наполеона была на три часа подорвана изнутри — в самом сердце Парижа, и власти хорошо понимали, что Наполеон не простит их слабости и растерянности, которые они обнаружили в день переворота. Теперь предстояло заново приводить к присяге колоссальный аппарат имперских чиновников и брать дополнительные клятвы с господ офицеров...

Впрочем, для генерала Мале теперь не было нужды анализировать события (хотя он твердо верил, что если бы Лагорн и Гидаль оказались решительнее и не занимались пустяками, они могли бы еще освободить его из-под ареста, а империя встала бы перед угрозой возвращения Парижа к республике).

Но...

— К чему додумывать! — убеждал себя Мале, вышагивая по камере тюрьмы Аббатства.— Пора готовить себя к концу...

Обвинительные акты он не стал даже читать:

— Зачем? Вряд ли здесь кроется что-либо приятное для меня. В моем возрасте лучше побереечь себя от всякого вздора!..

В срочном порядке была образована военно-судебная комиссия, во главе которой был поставлен граф Дежан (тоже бывший республиканец — генералу Мале везло на них).

Мале первым и предстал перед своими судьями.

— Прошу учесть мое заявление,— начал он сразу, еще с порога,— виновником всего произошедшего в Париже я считаю только одного себя, и никто более в этом не виновен!

— Но заговор невозможен для одного человека,— до-

пытался граф Фрошо, тоже попавший в число судей.— Кто же ваши главные помощники?

— Станный вопрос,— хмыкнул Мале.

— Может, и странный. Но кто же ваши сообщники?

— ВСЯ ФРАНЦИЯ,— ответил Мале,— и даже вы, граф Фрошо, если бы мне и моим планам сопутствовали окончательный успех.

— Обвиняемый,— вступился Дежан в защиту префекта,— у вас отнято право говорить от имени империи... Франция — это наш император, это слава нашего императора!

— Вот именно,— согласился Мале.— Я всегда утверждал то же самое... Но куда делась слава французов? О-о, я понимаю теперь — она загнана вами в нищенские подвалы или на чердачные мансарды, униженная и ограбленная тем же императором, которого вы так восторженно прославляете. Впрочем, так и надо: порох ведь тоже хранят в подвалах.

— Остановитесь, Мале: у вас очень мало доказательств...

Мале почти беспечно рассмеялся в ответ:

— Какие же вам нужны еще доказательства? Разве мой заговор не доказал всю гнилость империи Наполеона? Я, один только я, бежавший ночью из бедлама, выхожу, почти безоружный, на улицы Парижа и за три кратких часа разваливаю весь государственный аппарат вашей хваленной и непобедимой империи...

.....
Настал день суда... Большинство обвиняемых были офицерами Десятой когорты или войск парижского гарнизона.

— Эти люди ни в чем не виновны,— оправдывал их Мале.— Они, как честные солдаты, повиновались генеральским приказам, мало задумываясь над их смыслом...

Защита Мале не могла им помочь. Прокурор в своей речи назвал участников мятежа преступниками от рождения.

— Взгляните на этих разбойников! — призывал он публику.— Как выразительно сама природа начертала на их лицах следы всяческих пороков! Нет, для таких чудовищ не могут быть дороги заветы священной присяги, данной ими императору... Это они стремились ввергнуть Францию в ужасы новой революции!

Граф Дежан по очереди вызывал обвиняемых:

— Что вы можете заявить в свое оправдание?

Пожилые служаки могли только перечислить перед судьями заслуги боевого прошлого, а граф Дежан кричал на них:

— Этого мало! Теперь каждый француз имеет заслуги...

Бедный Сулье перечислял битвы, в которых участвовал; шупая свое тело, он вспоминал уже забытые контузии и раны.

Но граф Фрошо уже звонил в колокольчик.

— Слово предоставляется защите! — торжественно возвестил он и показал на пустые ряды адвокатских кресел.

— Стыдитесь! — выкрикнул Мале. — Ни один адвокат Парижа даже не явился на этот суд, все они придавлены страхом за свои лошенные шкуры... О какой защите может идти речь? Разве же человек, выступивший на защиту прав Человека, может нуждаться в какой-либо защите?

— Мале, замолчите, — потребовал Дежан.

— Нет, — возвысил голос Мале, — патриоты не нуждаются в адвокатах. Они торжествуют или же погибают...

Судебное заседание длилось весь день 27 октября, и только в четыре часа утра следующего дня был оглашен приговор. Из 24-х обвиняемых в заговоре против империи 14 человек были приговорены к смерти. Первым назвали Мале, вторым Лагори.

Лагори схватил толстую книгу, запустив ее в судьей.

— Так, — выкрикнул он, — вы лучше запомните человека, которого посылаете в могилу!..

Далее следовали имена Гидаля, полковника Сулье, капитана Пиккереля (Ровиго лично отомстил ему), лейтенанта Ренье, капрала Рато и корсиканца Боккеямпе... Приговор по делу о мятеже читался очень долго, и Гидаль слушал его с большим вниманием, склонив набок голову. Лишь когда речь зашла о конфискации имущества приговоренных, он радостно загоготал.

— Вот ты, ворюга, и попался на этом! — громогласно заявил он, хлопнув себя по животу. — Смотри: вот здесь мое единственное имущество, и оно всегда при мне... На этот раз я обещаю оставить его специально для тебя — в параше! Бойся, как бы его не расхватили другие, более алчные...

.....
В ночь накануне казни многие спать вообще не ложились и писали письма. Мале же сказал тюремщикам:

— Стоит ли отдыхать накануне вечности?..

О чем он думал в последние часы жизни, можно только догадываться: никаких записок после себя он не оставил.

Около трех часов дня 29 октября перед тюремой Аббатства остановились шесть просторных экипажей. Смертников вывели во двор.

Мале сразу шагнул к Лагори и Гидалю:

— Не имеете ли зла на меня за всю эту историю?

Лагори промолчал, Гидаль же хмуро ответил:

— История, конечно, с дерьмовым концом. Но надо же было показать этим выскочкам, на что мы, филладельфы, способны!

Боккеямпе, завидев Мале, крикнул ему:

— Скажите начальству, что священник забыл навесить меня! А я не могу умереть без святого причастия.

Мале, убежденный атеист, вступился за верующего:

— Дайте же корсиканцу священника!

— Прелат,— ответили ему,— ждет его у Военной школы.

Последние завещания — последние пожатья рук.

Лагори просил опустить верх траурной колесницы.

— Ей-богу,— заявил он,— мы, наверное, стоим того, чтобы народ Франции посмотрел на нас напоследок! Не такие уж мы каналы, чтобы не заслужить этой маленькой чести...

Верха карет откинули, и мрачный кортеж тронулся к Гренельскому полю, окруженный по бокам конными жандармами. Одна из цветочниц бросила в экипаж Мале букетик запоздалых осенних цветов, и он рассыпался у ног генерала. Им встретились шумные толпы студентов, спешивших по домам после лекций.

— Молодые люди! — обратился к ним Мале.— Я верю, что вы не забудете двадцать третье октября...

Коляска уже выкатывалась на плац.

— Граждане Франции! Мы погибаем, но помните, что мы не последние римляне... за нами — легионы!

И вот оно — жуткое Гренельское поле.

.....
За шпалерами солдат глухо волновались толпы народа. Всех осужденных поставили к глухой стене здания Военной школы.

— Где же священник? — выкрикнул Боккеямпе, но тут барабаны забили частую дробь.

Мале расстегнул мундир, смело шагнув вперед.

Лагори и Гидаль старались не отставать от него.

За ними двигались остальные — тоже героически.

Старик Сулье громко выкрикивал ругательства.

— К стене, назад... к стене! — командовали жандармы.

Люди шли вперед, головы их были обнажены.

Мале смотрел в небо, где кружились голуби.

Боккеямпе продолжал просить о священнике.

Очевидцы слышали гневный окрик Мале:

— Послушайте, у этого человека было так мало просьб в жизни — так не откажите ему в последней!..

Они остановились, когда барабаны смолкли.

— Прощайте, братья мои — Лагори и Гидаль.

— Прощай и ты, наш брат Мале...

С треуголкой, зажатой под локтем, появился секретарь военно-судебной комиссии. Снова зачитывался приговор.

Боккеямпе встал на колени — горячо молился.

Долго и нудно повторялись избитые слова:

— Высокий долг... священная обязанность... император...

Наконец секретарь свернул бумаги, надел треуголку.

Качнулись ружья. И вдруг послышалось — резкое:

— *Пли!* — это скомандовал сам генерал Мале.

Все его сообщники, как один человек, растопырив руки, упали ничком вперед. Но Мале продолжал стоять...

— *Пли!* — крикнул он снова.

Со второго залпа он тоже упал. В своем генеральском мундире Мале лежал среди разметавшихся тел ярким золотым пятном.

— Казнь окончена. Пригласите врача.

Через весь плац к убитым шагал доктор. Он проходил вдоль ряда мертвецов, нагибаясь над каждым. Тронул запястье Мале, и генерал Мале вдруг снова поднялся на ноги.

— Отойдите, — прохрипел он, — еще не все кончено...

Боясь нежданного залпа, врач пугливо отбежал в сторону.

Толпа в ужасе присела, когда на фоне кирпичной стены снова во весь рост вытянулась стройная фигура генерала Мале... Он что-то еще кричал — под грохот барабанов. До парижан едва долетали его слова:

— Франция... народ... гений... республика...

Последнее, что он запомнил в этом безбожном, сверкающем мире, — это шеренгу солдат, идущих прямо к нему... Генерал-республиканец Клод Франсуа Мале был добит штыками!

Имя этого удивительного человека очень редко встречается в нашей русской литературе.

Холодный туман, словно саван, покрыл улицы старого, но всегда прекрасного Парижа... На стенах домов и на заборах были расклеены списки казненных, в которых объявлялось, в чем они виноваты. Мадам Софи Гюгò, давно брошенная мужем, шла по улице с сыном Виктором и тихо плакала.

— Прочти,— вдруг остановилась она.

Мальчик прочел список, запнувшись на имени Лагори.

— Их уже нет с нами... они ушли. Они ушли в историю, как в потемки,— сказала мать.— Но ты обязан помнить их имена: на Грениельском поле были убиты великие французы...

И больше не плакала! Вместе с сыном она проводила до кладбища черные дроги, на которых отвозили тела казненных.

Из дешевых гробов, через плохо сбитые доски, на мостовые Парижа еще капала кровь, и мать с сыном, будущим писателем, ступали по красным булыжникам.

А дорога до кладбища была очень дальняя...

— Не отставай от меня,— говорила женщина сыну.— И никогда, прошу, не забудь, что ты наречен ради великого будущего именем человека, которого твоя мать всегда любила...

Филипп Буонарроти составил «Список великих людей».

Он открывал его именами Христа и Пифагора, а в конце списка поместил двух генералов — генерала Моро, который в рядах русской армии пал за свободу народов Европы, и генерала Мале, «отважного республиканца-демократа, который из глубин темницы восстал во имя защиты прав свободного человека...»

В 1814 году скромную могилу генерала Мале посетили молодые русские офицеры — освободители Европы от наполеоновского ига. Они украсили его могилу свежими розами.

Это были будущие декабристы... Dixi!

1960—1962

Ленинград

1984—1985

Рига

СОДЕРЖАНИЕ

Каждому свое	5
Париж на три часа	373

Литературно-художественное издание

ПИКУЛЬ Валентин Саввич

КАЖДОМУ СВОЕ. ПАРИЖ НА ТРИ ЧАСА

Романы

Редакторы **В. А. Сергианова, Н. И. Суворова**
Художники **Б. Н. Чупрыгин, В. С. Комаров**
Художественный редактор **Н. Б. Егоров**
Технический редактор **Л. Б. Демьянова**
Корректоры **М. Г. Куриосенкова, И. И. Попова**

ИБ № 6472

Подписано к печати с готовых диапозитивов 10.12.92. Формат 84×108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 24,36. Усл. краск.-отт. 24,36. Уч.-изд. л. 27,7. Тираж 200 000 экз. Заказ 258. С006.

Издательство «Современник» Министерства печати и информации Российской Федерации и Союза писателей Российской Федерации. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и информации Российской Федерации. 144003, г. Электросталь, ул. Тевосяна, 25.

